

АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ

3


ДЕТИ
АРБАТА

АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ

ДЕТИ АРБАТА

Трилогия

АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ

Книга 3

ПРАХ И ПЕПЕЛ

ТЕРРА
МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
1998

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6
Р93

Художник
С. ЛЮБАЕВ

Рыбаков А. Н.

Р93 Дети Арбата: Трилогия. Кн. 3: Прах и пепел: Роман. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1998. — 336 с.

ISBN 5-300-02035-4 (кн. 3)
ISBN 5-300-02032-X

Российский писатель Анатолий Наумович Рыбаков известен не только на родине, но и далеко за ее рубежами. Его ранние приключенческие повести «Кортик» и «Бронзовая птица», роман «Екатерина Воронина», повести «Приключения Кроша» и «Неизвестный солдат» приобрели большую популярность и были экранизированы.

Трилогия «Дети Арбата» повествует о горькой странице истории России — о том времени, которое называют «периодом культа личности». Роман «Прах и пепел» (третья книга трилогии) завершает рассказ о судьбах героев книг «Дети Арбата» и «Страх».

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

ISBN 5-300-02035-4 (кн. 3)
ISBN 5-300-02032-X

ПРАХ И ПЕПЕЛ

Погиб и кормщик и пловец!
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную свою
Сушу на солнце под скалою.
А. Пушкин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

— Повезло тебе, дорогуша! Первый раз пошел на почту, и бац — твоя телеграмма! Я сразу на вокзал.

Глеб улыбался, обнажал белые зубы, поглядывал на Сашу.

— С хозяйкой своей я договаривался на одного, приводить второго неудобно. Поищем тебе отдельную квартиру.

В камере хранения чемодан взяли, рюкзак — нет: «Не принимаем без замков». Саша сунул приемщику рубль: «Ладно, начальник, сегодня заберем». Сидор поставили рядом с чемоданом, квитанцию выдали на два места.

— Пройдемся пешком, — предложил Саша, — заодно и город покажешь.

Продовольственный магазин, промтовары, канцтовары, булочная, аптека... Как и в Калинине, как и всюду. Уныло. Старые одно- и двухэтажные деревянные дома. Изредка каменные — на них таблички с названием учреждений на русском языке и русскими же буквами на башкирском. Только это и напоминало, что здесь столица Башкирской автономной республики. А так — провинция, булыжная мостовая, кое-где деревянные тротуары, а где и вовсе без тротуаров. Пыль.

— Как тебе наша Уфа?

— Тоска российских городов...

Так он ответил Глебу. А про себя подумал: может быть, это его тоска... Опять, в который раз, все начинать сначала.

— Жить можно, — сказал Глеб, — башкиры народ мирный, гостеприимный. Однако обидчивый. Ты с ними, дорогуша, не задирайся.

— Еще чего!

— Сидели мы на днях в компании, один интеллигент ленинградский, молодой, такому же молодому башкиру говорит вроде, мол: «Я с тобой, старик, согласен». Понимаешь, дорогуша? Слово «старик» произнес, как это у ленинградских интеллигентов приня-

то. А башкирин его по морде хрясь! «Какой я тебе старик?!» На слово «старик» обиделся. Хоть бы девки за столом сидели, значит, перед девками унизил. Нет, не было девок, одни мужики.

Глеб показал на павильон с надписью «Кумыс».

— Видишь, кумысом торгуют? Кобылье молоко, башкиры гонят из него араку вроде нашей браги, даже спирт гонят. Пьют будь здоров, на Коран внимания не обращают. «Деньга есть — Уфа гуляем, деньга нет — Чишма сидим».

— Что за Чишма?

— Станция возле Уфы, не заметил?

— Не обратил внимания.

— Выпить любят, а закусить еще больше. У них мясо в основном: конина, баранина. Бешбармак ничего, есть можно.

Они шли по центру города, по улице Егора Сазонова — эсер, террорист, убил царского министра Плеве. Уфимец он, что ли, был? Часто стали попадаться люди в энкаведешной форме, в начищенных сапогах, галифе, рыла квадратные, неподвижные.

— Что-то много их здесь, — заметил Саша.

— Видишь? — Глеб показал. — Управление НКВД.

Длинное двухэтажное кирпичное здание, окна зарешечены толстыми металлическими прутьями, четыре подъезда выступают до середины тротуара — глухие коробки, закрытые тяжелыми двустворчатыми дверьми без стекол.

— Глеб, ты знал, что в Калинине вводятся паспортные ограничения?

— Знал.

— Почему не сказал?

— Как это так: не сказал? Я точно помню свои слова:

«Сегодня Калинин не режимный город, завтра — станет режимным». Это что?

— Ну, намек...

— Такой намек и ребенок поймет. Тем более я предложил тебе уехать.

— Намек я понял уже в милиции.

— В твоем положении надо быстрей соображать.

— Получилось даже лучше: документы на руках, с работы уволен, с квартиры выписан. Ладно, скажи: начали халтуру?

— Дорогуша! Как ты можешь? «Халтура»! Да ты что? Бригада под руководством самого Семена Григорьевича Зиновьева.

— Он тому Зиновьеву не родственник?

— Даже не однофамилец. Бывший солист Мариинского театра, автор книги «Современные бальные танцы» дам тебе почитать, узнаешь, что о танцах говорили Сократ и Аристотель. Семен — могучая личность, крупный деятель, арендовал Дворец труда в самом центре, договора заключает с заводами и фабриками. Тридцать рублей с носа: фокстрот, румба, танго, вальс-бостон. — Глеб сбавил шаг, бросил взгляд на Сашин костюм, туфли. — Другого костюма у тебя нет?

— Чем этот плох?

— Не модный. И туфли... Туфли, дорогуша, это самое главное! Будешь им показывать, в какую сторону ногами двигать, на что они будут смотреть? На твою прекрасную шевелюру, на твои блядские глазки? Нет, дорогуша, на твои ножки будут смотреть. И если увидят стоптанные или грязные ботинки, то, согласись, дорогуша, в восторг от твоего танца не придут. Не эс-те-тич-но! Галстук у тебя есть?

— В жизни не носил.

— Придется носить. И ботиночки сегодня же купить. Черные. Черные туфли подходят к любому костюму. Отнесись серьезно — это не какие-то там танцы-шманцы. Это, дорогуша, идеология, учти.

— Даже так?

— Собирается группа в тридцать человек, ты как думаешь: никого это не интересует? И не одна группа. Вся Уфа, и русские, и башкиры, все хотят танцевать западноевропейские танцы. Значит, кому положено, должен за этим следить. Ладно, пошли, увидишь нашу контору.

Они свернули с улицы Егора Сазонова в переулок. Возле домика с вывеской «Гастрольно-эстрадное бюро» толпились люди.

— Подожди меня здесь. — Глеб скрылся в дверях.

Саша отошел в сторону. В толпе многие, видимо, знали друг друга, окликали по именам, переходили от группы к группе, обнимались, целовались, здоровались, разводили руками: «Сколько лет, сколько зим!» Во всем сквозило нечто экзальтированное, наигранное... Как он будет жить, как будет работать рядом с ними? Чужие люди, чужие нравы. Может быть, плюнуть? Поискать работу в каком-нибудь гараже?

Вышел Глеб, показал бумажку с адресом.

— В самом центре. Гостиница только для народных и заслуженных, а всех прочих по квартирам. Видал ты эту биржу? Фокусники, гипнотизеры, танцоры, куплетисты... Башкиры с кураями. Знаешь курай?

— Нет.

— Дудочка вроде свирели, музыка заунывная... Толкутся у бюро, сколачивают бригады, главное, чтобы хороший администратор попался — едет вперед, рекламирует где-нибудь в глухомани — живой актер! Важно хоть одно знаменитое имя на афише. Тут, дорогуша, всяких Качаловых, Кторовых, Церетели, Улановых — полно! И не придерешься. Смирнов-Качалов, чувствуешь? Мухлеж идет... — Он покосился на Сашу. — Чего молчишь, дорогуша?

— Думаю. Для меня ли это занятие? Сам говоришь — мухлеж. А я к этому не приучен.

— По-честному жить хочешь?

— Именно.

— И будешь жить по-честному, отрабатывать свои часы и получать зарплату. Все по закону, дорогуша. За этим следит наша начальница Мария Константиновна, ты ее еще увидишь, деловая

баба, на ходу подметки рвет и интеллигентная притом. И учти, тебе самому придется платить за квартиру.

— Понятно.

Дом на углу вытянулся одной стороной по улице Аксакова, другой — по улице Чернышевского. Крохотная комнатка в небольшой квартире. Но хоть не за занавеской, как было в Калинине. Уже хорошо. Хозяйка озабоченная, рассеянная, никак не могла найти очки, пеняла детям: подевали, наверно, куда-то. Девочка и мальчик лет одиннадцати-двенадцати ушли на поиски в кухню, мальчик кашлял. «Не дохай, — раздраженно покрикивала мать, — очки ищи!»

Наконец очки были найдены.

— А где направление? — спросила хозяйка.

Глеб обаятельно улыбался:

— Мария Константиновна торопилась, дала адрес, а направление выпишет в понедельник. Адрес написала своей рукой, вы же знаете ее почерк.

Хозяйка недоверчиво разглядывала бумажку.

— Вы сомневаетесь? — Саша опустил руку в карман. — Вот мой паспорт.

— Мне ваш паспорт не нужен, я вас прописывать не буду.

Не надо прописываться! Замечательно! Сразу отпали все сомнения — Саша вспомнил свои унижения с пропиской в Калинине. Здесь этого не будет. Гастролер объезжает за год много городов, что же ему в каждом прописываться? Не хватит листков в паспорте. Ладно, будет заниматься танцами, черт с ним!

— Все оформит Мария Константиновна, — пообещал Глеб.

— Только имейте в виду... — хозяйка вытолкала детей в соседнюю комнату, прикрыла дверь. — Я попрошу вас женщин на ночь не приводить.

— Что вы? Как можно?

— Можно, можно, — она закивала головой. — Перед вами тут артист Цветков жил. Мало, что пьяница, еще женщин приводил. Приличный на вид человек, а такие безобразия выстраивал. У меня ведь дети.

— Я постараюсь вас не беспокоить, — сказал Саша.

2

23 августа 1937 года в Георгиевском зале Кремля был устроен прием в честь летчиков Громова, Юмашева и штурмана Данилина, совершивших беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Америку.

За столами, стоявшими перпендикулярно к сцене, сидели крупные партийные и советские работники, высшие военачальники, ведущие авиаконструкторы, прославленные летчики, известные деятели науки и культуры. Приглашением гостей ведали специальные люди, хорошо осведомленные о значении каждого гостя, об

отношении к нему товарища Сталина, о надежности в смысле поведения на приеме и во всех других смыслах. Эти же специальные люди решали, кого приглашать с женой, кого без жены, кому за каким столом и на каком месте сидеть — товарищу Сталину спокойнее видеть за ближайшими столами знакомые лица. Товарищ Сталин не любит спрашивать: «Кто это такой?» Товарищ Сталин сам знает, кто это такой!

Столы были уставлены винами и закусками, никто к ним не притрагивался: главный стол, стоявший параллельно к сцене и перпендикулярно к остальным столам, в некотором отдалении от них, тоже был уставлен винами и закусками, но за бутылками, графинами, бокалами, за вазами с фруктами виднелся ровный ряд пустых стульев — руководители партии и правительства еще не пришли. Они придут ровно в семь часов. В ожидании этой волнующей минуты гости негромко, сдержанно переговаривались между собой. На часы никто не смотрел. Посматривать на часы — значило бы выражать нетерпение, это бестактно, нелояльно по отношению к товарищу Сталину.

Значительность момента подчеркивали и официанты, крепкие, суровые ребята в черных костюмах и белых манишках, с перекинутыми через руку салфетками, с бесстрастными лицами, застывшие у столов, возвышаясь над сидевшими гостями. Еще по два официанта стояли у дверей. Все знали, что официанты — штатные сотрудники НКВД, они дополняют охрану, стоящую во всех проходах, на всех этажах и лестницах дворца, и внештатных сотрудников НКВД, которые в достаточном количестве имеются за каждым столом.

Ровно в семь часов открылись боковые двери и в зале появился Сталин в сопровождении членов Политбюро. Все встали, задвигав стульями, зал взорвался бурными аплодисментами. Овация продолжалась, пока вожди проходили к столу, и наконец, встав каждый на своем месте лицом к гостям, зааплодировали в ответ. Зал хлопал вождям, вожди хлопали залу. Потом члены Политбюро повернулись к Сталину и хлопали ему. Зал тоже хлопал Сталину, протягивая ладони к тому месту, где он стоял, будто пытаясь дотянуться до товарища Сталина. Не хлопали только официанты, по-прежнему неподвижно стоявшие у столов, но уже не возвышаясь, как раньше, над сидевшими: сидевшие встали, и многие из них оказались повыше, покрупнее, поосанистей официантов.

Сталин хлопал, едва касаясь одной ладонью другой, держа их над самым столом, почти не сгибая локтей, и из-под опущенных век медленно обводил тяжелым взглядом стоявших поблизости. Разглядев и узнав их, он перевел взгляд в глубину зала, но за частоколом протянутых к нему рук никого не мог разглядеть. Тогда он перестал хлопать и опустился на стул. Вслед за ним опустились на стулья стоявшие рядом Молотов и Ворошилов, потом остальные члены Политбюро. Но гости продолжали стоять и хлопать. Тогда Сталин два раза слегка приподнял и опустил руку, приглашая гостей садиться. Но те не могли остановиться в выражении перепол-

нявшего их восторга. Они пришли сюда не для того, чтобы пить водку и коньяк, шампанское и «Мукузани», не для того, чтобы есть икру, лососину, паштеты, жюльен из шампиньонов и котлеты «по-киевски». Они пришли сюда, чтобы увидеть товарища Сталина, выразить ему свою любовь и преданность.

Сталин что-то сказал Молотову, тот встал, поднял обе руки ладонями вперед, как бы говоря: «Все, товарищи! Достаточно! Товарищ Сталин понимает и ценит ваши чувства, но мы собрались здесь для определенного дела, давайте приступим. Прекратите, пожалуйста, овацию, садитесь!»

Первыми перестали хлопать стоявшие близко к президиуму. Вокруг них засуетились официанты, разливая по рюмкам и бокалам водку, вино, кому что требуется.

Но остальные гости продолжали стоять и хлопать, хотели, чтобы товарищ Сталин увидел бы и их, прочитал бы на их лицах и в их глазах беззаветную любовь и обожание. Молотов поднял руки выше, помахал ладонями, давая понять гостям в середине зала, что члены Политбюро видят их, все понимают, все ценят, но просят их тоже сесть. Похлопав в благодарность за это обращение еще несколько секунд, опустились на свои места и в середине зала. И вокруг них тоже засуетились официанты, разливая вино по бокалам.

Продолжали стоять и хлопать только гости с самых крайних столов. Теперь, когда впереди все уже сидели, они надеялись, что Сталин увидит и их тоже. Молотов посмотрел на кого-то, стоявшего у боковой двери, тот дал знак еще кому-то, и в ту же минуту официанты у последних столов стронулись со своих мест, степенно, но настойчиво заговорили: «Товарищи, товарищи, садитесь, пожалуйста... Товарищ! Вас просят сесть! Давайте, давайте, товарищи, не задерживайте...» Даже стали подвигать стулья, задевая гостей, и почетные гости быстренько уселись на свои места. И так же, как за другими столами, официанты наполнили их рюмки и бокалы водкой и вином. Молотов встал, и в ту же секунду официанты замерли у столов.

Молотов упомянул о небывалых достижениях советского народа во всех областях жизни. Эти успехи особенно видны на примере нашей могучей авиации, в развитии которой Советский Союз идет впереди всего мира. СССР стал великой авиационной державой, чем обязан гениальному руководству товарища Сталина, который лично уделяет огромное внимание развитию авиационной промышленности, по-отечески пестует и воспитывает летчиков, славных соколов нашей страны.

Зал опять взорвался овацией, гости задвигали стульями, встали, захлопали, протянув ладони к товарищу Сталину, теперь эта овация предназначалась лично ему, его имя было наконец названо.

Сталин встал, поднял руку, в зале воцарилась тишина.

— Продолжайте, товарищ Молотов, — сказал Сталин и сел.

Все заулыбались, засмеялись, опять захлопали сталинской шутке.

Молотов хотел продолжать, однако за первым столом, где сидели летчики, поднялся Чкалов, повел широкими плечами, набрал воздуха в легкие и крикнул:

— Нашему дорогому Сталину — ура, ура, ура!

И весь зал подхватил: ура, ура, ура!

Сталин усмехнулся про себя. Не полагается перебивать руководителя правительства. Но ведь это Чкалов, его любимец, человек, который олицетворяет русскую удаль, лихость, бесшабашность, Чкалов — величайший летчик ЕГО эпохи, ЕГО времени. Ничего не поделаешь, придется Молотову примириться с тем, что этот смельчак мало знаком с этикетом.

Молотов был опытный председатель, успокоил зал и продолжил:

— Свидетельством могущества нашей авиации служит невиданное в истории человечества достижение наших доблестных летчиков: Громова, Юмашева, Данилина. Совершив перелет через Северный полюс в Америку, в город (Молотов посмотрел в бумажку) Сан-Джасинто в Калифорнии, они установили мировой рекорд дальности беспосадочного полета.

Сталин снова усмехнулся про себя. Молотов отомстил Чкалову за то, что тот перебил его. Даже не упомянул о его полете. А ведь дорогу проложил Чкалов: первым через Северный полюс в Америку перелетел Чкалов. Самолюбив Молотов, обидчив. Туповатые люди всегда обидчивы.

Свое выступление Молотов закончил здравицей в честь Громова, Юмашева, Данилина.

Снова аплодисменты, крики: «Ура советским летчикам!» Но никто уже не вставал. Вставать полагается только в честь товарища Сталина. Встали, когда встал сам товарищ Сталин, чтобы чокнуться с приглашенными к столу президиума летчиками Громовым, Юмашевым и Данилиным. Но как только товарищ Сталин сел, все тоже быстренько уселись и принялись за закуску, проголодались, слушая длинную речь Молотова, да и дома сегодня, наверное, не слишком налегали на еду в предвкушении обильного ужина.

Как всегда, концертную программу открыл ансамбль красноармейской песни и пляски под руководством Александрова, и, как всегда, кантатой о Сталине, сочиненной тем же Александровым. Ее выслушали благоговейно, перестав есть. Но как только ансамбль перешел к следующему номеру, опять налегли: мужчины — на водку, дамы — на вина, все вместе — на закуску.

Ансамбль сменили певцы Козловский, Максакова, Михайлов, потом Образцов с куклами... Вожди смотрели на них, обернувшись к сцене, а гости пили и ели, видели это и слышали сто раз.

В промежутках между выступлениями артистов произносились тосты, все, конечно, за товарища Сталина. Ведущий авиационный конструктор сказал: «Товарищ Сталин хорошо знает людей, работающих в авиации, подсказывает решение сложных технических проблем, учит нас, конструкторов, далеко смотреть в будущее».

И опять ели и пили за товарища Сталина. И Сталин тоже пил, как обычно, мало закусывая. ОН любил такие приемы, понимал их

значение, недаром цари устраивали балы, не случайно Петр завел свои ассамблеи. Все это придает правлению властителя ореол праздничности, дает окружению возможность почувствовать ЕГО расположение, отметить ЕГО достижения, ЕГО победы.

Народ любит победы и не любит поражений, помнит только свои победы и не желает помнить поражений. Помнит победу Дмитрия Донского и Александра Невского, победы Ермака, взятие Казани и Астрахани, победы под Полтавой и над Наполеоном. Но не желает помнить татарского ига, сожжения Москвы ханом Девлет-Гиреем, поражений под Севастополем и Порт-Артуром. Все это народ отметает, оставляя в своей исторической памяти только победы. Любит русский человек покуражиться, это у него в крови — компенсация за вековую отсталость, нищету и рабство. В этом ОН убедился еще в ссылке, видел в деревне среди крестьян, это ОН наблюдал и у мастеровых в Баку. Вспыльчивый, горячий грузин выпьет вина и поет с другими грузинами грузинские песни, танцует и веселится. А смирный, тихий русский мужичок, выпивши, лезет в драку, доказывает свою силу. Этот кураж — важное слагаемое русского национального характера, он подвигает русского человека на отчаянные поступки. Именно поэтому народ так любит своих героев, именно поэтому так популярны летчики — они показывают всему миру силу своего народа, удаль и смелость его сынов. И народ ЕМУ благодарен за то, что ОН такими их воспитал. И ОН может гордиться тем, что отсталый, забитый, неграмотный народ превратил в народ-герой. ОН останется в истории тем великим, чего достиг народ под ЕГО руководством. А издержки, неизбежные при создании могучей централизованной державы, забудутся. Кто будет вспоминать жалких пигмеев, которых он вышвырнул за борт истории, сволочь, именующую себя «старой ленинской гвардией»? Почувствовали смертельную опасность! Даже «верный друг» Клим Ворошилов и тот наделал в штаны, позвонил ему: «Коба, как мне поступить, если явятся за мной?» Он тогда помолчал, потянул, поманежил беднягу, потом сказал: «А ты им не открывай дверь». Успокоился, сидит рядом, розовенький дурачок, выпивает, улыбается, как же: военные летчики, его кадры. Пусть тешится.

Так думал Сталин, сидя за столом рядом с Молотовым и Ворошиловым, потягивая вино, понемногу закусывая, оборачиваясь к сцене, когда выступали артисты, и не слушая ораторов, произносивших тосты. Он хлопал и тем, и другим, поднимая свой бокал, потом сказал Молотову:

— Дай мне слово.

Молотов постучал ножом о бокал, этого звука никто не услышал, но официанты мгновенно замерли на своих местах, зал затих, все повернулись к президиуму.

— Слово имеет товарищ Сталин, — объявил Молотов.

Сталин встал, и все тотчас же встали. И снова аплодисменты, снова овация.

Сталин поднял руку — все сразу затихли, Сталин опустил руку — все сели.

— Попрошу, товарищи, наполнить бокалы, — сказал Сталин.

Произошло легкое движение, все торопились налить вино, наливали, что было под рукой, выбирать некогда, нельзя же заставлять товарища Сталина ждать.

Восстановилась тишина.

— Я хочу поднять этот бокал, — сказал Сталин, — за наших мужественных летчиков, нынешних и будущих Героев Советского Союза. Хочу сказать им, и нынешним, и особенно будущим Героям Советского Союза, следующее: смелость и отвага — неотъемлемые качества Героя Советского Союза. Летчик — это концентрированная воля, характер, умение идти на риск. Но смелость и отвага — только одна сторона героизма. Другая сторона, не менее важная, это умение. Смелость, говорят, города берет. Но это только тогда, когда смелость, отвага, готовность к риску сочетаются с отличными знаниями. К этому я и призываю наших мужественных летчиков, славных сыновей и дочерей нашего народа. Я поздравляю наших Героев Советского Союза, как нынешних, так и будущих. Я поднимаю этот бокал как за нынешних, так и за будущих Героев Советского Союза. За летчиков малых и больших — неизвестно, кто малый, кто большой, это будет доказано на деле. Мы уже пили за здоровье товарищей Громова, Юмашева и Данилина. Но не будем забывать, что их героический перелет подготовлен подвигами и других летчиков. Это выдающиеся летчики нашего времени, Герои Советского Союза — Чкалов, Байдуков, Беляков, совершившие первый беспосадочный перелет через Северный полюс, Москва — Ванкувер в Соединенных Штатах Америки. — Сталин протянул палец к столу, где сидели летчики. — Именно они, Чкалов, Байдуков, Беляков, первыми проложили путь через Северный полюс в Америку. Выпьем, товарищи, за наших славных летчиков, Героев Советского Союза, нынешних и будущих.

Сталин выпил. И все выпили, поставили бокалы на стол и зааплодировали. С ними говорил сам Сталин. Все хлопали, кричали: «Да здравствует товарищ Сталин... Товарищу Сталину — ура!» Особенно старались летчики, хлопали в такт и выкрикивали здравицы хором. От их стола отделились Чкалов, Байдуков и Беляков и направились в президиум. Их, конечно, позвали. Без особого приглашения никто не смел пересекать пространство между столом президиума и остальными столами. Сталин пожал летчикам руки, Громову, Юмашеву и Данилину он уже пожимал руки, теперь очередь главного, любимого летчика. Но Чкалов, Байдуков и Беляков явились в президиум с бокалами в руках.

— Товарищ Сталин, — сказал Чкалов, — разрешите обратиться?!

— Пожалуйста.

— Позвольте чокнуться с вами и выпить за ваше здоровье?

— Ну что ж, можно и выпить.

Сталин налил в бокал вина, чокнулся с летчиками, все выпили. Сталин поставил бокал на стол.

— Еще будут какие-нибудь просьбы?

— Товарищ Сталин, — Чкалов смело глядел ему в глаза. — От имени всего летного состава... Сейчас будет выступать Леонид Утесов... От имени всего летного состава... Просим... Разрешите Утесову спеть «С Одесского кичмана».

— Что за песня? — спросил Сталин, хотя знал эту песню. Ее дома напевал Васька, и ОН был недоволен: сын поет воровские песни.

— Замечательная песня, товарищ Сталин. Слова, товарищ Сталин, может быть, и тюремные, блатные, но мелодия боевая, товарищ Сталин, строевая мелодия.

— Хорошо, — согласился Сталин, — пусть споет, послушаем.

В артистической комнате, где толпились, ожидая своего выхода, артисты (те, кто уже выступил, сидели в соседнем зале за специально накрытыми для них столами), появился военный с тремя ромбами на петличках гимнастерки, отозвал в сторону Утесова, строго спросил:

— Что собираетесь петь, товарищ Утесов?

Утесов назвал репертуар.

— Споете «С Одесского кичмана», — приказал военный.

— Нет, нет, — испугался Утесов, — мне запретили ее петь.

— Кто запретил?

— Товарищ Млечин. Начальник реперткома.

— Положил я на вашего реперткома. Будете петь «С Одесского кичмана».

— Но товарищ Млечин...

Военный выпучил на него глаза:

— Вам ясно сказано, гражданин Вайсбейн?! — И злобным шепотом добавил: — Указание товарища Сталина.

И первым номером Леонид Утесов под аккомпанемент своего теа-джаза спел «С Одесского кичмана»...

С Одесского кичмана бежали два уркана,
бежали два уркана да на во-олю...
В Абнярской малине они остановились,
они остановились отдыхнуть.

Пел лихо, окрыленный указанием товарища Сталина, сознавая, что с этой минуты никакой реперктом ему не страшен, он будет петь и «Кичмана», и «Гоп со смыком», и «Мурку», и другие запрещенные песни.

И оркестр играл с увлечением. Ударник выделывал чудеса на своих барабанах и тарелках, саксофонисты и трубачи показали себя виртуозами. Заключительный аккорд, оркестр оборвал игру на той же бравурной ноте, на какой и начал.

Никто не понимал, в чем дело. На *таком* приеме, в присутствии товарища Сталина Утесов осмелился спеть блатную песню. Что это значит?! Идеологическая диверсия?! Не то что хлопать, пошевелиться все боялись. Даже Чкалов, Байдуков и Беляков при-

тихли, не зная, как отреагирует товарищ Сталин. Растерянные оркестранты опустили трубы, бледный Утесов стоял, держась за край рояля, обескураженный мертвой тишиной, и с ужасом думал, не провокация ли это, не сыграл ли с ним военный злую шутку, пойди докажи, что ему приказали, он даже не знает, кто этот военный, не знает его фамилию, помнит только три его ромба.

И вдруг раздались тихие хлопки — хлопал сам товарищ Сталин. И зал бурно подхватил его аплодисменты. Если хлопает товарищ Сталин, значит, ему это нравится, значит, он это одобряет. И правильно! Веселиться, так веселиться! Правильно! Браво! Бис! Бис! Браво!

Взмокший Утесов, едва переводя дыхание, раскланивался, поворачивался к оркестру, отработанным дирижерским движением поднимал его, музыканты вставали, постукивали по своим инструментам, как бы аплодируя залу. А зал не утихал, аплодисментами и криками «бис!» требуя повторения. Глядя на Утесова, Сталин развел руками, пожал плечами, мол, ничего не поделаешь, народ хочет, народ требует, народу нельзя отказывать...

Утесов спел второй раз.

Товарищ, товарищ, болят мои раны,
болят мои раны в глыбоке.
Одна заживает, другая нарывает,
а третия открылась на боке.

Летчики подпевали, притоптывали, отбивали такт ножами и вилками, постукивая ими о тарелки и бокалы. И за другими столами тоже подпевали и притоптывали и, когда Утесов кончил петь, опять взорвались криками: «Бис! Бис!» И товарищ Сталин аплодировал, и члены Политбюро аплодировали, и опять товарищ Сталин пожал плечами, развел руками, и Утесов спел в третий раз.

Товарищ, товарищ, скажи моей ты маме,
что сын ее погибнул на посте.
С винтовкою в рукою и с шашкою в другою,
и с песнею веселой на губе.

Летчики уже не только подпевали, а орали во всю глотку, вскочили на стол и плясали, разливая вина и разбрасывая закуски. Даже писатель Алексей Толстой, толстый, солидный, с благообразным бабьим лицом, и тот взобрался на стол и топтался там, разбивая посуду. Граф, а как его разобрало.

Песня, конечно, уголовная, но что-то в ней есть. Слова сентиментальные, уголовники это любят. «Болят мои раны... Скажи моей ты маме...» Но мелодия четкая, зажигательная. Он хорошо помнит уголовников, встречался с ними в тюрьмах, на пересылках. Конечно, преступники. И сейчас, когда они покушаются на социалистическую собственность, их надо жестоко преследовать, сурово наказывать — социалистическая собственность неприкосновенна. Но тогда, в царские времена, стирались грани между преступлени-

ем и протестом против несправедливости, угнетения и нищеты. Простые, неграмотные люди не всегда могут подняться до высших общественных интересов. Хотят справедливости для себя, требуют перераспределения богатства на своем уровне. В Баку, в Баиловской тюрьме, ОН общался с уголовниками с гораздо большим удовольствием, чем со своими «коллегами» — политическими. «Коллеги» вечно спорили, теоретизировали, выясняли отношения, разбирали свои склоки и интриги, каждый доказывал, что он умнее, образованнее и порядочнее другого. У уголовников все было просто и ясно. Законы, правила, обычаи простые и нерушимые. И наряду с этим слаженность, дисциплина. Беспрекословное подчинение вожаку, преданность своей организации. Измена беспощадно каралась. Самое универсальное наказание — смерть, другими средствами наказания они не располагали. За малейшее подозрение — тоже смерть, никаких средств расследования они не имели.

Уголовное начало — начало атавистическое, оно заложено в каждом человеке. В интересах государственной дисциплины и порядка его следует подавлять. Но когда уголовное начало прорывается вот таким невинным образом, как сегодня здесь, в Кремлевском дворце, в залихватской песне о сбежавшем из тюрьмы воре, в пляске на столе... Ну, что ж, с таким проявлением уголовного начала можно мириться. ОН строго взыскивает за малейшую провинность, но, приходя к НЕМУ на праздник, люди должны испытывать радость и удовольствие.

Этим приемом товарищ Сталин остался доволен. Люди веселились искренне, от души веселились. А если люди веселятся, значит, дела у них идут хорошо. Если люди в стране веселятся, от души веселятся, значит, дела в стране тоже идут хорошо.

3

Группа выстраивалась в шеренгу, если помещение было тесным, то в две, впереди Семен Григорьевич, командовал:

— Начинаем с правой ноги... Шаг вперед — раз! Левой — два! Правой вправо, приставляем левую — три! Снова правой — четыре! Какая нога свободна? Левая! Начинаем с левой. Вперед — раз, два! В сторону — три, четыре! Ту же фигуру проделываем назад: правой, левой — раз, два! Вправо, влево — три, четыре! Вернулись в исходное положение.

Это движение — основа фокстрота, румбы и танго — повторилось много раз. Потом все разучивалось под музыку, под четкие, ударные звуки фокстрота или румбы. Правой вперед — раз, два, вправо — три, четыре!.. Фиеста, закройте двери. Фиеста, тушите свет... Раз, два, три, четыре!.. «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц...» Раз, два, три, четыре!.. «И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ...» Раз, два, три, четыре! Убедившись, что движение освоено, Семен Григорьевич приказывал его проделать в паре.

Семен Григорьевич был весьма представителен. Плотный, даже полноватый, средних лет, с бритой актерской физиономией, пышной седеющей шевелюрой, появлялся на занятиях в неизменном темном костюме, белой рубашке, с бабочкой, в блестящих лакированных туфлях. Ходил, опираясь на черную, тоже лакированную трость с массивным круглым блестящим набалдашником. Во время урока ставил ее в дальний угол, чтобы не задели, не уронили. Голос у Семена Григорьевича был приятный, по-актерски хорошо поставленный, даже интеллигентный, говорил он весомо, значительно, во вступительном слове, как и предупреждал Глеб, ссылался на Сократа и Аристотеля, доказавших, что танцы полезны для здоровья, развивают художественный вкус и музыкальность.

Западные танцы, утверждал Семен Григорьевич, ошибочно трактуются как буржуазные, на самом деле происхождение их народное. Танго — народный танец Аргентины, румба — Мексики, медленный фокстрот танцуют обычно под музыку блюза — грустные мелодии американских негров. Семен Григорьевич просил Глеба проиграть несколько музыкальных фраз блюза и обращал внимание слушателей на их безысходную тоску. Это тоска негритянского населения США, столетиями пребывавшего в рабстве и поныне угнетаемого и унижаемого буржуазным обществом.

К Семену Григорьевичу, к его лекциям Саша относился иронически. «Жучок». Таскается со своей тростью по месткомам и фабкомам, заключает договоры, мухлюет, прикрываясь своим респектабельным видом. И можно ждать чего угодно. От любого человека можно ждать чего угодно, все теперь их люди. И он, потянувши руку за расстрел Тухачевского, разделил с ними ответственность за убийство невинных людей. Воспоминание о том митинге, об охватившем страхе угнетало его, он был себе отвратителен, пытался уверить себя, что так устроен мир, но понимал, что так устроен он сам.

Никто никому не верит, и он не верит, ни с кем не говорит о политике, даже о том, что пишут в газетах... «Да? А я не читал... Пропустил, наверно...» Он и в самом деле их почти не читал, иногда, проходя по улице, останавливался у стенда, проглядывал «Правду». Все одно и то же: победные реляции, трудовые рекорды, приветствия великому Сталину, его портреты, разоблачения шпионов, диверсантов, троцкистов, расстрелы, суды, награждение орденами работников государственной безопасности за «особые заслуги в борьбе с врагами народа». В одном из списков награжденных Саша увидел имя Шарока Юрия Денисовича, награжденного орденом Красной Звезды.

Будягин и Марк расстреляны, руководители партии, совершившие Октябрьскую революцию, герои гражданской войны, истреблены, а контрреволюционеры и антисоветчики награждаются орденами от имени той партии, которую они уничтожили, от имени власти рабочих и крестьян, которой уже нет. Чью же диктатуру осуществляет Сталин? Пролетариат бесправен. Крестьянство превращено в крепостных, называемых колхозниками. Государствен-

ный аппарат живет в страхе. В стране диктатура Сталина, только Сталина, одного Сталина. Утверждение Ленина, что волю класса может выражать диктатор, неправильно, диктатор может выражать только собственную волю, иначе он не диктатор.

Попалась Саше на глаза статья Вадима Марасевича. Вот и Вадик печатается в «Правде», громит какой-то роман, обвиняет автора в апологетике кулака. «Хочет того автор или не хочет, — писал Вадим, — но его роман оказывает хорошую услугу международному империализму, помогает ему духовно разлагать советских людей, подрывает их веру в великое дело Ленина—Сталина». Ничего себе обвинение, тянет на 58-ю статью, это уж точно. Хорош профессорский сынок!

Все скурвились, все продались. Всеобщий страх породил всеобщую подлость, все под колпаком, всюду их глаза, их уши, всюду отделы кадров, анкеты, требуют паспорт, а там обозначено, кто ты такой.

Значит, выбор сделан правильно. Танцы! Не требуют здесь автобиографии, не надо заполнять анкет. Если держаться осторожно, можно не нарваться. Хозяйка не требует обещанного ей Глебом официального направления, забыла, наверное. Приходит Саша поздно и встает поздно, часто и вовсе не приходит, живет тихо, никто у него не бывает, за квартиру платит аккуратно, хозяйку это устраивает. Правда, Глеб сказал, что следует зайти в Гастрольбюро к Марии Константиновне с паспортом, но как-то мельком сказал. И Саша отодвинул это от себя, не спрашивают паспорт, и ладно.

В первое же воскресенье после приезда в Уфу он позвонил маме. Голос у нее был встревоженный. Телефонистка сказала — «Ответьте Уфе».

— Сашенька, почему Уфа, что за Уфа?

— Я в Уфе с автоколонной, в командировке, пробуду месяца два-три, будем вывозить хлеб из районов, поэтому не уверен, что смогу регулярно звонить. Но буду стараться. Как всегда, по воскресеньям. Мне пиши: Уфа, Центральный почтамт, до востребования.

Но мама чувствовала что-то неладное, опять страдала и волновалась за него.

— Почему так далеко? Из Калинина в Башкирию?!

— Мама, как проводить уборочную кампанию, решаем не мы с тобой. Приказали отправить автоколонну — отправили. Нет причин для волнений.

— Зайди к брату Вериного мужа. Я тебе дала его адрес.

— Будет время, зайду.

Позвонил он маме и в следующее воскресенье, и мама вроде бы успокоилась. Но что будет с ней, если здесь или где-нибудь в другом месте, куда занесет судьба, его арестуют? В 1934 году его арестовали дома, мама искала его по московским тюрьмам и наконец нашла. А если заберут в Уфе или еще где-нибудь, как и где она будет его искать, не будет знать, жив ли он, умер, арестован,

куда ей ехать, куда бросаться, в какую тюрьму, в какую больницу, на какое кладбище... Этого мать уже не перенесет.

К родственникам Веры он не пошел. Неизвестно, как они отнесутся к его посещению: принимать у себя судимого сейчас опасно. Да и надобности нет. Он устроен, привыкает к этой жизни, спокойной и даже легкой. В Калинине, накручивая километры на своем грузовике, он жевал и пережевывал одни и те же мысли, накидывался на газеты, впадал в отчаяние, особенно унылыми одинокими вечерами. Здесь вечера праздничные — музыка, красивые девушки, глаза лучатся, забыли про начальство, парткомы, профкомы, служебную тягомотину, ловят каждое его слово.

— Правой вперед — раз! Левой вперед — два! «А Маша чай в стаканы наливает, а взор ее так много обещает...» Раз, два, три, четыре! «У самовара я и моя Маша, вприкуску чай пить будем до утра...» Стараются. И про треклятый быт не помнят, и про то, что не хватит денег до получки, забыли... Хорошая работа, люди получают удовольствие.

В каждой группе Саша выбирал способную девочку, показывал с ней движения, она становилась его ассистенткой. Одна такая девочка появилась в первой же группе, ее звали Гуля, стройная, гибкая, лет шестнадцати, с детским личиком, нежным и доверчивым. Хорошо чувствовала такт, обладала легким шагом и сильными руками, крепко держала партнера, поворачивала его в нужную сторону, безотказно работала с самыми тупыми. «Наш девиз, — солидно говорил Семен Григорьевич, — добиться стопроцентной успеваемости. Каждый может научиться танцевать — способность к танцу заложена в человеке природой».

Саша часто ловил на себе Гулин взгляд, смущаясь, она тут же отводила глаза. Он ей нравился, в этом возрасте девочки часто влюбляются в молодых преподавателей. Однажды, танцуя с ним, Гуля, преодолевая робость, сказала:

— Хотите после занятий пойти в театр, здесь, во Дворце труда, наверху?

Наверху был зрительный зал, устраивались концерты, выступали приезжие труппы.

Гуля вынула из нагрудного карманчика два билета:

— У меня уже билеты есть.

— Спасибо, Гуленька, но сегодня после занятий совещание в Гастрольбюро, пойди с подругой.

Никакого совещания не было, но заводить роман с этой девочкой Саша не хотел.

Он вспомнил Варино приглашение на каток в «Арбатском подвальчике». Такой же наивный прием. Он думал теперь о Варе без ревности, без обиды. Все перегорело и ушло. Было в ней тогда обаяние юности, было его одиночество в Сибири, ее приписки к маминым письмам, ни от кого он больше писем не получал, и потому ожидание свободы связывалось именно с ней, Варя была для него его Москвой, его Арбатом, его будущим. Все придумал, все сочинил. И все же рана болит, когда к ней прикасаешься. И он

старался меньше вспоминать о Варе. Но однажды, разговаривая с мамой по телефону, спросил, кто у нее бывает. Он не собирался задавать этого вопроса, но ему захотелось вдруг услышать Варино имя.

— Кто бывает? — переспросила мама. — Варя заходит, иногда приезжают сестры. А что?

— Ничего, — ответил он, — просто хотелось представить себе, как ты живешь.

Значит, Варя заходит. Это сообщение обрадовало его. Хотя, если разобраться, ни о чем оно не говорило. Хотел услышать Варино имя и услышал. И точка.

4

После первой поездки Шарока в Париж последовала вторая, а потом его там оставили с добытым в Испании паспортом русского эмигранта Юрия Александровича Привалова. Удача была в совпадении имен: и его, и покойного звали одинаково — Юрий. Легенда была хорошо проработана. Мальчиком очутился в эмиграции, в Шанхае, родители умерли, перебрался в Париж, работает в рекламной фирме, хозяин — француз. В России, в Нальчике, остались дальние родственники, с ними, естественно, связи не поддерживает, да и живы ли они, не знает. «Крыша» хотя и не дипломатическая, но надежная. Шпигельглас доверил ему связь с двумя агентами — генералом Скоблиным («Фермер») и Третьяковым («Иванов»). С «Фермером» Шарок уже встречался раньше, вместе со Шпигельгласом, когда готовили дело Тухачевского, а досье Третьякова — «Иванова» изучил в Париже.

Сергей Николаевич Третьяков, до революции крупный российский промышленник, в 1917 году министр Временного правительства, затем министр в правительстве Колчака, завербованный в 1930 году за 200 долларов в месяц, обладал хорошей репутацией среди эмигрантов. Но главная его ценность как агента заключалась в следующем: в доме Третьякова (улица Колизе, 29) на первом этаже размещался штаб РОВСа, Российского общевоинского союза, семья Третьякова жила на третьем этаже, а сам он — на втором, как раз над кабинетом руководителя РОВСа генерала Миллера. В потолке кабинета установили подслушивающее устройство, Третьяков сидел весь день дома со слуховым аппаратом, записывал, записи передавал Шароку. Таким образом, советская разведка имела доступ к самой секретной информации о белогвардейской эмиграции.

И встречаться с Третьяковым было приятнее, чем со Скоблиным. Скоблин держался высокомерно, да и встречи с ним были опасны: эмигранты подозревали его в сотрудничестве с НКВД, за ним могли следить, приходилось часто менять время и место свиданий. Третьяков был вне подозрений, они встречались по средам около пяти в кафе «Генрих IV» на углу Плас де ла Бастиль и бульвара Генрих IV, сидели в небольшом полупустом в этот час

зале, о деле никогда не говорили, клали на стол принесенные с собой журналы, Третьяков уходил с журналом Шарока, Шарок с журналом Третьякова, в нем лежали тексты подслушанных разговоров.

В свое время Шпигельглас предупреждал:

— Третьяков разочаровался в эмиграции, но выдает не всю информацию, какой обладает. Вам следует все время выказывать недовольство, требуя большего. Он работает исключительно ради денег и будет у вас всячески их клянчить и вымогать. Не поддавайтесь. Двести долларов в месяц — ни цента больше. Будет плохо работать, давайте по сто, остальные, когда выдаст что-нибудь дельное. Расписка — обязательна. Особенно остерегайтесь его экскурсов в прошлое, он любит вспоминать старину и заболтает вас.

Однако Шарок был доволен Третьяковым. В отличие от коротких, отрывистых и не всегда существенных сообщений Скоблина информации Третьякова были обстоятельны и значительны. Высокий, красивый, вальяжный русский барин мелкими глотками потягивал кофе, пускаясь в рассуждения о дореволюционной России, о старой Москве. Шарок вопреки совету Шпигельгласа не прерывал Третьякова. Почему не послушать? Но в то же время, наблюдая за стариком, делал свои выводы: переменчив в настроениях. Блаженная улыбка так же легко сходила с его лица, как и появлялась, он хмурился, багровел, принимался ругать эмиграцию:

— В смысле борьбы с Советами потеряла всякое значение, грызутся друг с другом. Иностранные державы перестали делать на нее ставку. На покойников, как известно, ставки не делают.

Шарок отводил на встречи с Третьяковым минут сорок, не подозревая, что скоро ему придется провести с ним почти двое суток, не расставаясь ни на минуту. Случилось это во время похищения Миллера. Миллер знал, какую роль сыграл Скоблин в деле Тухачевского и других советских военачальников. Именно поэтому Шпигельглас считал его нежелательным свидетелем и вместе со Скоблиным подготовил акцию похищения, назначив ее на 22 сентября. На этой операции Скоблин и провалился.

Перед уходом из штаба генерал Миллер оставил запечатанный конверт с приказанием вскрыть его в том случае, если к вечеру он, Миллер, не вернется.

Миллер не вернулся, конверт вскрыли, в нем лежала записка:

«Сегодня в 12 часов 30 минут у меня назначена встреча с генералом Скоблиным на углу улиц Jasmin и Raffet. Он должен отвезти меня на рандеву с двумя немецкими офицерами: полковником Штроманом и сотрудником здешнего германского посольства Вернером. Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, это ловушка, поэтому я оставляю вам эту записку».

Записку сотрудники Миллера предъявили Скоблину и предложили отправиться с ними в полицию. Однако Скоблину удалось бежать и связаться со Шпигельгласом. Тот приказал Шароку спрятать его у Третьякова, то есть в доме, где находился штаб РОВСа и где никому в голову не могло прийти его искать. Через

два дня Шпигельглас переправил Скоблина в Испанию, а сам уехал в Москву.

Увидев Скоблина, Третьяков перепугался, а на следующий день, узнав из газет, что Скоблин участвовал в похищении Миллера, перепугался еще больше — скрывая Скоблина, он становился соучастником преступления. Два дня Шарок держал его под своим неусыпным контролем, успокаивал старика, а когда Скоблина переправили в Испанию, выдал ему пятьсот долларов за оказанную услугу. Таково было распоряжение Шпигельгласа. Третьяков успокоился, тем более имя его в связи с этим делом нигде и никем не упоминалось, он по-прежнему вне подозрений.

Подробности о похищении Миллера Шарок узнал из газет. Скоблин привез Миллера на бульвар Монморанси, где в воротах виллы два человека втолкнули его в машину, она тут же отправилась в Гавр. В Гавре ящик, в который запрятали Миллера, перегрузили на борт советского парохода «Мария Ульянова», пароход снялся с якоря и ушел в Ленинград. О дальнейшей судьбе генерала Миллера Шарок мог только догадываться — наверняка расстреляли.

Внимательно читая газеты, Шарок усмехался про себя — шумят, кричат. Большевики на территории Франции среди бела дня похищают людей! Похитили генерала Кутепова, теперь генерала Миллера! Грузовик, на котором доставили Миллера в Гавр, принадлежит советскому посольству. В кампанию включился знаменитый Бурцев, разоблачивший в свое время провокатора Азефа. Бурцев утверждал, что главный агент Москвы — не Скоблин, а его жена — известная русская певица Плевицкая. Скоблин при ней на вторых ролях. Плевицкую арестовали, дожидается в тюрьме суда. Обстановка накалялась, Шпигельглас и кое-кто из резидентов отсиживались в Москве. Хорошо законспирированный Шарок остался в Париже. Помимо всего прочего, занимался немецким.

Шпигельглас ему как-то сказал:

— Разведчик должен знать минимум два языка. В школе у вас был французский, в институте — немецкий, так написано в вашей анкете.

— Да, в институте был немецкий.

— Вот и займитесь. Ваш хозяин — эльзасец, жена — немка, говорят и по-немецки, вот вам практика.

Шутливо, но со значением добавил:

— Занимайтесь прилежно, будем проверять. И еще: завязывайте связи с эмигрантами на бытовом уровне, можно и на деловом, коммерческом, если понадобится. У вас должен быть круг знакомых, которые смогут засвидетельствовать: «Ах, Юрий Александрович... Мы его знаем». Это могут быть простые люди, не обязательно титулованные особы.

— Среди простых эмигрантов бывают и князья, — пошутил в свою очередь Шарок.

— И это подходит.

5

Семен Григорьевич пригласил еще двух аккомпаниаторов — пианиста и баяниста. Баяниста звали Леня — здоровый добродушный парень, безответный, покладистый, таскался со своим баяном, куда прикажут, играл по слуху, репертуар примитивный, выпивал, составил в этом смысле компанию Глебу, да и Саше, Саша в последнее время тоже прикладывался, иногда крепко. Второй — пианист, профессионал, Миша Каневский, худенький, с нервным лицом, серыми беспокойными глазами и длинными красивыми пальцами, учился в ленинградской консерватории, не закончил, попал в Уфу, в Гастрольбюро, работы было мало, и вот принял предложение Семена Григорьевича, от работы в ресторанном оркестре отказался:

— В ресторанного холуя «они» меня не превратят. — И на лице его блуждала скорбно-презрительная улыбка, кривил губы.

Мишу выслали из Ленинграда после убийства Кирова в числе нескольких тысяч «представителей буржуазии и дворянства», его отец, адвокат, владел до революции домом в Санкт-Петербурге. После революции дом реквизировали, адвокат попал в число «бывших крупных домовладельцев», Миша значился «сыном бывшего крупного домовладельца». Таких ребят в Уфе было много, положение их неясное, паспорта не отобрали, только ликвидировали ленинградскую прописку. Будущее свое Каневский представлял, конечно, совсем иным и вот по «их» милости оказался в Уфе, в роли тапера. Все в этом городе было ему ненавистно: «их» клубы, «их» пианино и рояли, которые уже давно пора настраивать, но хамье этого не понимает, «их» лозунги на стенах, «их» пошлые современные мелодии, которые ему приходилось играть. В душе презирал Глеба и Леню, никакие они не музыканты, Семена Григорьевича, Нонну и Сашу — халтурщики, сшибают деньгу, держался особняком, не вступал в разговоры, даже курил, стоя в стороне. Как только кончались занятия, мгновенно исчезал.

Глеб его невзлюбил, держался с ним холодно.

— Не выношу еврейского интеллигентского высокомерия, — сказал он Саше.

— Оказывается, ты антисемит? Не думал.

— Я не антисемит, дорогуша, все мои друзья и в школе, и в училище были евреи. И соседи по квартире тоже, прекрасные люди! И мои учителя многие — евреи, таких учителей не найдешь! Но у каждого народа есть свои недостатки, у еврейских интеллигентов — высокомерие. Каневский много о себе понимает, считает себя гением.

— «Этот армянин», «этот хохол», «этот грузин», — противно слушать, — Иванов украдет, скажешь: «Иванов вор». А Рабинович украдет, скажешь: «Еврей вор».

— Неприятный тип.

— Тип — это ты! А он несчастный, гонимый человек.

Во время урока Глеб поглядывал в сторону Саши, чувствовал себя виноватым после разговора о Каневском. Потом перестал об

этом думать, играл, покачивая в такт музыке головой, лицо было размягченным, глаза отсутствующими, видимо, что-то вспомнилось. Занятия кончились, а он все сидел за пианино, опустив руки на колени. Кивнул Саше: подойди!

— Ты заметил, дорогуша, что настроение создают самые незатейливые мелодии, самые простенькие слова. Не надо никаких выкрутасов, но желательно, чтобы было слово «помнишь». Тут скажу тебе, дорогуша, никто не может устоять.

— Например?

— Пожалуйста, даже с твоим именем: «Саша, ты помнишь наши встречи в приморском парке на берегу. — Он тихонько подыгрывал себе одной рукой, те, кто не успел уйти, возвращались от двери, Глеб хорошо пел, Саша это знал, еще по Калинину. — Саша, ты помнишь тихий вечер, весенний вечер, каштан в цвету...» Это Изабелла Юрьева, а вот тебе Лещенко: «Помнишь, как на Масленой в Москве в былые дни пекли блины, ты хозяйкой доброю была и блины мне вкусные пекла». Ну и так далее.

Саша уже вел занятия самостоятельно, сам произносил вступительные речи, не повторял Семена Григорьевича, цитировал не Сократа и Аристотеля, а Пушкина:

Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и жизнь, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.

— Если бы Пушкин появился на наших занятиях, — заключал Саша, — то убедился бы, что в России стройных ножек гораздо больше.

Все улыбались, и Саша начинал занятия.

— Здорово ты придумал с Пушкиным, — одобрил Глеб.

Каневский, обычно не вступавший в разговоры, усмехнулся:

— Современно и своевременно. Отмечали столетие со дня гибели Пушкина, теперь его знают все советские люди. Я прочитал в газете выступление не то доярки, не то свинарки, не помню: «Молодец, Татьяна: отшила Онегина. Когда простенькая была, в деревне жила — отказался от нее. А как генеральшей стала, сразу понадобилась».

Он замолчал, по-прежнему скорбно-презрительно кривя губы. С Сашей, с единственным у него тут сложились более или менее дружеские отношения. Саша жалел его, озлобленного и беспомощного, жалкого в своей гордыне. Каневский чувствовал Сашино участие, перебрасывался с ним двумя-тремя фразами, именно ему охотнее всего аккомпанировал. Но сегодня не смог сдержаться. Слишком совпало это с пушкинскими торжествами, проведенными на государственном уровне с фальшивой помпой. И пользоваться его именем здесь, на этой халтуре? Саша и сам чувствовал, что дует в общую дуду. Но жалко было отказаться от такого радостного вступления к занятиям. Разглагольствовать об эксплуатации капи-

талистами негритянского населения Америки? Нет, стихи Пушкина о балах, о тесноте и радости здесь больше подходят.

— Подкусил тебя сегодня Каневский, подковырнул, — заметил Глеб.

— Чем это?

— Пушкиным... Мол, власти используют Пушкина и ты с ними заодно.

— Ну, что ж, так может показаться.

— Не всем, дорогуша, не всем. Мне вот не показалось, мне, наоборот, понравилось. А ему нет. «Свинарки», «доярки»... Видел он этих свинарок и доярок? Молочко небось пьет, а доярок презирает. Он бы хоть раз на их руки посмотрел. Пальцы корявые, распухшие, ими по клавишам не потренькаешь, попробуй подои корову, поймешь, сколько сил надо.

— Дался тебе этот Каневский! Может быть, тебе не нравится, что он играет на рояле не хуже тебя?

— Он обязан играть лучше меня, он учился в консерватории, а я нигде не учился, к тому же я не музыкант, а художник. Мне не нравится другое, мне не нравится, что мы из-за него в тюрьму сядем. Вот что мне не нравится.

Саша пожал плечами.

— Да, да, дорогуша, представь себе! Насчет Пушкина он сказал издевательски: в Пушкина вцепились хамы.

— Зачем искать такой смысл? Извратить можно любое слово.

— Я ничего не извращаю, дорогуша. Но быть бдительным, как сейчас говорят, я обязан, должен быть на стреме, думать о том, кто рядом со мной и чего я могу от кого ожидать. Время такое, дорогуша, а ты тем более обязан! В Калинине ты еще чувствовал себя бывшим зеком, осторожным был, а здесь забыл, вот и вляпаешься. Впрочем, ты уже и в Калинине бдительность потерял.

— В чем именно?

— Я тебя там в «Селигере» предупреждал насчет режима. Ты должен был на следующий же день уволиться со своей задрипанной автобазы и мотать оттуда вместе со мной. А ты остался.

— Мы с тобой уже говорили об этом. Уволился на несколько дней позже.

— Нет, дорогуша, нет, — поморщился Глеб, — не уволился, а уволили. «Ввиду убытия» — это значит: или посадили, или из города выгнали. Ты еще счастливо отделался. Могли не просто лишить права проживания, могли и выслать. Только, видно, короткий срок им дали, некогда было разбираться, кого куда, а так всех чохом — вон из города, и концы. Задание выполнено!

— Неизвестно, как бы получилось, если бы я уехал с тобой. А так у меня все законно: с работы уволен, с места жительства выписан.

— Выписан! А где прописан? Не чешешься? Как твой любимый Пушкин писал: «Зима, крестьянин торжествует, надел тулуп и в ус не дует». Вот и ты не дуешь! Живешь себе тихо, спокойно. А случись сейчас здесь драка с этими вот башкирами, вмешается

милиция — ваши документы! Позвольте, а где вы прописаны? Нигде! А у нас больше трех суток жить без прописки не положено. Может быть, вы скрываетесь, может быть, вы преступник? Сейчас у тебя несколько месяцев без прописки, а там, глядишь, и полгода, и год накапает. Приедешь в другой город, придешь прописываться, а тебя спросят: где год околачивались? Что скажешь? На новом месте другой Людки и Лизы-паспортистки может и не найтись. Да и здесь Мария Константиновна в Гастрольбюро увидит твой паспорт и скажет: снимаю вас с учета, у вас нет прописки. Кстати, дорогуша, я тебе говорил: надо явиться к Марии Константиновне с паспортом. Говорил?

— Да, говорил, но как-то мельком.

Глеб хлопнул обеими ладонями по столу.

— Что ты, дорогуша, мотаешь мне нитки... У меня ведь не катушка! Что значит «мельком»? Для тебя ничего не может быть «мельком», все имеет значение, все моментом усекай и поворачивайся!

— Что об этом говорить, — нахмурился Саша. — В Калинин я не поеду, никто мне там выписку не аннулирует. Надо придумать что-то здесь.

— А почему сам не думал? Хоть и попадал ты в серьезные переплеты, да, видно, везло тебе, вывинчивался. А может и не повезти, крупно не повезти, так что смотри в оба.

6

Предупреждение Глеба сбылось на следующий же день, бес в нем сидит или заранее знал?

Утром, когда Саша умывался, к нему вышла хозяйка.

— Александр Павлович, вчера приходили с избирательного участка, с ними паспортистка из домоуправления. Составляют списки по выборам в Верховный Совет. Читали, наверно, в газетах, в декабре будут всенародные выборы.

— Читал, конечно, знаю.

Опять, как когда-то, противно и тревожно заныло сердце.

— Составляют они списки жильцов. — Голос у хозяйки был нудный, монотонный. — Чтобы все обязательно проголосовали, все сто процентов. Я вас записала — Панкратов Александр Павлович, артист, по направлению Гастрольбюро. А паспортистка меня обрывает: «Никакого направления из Гастрольбюро вы мне на него не давали». Александр Павлович, я запамятовала, давали вы мне направление?

Саша замялся.

— Не помню... Какую-то бумажку оттуда мы, кажется, приносили, когда пришли с моим товарищем в первый раз.

— Может, я куда-то засунула, совсем без памяти стала. Но дело поправимое. Случалось, я направление теряла, бывало, жильцы протаскают в кармане и тоже теряют. Мария Константиновна

всегда копию давала, и еще: вам велели зайти с паспортом на избирательный участок, тут недалеко, в школе.

— А если я до выборов уеду?

— Они вам все объяснят, открепительный талон дадут.

Хотел хотя бы на время душевного спокойствия: никуда не ходить, не объясняться, не унижаться. И вот расплата. В газетах пишут о предстоящих выборах как о великом торжестве советской демократии. Выдвигаются кандидаты в депутаты «от блока коммунистов и беспартийных» — «достойные сыны и дочери советского народа». Первым кандидатом называют товарища Сталина. Все это Саша читал каждый день, где-то копошилась мысль, что выборы могут быть чреваты неприятностями для него, но отгонял эту мысль и дождался. Дурак, не послушался тогда Глеба, уехал бы с ним из Калинина, осталась бы в паспорте калининская прописка. А теперь на избирательном участке начнутся выяснения, и хозяйку подведет — держала три месяца человека без прописки, и Марии Константиновне в Гастрольбюро достанется — взяла на учет. Что же делать? Не сходить ли к брату Вериного мужа, старый житель Уфы, может, посоветует что-нибудь.

Его встретила женщина в старом капоте, с испуганными глазами.

Саша представился, добавил:

— Вера Александровна писала вам обо мне и звонила Сергею Петровичу.

— Нет, нет. — Женщина замотала головой. — Сергея Петровича нет, он уехал, надолго, не знаю, когда вернется.

Не предложила сесть, мотала головой, хотела, видно, только одного — поскорее захлопнуть за Сашей дверь.

Саша ушел. Побоялись, наверно, принять его, с у д и м о г о.

Когда в воскресенье он позвонил в Москву, мама сказала:

— Ты по Вериному адресу не ходи, ее деверь в больнице, надолго.

Саша понял, Верин родственник арестован, потому так перепугана его жена. Рядовой инженер, отец троих детей, и его посадили.

Все это выяснилось в воскресенье, а в тот день вечером Саша сказал Глебу:

— Ты оказался прав.

— Что случилось, дорогуша?

Саша передал разговор с хозяйкой.

— Влип ты, дорогуша, — заулыбался Глеб, — как башкиры говорят: «Ошибку давал, вместо «ура» — «караул» кричал».

— Уеду завтра из Уфы, иначе за горло возьмут. Конечно, я виноват, подвожу и хозяйку, и Марию Константиновну, и Семена, но что делать?

— Чем ты их подводишь? — Глеб насмешливо смотрел на него.

— Я уеду, а им расхлебывать эту историю.

— Все о других печешься. — Глеб смотрел все так же насмешливо. — О человечестве, как бы кого не подвести... Человечество о себе само позаботится, у тебя совета не спросит.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь.

— Все о том же. «Им расхлебывать». А чего им расхлебывать?! Подумаешь, приехал какой-то танцор-плясун-гастролер, проболтался, даже не прописался и укатил... Привет с Анапы! Отплясал свое. Таких перекати-поле, дорогуша, десятки. Кто будет твое дело расследовать, кому ты нужен? Домоуправление само прохлопало, три месяца человек жил без прописки. Мария Константиновна? Ну, скажет Семену: «Каких вы несолидных людей держите!» Тоже ведь прозевала. И все. Уедешь — никого не подведешь. Кроме себя, конечно, что будешь делать на новом месте? Хоть и падают на тебя девки, но ведь не сразу попадешь на такую, чтобы в деле помогла. Нет, дорогуша, если ты уедешь, им нечего будет расхлебывать. А вот если останешься, тогда им придется мозгами шевельнуть, и Семену, и Машеньке нашей красавице Константиновне: надо им что-то с тобой делать, надо им свой промах исправлять.

— Это неприемлемо: присутствует элемент шантажа.

— Вот-вот, дорогуша, это интеллигентство гнилое в тебе говорит, чистоплюйство твое! Уехать всегда успеешь, надо здесь все шансы испробовать. Семену ты нужен, ты в Уфе знаменитость, Семен заключает договор, а там просят: пришлите нам того чернявого, что во Дворце труда занятия ведет, вот какая о тебе слава пошла... И я тебе сам скажу — не ожидал! Когда ты делаешь первый шаг и так это протяжно говоришь: «И... раз!», то это твое «и» тянет всех за собой. Что же, Семен тебя отпустит, а сам будет бегать по группам? Думаешь, он на палочку опирается для форсу, для солидности? У него ноги плохо ходят, он только на первом занятии этаким фертом выглядит, а потом два дня отлеживается. Разве он вытянет по шесть часов в день? И замены тебе нет. Значит, он должен твое дело уладить. Договорится с Марией Константиновной, не беспокойся! Она с Семеном повязана, никуда не денется и все может. Давеча одному обормоту квартиру с пропиской устроила, с временной, правда, пропиской, но тебе какая разница, тебе важно три месяца прикрыть. Ляпнут в милиции штамп, и катись к едренефене. Поговори с Семеном, все начистоту выложи, он мужик ушлый, сделает, как надо.

Все произошло так, как и предполагал Глеб. Семен Григорьевич взял Сашин паспорт и вернул на другой день с двумя направлениями, копию Сашиной хозяйке, а другое — по новому адресу, с добавлением: «Просьба прописать временно». Саша съездил, посмотрел квартиру: убогий домишко на окраине Уфы, на огородах, грязь непролазная, осенняя. Хозяйка, шустрая старушка, показала ему каморку с деревянным топчаном вместо кровати и гвоздем на двери вместо шкафа, взяла паспорт, направление и деньги за месяц вперед. Это жалкое жилище стоило вдвое дороже комнаты в центре — цена прописки.

Оставаться в этой халупе, мотаться сюда каждую ночь после занятий Саша не собирался. Прописка есть, и жить он может теперь где пожелает. Повесил на гвоздь старый костюм, плащ, зимой уже не нужный, засунул под топчан сношенные туфли,

положил на табуретку возле оконца зубную щетку — придал видимость жилья. Сходил на избирательный участок, предстал перед очами членов избирательной комиссии, их там было трое, проверили паспорт, внесли в списки, вручили приглашение на голосование, без всякой надобности сверлили Сашу недобрыми глазами, говорили казенно.

И сразу всплыло в памяти, как у них дома в Москве в начале тридцать третьего года получали паспорта... В домоуправлении толпились жильцы, волновались, запомнились две старушки, тряслись от страха, боялись подойти к столу, за которыми сидели милицейский чин, паспортистка и худющий пожилой тип — представитель общественности. Каждый жилец держал в руках заполненную анкету, выкладывал ее на стол вместе с метрикой и справкой с работы. Милицейский чин их рассматривал, если что-то было непонятно, возвращал, требовал принести другие. Если же документы были в порядке, выдвигал ящик стола, сверялся с лежащим там списком, накладывал на анкете резолюцию и передавал паспортистке.

Саша не понимал тогда, почему эта процедура вызывает у кого-то тревогу и волнение: преступников тут нет, прожили в этом доме жизнь, многих Саша знал с детства. Перед ним в очереди стоял Гурцев, его Саша тоже знал с детства, вежливый интеллигентный человек, муж известной балерины, умершей год назад. Саша помнил ее пышные похороны. Гурцев в черном пальто шел за гробом. Они не были близко знакомы, но здоровались как люди, часто встречающие друг друга во дворе, на лестнице, в лифте. Гурцев выложил документы, милицейский чин их просмотрел, взглянул на список в ящике стола, положил документы Гурцева в отдельную папку.

— Явитесь завтра в одиннадцать часов в восьмое отделение милиции.

— Позвольте... — начал Гурцев.

— Гражданин, я вам все объяснил. Следующий!

— Но я хотел бы знать...

— Все там узнаете. Следующий!

Как рассказывала потом мама, Гурцеву паспорт не выдали, приказали покинуть Москву: его отец до революции был фабрикантом. Отказали в паспортах еще нескольким семьям в их доме. И тем двум старушкам отказали. Говорили, что «беспаспортные» выехали на сто первый километр.

Почему же он тогда молчал, не возмущался? А когда самого коснулось, задумался.

Саша жил у Глеба. Поставили раскладушку, добавили хозяйке тридцатку. В свою халупу Саша являлся раз в неделю, обычно в воскресенье утром, на 7 ноября принес торт — праздничный подарок, старушка обрадовалась: «Люблю слатенькое», — почему не ночует, не спрашивала, привыкла к тому, что жильцы не ночуют, только ближе к декабрю каждый раз напоминала, чтобы пришел голосовать, иначе неприятностей не оберешься, ее на этот счет

строго предупредили, и пришел бы пораньше, грозились после двенадцати дня ходить по квартирам, собирать тех, кто не явился.

Глеб тоже предупредил насчет выборов:

— Не вздумай вычеркивать, у них все бюллетени меченые. Сразу опознают.

Саша, естественно, не вычеркнул единственного кандидата, даже фамилию его не запомнил и в кабину не зашел, она стояла в другом конце зала, зайдешь, подумают, хочешь вычеркнуть. Прошел мимо натыканных на каждом углу «общественников» к урне, опустил бюллетень.

Все так поступали. Не было ничего удивительного в том, что за «блок коммунистов и беспартийных» проголосовало 98,6 процента избирателей. И не удивили слова Сталина на предвыборном собрании: «Никогда в мире еще не было таких действительно свободных и действительно демократических выборов, никогда! История не знает такого примера...» Удивило только, откуда взялись почти полтора процента голосовавших против.

7

Перед отъездом Шпигельглас передал Шароку связь с Марком Григорьевичем Зборовским — агентом по кличке «Макс», он же «Тюльпан». Шпигельглас спешил, но настолько важной была фигура «Макса» — Зборовского, что Шпигельглас посчитал необходимым собственным присутствием закрепить этот контакт. Зборовский был личным секретарем, доверенным лицом и ближайшим другом сына Троцкого — Льва Седова, выпускавшего в Париже «Бюллетень оппозиции» и работавшего над созданием IV Интернационала.

То, что Шпигельглас давно охотится за Троцким, не вызывало у Шарока никакого сомнения. В свое время Шпигельглас опирался в этом деле на Скоблина и ближайшего скоблинского друга в Болгарии генерала Туркула. Убийство Троцкого белогвардейцами выглядело бы акцией возмездия за поражение в гражданской войне. И люди Миллера и Драгомирова принимали в этом участие, когда Троцкий из Турции переехал в Европу. Но сорвалось. Не получилось.

В Мексике же, где Троцкий обосновался с января 1937 года, русских эмигрантов-белогвардейцев нет. Марк Зборовский оставался единственным человеком, способным через сына проникнуть в окружение отца. А пока он был ценным источником информации. Лев Седов доверял ему все, вплоть до своей личной переписки с отцом, в письмах они называли Зборовского Этьеном. О степени доверия говорило такое письмо Льва Седова отцу: «Во время моего отсутствия меня будет заменять Этьен, который находится со мной в самой тесной связи и заслуживает абсолютного доверия во всех отношениях». Копию этого письма, как и всех прочих писем сына к отцу и отца к сыну, Зборовский передал Шароку. Таким образом, в Москве были осведомлены о каждом шаге Троцкого и его сторон-

ников. В информациях Лев Седов именовался «сынок», Троцкий — «старик».

Зборовский понравился Шароку, интеллигентный, молчаливый еврей с ясным открытым взглядом и неторопливыми движениями, родился в 1908 году в Умани, на Украине, потом жил в Польше, был членом польской компартии, год отсидел в польской тюрьме, уехал с женой в Берлин, затем в Париж, в 1933 году его завербовали. В Советском Союзе остались сестра и два брата.

При следующем свидании Зборовский передал Шароку материалы о подготовке конгресса троцкистского IV Интернационала со списками и адресами ожидаемых делегатов, передал копии последних писем Седова Троцкому и Троцкого Седову. Как и при первой встрече, движения Зборовского были неторопливы, взгляд ясный и открытый, это не болтливый Третьяков, не заносчивый Скоблин, не было в нем и самоуверенности, которую не любил Шарок в поляках, он производил впечатление человека внешне мягкого, но внутренне твердого, знающего себе цену. Никаких лишних разговоров. О гражданской супруге Седова — Жанне Мартен — Зборовский сказал, что отношения там по-прежнему сложные, Жанна — особа экзальтированная, хочет руководить и своим бывшим мужем, Раймоном Молинье, и новым мужем, Львом Седовым. Но Молинье от политической деятельности отошел, а со Львом Седовым Жанну связывает только воспитание Севы Волкова — внука Троцкого и племянника Седова, которого он усыновил после самоубийства своей сестры Зинаиды. Зборовский рассказывал об этом сдержанно, даже с некоторым сочувствием к Седову.

В общем, Шарок понимал, почему Седов доверяет Зборовскому. Такому человеку трудно не довериться. Конечно, если не знать, что за доверие Зборовский платит предательством, а за предательство получает деньги. Впрочем, работая пятый год в органах, Шарок ничему не удивлялся. Нет героев, нет подвижников, нет святых. Всех можно купить, продать, предать, сломить, сломать, запугать. От солдата до маршала, от простого работяги до министра. В парижской газете Шарок, например, прочитал статью бывшего жандармского полковника о том, что товарищ Сталин, когда он именовался еще Иосифом Джугашвили, был платным осведомителем царской охранки по кличке «Фикус», в статье приводились даже документы о сотрудничестве Джугашвили с жандармами. И Бурцев, великий разоблачитель провокаторов, утверждал в свое время, что в Центральном Комитете большевиков было два сотрудника царской охранки, одного Бурцев раскрыл — Малиновский, другого назвать не мог, но доказывал, что он существует. Теперь утверждение Бурцева подтвердил жандармский полковник и назвал имя провокатора — Сталин.

Верил ли этому Шарок? Почему не верить? Он-то служит советской охранке, почему Сталин не мог служить царской? Шпионы, осведомители — все это существует, существовало и будет существовать тысячелетия. Никто на свете от такой работенки не

гарантирован. Но ни с единым человеком Шарок эти статьи не обсуждал — не читал, не знает, не ведает, слыхом не слыхивал. Одно упоминание об этом может стоить головы. Во всем соблюдал осторожность. Как-то, передавая Шпигельгласу очередной «Бюллетень оппозиции», сказал: «Я этой блевотины даже читать не хочу». На что Шпигельглас ответил: «Нет, почему же, своих врагов надо знать». С такими рассуждениями Шпигельгласу несдобровать. И Троцкому несдобровать. Лучший друг его сына наш агент. И сын, и отец ему доверяют, считают преданнейшим человеком, забыли, что слова «преданный» и «предатель» одного корня. Доверять никому нельзя. Троцкий этого не понимает и потому погибнет. А товарищ Сталин понимает, не доверяет никому, всех истребляет вокруг себя, в этой мясорубке погибают предатели, правда, погибают и преданные люди.

В конце января Зборовский сообщил Шароку, что Седов плохо себя чувствует, жалуется на боли в животе. Конечно, живот может заболеть у каждого, но при этом сообщении что-то мелькнуло в глазах Зборовского, как-то по-особенному прозвучал его голос. Шарок понял — известие чрезвычайной важности, такая ситуация заранее оговорена — и шифровкой в Москву информировали Шпигельгласа. Тот приказал о здоровье «сынка» докладывать ежедневно, завтра же в Париж прибудет «Алексей», Шароку следует организовать встречу «Алексея» с «Маком», но самому в ней участия не принимать.

«Алексея» Шарок видел как-то мельком, в Москве, на Лубянке. Его тогда удивило, что этот незначительный с виду человек, бывший боксер, так хорошо владеет французским. Почему так хорошо владеет, стало понятно, когда Шарок узнал, что «Алексей» входит в группу, руководимую Яковом Исаковичем Серебрянским.

Выполняя поручения своего тогдашнего шефа, Шарок был однажды у Серебрянского дома, в особняке на Гоголевском бульваре, познакомился с его женой Полиной Натановной. Лицо значительное. Глаза умные. «С биографией тетя», — уважительно подумал Шарок. Уже на улице, перебирая свои впечатления, решил, что Серебрянский похож на римского патриция. Среднего роста, плотный, черты лица крупные. Много позже Шарок узнал, что Серебрянский, бывший эсер, руководит в их учреждении группой специальных поручений, то есть акциями похищении и ликвидации противников. Сотрудников этой группы чекисты за глаза называли «Яшины ребята». «Алексей» был из этой группы, так что о цели его приезда догадаться было нетрудно.

После свидания со Зборовским «Алексей» тут же исчез. Зборовский остался на связи с Шароком и вскоре сообщил, что Седову стало совсем плохо, его положили в больницу на Rue Narcisse Dias под именем господина Мартена (по фамилии Жанны). Доступ к нему имели только Жанна и Зборовский. Теперь сообщения от Зборовского поступали ежедневно. Шарок передавал их в Москву. Восьмого февраля Седову удалили аппендикс, операция прошла успешно. Девятого, десятого, одиннадцатого, две-

надцатого, тринадцатого состояние больного было хорошим: ходит по палате. Четырнадцатого — новое сообщение: накануне вечером у Седова неожиданно начались галлюцинации. Он бегал по клинике, кричал что-то по-русски, упал на диван в кабинете директора. Ему сделали повторное переливание крови, но спасти не удалось. Шестнадцатого февраля, находясь в состоянии комы, Седов скончался. Вскрытие ничего не показало. Да оно и не могло ничего показать. Переданный «Алексеем» препарат был неизвестен французским врачам, действие его вызывало смерть только на десятый день. Порошок был всыпан в еду перед отправкой Седова в больницу.

8

Першило в горле, насморк, врачи посоветовали посидеть дома. Сталин не поехал в Кремль.

Хмурый день. По ЕГО приказу снег на веранде не убирали. Следов на нем нет — никто не подходил. И, как всегда, вид нетронутого белого снега успокаивал. Снег висел на деревьях, лежал на крыше караульного помещения. Снег с крыш убирали только тогда, когда ОН уезжал в Кремль, а пока ОН на даче, взбираться на крыши, скрести лопатами не разрешалось — не любил скрежета над головой, не любил, когда сверху слышались шаги. Даже дорога от ворот к дому не убиралась, боялись возней во дворе ЕГО разбудить.

В комнате темновато, но Сталин не зажигал света — потерялось бы чувство уюта, которое он обычно испытывал в такой вот хмурый зимний день в тишине и покое своего дома. Умылся. Бриться не стал, сегодня показываться некому.

Валечка принесла на подносе завтрак.

— Как чувствуете себя, Иосиф Виссарионович? Как здоровьичко?

— Хорошо. В библиотеку пойду.

Она робко посмотрела на него.

— Что смотришь, не узнаешь?

— Так ведь хотели вы, Иосиф Виссарионович, дома посидеть. И врачи...

— Врачи разрешили библиотеку, — оборвал ее Сталин.

— Тогда ладненько, чудненько.

Это «ладненько», «чудненько» выразилось вот в чем: когда Сталин в валенках, шубе и шапке-ушанке вышел из дома, дорожка от дома до библиотеки была очищена от снега, крыльцо библиотеки — деревянного дома, на этаж врытого в землю, подметено. И в самой библиотеке тепло, проветрено. Когда успели?

На стеллажах книги правильно стоят, по разделам, по алфавиту ОН легко находил нужную, не мог терять времени на поиски. Карл Маркс говорил, что его любимое занятие — рыться в книгах. Маркс не руководил государством, было время рыться в книгах. Ленин, пользуясь Государственной публичной библиотекой, откуда книги

выносить нельзя, каждый раз просил выдать ему книги на воскресенье, в понедельник утром вернет. Как глава правительства подавал пример соблюдения законов? Нет. Просто интеллигентская привычка свято соблюдать библиотечные правила. Ленин, в сущности, книжный человек, из этого вытекали его крупные просчеты. А для НЕГО книга — инструмент в работе, не более того.

На столе «Рассказы о детстве Сталина». Напечатали для него экземпляр и ждут согласия отпечатать тираж. Не получат ЕГО согласия. Плохая книжка. Не нужная. Все приторно, все благостно — добрые родители, дружная семья. Враки! Особенно раздражают «земляки», на них то и дело ссылается автор. Как стараются, сукины дети! Набиваются на «детскую дружбу», которой не было. ОН не помнит этих заносчивых, жестоких мальчишек, презиравших или не замечавших его. Теперь заливаются соловьем, хотят показать свою ничтожную персону, остаться в истории.

Писала русская женщина, а книга насквозь огрузиненная. Угодить хотела, дура! Сплошь грузинские имена, к тому же детские: Зурико, Бесико, Темрико, Отарико, Гоги... Русские дети будут смеяться: Сосо, Сосико...

Уже есть один ребенок — Володя Ульянов, хорошенький, беленький, кудрявенький, этакий русский барчонок, нарисован на всех значках, на всех фуражках, симпатичный, понимаешь, русский дворянский сыночек. Зачем же еще один?! Да еще со странным и смешным именем Сосико?! Для советских детей ОН должен быть не сверстником, а всемогущим вождем товарищем Сталиным, во френче, сапогах, детям импонирует военная форма. Ленин — это где-то уже далеко, а ОН — живой. И для советских детей должен быть живым — живым отцом, живым Богом. Мертвый Иисус может быть младенцем. Иисус и Ленин сделали свое историческое дело и могут быть теперь очаровательными крошками. А ОН нет, ОН не может быть!

Копаются! Какой-то осетинский ученый болван написал исследование, мол, товарищ Сталин из осетинского рода Дзугата. Есть такая деревня в Осетии — Дзугата, и все выходцы оттуда — Дзугата. Тем, кого крестили на севере, дали русские окончания «ев» или «ов» — Дзугаев, Дзугатов, а на юге грузинский дьяк выводил «дзе» или «швили». Вот и его предки стали сначала «Дзугашвили», а потом «Джугашвили». Теперь все хотят присвоить его себе: осетины — себе, грузины — себе.

Гитлер запрещает писать о своих предках. Правильно делает! Отец Гитлера, Алоис, внебрачный сын крестьянки Шикльгрубер, носил фамилию своей матери, потом вдруг объявился его отец Гитлер, и Алоис стал Гитлером, и его сын Адольф тоже стал Гитлером. И Гитлер правильно рассудил: зачем все это знать немецкому народу? Чтобы зубоскалили, чтобы издевались, как бы, мол, звучало: «Хайль, Шикльгрубер!»

Какие-то идиоты ковыряются в биографии Ленина: предки Ленина по отцу — русские и калмыки, по матери — шведы и евреи.

Зачем это нужно советскому народу? Гитлер требует чистоты расы, а ОН не требует. У ЕГО детей отец грузин, мать русская, да еще с немецкой добавкой. Что ж из того?! Русский народ — это смесь славян с угрофиннами, тюрками и монголами. Смешанные браки внутри СССР надо поощрять, они и создают единый советский народ. А браки с иностранцами надо пресекать. Они способствуют шпионажу и предательству. К чему привели Романовых браки с иностранными принцессами? К тому, что последний царь Николай Второй был фактически немец, все его предки были женаты на немках, и русской крови у Николая Второго не осталось. Вот народ и отверг его: царь — немец, царица — немка, как он может воевать против своих немцев?

Он не потомок царской династии, и никакая генеалогия ему не нужна. Его мать грузинка, отец записан грузином, значит, он грузин по происхождению, а фактически — русский, принадлежит прежде всего русскому народу, вся его жизнь и деятельность связана с русским народом. Еще этот ученый болван докопался до метрической книги Горийской соборной церкви за 1878 год, где будто бы записано: 6 декабря у жителей Гори крестьянина Виссариона Ивановича Джугашвили и его законной супруги Екатерины Габриеловны родился сын Иосиф. Крестили новорожденного протоиерей Хаханов с причетником Квиникидзе. Таинство происходило 17 декабря. Выходит, он сделал себя на год моложе? Для чего сделал? Не удастся бросить на него тень.

ЕГО роль как вождя и руководителя в революции, в гражданской войне, в социалистическом строительстве — такие серьезные исследования надо поощрять, а копание в его личной биографии надо прекратить раз и навсегда.

На листе бумаги Сталин синим карандашом написал:

В Детгиз при ЦК ВЛКСМ

Я решительно против «Рассказов о детстве Сталина».

Книжка изобилует массой фактических неверностей, искажений, преувеличений, нгзаслуженных восхвалений. Автора ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны (может быть, и «добросовестные» брехуны), подхалимы. Жаль автора, но факт остается фактом.

Но не это главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личности вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория «героев» и «толпы» есть не большевистская, а эсеровская теория. Герои делают народ, превращают его из толпы в народ — говорят эсеры. Народ делает героев — отвечают эсерам большевики. Книжка льет воду на мельницу эсеров. Всякая такая книжка будет лить воду на мельницу эсеров. Будет вредить нашему общему большевистскому делу. Советую сжечь книжку.

16 февраля 1938 года И. Сталин.

Он отложил папку, взял другую. Донесения о Троцком, о его IV Интернационале, «Бюллетени оппозиции» он просматривал ежедневно. «Сталинизм и фашизм представляют собой симметричное явление. Многими чертами своими они убийственно напоминают друг друга...» Троцкистская демагогия! Сходство большевизма и нацизма в ненависти к западным буржуазным демократиям, и прежде всего к чванливой Англии. У него с Гитлером общие враги, и эти враги соединят их в свое время. А пока ОН ведет свою игру с западными демократиями, пугает их Гитлером, Гитлер ведет свою игру, пугает их Сталиным. Но воевать против СССР, имея в тылу Англию и Францию, истощить себя в такой войне — на это Гитлер не пойдет. Троцкий это отлично понимает, предсказывает ЕГО союз с Гитлером, хочет оказаться пророком, не унимается. «Сталин уничтожает большевистскую партию... В историю Сталин войдет под презренным именем самого отвратительного из всех Каинов... Памятники, которые он соорудил себе, будут уничтожены или взяты в музеи и размещены в залах тоталитарных ужасов. И победоносный рабочий класс соорудит памятники несчастным жертвам сталинской злобы и подлости на площадях освобожденного Советского Союза... Сталинизм будет раздавлен, разгромлен и покрыт бесчестьем навсегда...»

Собирается раздавить, разгромить ЕГО! Мерзавец! Посмотрим, кто кого раздавит! Не справятся Слуцкий со Шпигельгласом, ОН найдет других людей, которые сумеют выполнить задание партии. Эта семейка должна быть вырублена под корень, ни один не должен остаться.

Из той же папки Сталин вынул список членов семьи Троцкого. Снова, в который раз перечитал:

Александр Давидович Бронштейн, старший брат Троцкого, — расстрелян в 37-м году в Курской тюрьме.

Борис Александрович Бронштейн, племянник Троцкого, — расстрелян в октябре 37-го года.

Ольга Давидовна, сестра Троцкого, — осуждена на десять лет тюрьмы.

Александра Львовна Сокольская, первая жена, — умерла в лагере.

Нина Львовна, старшая дочь Троцкого от первого брака, — умерла в 1928 году от туберкулеза.

Ее муж, Невельсон, — расстрелян в 1937 году.

Их дочь, Валя, 1925 года рождения, — затерялась в детприемнике НКВД (до сих пор не могут разыскать, дармоеды!)

Зинаида Львовна Волкова, младшая дочь Троцкого, — покончила с собой.

Ее муж, Платон Волков, — расстрелян в 37-м году.

Их сын, Всеволод Волков, 1926 года рождения, живет в Париже у своего дяди Льва Седова, старшего сына Троцкого.

Сергей Львович Седов, младший сын Троцкого, — расстрелян 29 октября 37-го года.

Александр и Юрий, племянники Троцкого, — расстреляны.

Живы: сам негодяй Троцкий, его вторая жена Наталия Седова, старший сын, Лев Седов, и одиннадцатилетний внук, Всеволод Волков. Прежде всего надо ликвидировать Троцкого. Льва Седова трогать пока не следует. В большом доверии у него наш агент Макс Зборовский, через него имеем полную информацию. Сынок — потом, за папашей.

Зря он выпустил тогда Троцкого за границу. Вытащить бы на суд, как всех остальных мерзавцев. Постоял бы часов десять на одной ноге, все бы подписал. Негодяи Рыков и Бухарин оказались таким же дерьмом, как Зиновьев и Каменев. Конечно, изображают из себя «идейных»: «Я выполняю приказ партии и буду подтверждать на суде свои показания». Врут! Не выдерживают следствия и подписывают все, что им дают. Почему-то Ваня Будягин не стал «выполнять приказ партии». Уж как его ломали! Он специально посылал Андреева посмотреть. Андреев посмотрел и упал в обморок, какой слабонервный оказался член Политбюро. Человек, который смотрит, падает в обморок, а человек, с которым все это делают, не падает. Значит, крепкий человек. А те, кто подписывает, слабые люди. Ягода других ломал, а как за самого взялись, так сразу все и подписал. И Троцкий бы подписал. Если бы при нем допрашивали его жену, сыновей и внуков — все бы подписал. А не подписал, подох бы в тюрьме. Конечно, поднялся бы шум на Западе. Ну и что?! Какой ущерб могут они нанести Советскому Союзу? Никакого. Если выгодно, капиталисты готовы торговать с дьяволом. И процесс Бухарина — Рыкова тоже проглотят.

Процесс начать второго марта. Процесс открытый, с защитниками, с представителями прессы, дипломатического корпуса, интеллигенции, особенно с писателями. Бухарин у них специалист по поэзии, пусть послушают своего любимчика.

Его мысли прервал тихий короткий свист. Он прислушался... Пауза, и опять тихий короткий свист. Сверчок? Да, как будто бы сверчок. Откуда здесь сверчок? Он давно не слышал сверчка. В детстве, может быть... Не помнит он сверчка в Гори... В деревне, в ссылке слышал... Стрекотал по ночам. Не мешал ЕМУ, даже приятно было, спокойно, тишина подчеркивалась... Лежал, думал, а за печкой тихонько, одиноко стрекотал сверчок, робко стрекотал, не нахально... Но ведь здесь печки нет, здесь центральное отопление. Наверно, сверчки водятся не только на печках. Помнится, Надя водила детей в Художественный театр на спектакль «Сверчок на печи». Поэтому и решил, что сверчок водится только на печке, оказывается, не только на печке. Сказать Власику? А зачем? Будут искать, топать сапогами, стронут с места книги. Кому он мешает, сверчок? Не вредный, не таракан, не клоп. Поет себе, стрекочет, пусть поет, пусть стрекочет, одиночка!

Сталин поднялся, надел шубу, шапку, прислушался. Сверчок умолк. Подождал немного... Нет, молчит сверчок, заснул, наверно.

Сталин вышел на крыльцо. Ночь была темной, хотя не ночь, семи, наверно, еще нет. Ярко горели огни в доме, в караульном и

других помещениях. И дорожка от библиотеки к дому освещена висящими на столбах фонарями. И виднелись часовые у ворот и в будках вдоль забора. Сталин постоял, подышал холодноватым, по-февральски чуть влажным воздухом, пошел к дому.

Обедал один. Ежов дожидался в караульном помещении. Валечка убрала после обеда. Сталин приказал впустить Ежова.

Тот явился со своими папками, маленький, совсем карлик, с фиалковыми глазами. Малограмотный, тупой костолом. Не способен самостоятельно принимать п р а в и л ь н ы е решения. Обращается к НЕМУ за каждой мелочью, требует санкции на любое действие, непонятно, кто нарком внутренних дел, ОН или Ежов. После его снятия можно будет освободить кое-кого из военных, показать, что Ежов их несправедливо осудил. Народ будет доволен. И ОН, и народ обманулись в Ежове. Беспробудный пьяница. Алкоголик. Значит, болтает. Такой свидетель ЕМУ не нужен. Берия его заменит. Берия неглупый и решительный человек, понимает ЕГО с полуслова.

Сталин указал на стул, предупредил:

— Болею немного, насморк. Так что держитесь подальше. Что у вас?

Ежов положил на стол протоколы последних допросов. Сталин их просмотрел. Все правильно. То, что Он вчера велел добавить в показания, обвиняемые подписали.

Сталин закрыл папку:

— Как Будягин?

— По-прежнему не дает показаний, товарищ Сталин. Я сам допрашивал, и на очных ставках его уличали, и... Не признается, товарищ Сталин.

Сталин поднял тяжелый взгляд на Ежова:

— Справитесь с Будягиным?

— Обязательно, товарищ Сталин.

— Нет, — угрюмо сказал Сталин, — не справитесь. Я Будягина знаю еще по ссылке. И не мучайтесь с ним. Расстреляйте Будягина.

— Слушаюсь, товарищ Сталин.

— Что с Троцким?

— Есть важное сообщение, товарищ Сталин. Вчера вечером в Париже, в больнице, умер сын Троцкого — Лев Седов.

Сталин смотрел на Ежова своим неподвижным, тяжелым взглядом:

— З а ч е м умер?

— Я вам докладывал, товарищ Сталин. Возле него наш человек...

— Я спрашиваю: з а ч е м умер? — перебил его Сталин.

— Было распоряжение товарища Слуцкого и Шпигельгласа.

— Я не у них, я у вас спрашиваю: з а ч е м умер?

— Предполагалось, что после смерти Седова Троцкий заберет Зборовского в Мексику.

Сталин ударил кулаком по столу:

— Дураки, сволочи! После смерти сына Троцкий никогда не заберет Зборовского к себе. Наоборот, примет еще большие меры предосторожности. Идиоты! Подлая, вредительская акция! Шпигельглас саботирует главное задание. Слуцкий — человек Ягоды. Почему вы его до сих пор держите?

— Я вам докладывал, товарищ Сталин. Его арест напугал бы нашу заграничную агентуру, назначили в Узбекистан. На днях выезжает.

Сталин задумался, снова поднял тяжелый взгляд на Ежова:

— Уезжает... Устройте ему х о р о ш и е п р о в о д ы.

9

Вадим проснулся в прекрасном настроении, вскочил, помахал немного руками, чтобы размяться, пошел в ванную.

— Ставь чайник! — крикнул Фене на кухню. У той, как всегда, было включено радио, передавали песни советских композиторов.

Обычно он немедленно приказывал «выключить шарманку», а тут, наоборот, стоя под душем, стал притоптывать ногами под музыку, подтянул баском:

Эх, хорошо в стране советской жить,
Эх, хорошо страной любимым быть,
Эх, хорошо стране полезным быть...

Да, замечательный день, чудесный день... И, продолжая петь, прошествовал на кухню. Вкусно пахло гренками, Феня подсела к столу, глядела на него умильно.

— Значит, сам Калинин тебе орден подписал?

— Не орден, Калинин подписал указ о награждении.

— Вот счастье-то, вот счастье...

Феня искренне радовалась за него, а вот отец принял это известие равнодушно, скользнул по газете безразличным взглядом. И напрасно: в стране несколько тысяч писателей, а наградили орденами всего 172 человека! Шолохова, Фадеева, Твардовского, Катаева, Маршака, Михалкова, Гладкова. И рядом с этими корифеями, папочка, стоит имя твоего сына, на, посмотри! Вот как высоко его оценили!.. И у Фени спроси, пачками идут телеграммы с поздравлениями: из газет, журналов, издательств, театров, киностудий, всяких комитетов и ведомств...

— Всех дружков ты обскакал, балаболок этих, — поддела Феня Ершилова, не любила его, поджимала губы, когда он приходил, хоть и неграмотная, а женская интуиция не обманывает. Ершилов — лучший друг, казалось бы, а пробубнил какие-то общие слова, поздравляя: завидует, почему Марасевичу дали орден, а ему нет. — Ты у нас всех умнее, — добавила Феня и, как когда-то в детстве, погладила рукой по голове.

И тут зазвонил телефон — Женька Делановский.

— Ну, что, Вадим, бурят-монголы?..

Хотел сказать, что придется бурить в лацкане пиджака дырочку для ордена. Не высшего сорта шуточка. Женька Делановский учился с Вадимом в одной школе в Кривоарбатском переулке, на три класса младше. Школьником печатал стихи в «Пионерской правде», дорос и до «Комсомолки». Способный парень, но развязный. Эти его доморощенные остроты, дурацкие каламбуры, не может слова произнести без рифмы... Как-то в писательском ресторане спросил Вадима: «Кого будешь завтра ермиловать?» Мол, тебе покровительствует Ермилов, по его наущению и критикуешь нашего брата. Одно слово у Альтмана, одна фраза в очередном донесении — и от Женьки останется мокрое место. Но мелкая рыбешка, пусть живет, пусть дышит. Однако осадить придется. И поэта Васильева тоже надо осадить.

— С «Веселыми ребятами» тебя!

Так называли орден «Знак Почета» — на нем изображены молодые рабочий и работница. Но одно дело шутить вообще, абстрактно, и другое дело таким образом приносить поздравления: звучит унизительно, припомним при случае.

Опять звонок — Клавдия Филипповна, редакторша из Гослитиздата:

— Заслуженная, заслуженная награда.

Так прошел весь день. Вадим сидел возле телефона, принимал поздравления, в перерыве между звонками вертел в руках «Правду» со списками награжденных: купил в киоске десять экземпляров. Девять положил в стол, а на десятом подсчитывал — сколько награждено москвичей, сколько ленинградцев, киевлян, сколько критиков, сколько людей его возраста. Выходило, что из молодых столичных критиков он, в сущности, единственный, кто награжден.

Вечером Вадим поехал в Союз писателей на митинг. Выступали наиболее именитые, благодарили партию, правительство, лично товарища Сталина за отеческую заботу о советской литературе. И когда упоминался товарищ Сталин, все вставали и хлопали. Резолюцию с благодарностью партии, правительству и лично товарищу Сталину приняли единогласно под бурные аплодисменты.

Где бы теперь ни появлялся Вадим, всюду его встречали радостными приветствиями. Вадим ездил по редакциям, ходил из комнаты в комнату, из отдела в отдел, как бы по надобности, а на самом деле, чтобы показаться и получить свою долю улыбок и поздравлений. И если в каком-нибудь отделе на него не обращали внимания, обижался — не за себя, конечно, а за советскую литературу: не читают газет, идиоты. А ведь работают на идеологическом фронте!

И все же, поздравляли его или не поздравляли, исполнилось наконец его давнее желание. Те, главные, признали его своим. Отмеченный высокой правительственной наградой, он теперь причислен к ним, хозяевам и распорядителям жизни. Теперь его должны прикрепить к кремлевской поликлинике, много ли у нас писателей-орденоносцев? Хорошее слово: «орденоносец», хорошо

звучит. Во Франции обладатель ордена называется «кавалер ордена почетного легиона». Но «кавалер» — нечто легковесное, гривуазное, чисто французское, что-то от дамского угодника. «Орденоносец» — чисто советское слово, сильное, мощное, как «оруженосец», «броненосец» или, еще лучше, «меченосец» — означает принадлежность к рыцарскому братству, звучит сильно, по-мужски. А как насчет «рогоносца»?

Поговаривали, что список награжденных просматривал сам товарищ Сталин, и будто бы остался недоволен Катаевым за не слишком лестную оценку творчества Михалкова, и, рассердившись на Катаева, велел дать Михалкову более высокий орден, чем было намечено. Теперь Сережа Михалков пойдет в гору, ничего не скажешь — талант, любимый детский поэт. А вот Катаеву непоздоровится. И правильно, типичный одесский нахал, заносчивый и беспардонный... Но что было сказано в его, Вадима, адрес? Наградили, значит, говорилось хорошо. Но что именно и кто сказал? Может быть, сам товарищ Сталин? «Вот, мол, попадались мне статьи Марасевича... Это тот самый Марасевич?» — «Да, товарищ, Сталин, тот самый». — «Ну, что ж, способный человек и стоит на правильных позициях. Надо поощрять молодые таланты». Возможно, конечно, ничего подобного и не было. Товарищ Сталин мог просто спросить, кто мол, этот Марасевич, ему доложили, и Сталин оставил Вадима в списке. Но хотелось бы знать в подробностях. Кого же спросить? Не идти же к Фадееву: «Александр Александрович, что обо мне сказал товарищ Сталин?» Фадеев выпучит на него красные после очередного запоя глаза: «Разве вы знакомы, он даже имени вашего не упоминал».

И еще одно: утверждая список, знал ли товарищ Сталин, что он, Вадим, одновременно и «Вацлав»? Ясно, что список апробирован на Лубянке, его оставили. Значит, уверены в нем, и товарищ Сталин уверен.

Когда же будут вручать ордена? Конечно, в Кремле, конечно, Калинин, но когда он наконец прикрепит орден к лацкану пиджака, когда наконец все увидят, что он орденоносец?

В театре Вахтангова директор и худрук его поздравили, а актеры — никто, не читают газет, черти, зубрят свои роли и больше к печатному слову не прикасаются. Даже Вероника Пирожкова, которая при каждой встрече ему обязательно говорила что-нибудь приятное, и та об ордене ни слова — не знает. Обидно. Пирожкова, как и все здесь, относилась к нему с пиететом, но без обычного актерского заискивания перед театральным критиком. Худенькая, в кудряшках, блондинка неопределенного возраста — то ли 18, то ли 30, с капризным ротиком, открытыми голубыми глазками, которые всегда улыбались Вадиму. Пирожкова называла его не Вадимом Андреевичем, как все, а просто — Марасевич, и в ее улыбке было некое поддразнивание — не то насмешка над важностью его персоны, не то насмешка над тем, что он никак не откликается на ее внимание. Но Вадим в свои 28 лет еще не знал женщины и, когда возникали т а к и е отношения, робел, хотя Пирожкова нравилась

ему. Ее взгляд, насмешливая улыбка, фамильярное «Марасевич» волновали его. Пирожкову использовали на вторых ролях, и все же Вадим в одной из своих рецензий отметил: «Убедительна была В. Пирожкова в эпизодической, но характерной роли Анны». Вероника тогда в театре при всех его поцеловала: «Спасибо, Марасевич!» Актеры и актрисы любят целоваться по поводу и без повода, но поцелуй Пирожковой его обжег. После этого он по ночам рисовал себе их встречи, ее объятия и поцелуи, представлял ее нагой, вставал, ходил по комнате, чтобы не вернуться к тому, чем от занимался в детстве и от чего отец его отучил...

Наконец состоялось! В Кремле. Вручил сам Михаил Иванович Калинин.

Выкликнули Вадима! Он подошел. Михаил Иванович протянул ему коробочку с орденом, наградное удостоверение, пожал руку, не просто улыбнулся — он каждому тут улыбался, а доверительно, как хорошему знакомому. И руку протянул не официально, а пожал сердечно. Когда перешли в другой зал и усаживались для группового портрета, Калинин, сидевший в первом ряду, обернулся, искал кого-то глазами, но не нашел. Вадим был уверен, что именно его он ищет, может быть, и не читал его статей, но отца знает, отец его лечит. Досадно, что никто этого не заметил, каждый упоен своей наградой, своим орденом, убежден, что именно ему Калинин оказал особое внимание, именно его персона тут главная.

Дома Феня проколола в лацкане пиджака дырочку, обшила нитками, Вадим закрепил в ней орден, надел пиджак, посмотрел в зеркало. Потрясающе! И Феня, стоя в дверях, любовалась:

— Хорошо, Вадимушка, красиво, ну, прямо как народный комиссар какой, ей-Богу!.. — Голос ее вдруг задрожал. — Вот бы Сергей Алексеевич поглядел, порадовался бы, любил он тебя, Вадимушка, с малых лет любил.

Идиотка, вспомнила этого глупого парикмахера, всю радость испортила.

А впрочем, почему испортила? Ничего не испортила. С парикмахером кончено, он не собирается всю жизнь терзаться из-за него, сам виноват! Не такие головы летят, не такие люди признаются, а он не захотел. И хватит думать об этом!

На следующий день Вадим снова ездил по редакциям, снимал пальто в гардеробе и шествовал по кабинетам с орденом на груди. Все его поздравляли, любовались орденом. И те, кто прошлый раз не знал о награждении, присоединялись к общему хору. Вадим принимал поздравления скромно, достойно, никакой тут его личной заслуги нет, это не его, это советскую литературу наградили, а вот за советскую литературу он искренне рад и горд.

Вечером Вадим пошел в театр Вахтангова, разделся в кабинете администратора и поспешил за кулисы, как бы разыскивая кого-то,

открыл дверь уборной, где в числе других статистов готовилась к спектаклю Пирожкова, увидел полуодетых девиц перед зеркалами... Ах, пардон, простите... Но Вероника Пирожкова его заметила, вскочила, втащила в комнату.

— Девочки, смотрите, нашего Марасевича наградили орденом!

Бросилась ему на шею, расцеловала, и остальные девочки тоже вскочили и расцеловали Вадима.

— Простите, — бормотал Вадим, — я ищу Комарова...

— Комарова? — переспросила Вероника. — Он здесь, я его вам найду.

Они вышли в коридор, Вероника зашептала:

— Вы сегодня вечером свободны?

У Вадима замерло сердце.

— Да...

— Отметим ваше награждение, я занята только в первом акте.

— С удовольствием. Поедем в ресторан.

Она замотала головой.

— Нет, нет, нельзя, кругом сплетники, скажут, окручиваю вас... или еще какую-нибудь гадость.

У нее задрожал голос, на глазах выступили слезы...

— Что вы, что вы! — испугался Вадим. — Зачем вы плачете? Не надо.

Она вытерла глаза платочком.

— Не люблю, когда обо мне плохо говорят. Просто я рада, что вас наградили. Для меня это праздник. Поедемте лучше ко мне, посидим, музыку послушаем, живу одна, хорошо?

— Хорошо, — едва проговорил Вадим.

— После первого акта я жду вас на улице, у служебного входа.

Она чмокнула его в щеку и убежала.

Вадим промучился первый акт, не видел, что происходит на сцене. Свидание с женщиной наедине, в ее комнате... «Живу одна...» Почему одна? Приехала из Пензы, что-нибудь снимает, наверное, или замужем, муж в командировке... А вдруг нагрянет?! Нет, его, орденоносца, не посмеет тронуть. Страшило другое... Вдруг не получится. Уже два раза так было. Вдруг опять?! Но деваться некуда, Пирожкова будет ждать на улице, на морозе. И как уйти после первого акта? Подумают, что ему не понравился спектакль, будет сочтено зазнайством новоявленного орденоносца: нравится, не нравится, критик должен высидеть спектакль до конца. Придется сделать вид, что уходит по срочному делу.

В антракте, появившись в комнате администратора, Вадим схватил телефонную трубку, набрал какие-то цифры, сделал вид, будто кто-то ему ответил, даже попросил всех быть потише.

— Да, да... Когда? Ах, так... Понятно... Хорошо, хорошо. Я немедленно выезжаю. Да, сию секунду. Позвоните, скажите, через двадцать минут буду.

Положил трубку, обвел всех многозначительным взглядом:

— К сожалению, должен срочно уехать!

— Что-нибудь случилось, Вадим Андреевич?

— Вы-зы-ва-ют! — произнес Вадим так, будто его вызывают в самые высокие инстанции, может быть, даже в ЦК.

Зашли с Вероникой в гастроном на улице Горького. Вадим купил портвейн, колбасу, сыр, масло, маринованные огурчики в банке, вяленую рыбу, покупал широко, хотел покрасоваться перед Пирожковой. Она качала головой: «Марасевич, Марасевич, зачем так много?» А сама тем временем оглядывала прилавки: нет ли еще чего-нибудь вкусненького.

Вероника жила в Столешниковом переулке (отметила с гордостью: «В самом центре живу») в большой коммунальной квартире. Проходя по коридору, показала:

— Вот уборная, вот ванная. Ни на кого не обращайте внимания. Мещане!

Произнесла громко, нисколько не заботясь о том, услышат ли ее соседи.

Небольшая, скудно обставленная комната. Вероника подвела Вадима к окну.

— Смотрите, Марасевич, какой красивый вид...

— Прекрасный, — согласился Вадим, хотя было темно и он ничего не увидел.

За спиной что-то скрипнуло, Вадим испуганно оглянулся.

Дверь шкафа открылась, вывалилось скомканное платье, Вероника сунула его обратно, закрепила дверь, просунув в щель свернутую газету.

— Так, теперь тапочки надевайте. Легче ведь, правда?

— Очень удобно.

— И пиджак долой! — распоряжалась Вероника. — Здесь тепло, топят.

Она помогла ему снять пиджак, повесила на спинку стула, потом выложила закуски. У нее было только две тарелки, на одну положила сыр, колбасу и масло, на другую рыбу. Хлеб нарезала на газете.

— Будем закусывать по-студенчески. Не привыкли к такой сервировке?

Он протестующе поднял толстые плечи:

— Ну, почему же?

— Временные трудности, — загадочно произнесла Вероника, — и мещанства не люблю... Открывайте бутылку, Марасевич. Штопор? Чего нет, того нет. В этом доме я вино пью первый раз, в честь вашего ордена. Цените, Марасевич?

— Конечно, конечно...

— Бутылку хлопните снизу, ладонью... Видали, как мужики делают?

Вадим повертел бутылку в руках, неумело ударил ею о ладонь.

— Давайте по-другому. — Вероника забрала у него бутылку. — Проткнем пробку, и все дела. У меня, кстати, отвертка есть.

И заработала отверткой.

— Пробка опустится на дно, в ней ничего вредного нет...

Справившись с пробкой, налила вино в две граненые стопки, подняла свою.

— За высокую и заслуженную, чувствуете, Марасевич, заслуженную правительственную награду!

И, чокнувшись с Вадимом, выпила всю стопку.

Вадим отпил только половину.

Она замотала кудряшками.

— Так не пойдет, за орден надо выпить, иначе носиться не будет.

Вадим допил стопку. Она протянула ему огурчик на вилке.

— Закусывайте, берите рыбку, а я вам бутерброд намажу. — Сделала ему бутерброд с маслом, колбасой и сыром. — Попробуйте трехслойный.

Вадиму понравилось, ел с аппетитом и рыбу, и колбасу, и сыр. К тому же боялся захмелеть, тогда наверняка ничего не получится.

Между тем Вероника налила по второй.

— Теперь за вас, — сказал Вадим, — за ваши успехи в театре, за то, чтобы по достоинству оценили ваш талант.

На ее лице появилась гримаса.

— В театре мало одного таланта. Актеры кусочники, каждый норовит другому ножку подставить. Ладно, не хочу об этом. Сегодня твой день, твой праздник... Ой, Марасевич, я уже на «ты» перешла.

— Прекрасно. И я тебе буду говорить «ты».

— Тогда надо выпить на брудершафт. — Она запела: — На брудершафт, на брудершафт, Марасевич, Марасевич, будем пить на брудершафт.

Они перекрестили руки, выпили, расцеловались.

Вероника поставила свою рюмку на стол.

— Нет! Так на брудершафт не пьют!

Она придвинулась со стулом к Вадиму, обняла его за голову, поцеловала долгим поцелуем, посмотрела ему в глаза тоже долгим, серьезным, даже страдающим взглядом, неожиданно сказала:

— Хочешь яичницу? Яичница с колбасой, знаешь, как вкусно!

Мелко нарезала колбасу, положила на тарелку четыре яйца, кусок масла, отправилась на кухню.

Вадим остался один. Страх перед возможной неудачей окончательно овладел им. И тогда опять будет, как уже бывало, плохо скрываемое презрение, зевота, убегающий взгляд, равнодушное расставание. И в театре поделится с подружками: «Марасевич — импотент». Не надо было идти, не следует связываться с женщиной из тех кругов, где его знают. А может, и получится. Есть в этой Пирожковой что-то уверенное. И ему надо быть увереннее, так и врач ему сказал: «Все у вас в порядке, только не теряйтесь, все через это проходит». Может быть, сегодня все и произойдет. А если нет, он притворится опьяневшим. «Сама виновата, напоила меня».

Вернулась Вероника со сковородкой в руках, разрезала яичницу, налила вина себе, Вадиму.

— Давай за счастье выпьем. За счастье, Марасевич!
— За твое счастье! За твою удачу!
Глаза ее опять наполнились слезами.
— Что ты, что с тобой? — заволновался Вадим.
Она вытерла глаза:
— Так, ерунда, вспомнилось всякое. Все, поехали!
Закусывая яичницей, говорила:
— Теперь тебя в театре будут еще больше бояться, увидишь! Они притворяются, что уважают, а на самом деле боятся. Бабы наши — все эти народные и заслуженные — шлюхи, любая под тебя ляжет, только похвали ее в рецензии. А ну их к свиньям собачьим! Давай потанцуем!
— Я плохо танцую! И к тому же, — он показал на бутылку, — выпил.
— Сколько ты выпил?! Ерунда! Ладно, не хочешь танцевать, давай в карты сыграем. — У нее в руках появилась колода замусоленных карт, где взяла, Вадим не заметил. — Игра простая, смотри, буду снимать сверху карту, а ты отгадывай: черная или красная. Угадаешь, я с себя что-нибудь сниму, не отгадаешь, ты с себя. Ну, говори, Марасевич! Черная или красная?
— Красная, — пролепетал пораженный Вадим, — не слыхал про такую игру.
Она открыла верхнюю карту — оказалась бубновая семерка.
— Смотрите, господа, Марасевич угадал! Я проиграла, снимаю пояс.
Сняла с себя поясок:
— Угадывай дальше!
— Красная, — прошептал Вадим.
Она сняла карту — туз червей.
— Опять угадал. Ты, Марасевич, колдун какой-то.
Она встала, через голову стянула с себя платье, осталась в белой шелковой комбинации на тоненьких бретельках, низко вырезанной, так что виднелась грудь.
Вадим боялся поднять глаза.
Вероника снова взяла в руки колоду.
— Какой цвет?
— Красный, — повторил Вадим.
— Она открыла карту — дама треф!
— Не угадал, Марасевич, не угадал, — радостно запела Вероника. — Бог правду видит, не все тебе выигрывать! Стаскивай чего-нибудь!
— Я галстук сниму, — робко произнес Вадим.
Она сама развязала ему галстук, положила на стол.
— Поехали!
— Черная...
Вышла десятка бубен.
— Я часы сниму, — сказал Вадим.
— Марасевич хитрый! Разве часы — это одежда? Пуловер снимай! Снимай, миленький, снимай, не жульничай... — Она вдруг

бросила карты на стол. — Слушай, Марасевич, что мы в детские игры играем, теряем время? Я тебе нравлюсь?

— Конечно, конечно, — забормотал Вадим.

— И ты мне нравишься, давай ляжем в постельку, мы же взрослые, сознательные люди, раздевайся, мой золотой. — Она подняла комбинацию, отстегнула резинку, сняла чулок. — Хочешь, свет погашу?..

В темноте он слышал, как она двигается, разбирает постель, потом услышал скрип матраца и ее голос:

— Сейчас согреем постельку для Марасевича, тепло будет, уютно, ну, Марасевич, иди ко мне, не бойся, все будет хорошо... Ну, иди, иди, копульчик мой дорогой, дай руку. — Она нащупала его руку, пошарила по телу, помогая снять кальсоны. — Скучно без тебя в постели, плохо в кроватке без Марасевича... Ложись, миленький, ложись и ничего не бойся... Я все сделаю сама, тебе будет хорошо... Вот увидишь!

Действительно, получилось хорошо. Умелая, опытная, все сделала как следует. Вадим впервые испытал наслаждение, загордился собой — мужчина все-таки! И во второй раз получилось! Вероника жарко шептала в ухо: «Правильно, миленький, правильно, хорошо, не торопись, спокойненько, вот так, хорошо, хорошо!»

У нее было гибкое горячее тело, маленькие груди, он положил на них ладонь. Она прижала ее сверху своей рукой.

— Бабы наши — обер-бляди, пробы негде ставить. А как ломаются, целок из себя строят! Даст обязательно, но прежде разыграет невинность. А вот ты мне нравишься, и я ничего предосудительного в этом не вижу. Зачем же ломаться? Правильно, я говорю, Марасевич?

— Конечно, конечно, — соглашался Вадим.

Он лежал, повернувшись к Веронике, вдыхал возбуждающий запах ее тела, был счастлив и улыбался в темноте.

10

Зарплату ребятам выдавала Нонна. Бабенка лет тридцати, бойкая, деловая, помощница Семена Григорьевича и его любовница. Каждый расписывался в ведомости, все честь по чести, законно.

Однажды вышло так, что получали зарплату все вместе.

— По этому случаю надо выпить, — объявил Глеб.

— Вот именно, — добродушно согласился Леня. — Утром Стаканов, днем Бусыгин, вечером Кривонос.

Это были имена известных передовиков труда. Стаханова Леня переделал в Стаканова, Бусыгин — значит «бусой», пьяный, произнося фамилию Кривонос, Леня пальцем отжимал нос в сторону, мол, разбился по пьяной лавочке.

Каневский молчал.

— Что молчишь? — спросил Глеб. — Пойдем с нами.

— Не знаю, — нерешительно ответил тот, — я питаюсь дома, у хозяев.

— Работаем вместе, получку получили, есть порядок — обмыть!

Каневский скривил губы.

— Если такой порядок — пожалуйста!

— Только без одолжений, — предупредил Глеб. — Мы в одном коллективе, должны держаться друг друга.

В ответ Каневский скорбно-презрительно улыбнулся.

В ресторане уселись в дальнем от оркестра углу. Глеб говорил, что за день уже нахлебался музыки. Заказали бутылку водки, по кружке пива, селедку с картошкой.

Глеб поднес бутылку к рюмке Каневского, тот прикрыл ее ладонью.

— Спасибо, я не пью водки.

— Может быть, тебе шампанского заказать? Какого? Нашего, французского? Не порть компанию, Каневский, очень ты большой индивидуалист.

— Хорошо, — сказал вдруг Каневский и поднял рюмку.

— Вот и молодец! — Глеб улыбался, обнажая белые зубы. — Это по-нашему.

Все выпили, закусили, потом рванули по второй, Глеб заказал еще бутылку, еще по кружке пива и всем по свиной отбивной. Саша с беспокойством поглядывал на Каневского. Человек непьющий, окосеет, возись тогда с ним, тащи домой, черт его знает, где он живет. Саша сделал Глебу знак, кивнул на Каневского, мол, хватит ему.

Однако Глеб сказал:

— Хорошо сидим! Выпьем, чтобы в городе Уфе и во всей Башкирской республике процветали западноевропейские танцы! Правильно, Саша, я говорю?

— Правильно, правильно, только я думаю, Мише хватит. — Саша переставил рюмку Каневского себе. — Не возражаешь?

— Пожалуйста, — скривил губы Каневский, — могу пить, могу не пить.

— Закусывай! Видишь, какая у тебя котлетка? С жирком. Меня один старый шофер учил: закусывай жирненьким и пьян не будешь.

— Это точно, — подтвердил Леня, — жир впитывает в себя алкоголь, не дает ему проникнуть в организм.

— Пожалуйста. — Каневский склонился к тарелке. — Закусывать, так закусывать, жирненьким, так жирненьким.

Слава Богу! Кажется, не надрался, аккуратно уминает свиную отбивную.

— Я хочу продолжить свой тост. — Глеб снова поднял рюмку. — Значит, за процветание западноевропейских танцев среди всех народов Башкирской республики: башкир, татар, русских, украинцев, евреев, черемисов, мордвы, чувашей и так далее... Некоторые на нас косятся, мол, халтурщики, люди вкалывают на

производстве, а вы ногами дрыгаете, деньгу сшибаете. Нет, дорогие! Мы — люди искусства, социалистической культуры, социализма без культуры не бывает!

— Непонятно, о каком социализме вы говорите, — сказал вдруг Каневский.

— То есть как?! — опешил Глеб. — Я говорю о нашем социализме, который победил в нашей стране.

— Социализм не может быть наш или не наш, — глядя в тарелку, сказал Каневский, — социализм — это абсолютное понятие. Немецкие фашисты тоже называют себя социалистами. Вообще, пока существуют армия, милиция и другие средства насилия, нет социализма в его истинном значении.

Глеб растерянно молчал, потом заулыбался.

— Смотрите-ка, Каневский, оказывается, теоретически подкованный товарищ, а я и не знал.

И заторопился:

— Ладно, ребята, давайте по последней.

Все, кроме Каневского, допили. Глеб потребовал счет, объявил, сколько с каждого, все выложили деньги. Вышли на улицу. Было часов десять вечера. Моросил дождик, Каневский нахохлился, поднял воротник пальто.

— Ну, кто куда? — не то спросил, не то распрощался таким образом Глеб и пошел с Сашей.

Пройдя несколько шагов, спросил:

— Что скажешь, дорогуша?

— Ты о чем?

— О Каневском. Построить социализм в одной стране невозможно. Это ведь теория Троцкого. Вспомни, дорогуша.

Глеб прав, но не хотелось топить Каневского.

— Он говорил не о нашем, а о немецком, фашистском государстве.

— Нет, дорогуша, меня на кривой кобыле не объедешь! Как он сказал? Вообще нет социализма, пока существуют армия, милиция... Заметь, не «полиция», а «милиция»... Дорогуша! Это же про Советский Союз сказано.

— Милиция, полиция, подумаешь! Не строй из мухи слона.

— А если эти слова завтра станут известны т а м, — он кивнул в сторону улицы Егора Сазонова, где находился НКВД.

— Откуда они станут известны?

— Откуда? От верблюда! Допустим, от меня.

— Вот как?!

— Да, да! Разве ты все обо мне знаешь? А может быть, и от тебя!

— Даже так?!

— Да, дорогуша, даже так. Я тоже не все о тебе знаю. А возможно, от Лени. Мы оба его не знаем. Или от самого Каневского. Кто он такой? Нас потащат и спросят: говорил он такое? Говорил. Почему не сообщили? Вот тебе и статья: за недонесение. В лучшем случае. А в худшем — троцкистская группа.

Глеб вдруг остановился, повернул к Саше налитое кровью лицо, затряс кулаками, чуть не закричал:

— Мне иногда реветь охота, как голодной корове! Позвали человека в компанию, ну, посиди тихо, спокойно, проведи время по-человечески, в кругу друзей... Нет, надо болтать черт-те что, выпендриваться, подводить людей под монастырь!

Саша впервые видел его в таком состоянии.

— Успокойся, — сказал Саша, — я не вижу причин для истерики. Чего испугался, подумаешь! Держи себя в руках. Такие дела раздуваются людьми с перепугу, а потом они сами от этого и страдают.

Они дошли до угла.

— Мне сюда, — неожиданно спокойно сказал Глеб.

— Ты все же подумай над тем, о чем я тебе говорил.

— Обязательно, дорогуша, обязательно, — пообещал Глеб.

— Выспись и утром на свежую голову подумай.

— Так и будет, дорогуша. Опохмелюсь и подумаю.

Глупая история. Каневский — дурак и псих. Нарвется когда-нибудь и других подведет. Но сегодня разговор был чепуховый. И если Глеб не будет трепаться, на этом инцидент закончится.

Инцидент на этом не закончился.

Дня через два у Саши появился новый аккомпаниатор: Стасик — пианист и баянист, веселый, расторопный паренек. С работой освоился сразу, где-то поднатаскался. Но, как и Леня, «слухач» — ноты читать не умел. Естественно, той игры, того изящества, что у Каневского, не было и в помине.

Вечером в ресторане, за ужином, Саша спросил Глеба:

— Куда девался Каневский?

— Не будет у нас больше Каневского. Уволил его Семен.

— За что?

— На окраины перемещаемся, дорогуша, на всякие макаронные фабрики, а там рояля нет, значит, нужен третий баянист. Стасик, как и я, двухстаночник.

Саша поставил рюмку на стол:

— А ведь ты врешь.

— Брось, дорогуша, — поморщился Глеб, — ну что ты привязываешься?

— Что ты сказал Семену?

— А ты все хочешь знать?

— Да, хочу.

Глеб выпил, вилкой подхватил кусочек селедки.

— Ну что же, я сказал: избавляйтесь от Каневского. Болтает чересчур.

— А что именно болтает, ты Семену сказал?

— Зачем Семену з н а т ь, кто что болтает? За то, что з н а е ш ь, тоже приходится отвечать. Может, Каневский болтал, что ему мало платят? Семен, дорогуша, не лыком шит; раз человек б о л т а е т, лучше избавиться от него.

Он снова налил себе, взглянул на Сашину рюмку.

— Так не пойдет. Думаешь, я один эту склянку усижу?

Они выпили оба.

— Угробил ты человека, — сказал Саша.

— Я?! Да ты что?

— Выбросили на улицу, оставили без куска хлеба.

— Не беспокойся, без хлеба он не останется. — Глеб кивнул на оркестр. — Вот он, кусок хлеба, да еще с маслом.

— Зачем ты все-таки добавил Семену, что Каневский болтает? Чтобы увесистей было, чтобы уволили наверняка?

— Да, дорогуша, именно для этого и добавил. Я не желаю работать с мудозвоном, который при людях несет такое, за что меня завтра могут посадить.

Саша молчал.

— Осуждаешь меня? — спросил Глеб.

— Да, осуждаю.

— Ах, так, — усмехнулся Глеб, — ладно!..

Он налил себе еще рюмку, выпил, не закусывая, икнул, был уже на взводе.

— Расскажу тебе одну историю про моего друга. Хочешь послушать?

— Можно послушать.

— Тогда слушай.

11

Глеб поднял бутылку, она оказалась пуста.

— Ладно, дорогуша, расскажу тебе эту историю, а потом примем еще по сто. Итак, был у меня друг, хороший друг, верный друг, в Ленинграде. Жили мы в одном доме, в одном подъезде, на одной площадке, ходили в одну школу. Был он первый ученик и по литературе, и по математике, даже по физкультуре. Из простых новгородских мужиков, но самородок! Ломоносов! В университет на физмат прошел по конкурсу первый. Идейный! Еще в девятом классе прочитал «Капитал» Карла Маркса. Не пил, не блядовал, правда, курил. Русоволосый, синеглазый, статный, красавец мужчина! И главное, душевный, все к нему шли, и он, что мог, для каждого делал. И вот, понимаешь, какая штука... Подался мой друг в троцкистскую оппозицию еще студентом, в институте выступал открыто, взглядов своих не скрывал! Ты спросишь, почему дружил со мной, с беспартийным и безыдейным? Я, дорогуша, человек легкий, но человек в е р н ы й, это он знал. За это, думаю, и любил. И все мне рассказывал. Конечно, всякие там тайны не выкладывал, имен не называл, дело уже повернулось к арестам, высылкам, но взглядами делился.

Глеб поманил пальцем официанта, показал на графинчик.

— Тащи еще двести!

— Может, хватит? — сказал Саша.

— Ничего, по сто граммов не помешает.

Глеб налил Саше, себе:

— Одного человека он напрочь не принимал.

И скосил глаза, Саша понял — речь идет о Сталине.

— Называл его «могильщиком Революции». Всех разговоров и не помню, но отчетливо запомнил именно насчет социализма в одной стране. Поэтому, дорогуша, меня так и задел Каневский. Раньше я это слышал от друга, которому доверял, а Каневского я не знаю. Друг мой говорил, что построить социализм в одной стране нельзя. А те, кто говорит, что можно, хотят превратить нашу страну в «осажденную крепость», в «окруженную врагами цитадель», то есть ввести, в сущности, военное положение, создать условия для единоличной диктатуры одного человека, для террора и репрессий. И утверждать, что у нас в стране, мол, уже построен социализм, значит, компрометировать саму идею социализма и в конечном счете угробить его. — Он замолчал, уставился на Сашу, глаза были мутные.

— Давай отложим твой рассказ до другого раза, — сказал Саша.

Глеб исподлобья посмотрел на него.

— Думаешь, за-го-ва-ри-ваюсь? Нет, никогда, ни-ког-да!

Придерживаясь за стол, поднялся.

— Пойду пописаю... А ты закажи чаю, только крепкого-крепкого, как чифирь. Знаешь чифирь?

— Знаю. Официант может не знать.

— Объясни.

И направился в уборную, не слишком твердо шагал, пошатывало.

Любопытная вырисовывается картина. И неожиданная. Выходит, не просто выпивоха, не просто богема, пусть и провинциальная, как он привык думать о Глебе. Всегда осторожничал, а тут с симпатией говорит о троцкисте, а троцкистов сейчас можно только поносить и проклинать. Колхозница в глухой деревне в «кругу» на улице пропела старую, двадцатых годов частушку: «Я в своей красоте очень уверена, если Троцкий не возьмет, выйду за Чичерина». И схватила десять лет лагерей: «За троцкистскую агитацию и пропаганду». Брякнул человек: «Троцкий был мировой оратор» — десять лет. «Троцкий, конечно, враг, но раньше был второй после Ленина» — опять десять лет. Такая вот обстановочка. А Глеб откровенничает...

Официант поставил на стол два стакана чая в подстаканниках. Чай густо-коричневый, почти черный, такого цвета добиваются, примешивая к чаю еще что-то, жженый сахар, что ли, Саша забыл.

Вернулся Глеб, посвежевший, улыбался во весь свой белозубый рот, волосы мокрые, причесанные, видно, окатил голову холодной водой, хлебнул чая.

— Хорошо! Так на чем же мы с тобой остановились, дорогуша?

— Я предложил тебе закончить свой рассказ в следующий раз.

— Не пойдет. Ты уж дослушай до конца.

Саша всегда поражался, как много мог выпить Глеб и как мгновенно при надобности трезвел. Он выпивал и перед занятиями, и даже во время занятий, приносил с собой, но ни разу за роялем не сбился с такта, не сфальшивил.

— Такой человек был мой друг, — снова начал Глеб, — и, конечно, его посадили еще в конце двадцатых годов. Долго он не просидел, начали видные троцкисты подавать заявления: мол, никаких больше с партией разногласий нет, подчиняемся ее решениям и просим восстановить в ее рядах. Из ссылки их вернули, и мой друг тоже вернулся в Ленинград. Заходил ко мне, сидели мы, разговаривали, и понял я, что разочаровался он во всем, решил заниматься только наукой. Восстановили его в институте на физмате, женился на хорошей девочке, родила она ему сына, он от мальчишки без памяти, стипендия, конечно, маленькая, давал уроки физики, математики. Все, как у нормального человека. В партии числился формально, восстановили его автоматически, и очень, знаешь, угнетала его партийность эта, он и собрания пропускал, и поручений не выполнял, все надеялся, что за пассивность его исключат и будет он жить совсем спокойно. Но, однако, дорогуша, жить ему спокойно не удалось.

Голос у Глеба осекся, он замолк на минуту, поставил локти на стол, обхватил голову руками.

— Давай еще по сто граммов рванем...

Официант принес еще двести граммов. Глеб выпил, пожевал колбасу.

— Да... Заявились как-то к моему другу бывшие товарищи по ссылке, и пошли всякие разговоры. Тогда Гитлер к власти пришел, вот они это обсуждали. Сталин и Гитлер, мол, одно и то же, чувствуешь? Болтали между собой всякое. Ему бы, дураку, их оборвать, отрубить, мол, я политикой не занимаюсь, и прекратите разговоры на эти темы или вообще больше ко мне не приходите. Характеру, что ли, не хватило, мягкий человек был, или такая уж крепкая дружба в ссылке возникает — не оборвешь, или боялся прослыть обывателем, а то и трусом, доверял, может быть, этим людям, считал такими же порядочными, каким был сам. Может быть, они и были порядочные, но трепачи, тюрьма и ссылка их ничему не научили, значит, болтали они не только у моего друга... Все же, когда пришли во второй раз, он им дал понять, деликатно, конечно, ведь интеллигент, что принимать их у себя не может: одна комнатушка в коммунальной квартире, ребенок спать должен и сам он работает по вечерам. И больше они не являлись. Думал он, на этом кончилось. Однако нет, не кончилось. В один прекрасный день в институте подходит к нему молодой человек приятной наружности, отзывает в сторону, показывает книжечку красненькую: «Придется вам со мной пройти тут неподалеку». Приходят они в Большой дом, так у нас называется НКВД. Начальник усаживает его в кресло, спрашивает, как устроился после ссылки, не обижают ли его. Друг мой отвечает: «Все в порядке, никто не обижает». — «А как ваши това-

рищи по ссылке?» Друг мой чувствует подвох, но не сориентировался. «Не знаю, я ни с кем не встречаюсь».

Начальник вынимает из стола бумагу и зачитывает фамилии тех, кто приходил к моему другу. «А этих людей вы встречали?» — «Да, были у меня два раза». — «И о чем беседовали?» — «Ни о чем особенном...» — «Вспоминали Сибирь, ссылку?» — «Вспоминали». — «В романтической дымке вспоминали?» — «Какая романтика в Сибири...» — «А о политике говорили?» — «Я вне политики, занимаюсь физикой и математикой».

Начальник вынимает другой лист: «А вот что говорил такой-то». И слово в слово читает ему рассуждения одного мудозвона. «Говорил он это?» Куда деваться? «Да, говорил». — «Как вы реагировали?» — «Не прислушивался, занимался». — «Помилуйте, в вашем присутствии ведутся антисоветские разговоры, а вы не прислушивались. Нет, вы прислушивались, иначе не подтвердили бы того, что я вам зачитал».

Мой друг молчит, возразить нечего. Ясно, среди приходивших был осведомитель, может, и не один. А начальник напирает: «Молчите? Отвечу за вас. Вы капитулировали для того, чтобы восстановиться в партии и взорвать ее изнутри. Вы возглавили и собирали у себя на квартире подпольную троцкистскую группу. У нас есть все основания арестовать вас и вашу группу и предать суду».

Мой друг отвечает: «Никакой троцкистской деятельностью я не занимался, ни в каких разговорах не участвовал. Но доносить — это противоречит моим нравственным убеждениям. Моя ошибка в том, что я не отказал им от дома сразу, когда они пришли в первый раз».

А начальник прет свое: «Мы арестуем вас и вашу группу. На следствии все признают свою вину, потому что в и н а б ы л а. Статья, по которой вы будете проходить: «создание контрреволюционной организации», предусматривает от пяти лет лагерей до высшей меры наказания. Хотите жить, хотите спасти свою семью, подумайте, к а к спасти. Говорите, у вас нет разногласий с партией, докажите это». И напрямую предложил моему другу сотрудничать. «А откажетесь, пеняйте на себя».

Конечно, мой друг мог такое предложение отвергнуть. Но это означало, что его тут же отправят в камеру и перед ним будут маячить или лагерь, или вышка. А лагеря или вышки мой друг не хотел. Не потому, что боялся, он был смелый человек, а з а ч т о он должен погибать? За то, что какие-то идиоты при нем трепались? За них он погибать не хотел и не хотел, чтобы погибли его жена и сын. За идею? Идею его вожди предали, каялись на всех углах. И он подписал обязательство. Но стукачом быть не собирался, надеялся, понимаешь, выйти из этого положения...

За соседним столиком кончили ужинать, один из компании остался рассчитываться, трое вышли, остановились в проходе. Глеб умолк. Народу в ресторане было средне — будний день. Певица закатывала глаза, прижимала руки к груди. «Только раз бывают в

жизни встречи, только раз судьбою рвется нить...» Плохо пела, но Саша любил цыганские романсы.

Люди, стоявшие возле их столика, прошли в раздевалку. Глеб продолжил:

— И поехал в Москву на самые верха, к товарищу Сольцу. Слыхал такую фамилию?

— А как же, даже знаком с ним. Хороший человек.

— Да? Хороший? Тебе, дорогуша, видней. Его ведь называли «совестью партии». Вот к этой «совести» он и поехал. Сольц, представь, его принял. И говорит ему мой друг: хотят меня завербовать, и как, мол, совместимо с партийной этикой и моралью, чтобы один коммунист тайно доносил на других коммунистов? А Сольц ему отвечает: «Не ко всем коммунистам органы приходят, ко мне, например, не приходили. А к вам пришли, значит, это ваше личное дело, вы и решайте».

— Сольц ему так ответил?

— Так мне рассказывал мой друг. А он всегда говорил только правду.

Неужели Сольц отнесся так казенно? Жаль. В его памяти Сольц сохранился совсем другим.

— Ну, и что было дальше?

— После Москвы, после Сольца мой друг пришел ко мне и рассказал все, что ты сейчас слышал. Просидели мы с ним всю ночь, много и чего другого говорил. Зиновьева, Каменева, Радека презирал, Бухарина, Рыкова тоже — своими славословиями помогли Сталину, проложили себе дорогу на плаху. Про Троцкого сказал — крупная фигура, не чета этим. И линия его правильная — в одной стране социализма построить нельзя, надо дать свободу фракциям и группировкам, а это — путь к свободе взглядов, свободе мнений, а значит, и демократии.

— Не думаю, что Троцкий был уж таким демократом.

— Дорогуша, передаю тебе, что слышал от своего друга. Демократия, конечно, не буржуазная, а вроде как социалистическая, пролетарская, я в этом не разбираюсь. В общем, Троцкого он одобрял — гениальный человек, но, мол, разглядывал себя в зеркале истории, не хотел стать новым Бонапартом, вот и проиграл игру. Имел в руках преданную армию, мог еще в двадцать третьем году арестовать и расстрелять эту троицу: Сталина, Зиновьева и Каменева.

— Расстрелять?! Какая же это демократия?

— Дорогуша! Так ведь в нашей стране все на расстреле держится: и диктатура, и демократия.

— А ты оказывается, философ.

— Какой есть. В общем, много чего говорил мой друг: все, мол, пропало, Октябрьская революция погибла, страна идет к фашизму. И его личная жизнь кончена. Держался спокойно, будто лекцию читал, честное слово! Видно, принял решение, встал и сказал: «Со мной всякое может случиться, и я хочу, чтобы хоть один человек на свете знал мою подлинную историю. Этот человек — ты. И

надеюсь, ты нашего разговора до поры до времени никому не передашь. Учись молчать!» Понял, дорогуша? «Учись молчать» — золотые слова.

Глеб обвел мрачным взглядом стол, откинулся на спинку стула.

— Дорогуша, что же мы с тобой сидим, как дурачки на именинах? Глотнем еще по сто, смотри, сколько колбасы осталось, не пропадать же закуске.

Он выпил, доел колбасу.

— Два дня я его не видел, а на третью ночь звонят в нашу квартиру. Что случилось? Стоят мильтон, участковый и дворник. «Одевайтесь, идемте, будете понятым». И приводят меня в соседнюю квартиру, в его комнату, а там обыск. Моего друга нет, только жена всполошенная и ребенок в кроватке. Обыск шел до утра, ничего не нашли, вписали в протокол какие-то старые книги для проформы, иначе зачем целую ночь рылись? Ушли они, а я остался, спрашиваю у жены, где он сам-то? Думал — в тюрьме. А жена отвечает: «В морге он теперь». В общем, дорогуша, покончил он с собой, отравился в институте, дождался, когда все уйдут, и принял яд. Поговорил с товарищем Сольцем, «совестью партии», после этой совести — яд принял. Вот какая у этой партии совесть! Утром люди пришли, а он лежит в аудитории. Похоронили мы его на Волковом кладбище, рядом с родителями. И скажу тебе, дорогуша, правильно он поступил: доживи он до нынешних времен, его бы уже двадцать раз расстреляли и семью бы угробили. А так человек покончил с собой, не он первый, не он последний. И семья в порядке, сын уже в школу пошел. А историю его, страдания его знаю я один, одинединственный. Великий был человек, дорогуша! А погиб! За то, что каким-то мудакам захотелось потрепаться. Так вот, скажи мне, дорогуша, как я должен после этого относиться к таким трепачам, как Каневский? Какое он имеет право при мне, при тебе, при Лене произносить слова, за которые дают срок, а то и вышку? Чтобы свою образованность показать? Так я положил с прибором на его образованность. То, что он знает, я давно забыл. Как я могу доверять какому-то Каневскому, когда мой друг дал подписку? И эта подписка лежит в архивах, и через сто лет ее прочитают и скажут: вот и этот был стукачом. А он был честнейший, порядочнейший человек, в жизни ни одного лживого слова не произнес.

Глеб наклонился к Саше.

— Я, дорогуша, тебе эту историю рассказал, чтобы ты не считал меня сволочью. Я тактично удалил Каневского, чтобы не было среди нас звонарей, из-за которых мы можем погибнуть. Кстати, это не я, а ты должен был сделать.

— Почему я?

— Потому что биография у тебя такая. Пока ты баранку в Калинине крутил, отдел кадров ихний, эта тощая проблядь Кирпичева на тебя целое дело завела, хоть ты и простой шофер. Скажи спасибо нашей родной рабоче-крестьянской милиции — выселили тебя из Калинина... И когда Каневский свою хреновину понес, я сразу подумал: а почему Сашка молчит? Ну, представь, дорогуша,

потянули бы нас за эти его словеса туда... А? Мы с Леней — семечки, баянисты, а ты? Судимый, и вот при одном контрике другой контрик развивает теории Троцкого. Организация! И ты в ней главный. Лагерь тебе, как минимум, обеспечен. А ты его жалеешь, сопли распустил. Ах, на улицу выбросили, ах, без куска хлеба оставили. Вот так и мой друг всех жалел... Знаешь, что я тебе скажу: когда ты тогда, в Калинине, с Людкой к кузнецу пришел, я как на тебя посмотрел, сразу догадался: из заключения парень.

— Догадливый ты.

— У тебя на лице это было написано, и на свитере, и на сапогах — во всем сочетании, так сказать. Я ведь, дорогуша, художник, у меня глаз — ватерпас, я сразу тебя разгадал: зек ты, но не простой, а интеллигент, к жизни этой волчьей не приспособленный, как и мой покойный друг. Больше скажу, ты как вошел, меня словно ножом по сердцу резануло, до того ты на него похож. Он русоволосый, у тебя волосы черные, и покрупнее он тебя, а все равно похожи вы, выражение лица одинаковое, одной вы породы, справедливость ищете, деликатные чересчур. И все равно тогда, в Калинине, я тебя сразу полюбил, вот, думаю, в моей скотской жизни опять появился настоящий человек, хотя и понимал нутром: тот мой друг пропал за свою деликатность и ты за это пропадешь.

— Боюсь, ты пропадешь раньше меня, — сказал Саша.

— Да? Почему так?

— Месяца три назад что ты мне сказал о Каневском?

— Вроде бы о пушкинском юбилее шла речь, не помню.

— Напомню. Ты сказал: мы из-за Каневского в тюрьму сядем... Я обязан быть на стреме, думать, кто рядом со мной. Говорил ты это?

— Вроде бы говорил...

— Зачем же ты позвал Каневского в ресторан? Зачем посадил рядом с собой? Зачем водкой поил? Он ведь не хотел идти с нами.

— Ну, в одном коллективе работаем, вместе получку получили, пойдем выпивать, а его не позовем, неудобно.

— Ах, неудобно? Тащишь за собой в ресторан человека, про которого знаешь, что он может нас в тюрьму посадить. Кто же ты после этого? И не он, а ты первый заговорил о социализме и прочей чепухе. Ты вызвал его на этот разговор, и он ответил, что думает. Ты его с п р о в о ц и р о в а л. Зачем?

Глеб поднял на него глаза.

— Ты это серьезно?

— Да, вполне серьезно. Спровоцировал, а потом побежал к Семену: «Увольте Каневского, болтает лишнее».

Глеб пожал плечами.

— Ну, если ты меня считаешь провокатором...

Саша допил свою рюмку, понюхал корку хлеба.

— Если бы я считал тебя провокатором, я бы с тобой ни минуты не сидел за этим столом. Я тебе скажу, почему ты притащил

Каневского в ресторан. Тебя раздражает его «высокомерие», ах, ты воображаешь себя гением, особняком держишься, брезгуешь нами, гнушаешься, нет, «дорогуша», ты такой же, как и мы, — по клубам бегаешь, фокстроты наяриваешь, вот и держись за нас. Обмываем получку, и ты обмывай, пьем водку, и ты пей, ерничаем про социализм, и ты ерничай. Не владеешь собой, поэтому и говорю: пропадешь раньше, чем я.

— Слава Богу, я уж думал, ты меня стукачом объявишь.

— История твоего друга трагическая и печальная, — продолжал Саша. — Но он был обречен. Я видел троцкистов в ссылке — крепкие люди. Поэтому их и уничтожили под корень, нынче слабые нужны, из них можно лепить что угодно. А чтобы из нас не лепили что угодно, нужна сдержанность, нужна осторожность. Думаешь, мне приятно фокстроты отплясывать? Для меня это дело? Но я залег на дно, в водорослях лежу, не слишком привлекательная позиция для мужчины, но я хочу в этих подлых условиях остаться порядочным человеком, может быть, придет время, вынырну. А ты пузыришься, по этим пузырям тебя и обнаружат. Завтра Семен явится туда: «Мой сотрудник Дубинин доложил мне, что пианист Каневский болтает лишнее». Приглашают тебя: «Благодарим вас, Глеб Васильевич, вы действуете как настоящий советский человек, так и продолжайте, сообщайте нам о всяких антисоветских разговорах». Вот ты и на крючке. Захотел покуражиться над человеком. И докуражился.

В зале притушили свет.

— Сигналят на выход. — Саша подозвал официанта, расплатился.

— Я жалею о том, что произошло, — сказал Глеб, — ты можешь поступать, как пожелаешь. Но я твой человек, Сашка!

— Я это знаю. — Саша встал. — Ладно, двинулись.

12

Варя встретила Лену Будягину случайно. Смотрели с Игорем Владимировичем «Депутата Балтики» в «Ударнике», вышли из кино, на улице полно народу, тепло, оживленно, широкие окна гастронома освещены, толпа зрителей из кино течет в сторону Полянки — на Каменном мосту ухает молот, двигаются огоньки, мост расширяют, строительные работы идут круглые сутки. Игорь Владимирович предложил пройтись по набережной. Они повернули налево, и здесь сразу у одного из подъездов громадного дома Варя увидела Лену Будягину.

Лена открывала дверь подъезда, почему-то обернулась, и по тому, каким напряженным стало ее лицо, Варя поняла, что Лена ее узнала. Это было, наверно, нетрудно, косынку Варя сняла еще в кино: прямые черные волосы, как и раньше, спускались на воротник и такая же, как и прежде, челка на лбу, но и Варя сразу узнала Лену, хотя в старом мешковатом пальто и стоптанных туф-

лях узнать ее было непросто, да и времени прошло... Сколько же прошло? Вместе встречали Новый год еще перед Сашиным арестом, значит, больше четырех лет назад. Лена была тогда с Юркой Шароком, Шарок открыто, при всех, ухаживал за Викой Марасевич, Нинка учинила скандал, и все же Лена послушно ушла с Шароком, и Саша кинул ей вдогонку: «Большего дерьма себе не нашла?!»

Лена стояла у открытой двери подъезда, не зная, войти или сделать шаг в сторону Вари. Такую нерешительность Варя видела сейчас на многих лицах, эти люди не уверены, поздороваются ли с ними их вчерашние друзья.

Варя улыбнулась, протянула руку:

— Здравствуйте, Лена!

На лице Лены появилась мягкая застенчивая улыбка, она смотрела чуть исподлобья, и, увидев ее улыбку и этот взгляд, Варя вспомнила, что последний раз видела Лену не на встрече Нового года, а в Клубе работников искусств в Старопименовском переулке, Варя была там с Костей, а Лена с Шароком и Вадимом Марасевичем, мягко и застенчиво улыбнулась Варе и смотрела так же исподлобья, оттого, наверное, что высокий рост заставлял ее чуть наклонять голову. Тогда это была красавица, все пялили на нее глаза.

— Здравствуйте, Варя. — Лена шагнула навстречу Варе, пожала ей руку. — Я рада вас видеть. Как вы живете, как Нина?

— У меня все в порядке, работаю, кстати, познакомьтесь, вот мое начальство... Игорь Владимирович, Лена...

«Будягина» Варя не добавила не потому, что боялась произнести эту фамилию, а потому, что не знала, носит ли ее теперь Лена.

— А Нина теперь далеко, — продолжала Варя, — вышла замуж почти год назад.

— А я думала: где Нина? Не дает знать о себе, не появляется.

— Вы здесь живете? — перебила ее Варя, отводя вопросы о Нине. Никто не должен знать, что Нина у Макса.

— Да, здесь, с сыном и братом...

О матери ни слова, значит, не только отца, но и мать посадили.

Потом протянула руку.

— Я вас задерживаю. Будете писать Нине, передайте привет.

— Можно, я как-нибудь зайду к вам?

Лена с удивлением, исподлобья посмотрела на нее.

— Пожалуйста...

— Дайте мне ваш телефон. Я позвоню, потом заеду.

Лена качнула головой.

— У нас давно нет телефона.

— Вы в этом подъезде живете?

— Да, первый этаж, квартира справа, три звонка. С утра и до четырех я, в принципе, дома.

— Вы не работаете?

— Пока нет, точнее сказать, уже нет.

— Нине я напишу, что видела вас, а к вам забегу в ближайшее же время. Вы не против?

— Я сейчас в таком положении, что, может быть, вам не стоит приезжать ко мне.

— Мне известно ваше положение. Что с того?! — Варя тряхнула волосами. — Мы давние знакомые, учились в одной школе, я не имею права к вам зайти?

— Ну, что ж, придете, буду рада.

Варя и Игорь Владимирович пошли по набережной.

Варя покосилась на него.

— Держитесь, Игорь Владимирович!

— Держусь!

— Сейчас узнаете, с кем вы только что познакомились.

— Я уже догадался. Семья арестованного.

— Но какого арестованного! Бу-дя-гина. Ивана Григорьевича. Знакома вам такая фамилия?

— Да. Бывший заместитель Орджоникидзе. До этого посол.

— Арестован в прошлом году. Расстрелян. Лена сказала: «Живу с сыном и братом». Значит, и мать расстреляли, она тоже старая большевичка.

— У меня создалось впечатление, — осторожно сказал Игорь Владимирович, — что она не особенно вас приглашала.

— Безусловно. В ее понимании приходить к ней не следует.

Игорю Владимировичу естественно было бы спросить: «А в вашем понимании?» Но в самом вопросе содержался бы совет: «Вам незачем к ней ходить». И он предпочел промолчать.

На собрания, осуждавшие «шпионов, диверсантов и убийц», Варя не являлась. Отправлялась в институт, училась на вечернем отделении, если собирали сотрудников днем, во время работы, уходила в Моссовет, в Мосстрой, Игорь Владимирович подтверждал, что да, он действительно послал ее туда. Каким образом узнавала она о предстоящем митинге или собрании, оставалось для него загадкой. Однажды митинг застал ее врасплох и она при всех, направляясь к двери, сказала: «Я побежала в АПУ, Игорь Владимирович!» И он ответил: «Да, да, поспешите, Иванова, они вас ждут». Так что со стороны все выглядело достоверным. Варя отметила его помощь, остановилась в дверях, взглянула на него, кивнула головой.

А он вернулся в свой кабинет, подошел к окну, хотел посмотреть, как она будет переходить улицу. Что делать, он любил эту девочку, давно любил, с того самого момента, когда познакомился с ней в «Национале». Она пришла туда вместе с Викой, что говорило не совсем в ее пользу, сняла шляпку с широкими полями, и тут он увидел ее глаза и понял, что не имеет никакого значения, с кем она пришла. А имеет значение только одно — как бы им вместе уйти. Но потом он потерял ее из виду, Вика рассказывала, что она вышла замуж за какого-то грека-бильярдиста, брак оказался неудачным, и, когда Левочка привел Варю к ним в мастерскую устраивать чертежницей, Игорь Владимирович посчитал это знаком судьбы.

Два года назад он отправил ей письмо, решился на такой шаг, хотел, чтобы она знала о его любви. На следующий день она

зашла к нему в кабинет, в платье без рукавов, остановилась в дверях, он предложил ей сесть, сказал, что у нее красивый загар. «На пляже была, — ответила она, — в Серебряном бору. Но я по поводу вашего письма». И, помолчав, объявила, что любит другого человека, он далеко, вернется через год и она его ждет. Он нашел в себе силы улыбнуться: «Ну что ж, Варенька, я тоже буду ждать».

Безусловно, ему было интересно знать, что же это за человек, которого она любит. Спросить Варю напрямую он не посчитал для себя возможным. Но из Викиных рассказов, из обрывочных Левочкиных фраз понял, что, скорее всего, это приятель и одноклассник Вариной сестры, отбывает ссылку в Сибири, у его матери Варя снимала комнату со своим мужем-бильярдистом. Однако прошло два года, заканчивался третий, никаких изменений в Вариной жизни не происходит, из чего Игорь Владимирович сделал вывод, что с тем ссыльным что-то не слаживается. Он видел Варину подавленность — не взяла отпуск, сидела в Москве, чего-то ждала. В такой ситуации его шансы возрастали, но он боялся загадывать наперед, пусть все будет так, как теперь: они работают вместе, он видит ее ежедневно и уже не может жить без этого, лишь бы все так и оставалось, лишь бы не изменилось к худшему — время нелегкое, а Варя ведет себя неосторожно.

Больше всего его беспокоило, что Варя манкирует праздничными демонстрациями. К девяти утра все сотрудники на месте, принаряжены, собираются в колонны, несут по Красной площади цветы, транспаранты, только Ивановой нет. Однажды он дал ей понять, что так поступать не следует. *Зачем дразнить гусей?* Такие вещи бросаются в глаза. Она ответила, что ходит на демонстрации с институтом, разве этот довод не убедителен?

— Нет, — сказал он, — вечерние институты на демонстрации не ходят.

До поры до времени все сходило ей с рук, как понимал Игорь Владимирович, по той простой причине, что никто, кроме него, ее здесь всерьез не принимал — смазливая чертежница, не более того. А те, кто обязан наблюдать, не допускали мысли, что в *наше время* возможно какое-либо несогласие. Люди с мировым именем вытягиваются в струнку, а не то что какая-то там девчонка. Ну, ушла пару раз с собрания, непорядок, конечно, но учится человек вечерами в институте, есть официальная справка. Тем более ничего *такого* Иванова себе не позволяла. Ни одного лишнего слова Варя на работе не произнесла. При нем могла смеяться, возмущаться, язвить, но только в том случае, если они были один на один.

— Что молчите, Игорь Владимирович?

— Да так, ничего, задумался о чем-то.

— Я знаю, о чем вы задумались. Вам не понравилось, что я сказала: «*Держитесь*, Игорь Владимирович». Вам показалось, что я хотела вас подколоть, сейчас ведь все всего боятся, но я делаю это исключительно для равновесия. Левочка и Рина молятся

на вас: «Ах, наш Игорь Владимирович — красавец, ах, наш Игорь Владимирович — гений, он — главный советник Сталина по преобразованию Москвы...» Если и я запою в этом хоре, вы превратитесь в икону.

— Вы всегда находчивы в своих ответах.

— Что вы имеете в виду?

А имел он в виду недавний случай в столовой, свидетелем которого стал случайно. Обедали сотрудники обычно компаниями, трепались, стоя в очереди к кассе, сидя за столиками, обсуждали наряды, покупки, браки, разводы, но в первую очередь, конечно же, последние газетные новости, процессы, суды. Все возмущались преступлениями обвиняемых, только Варя молча сидела над своей тарелкой.

— Иванова, о чем думаешь, не согласна, что ли?

Пренеприятный тип задал этот вопрос, некий Костоломов, новый чертежник, которого направил к нему в мастерскую отдел кадров. Игорь Владимирович не хотел его брать: опыта работы никакого, чертежников у него хватает, но в кадрах настояли. Игорь Владимирович даже советовался по этому поводу с друзьями, как поступить. «Не трепи себе нервы, — сказали ему, — если кадры сами посылают к тебе человека, значит, у тебя в мастерской не хватает секретных сотрудников».

Варя подняла на Костоломова глаза:

— Я и не слышала, о чем вы говорите. Вечером контрольная по математике, задачки в уме решаю.

Естественно, она тоже помнила тот случай.

— Вы даже побледнели, Игорь Владимирович, когда увидели, что я открыла рот, чтобы ответить этому подонку. — Она улыбнулась. — Зря вы так волнуетесь, я же взрослый человек.

— Вы человек взрослый, но не всегда осмотрительный.

— А как вы думаете, откуда такая фамилия? Не Малюте ли Скуратову прислуживали его предки? Небось были мастера кости ломать.

— Возможно, и так. Но его предки могли быть знахарями, костоправами, отсюда и Костоломов.

Они шли по Крымскому мосту к Зубовской площади. В темноте мрачно выглядели стальные фермы моста.

— В свое время, — сказал Игорь Владимирович, — я предложил протянуть поверху гирлянду лампочек, это оживило бы и мост, и Москву-реку. Отказали — не хватает электроэнергии. А я носился с этой идеей, как раз побывал тогда в Нью-Йорке, там мосты ночью сверкают огнями, поэтому кажутся легкими, воздушными. Завораживающая картина. Смотрел, завидовал.

— Мы этого никогда не увидим, — вздохнула Варя. — А как бы хотелось в Индию поехать, в Африку. Но это все равно что мечтать о полете на Марс. Мы ведь крепостные, нас барин дальше своей деревни не пускает.

Он всегда удивлялся: откуда в этой девочке, выросшей в советской семье, воспитанной в советской школе, такая непримири-

мость? Все плохо, все безобразно, все несправедливо. Максимализм молодости? Кончит институт, он поможет найти ей интересную работу, где она сумеет реализоваться, она очень способна, даже талантлива и поймет, что это и есть главное в жизни.

— Ваша знакомая кто по профессии? — спросил Игорь Владимирович, когда они подходили к Вариному дому на Арбате.

— Не знаю. Почему вы спрашиваете?

— Она нигде не работает, видимо, не может устроиться.

— Видели бы вы ее два года назад. Я думаю, красивее женщины в Москве не было. И как одевалась, долго жила за границей. А теперь ходит в стоптанных туфлях, в пальто с чужого плеча. Все, наверно, распродала. Надо кормить ребенка, брата.

— Узнайте, что она умеет делать. Я постараюсь помочь.

Варя посмотрела на него. И он впервые увидел в ее взгляде что-то еще кроме обычного дружеского интереса.

13

Получив распоряжение выехать в Москву, Шарок задумался.

Вечером семнадцатого февраля у Ежова был банкет по случаю отъезда Слуцкого в Узбекистан. Той же ночью Слуцкий умер. И хотя в «Правде» появился короткий, но теплый некролог, он не обманул Шарока. Москва — не Париж, там не нужен препарат десятидневного действия, можно и однодневного. И Шпигельглас исчез, вместо него новый человек — Павел Анатольевич Судоплатов.

Слуцкий был обречен. Но потому, что посадили и Шпигельгласа, Шарок понимал: дело в убийстве Льва Седова. С его смертью Зборовский потерял и доступ к переписке Троцкого, и возможность внедриться в его ближайшее окружение. И Серебрянского посадили, и всех его ребят, «Алексея» в том числе. Вот тебе и боксер, хорошо говорящий по-французски.

Отдал приказ Шпигельглас, препарат передал «Алексей», а там уж действовал Зборовский. Он, Шарок, никакого касательства к этому не имел, думал — неудачная операция. Но Шарок знал свое учреждение. Никакие доводы и доказательства там не действуют. Надо «очистить отдел от людей Шпигельгласа» — очистят за милую душу, расстреляют, и дело с концом.

Что же делать, как поступить? Не ехать, смыться? Куда? Просить убежища, стать «невозвращенцем»? Найдут. Как нашли и убили Игнатия Райсса. С другой стороны, его никак нельзя назвать человеком Шпигельгласа. К Шпигельгласу его направил сам Ежов. Может быть, чтобы заменить при надобности. Возможно, для этого и вызывает. Ведь сказал тогда: «Присмотритесь».

Однако Ежов назначен по совместительству и народным комиссаром водного транспорта. Назначение более чем странное. Водный транспорт! Речные пароходства — кому это надо?! И Ягоду не сразу расстреляли, а тоже назначили наркомом связи, а уж потом

посадили. Но Ягоду тогда сразу сняли с НКВД, а Ежова не сняли, и он, Шарок, человек Ежова, притом русский человек, не какой-нибудь поляк или еврей, как все эти Слуцкие и Шпигельгласы. Надо ехать, будь, что будет!

Как Шарок и предполагал, с ним разговаривали по поводу Седова, не допрашивали, а так, собеседовали. Попросили написать объяснительную записку. Шарок написал, что как было. А как было? Седов заболел, Шпигельглас прислал «Алексея», приказал свести его со Зборовским, но самому на встрече не присутствовать. Свел. Не присутствовал. А через десять дней Седов умер. Вот и все. Шарок долго думал и приписал осторожно: «Смерть Седова во многом обесценила значение «Тюльпана» как источника исключительно важной информации и лишила его возможности внедриться в окружение Л. Д. Троцкого».

Объяснительную записку он сдал, и опять потянулись дни ожидания. Болтался в отделе. Познакомился с Павлом Анатольевичем Судоплатовым, рассказывал ему о Третьякове и Зборовском. Судоплатов, конечно, все о них знал, но внимательно слушал, прихлебывая из стакана горячий чай. Грипповал, знобило, глаза слезились, нос покраснел, не лучшим образом выглядел, тем не менее произвел на Шарока сильное впечатление — холодный, безжалостный, настоящий разведчик. Велел пока знакомиться с текущими донесениями Зборовского о подготовке в Париже учредительного конгресса троцкистского IV Интернационала.

20 июля заместителем Ежова и начальником Главного управления государственной безопасности назначили Лаврентия Павловича Берию. Всем стало ясно: дни Ежова в наркомате сочтены, Берия, близкий Сталину человек, пришел заменить Ежова. Тревога еще больше овладела Шароком — вся надежда была на Ежова. А теперь? Не за кого зацепиться, не у кого просить помощи, ни одного знакомого лица, всех пересажали: Молчанова, Вутковского, Штейна, Дьякова. Даже опасно упоминать, что работал с ними, с осужденными врагами народа.

Единственным старым знакомым оставался Абакумов Виктор Семенович. Ходил теперь в больших чинах — начальник Ростовского областного управления НКВД, одного из крупнейших в наркомате. А ведь у них в отделе подшивал бумаги. С приходом Ежова пошел в гору. Поставил у себя в кабинете шкафы с конфискованными книгами, а ведь за всю жизнь, наверное, ни одной не прочитал. Темный, необразованный, матерщинник, бабник, фокстротчик, такой медведь, а почитает себя великим танцором. А не заступись тогда за него Шарок, свистел бы сейчас на морозе где-нибудь на севере в должности лагерного оперуполномоченного. И напомнить нельзя — обидится: выходит, я обязан не своим способностям, не беззаветной преданности делу Ленина — Сталина, а тебе, говнюку?! Только врага приобретет. Люди не любят, когда им напоминают о благодеяниях. Возможно, Абакумов вообще не желает вспоминать то время. Ведь именно он допрашивал своих бывших начальников и сослуживцев по СПО. Лучше быть от него подальше.

Абакумов часто наезжал в Москву, но Шарок не делал попыток с ним встретиться. Встретились случайно, в коридоре. Абакумов шел шумно, такая есть особенность у больших начальников. Не кричит, не стучит, сапогами не топает, а видно, что идет начальник, никому дороги не уступает, прет, как танк, посередине коридора, кивает головой и знакомым, и незнакомым, и часовым кивает мимоходом, те у него пропуск не спрашивают, знают в лицо.

И Шароку он кивнул, как и всем, походя, мимоходом, но тут же остановился.

— Юра, ты ли это?

— Я, Виктор Семенович.

— Рад видеть. Ты вроде бы там?.. — Абакумов кивнул головой в сторону, как бы показывая за кордон, за границу.

— Вроде бы там.

— Остаешься или обратно?

— Не могу точно сказать, Виктор Семенович, наша работа такая: нынче здесь, завтра там... — Шарок тоже кивнул головой в сторону, как бы показывая за кордон.

Абакумов зычно рассмеялся.

— Как мы в комсомоле-то пели: «По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там»... — Неожиданно спросил: — Женился?

— Нет еще.

— На перекладных?

— Приходится.

— Слушай, у тебя отдельная квартира, помню, новоселье справляли.

— Да, квартира все та же.

— Знаешь разницу между комедией, драмой и трагедией?

— Ну, — начал Шарок, — комедия — это...

— Погоди, — перебил его Абакумов, — я тебе сам объясню: когда есть «чем», есть «кого», но нет «где» — это комедия; когда есть «чем», есть «где», но нет «кого» — это драма; а вот когда есть «где», есть «кого», но нету «чем» — вот тогда трагедия.

И опять зычно расхохотался.

— Понял меня? Кобылки-то есть?

— Где их нет.

— Давай завтра вечерком, в девять. Собери кворум, кураж подвезу. Только адрес оставь, подзабыл малость.

Шарок записал свой адрес, от «куража» отказался:

— Ничего не надо, Виктор Семенович, дома все есть.

Предстоящее мероприятие внушило Шароку некоторые надежды. Если Абакумов хочет провести у него на квартире ночь с бабами, значит, Шарок в порядке. Абакумов знает, с кем можно попьянствовать, а с кем нельзя. Знает, что Ежову конец, а ведет себя уверенно, значит, есть поддержка и с другой стороны.

Шарок позвонил Кале, велел прийти завтра с подругой, предупредил:

— Только не ломаку, понимаешь?! Для большого человека! От него многое для меня зависит.

Каля все пообещала сделать. Решила, наверное, что этот человек поможет Шароку остаться в Москве, и тогда Юра на ней женится. Дура, конечно, но баба ничего, своя, верная баба.

На следующий день Шарок чувствовал себя веселее. Составил сводку донесений Зборовского о предстоящем конгрессе троцкистского IV Интернационала. Официально объявлено, что конгресс состоится в Лозанне, на самом же деле он откроется в пригороде Парижа, на вилле друзей Троцкого супругов Росмеров. Ожидается человек 30—40 из 15—16 стран, список этих стран и предполагаемых делегатов Зборовский прислал. Задача конгресса — утвердить «Мировую партию социальной революции». Сводку в конце рабочего дня Шарок доложил Судоплатову. Тот приказал запросить у Зборовского список всех технических сотрудников конгресса.

— Павел Анатольевич, — сказал Шарок, — сегодня вечером у меня некоторые личные дела. Разрешите уйти часов в семь.

— Пожалуйста, когда хотите, вечером вы не понадобитесь.

Шарок вернулся в свой кабинет, запер ящики стола, погасил настольную лампу, и тут раздался звонок по внутреннему телефону: Шароку приказывалось немедленно явиться к народному комиссару товарищу Ежову.

Опять, как два года назад, по длинным коридорам Шарок шел в левое крыло наркомата, поднимался вверх, спускался вниз, снова поднимался, на каждой лестничной площадке предъявлял часовым удостоверение, опять обдумывал, зачем Ежов вызывает его. Абакумов что-нибудь сказал? Сомнительно. Шарок его ни о чем не просил. Париж? Все доложено Судоплатову. И еще: иностранный отдел подчиняется теперь Берии. Значит, Ежов его обходит? А потом Берия на нем, на Шароке, отыграется. В общем, ничего хорошего этот вызов не сулит.

Вместе с секретарем Шарок пересек знакомый кабинет. Тот же громадный стол, застекленные шкафы вдоль стен, портьеры на окнах, та же дорогая мебель и портрет товарища Сталина над креслом. Секретарь постучал в дверь в задней стене, раздался хриплый голос: «Входи!» Секретарь открыл дверь, пропустил Шарока и удалился.

В небольшой комнате на диване сидел Ежов, рукава рубашки засучены, волосы растрепаны, на столе батарея бутылок, на тарелках закуска. Окинул Шарока мутным взглядом. Зазвонил телефон. Ежов поднял трубку, послушал, грубо ответил:

— Я русским языком все объяснил. Не поняли? Ну, и идите к...

Матерно выругался и бросил трубку. Был не только пьян, но возбужден и встревожен. Снова мутными глазами с подозрением посмотрел на Шарока.

— Отчитались?

— Так точно, товарищ народный комиссар, отчитался, — отрапортовал Шарок, вытягиваясь.

Ежов не предложил ему сесть.

— Не надоело жить вдали от Родины?

— Служба, товарищ народный комиссар.

— Служба... Службу можно поменять.

— Как прикажете, товарищ народный комиссар.

— А вот прикажу перейти на службу в Народный комиссариат водного транспорта. Как ты на это посмотришь?

— Приказ есть приказ, товарищ народный комиссар.

— Что ты все талдычишь: приказ, приказ... Спрашиваю: хочешь перейти ко мне в Наркомат водного транспорта?

Мысль Шарока лихорадочно работала. В органах стало опасно, хорошо бы уйти на гражданскую службу, но связывать свою судьбу с Ежовым еще опаснее.

— Что молчишь?

— Не знаю, какая работа, товарищ народный комиссар.

— Работы хватает, работников нет, одни вредители и болтуны, понял?

— Понятно. Но я по образованию юрист, поэтому меня сюда и взяли. А речной транспорт... Я даже не знаю, что это такое.

Ежов опять глотнул из рюмки, пошарил глазами по столу, но ничем не закусил. Не глядя на Шарока, сказал:

— Устроим по специальности. Есть и юридический отдел, и отдел кадров, и спецотдел.

— Разрешите подумать, товарищ народный комиссар.

Ежов поднял на него мутные глаза, недобро посмотрел, у Шарока от страха сжалось сердце.

— Не хочешь! — зловеще заключил Ежов.

— Подумать хочу, товарищ...

— Все ясно! — оборвал его Ежов. — Иди!

14

В магазине НКВД на Большой Лубянке Шарок купил водки, вина, закусок, набил полный портфель. Квартира его была на Остоженке, в Зачатьевском переулке. В двадцатых годах какой-то нэпман выкроил ее из бывших барских хором. Нэпман давно откинул копыта в Нарыме или на Соловках, вместо него поселился профессор, и этот дал дуба на Колыме или в Воркуте, квартиру получил Шарок. Две комнаты, кухня, ванная, уборная, пара стенных шкафов, антресоли — словом, все, что положено, и Шароку удобно — неподалеку Арбат, где отец с матерью, и органам хорошо, когда сотрудник за границей, его квартира используется как явочная для встреч с осведомителями; ключи в отделе. Вторые ключи у отца с матерью — приходят по воскресеньям, в этот день явок нет — так уговорено. Каля заикнулась было: «Хочешь, буду за квартирой присматривать?» Он усмехнулся: «Миленькая, в моем учреждении разве некому присматривать? Ты без меня сюда и близко не подходи». Только того и добилась Каля, что в ванной всегда висел ее халат.

Но когда он приезжал в Москву, она с усердием исполняла роль хозяйки, прибирала, мыла, чистила, показывала домовитость, уже

три года как встречаются, мол, пора что-то решать. И сейчас накрывала на стол, ладная, веселая, с большими и сильными руками. Привела с собой подругу, высокую, черноволосую, цыганского вида девку с длинными стройными ногами и позолоченными серьгами в ушах. Представила ее:

— Моя подруга Аза.

Дымя папиросой, подруга добавила:

— Цыганка Аза.

И так же представилась Абакумову:

— Цыганка Аза.

— Так уж? — засомневался Абакумов.

— Разве не похожа?

Аза по-цыгански затрясла плечами.

— Это и мы умеем...

К удивлению Шарока, Абакумов тоже затряс толстыми плечами, не как Аза, конечно, но вроде бы по-цыгански.

— Из нашего табора, — одобрила Аза.

— И спать нам в одном шатре, — заключил Абакумов.

Держался он так, будто знал девушек давно, столько их перебрал, что уже не отличал знакомых от незнакомых. Вошел шумно, шофер внес за ним пакет и ушел, получив распоряжение, когда и куда приехать. А Шароку Абакумов приказал:

— Разворачивай пакет!

— Виктор Семенович, зачем? Видите, все есть на столе.

— Подкрепление не повредит. Как Наполеон говорил? Что нужно для победы? Сосредоточить главные силы на главном направлении. Как, девушки, правильно говорил Наполеон Бонапарт? Знаете такого? Та́рле читали?

Вот хамло, подумал Шарок, не может правильно произнести фамилию. Да и не читал он Тарле, узнал, что Сталин велел восстановить того в звании академика, и тут же, конечно, купил его книгу «Наполеон», поставил на полку.

— Знаем Наполеона, читали. — Аза сидела, положив ногу на ногу, дымила папиросой.

— Проверим, — весело сказал Абакумов, — а сейчас, ребятки, давайте перекусим, я голодный, как волк.

Каля между тем развернула пакет, выставила на стол армянский коньяк, выложила икру, лососину, буженину и виноград.

— С чего начнем? — спросил Абакумов и потянулся за водкой.

— Что в руках, с того и начнем, — тряхнула серьгами Аза.

— Правильно, — взглянул на нее Абакумов, — пить — так водку, любить — красотку, украсть — миллион.

Пил он рюмку за рюмкой и всех заставлял пить: со знакомством, за женщин — Калю и Азу, за Юру, за родных и близких... И жрал, как свинья, даже похрюкивал.

Юра пил осторожно. Предстоит разговор. На карту поставлена жизнь. Стряпают «дело Шпигельгласа», значит, нужны соучастники. А Ежов переводом в другой наркомат выручал его. Знай, спасаю тебя! Ах, не хочешь, тогда и расплачивайся! Сегодня же ночью за

ним явятся. И застанут Абакумова в постели с девкой. По законам товарищества надо бы предупредить. Но разве оценит? Тут же смоется. И из тюрьмы выволакивать не будет. Пусть уж затянется в узел вместе с ним. Если же сегодня не придут, то завтра Абакумов примет меры. Должен выручать. Иначе если Шарока посадят, то и он горит. «С кем встречались?» — «С товарищем Абакумовым. У меня на квартире с женщинами пьянствовали». Потом отбрехивайся!

Абакумов между тем снял пиджак, в штатском явился, рубашку расстегнул, показывает косматую грудь, уже шарит волосатой ручищей у Азы под юбкой, а та извивается, страсть изображает, тоже набралась порядочно, и у Кали глазки заблестели, смеется, заливается. А у него голова должна быть ясной. Хоть Абакумов и в чинах, кости ломать большого ума не надо, в Париж такого не пошлешь, там нужны Шпигельгласы, Судоплатовы, Шароки, те, на ком держится советская разведка, — профессионалы. Он справлялся с генералом Скоблиным, с министром Третьяковым, справится и с хамом Абакумовым, заставит ввязаться в это дело, вынудит. Только не опьянеть. Шарок незаметно вместо водки наливал нарзан, благо рюмки из толстого зеленого стекла, пузырьков не видно, и Абакумов не следил, как он пьет. Сам пил, ел, шарил у Азы под юбкой и на Калю, надо сказать, поглядывал, тыкал пальцем в грудь: «Вот это букетик, молодец, девка, все при тебе». Не будь тут Шарока, обеих уложил бы в постель.

Потом потребовал завести патефон, пошел танцевать с Азой. Пьяный, а на ногах держался, толстый, здоровый, даже фигуры выделывал, непонятно, что танцует — танго или «камаринскую», и на ходу раздевал Азу, все на ней расстегнул, под штанишки полез, а она ничего, только зыркает глазами на Калю и на Шарока, качает головой, мол, смотрите, люди добрые, каков охальник!

Пластинка кончилась.

— Где отдохнуть можно? — прохрипел Абакумов.

Шарок показал на дверь спальни.

Абакумов потянул Азу за руку.

— Пошли в шатер, цыганочка!

Аза опять зыркнула глазами на Калю и на Шарока, пожала плечами, мол, смотрите, что он со мной делает! Но вслед за Абакумовым пошла безропотно.

Шарок и Каля легли на диване.

— Утром уйдешь с ней в ванную, — сказал ей Шарок, — там задержитесь, а я переговорю с Виктором Семеновичем.

Ему не пришлось дожидаться утра. Только, казалось, задремал, как его разбудил голос Абакумова. Шарок протянул руку, зажег бра над диваном. Абакумов стоял посередине комнаты, толстый, в одних трусах, над ними висел живот. Аза в комбинации сидела за столом.

— Хватит спать, мужичок, ведь весна на дворе... — Абакумов уселся рядом с Азой, налил нарзану. — Вставайте, братцы, еще погуляем.

Шарок надел под простыней трусы, встал, тоже сел за стол.

— Вставай, Каля! — приказал Абакумов.

— Отвернитесь, Виктор Семенович, я раздета.

— Еще чего! Не видал я голых баб.

Прикрывшись руками, Каля пробежала в ванную, вернулась в халате.

Кивнув Азе, Шарок сказал:

— Идите мойтесь. Я позову.

Женщины ушли, вскоре из ванной донесся плеск воды.

Абакумов налил водки себе, Шароку:

— Поехали.

Выпили.

— Виктор Семенович, я хотел с вами посоветоваться.

О своем разговоре с Ежовым Шарок рассказал, как по стенограмме, и о том, что Ежов остался недоволен, тоже сказал.

Абакумов тыкал вилкой в закуски, жевал то одно, то другое, посматривал на Юру.

— Доложил Судоплатову?

— Когда? Николай Иванович отпустил меня поздно. Я боялся на встречу с вами опоздать. Вы думаете, Судоплатов может мне помочь?

— Не может, — неожиданно трезво и внушительно ответил Абакумов, — но знать должен. Вызовет его товарищ Берия Лаврентий Павлович, спросит: «Известно вам, что ваших работников переманивают в другой наркомат?» — «Нет, неизвестно», — ответит Судоплатов. «Ах так, значит, товарищ Шарок ведет переговоры за вашей спиной. Двойную игру играет! Как это расценить?!» Понял мою мысль?

— Вы правы, Виктор Семенович.

— Сегодня, как на работу придешь, сразу к Судоплатову. Все, как мне, так и ему расскажешь. Подчеркни: «Согласия не дал. Считаю обязанным вам доложить». И после этого сиди спокойно. Дожидайся. Все остальное сделаю я.

Он вдруг наклонился вперед, исподлобья посмотрел на Шарока.

— Абакумов верных друзей не забывает. Понял?

— Понял, спасибо, Виктор Семенович.

— Давай за это выпьем. Ты весь вечер вместо водки нарзан хлестал. Я видел. Понимаю: к разговору готовился. Не осуждаю. А теперь уж выпьем.

И, запрокинув голову, опорожнил рюмку.

— С твоим делом покончено, — сказал Абакумов, — будем гулять. Как в песне-то поется: «Будем пить, будем веселиться, жизнь коротка, надо насладиться». Аза — баба ничего, умелая, а Каля как?

Хмель выскочил у Шарока из головы, понял скрытый смысл этого вопроса.

— Я с Калей не первый день, Виктор Семенович, даже думали...

Абакумов перебил его, не дал договорить:

— Вот и нужно тебе свежачка попробовать. Поменяемся!

Деваться некуда, он в руках у этой свиньи. Явится сегодня к Ежову и доложит: «Заезжал вчера к Шароку, как к старому товарищу по работе, а он, сукин сын, сидит пьяный и вас поносит, говорит, переманиваете его уйти из органов, вот сволочь, негодяй!» И тогда уведут его прямо из отдела и расстреляют, разговор короткий!

— Куда мне после вас к Азе? — улыбнулся Шарок.

— Справишься, парень молодой! А где девки-то?

Он встал, приоткрыл дверь ванной...

— Отполоскались?! Как в песне-то поется: «Девоньки купаются, сисеньки болтаются».

— Сейчас оденемся, Виктор Семенович, — сказала Каля.

— А чего одеваться? Все равно раздеваться.

— Нет уж, так нам удобнее.

Каля вышла в халате, Аза — в комбинации.

Абакумов тут же всем налил водки.

— Давайте, девушки, подкрепляйтесь.

Шарок вышел на кухню, позвал Калю, хмуро и озабоченно сказал:

— Я говорил с ним, обещал помочь. От него зависит не только моя судьба, но и жизнь. Поняла?

— Да, да, конечно, — испуганно проговорила она.

— Аза ему не понравилась, выпендривается. Я тебя предупреждал: не приводи ломаку. Придется тебе за нее отработать...

Она сначала не поняла, о чем он, потом, когда смысл сказанного дошел до нее, вспыхнула от негодования.

— Ты что, рехнулся?! Да я уйду сию минуту! Ты что говоришь?!

— То, что слышишь. Ради меня, ради моей жизни. — Он изо всей силы сжал ее запястье. — Я тебя прошу. Клянусь, мы никогда об этом не вспомним. Все! И не вздумай кобениться! Предупреждаю! Не пойдешь — мне смерть, но и тебе смерть!

Они вернулись к столу.

— Теперь попляшем, — закричал Абакумов, дожевывая ветчину. — Настраивай, Юрка, музыку. А ну-ка, Каля, давай с тобой попрыгаем.

Облапил ее, прижал к себе, голый, толстый, волосатый, задвигался по комнате, норовя засунуть ее руку к себе в трусы, и, очутившись возле спальни, открыл дверь, подтолкнул туда Калю.

Она оглянулась, умоляюще посмотрела на Шарока.

Он резко, повелительно махнул рукой: иди!

Утром Шарок зашел в Судоплатову, доложил о своем разговоре с Ежовым.

— Решать такой вопрос — ваше личное дело, — сухо заметил Судоплатов.

А вечером Шарока вызвали к Лаврентию Павловичу Берии.

Берию Шарок видел только на портретах. Льстили, конечно, художники, но лицо у Берии и в жизни оказалось неестественно гладким, будто накачали в него воздух и нацепили пенсне.

Кроме Берии в кабинете были еще двое: Судоплатов и какой-то чин, похожий на Серебрянского, но черты лица тонкие, глаза живые, и оттого выглядел он красивым и привлекательным.

Вытянувшись, Шарок доложил о прибытии.

— Садитесь!

Сверля Шарока маленькими глазками, Берия спросил:

— Какова ситуация со Зборовским?

— Со смертью Льва Седова единственно, что он сохранил, это доступ к делам троцкистского Международного секретариата, — четко ответил Шарок.

— Есть возможность внедрить его в окружение Троцкого?

— Очень малая. Зборовского подозревали в убийстве Седова. Подозрение отпало. При Седове неотступно находилась его жена Жанна Мартен, к пище Седова Зборовский не притрагивался. И все же недоверие осталось. Зборовский просил Троцкого разрешить ему приехать в Мексику, Троцкий отказал.

Чин, сидевший рядом с Судоплатовым, изучающе смотрел на Шарока.

— Какие вы видите перспективы? — спросил Берия.

Шарок отлично понимал, что речь идет об уничтожении Троцкого, но он должен говорить только в предложенных рамках: о внедрении человека в окружение Троцкого. И еще понял Шарок: он опять получает шанс — может стать человеком Берии. Тщательно подбирая слова, Шарок сказал:

— Мне кажется, что планы проникновения к Троцкому были изначально нереальными. Намечалось забросить к нему человека от белых, людей готовили генералы Туркул, Миллер и Драгомиров. В Турции и в Европе они имели какие-то шансы, в Мексике — никаких. Охрана Троцкого состоит из американцев и мексиканцев, среди них и надо подобрать человека. Лучше мексиканца или, во всяком случае, человека испаноязычного.

— Хорошо... — сказал Берия, и какие-то нотки в его голосе подсказали Шароку, что он попал в точку, его рассуждения совпадают с планами этих людей. — Третьего сентября собирается учредительный конгресс IV Интернационала. Вам следует завтра же отправиться в Париж и быть в курсе этой говорильни.

— Слушаюсь, товарищ Берия!

Он назвал его по фамилии. Именовать «заместителем наркома» человека, который не сегодня-завтра будет наркомом, было бы глупо.

— Ваши руководители... — Берия кивнул в сторону Судоплатова. — С Павлом Анатольевичем вы знакомы...

— Так точно, знакомы.

Берия повернулся к соседу Судоплатова, представил его:

— Наум Исаакович Эйтингон.

Эйтингон протянул Шароку руку, улыбнулся.

— Будем работать.

15

После награждения орденом положение Вадима настолько упрочилось, что ему вручили однодневный пропуск в Октябрьский зал Дома союзов на судебный процесс по делу «Антисоветского правотроцкистского блока». Такой чести удостоились лишь видные писатели, способные создать нужное общественное мнение.

Вадим не сомневался в том, что сумеет оправдать доверие. Его реакция не будет простым газетным откликом, какие сотнями печатают ныне его собратья по перу: «Сурово покарать грязную банду убийц и шпионов»... «Уничтожить!», «Добить!» и тому подобные заезженные штампы. Он исследует психологию политического преступления, протянет нить от доклада Бухарина на 1-м съезде писателей в 1934 году до нынешнего процесса. Доклад о поэзии... о п о э з и и делал шпион и убийца. Где же грань, отделяющая интеллигента от преступника? Плетнев, Левин, Казаков — врачи, призванные исцелять и спасать, стали пособниками, подручными Смерти. Где же грань, отделяющая гуманиста от преступника? На эти вопросы он даст ясный, четкий и достойный ответ: истинная интеллигентность, истинная гуманность возможны только в верном служении партии Ленина — Сталина. Вот в таком духе следует начать, а там уж рука сама пойдет писать.

Как и все в зале, Вадим, затаив дыхание, следил за происходящим на сцене. Господи! Бухарин и Рыков — бывшие руководители партии и государства, Ягода — всесильный глава НКВД, само его имя внушало ужас, народные комиссары, секретари ЦК партии, вершившие судьбами миллионов людей, теперь, жалкие, раздавленные, сидят на скамье подсудимых, послушно встают, послушно садятся, охотно признаются в самых страшных преступлениях. Вадим не знал и не хотел знать, какой ценой добились от них признаний. Он мог об этом только догадываться, вспоминая парикмахера Сергея Алексеевича с его выбитыми зубами, со страшными кровоподтеками на лице. Но не ощущал к этим людям ни капли жалости. Разве не они создали систему, при которой все обязаны быть «Вацлавами»?! И хватит глупых угрызений совести!

Вадим сидел в задних рядах, но Октябрьский зал невелик, все видно. Бухарина и Рыкова он узнал сразу, их все знали по портретам, узнал он и профессора Плетнева Дмитрия Дмитриевича — учитель его отца, часто бывал у них дома, отец называл его великим талантом, даже гением, одним из величайших врачей мира. В прошлом году в июньской «Правде» появилась статья: «Профессор — насильник, садист». Во время осмотра какой-то пациентки профессор Плетнев якобы укусил ее за грудь, и в результате этой травмы и тяжелого душевного потрясения женщина осталась инвалидом. Приводилось и ее письмо, которое газета назвала «потрясающим человеческим документом». На следующий же день началась газетная кампания. Профессора, видные врачи, медицинские коллективы клеймили позором шестидесятипятилетнего «насильника и садиста». Но имени своего отца Вадим в том списке не увидел, не

выступил Андрей Андреевич и на экстренных заседаниях Всероссийского и Московского терапевтических обществ. Положение у Вадима было щекотливое: отец не хочет выступать, его молчание может дорого обойтись и Вадиму. Но сказать об этом отцу не решился, боялся вызвать его гнев, боялся ответных упреков, даже разоблачений — ему казалось, что отец догадывается о «Вацлаве», а может быть, и знает. Неужели он по рассеянности оставил какое-то донесение на столе у себя в комнате, а отец это донесение прочитал? Ужасно, если это так. Возможно, потому он и не поздравил его с орденом и вообще перестал интересоваться его делами. Но тогда, в июне тридцать седьмого года, Вадим вполне миролюбиво спросил отца:

— Что это за история с Дмитрием Дмитриевичем?

— Ты ведь читаешь газеты, знаешь, наверное.

— Да, конечно, читаю. И отзывы его коллег читаю. Осуждают его коллеги.

— Не все! — оборвал его отец. — Далеко не все! Егоров, Сокольников, Гуревич, Каннабих, Фромгольц, Мясников отказались поддержать эту гнусность. И твой отец, между прочим, тоже отказался.

— Каждый имеет право на собственное мнение, — примирительно сказал Вадим.

Ничего другого он сказать не мог. Признался тогда Плетнев или нет, никто не знал, получил два года условно и вскоре опять был арестован, но уже по делу, которое сейчас рассматривается в Октябрьском зале и где Плетнев сознается в более тяжких преступлениях, чем попытка изнасиловать какую-то истеричку.

Допрос Плетнева Вадим слушал с особым вниманием. Что там ни говори, а есть нечто особенное в советской власти, сокрушающей самые великие авторитеты и репутации. Грозная, непобедимая сила, горе тому, кто становится на ее пути.

Что *теперь* скажет отец? Плетнев сам сознался в своих преступлениях! И каких! Теперь Плетневу грозит расстрел. И каждому, кто попытается слово сказать в его защиту, тоже грозит расстрел. Теперь уже отцу не отвертеться! Придется высказать свое отношение. Плетнев — его учитель, его друг. Ничего! Отрекаются от отцов и матерей, от братьев и сестер, от сыновей и дочерей, а уж от *коллег* по работе, от учителей и от учеников сам Бог велел отрекаться.

В зале не полагалось вести записи. Но мысли надо будет записать сегодня же, под свежим впечатлением от процесса. Это Вадим и сделал, вернувшись домой. Работал с упоением.

Вскоре пришел с работы отец, снял пиджак, надел домашнюю куртку, как всегда, остался при галстуке, глядел хмуро, устало. Вадим понимал, что разговор о Плетневе будет ему неприятен, но удержаться не мог. И не следует откладывать. Отец не посмеет возражать, да ему и нечего возразить. И он добьется от отца увольнения Фени и прекращения всяких контактов с Викой, отец их поддерживает через эту дамочку Нелли Владимирову. К тому же

трудно отказать себе в удовольствии рассчитаться с отцом за предыдущий разговор о Плетневе. Теперь-то уж отец не посмеет говорить, как в прошлый раз: галиматья, гнусность, подлость, бред, провокация. Придется ему подыскивать другие слова, другие выражения.

Грызя куриную ножку (Вадим любил поужинать холодным цыпленком, а Феня, уходя вечером, всегда оставляла холодный ужин), Вадим сказал:

— Был я в Доме союзов на процессе, жуткое зрелище, доложу тебе.

Отец молча ел.

— Бухарин, Рыков, Ягода — прожженные политиканы, с ними все понятно. Но врачи — Левин, Казаков и, главное, Плетнев Дмитрий Дмитриевич. Я не верил собственным ушам, он во всем признавался.

Отец, пригнувшись к тарелке, продолжал есть.

— Я смотрел только на него, может быть, думаю, подставное лицо, актер. Нет, он, Дмитрий Дмитриевич, я ведь много раз видел его здесь, у нас, в этой комнате, это он, его речь, его манера держаться.

Отец продолжал молча есть, не поднимая глаз на Вадима.

— Не понимаю, что заставило его?! Убить Куйбышева, Максима Горького...

Андрей Андреевич положил вилку и нож на тарелку, вытер салфеткой губы, откинулся на спинку стула и, глядя мимо Вадима, спокойно сказал:

— Дмитрий Дмитриевич не лечил Куйбышева.

— Но...

— Повторяю. — Андрей Андреевич повысил голос, смотрел попрежнему мимо Вадима. — Дмитрий Дмитриевич не лечил Куйбышева. Куйбышев скоропостижно скончался от паралича сердца после напряженного рабочего дня. Было вскрытие, причина смерти — закупорка тромбом правой коронарной артерии сердца. Но, что бы там ни было, Дмитрий Дмитриевич не лечил Куйбышева.

Он перевел дыхание...

— Что касается Горького, то он много лет страдал тяжелым легочным заболеванием — хронический гнойный бронхит с бронхоэктазами, пневмосклероз, эмфизема легких и сердечно-легочная недостаточность. Он всегда кашлял и непрерывно курил, хотя врачи требовали, чтобы он прекратил курение. У него даже возникали легочные кровотечения. На Капри, в Крыму ему становилось лучше, но каждое возвращение в Москву вызывало пневмонию. То же самое произошло в июне 36-го года. Его лечили Кончаловский, Ланг и Левин. В их присутствии Дмитрий Дмитриевич несколько раз его консультировал. Лечение было абсолютно правильным, но спасти Горького было невозможно. Медицинское заключение о его смерти подписали нарком здравоохранения, все лечащие врачи, кроме них еще профессор Сперанский и профессор Давыдовский, производивший вскрытие. Ни одного из этих врачей не вызвали в

суд хотя бы в качестве свидетеля. Ни одного! Не нужны были! Все свалили на Плетнева и на несчастного Левина. «Шайка безжалостных злодеев»! — Андрей Андреевич ударил вдруг кулаком по столу. — Не они безжалостные злодеи, а те, кто их судит, вот они-то и есть «безжалостные злодеи»!

— Отец! — воскликнул Вадим. — Опомнись! Что ты говоришь?! Суду было предъявлено заключение медицинской экспертизы.

— Экспертизы?! — Андрей Андреевич наконец взглянул Вадиму в лицо, но столько презрения и ненависти было в его взгляде, что Вадиму стало не по себе. — Этих подонков ты называешь экспертами?! Бурмин — руководитель экспертизы — бездарность, холуй и трус! Десять лет занимается кисловодским нарзаном, давно забыл то немногое, что знал по терапии. Кого он подобрал в свою комиссию? Шерешевский и Российский... Они не терапевты, они эндокринологи, они не могут быть экспертами по делу Плетнева! — Он снова с ненавистью и презрением взглянул на Вадима. — Какой позор! Шерешевский — друг Плетнева, был вхож в его дом и вот предал. Предатели, предатели, кругом, всюду, на каждом шагу предатели.

Вадим поежился. В словах отца, в его ненавидящем взгляде опять был намек.

Андрей Андреевич вроде бы отдышался, справился с собой и, стараясь говорить спокойнее, продолжал:

— Единственный, кто имел профессиональное право участвовать в экспертизе, это Виноградов — терапевт, звезд с неба не хватает, но практик приличный, ученик Плетнева. И вот ученик предает учителя. Испугался!

Он опять тяжело задышал, затравленно посмотрел на Вадима, поднял палец, прерывающимся голосом сказал:

— Бог им этого не простит. И неправедным судьям. И лжесвидетелям.

Того, что наговорил отец, с лихвой хватило бы на то, чтобы его расстрелять. Если он то же самое говорит в кругу своих сотрудников и друзей, то его арестуют завтра же. В каком свете тогда предстанет он, Вадим?! Отец — осужденный враг народа, сестра — в Париже, замужем за антисоветчиком. Тут уж никакие ордена и никакие «Вацлавы» не помогут. Подумаешь, «Вацлав»! Половина подсудимых на этих процессах — «Вацлавы»!

— Отец, не волнуйся! Ты же знаешь, тебе вредно волноваться, — заговорил Вадим, — но подумай сам. Плетнев — крупнейший наш терапевт, ты даже называл его «гордостью нашей медицины». Какой же смысл правительству его уничтожать? Тем более, если, как ты говоришь, он ни в чем не виноват.

— Виноват, виноват! — закричал Андрей Андреевич, расстегивая воротник рубашки и мотая головой. — Он виноват не в том, в чем его обвиняют, а в том, что слишком много знает... Да, да! Когда убили Орджоникидзе...

Вадим привстал.

— Отец, одумайся, что ты говоришь?!

— Сиди! Я знаю, что говорю. Орджоникидзе убили, или он сам застрелился, там была огнестрельная рана. А в медицинском заключении написали: «Паралич сердца». Дмитрий Дмитриевич отказался это заключение подписать. Он мне сам рассказывал. Он — нежелательный свидетель, вот и расправляются с ним. Сначала оклеветали как насильника, а теперь представили убийцей.

— Но ведь он во всем признался.

— Пытали, вот и признался. Ведь они все признаются на ваших процессах.

Вадим сделал протестующее движение.

— Да, да! Не дергайся! Именно на ваших процессах. Выколачиваете признание пытками в подвалах Лубянки. Ваша преступная власть...

— Отец, отец, перестань! — закричал Вадим.

Мотая головой и теребя спущенный галстук, будто он душил его, Андрей Андреевич повторил:

— Преступная власть... Преступная власть... Все вы преступники, разбойники... И ты... Ты тоже преступник... Твои статьи подлые, мерзкие, ты преследуешь, уничтожаешь порядочных людей... Эта преступная власть тебя купила... Я знаю...

Боже мой, он сейчас скажет насчет «Вацлава». Нет, нет, этого нельзя допустить!

Вадим закричал:

— А тебя они не купили?!

Старик ошеломленно смотрел на него.

— Кто... Что ты говоришь?!

— Ты же ходишь к ним, лечишь их, — кричал Вадим, — они тебя ласкают, людям нечего есть, а тебя продуктами заваливают. — Он оттолкнул от себя тарелку. — Откуда эти цыплята?! От них! Да, я служу, но я служу идее, а вы служите за цыплят. — Он снова толкнул тарелку. — Сидите на шее у народа и его же обливаете грязью. Горький для вас все делал, выручал вас, спасал. Кто тебе отхлопотал эту квартиру? Горький! А вы чем ему отплатили? Отравили Горького...

Андрей Андреевич, не в силах вымолвить слово, хватал ртом воздух и обеими руками махал на Вадима.

— Да, да, своими ушами слышал. Здесь, в этой комнате вы смеялись: «Именем Горького назвали театр, улицу, город, теперь и советскую власть надо переименовать в Горькую власть». Слышал, слышал, сам слышал! Меня наградили орденом, ты даже не поздравил, а когда тебе дали звание заслуженного деятеля науки, устроил банкет, праздновал, свою награду принял с удовольствием, а я, оказывается, подлец и ничтожество. Все, хватит! Я знаю твое отношение ко мне. Ты ради Вики продолжаешь якшаться с этой дамочкой Нелли Владимировой, а Вика замужем за иностранным шпионом, и ты это, по-видимому, одобряешь. Ты в этом году собираешься за границу, встретишься с Викой, и она

вручит тебе какое-нибудь шпионское задание от своего муженька, а ты по своей глупости его с удовольствием выполнишь. И я должен жить под угрозой, что ночью придут и заберут меня и тебя как иностранных шпионов. Н-нет! Под такой угрозой я жить не желаю! Я не желаю слушать антисоветчину даже от своего отца. Не желаю! Мне это надоело! На-до-ело! Я тебе давно предлагал разменять квартиру, ты отказывался. Ну что ж, я это сделаю сам, я имею на это право, закон на моей стороне. И я тебе не советую возражать против размена! Да, да! Не советую! Не вынуждай меня г о в о р и т ь на суде правду о том, почему мы не можем жить вместе.

Во время этого монолога Андрей Андреевич теребил галстук, мотал головой, пытался произнести какие-то слова, но кроме «ты...», «ты...» ничего выговорить не мог и наконец замолчал, закрыв глаза. Голова его свесилась набок... Вадим вскочил, подхватил отца. Старик снова начал хватать ртом воздух, чуть приоткрыл один глаз, взгляд был бессмысленный, снова закрыл. Вадим с трудом дотащил его до дивана, уложил, положил под голову подушку, снял ботинки, укрыл пледом.

Андрей Андреевич лежал, закрыв глаза, то с трудом хватая ртом воздух, то затихал совершенно, будто не дышал.

Нужно вызвать «скорую помощь».

Но с отцом такое уже бывало, сердце неважное, однако всегда обходился без «скорой», не разрешал вызывать. Полежит, выпьет валерьянку или еще что-то, есть у него какие-то капли. И сейчас, конечно, пройдет... Приедет «скорая помощь», а отец к тому времени встанет. Неудобно, зря людей беспокоили, зря машину гоняли.

Отец лежал с закрытыми глазами. Вадим наклонился к нему, прислушался, как будто бы дышит! Взял руку, долго искал пульс, наконец вроде бы нашел. Слава Богу, выживет. Бедняга отец. Что ждет его? Не вписывается в современную жизнь, обречен на арест, на тюрьму, на муки, страдания, позор. И Вадим не может жить в ожидании катастрофы, которая его постигнет в случае ареста отца, он не перенесет, если отец вдруг назовет его «Вацлавом». Вадим подошел к телефону, снял трубку, услышал гудок, положил ее обратно на рычаг. Мысли путались в голове.

О Боже, что делать, что делать? Как жить, ежечасно, ежедневно, еженощно ожидая катастрофу? Отец сам нарывается на арест, не понимает, что в нынешних условиях нет места таким понятиям, как порядочность и совесть.

А что, если приступ не пройдет, что, если это совсем не то, что бывало раньше?!

Вадим снял трубку, набрал «03», занято.

Ну почему старики так эгоистичны? Стоят одной ногой в могиле, не боятся смерти, и не бойтесь, но не тащите за собой в гроб других! Сына пожалей, отец! Ведь сын еще и жить не начал! Разве 28 лет — это возраст?.. Нет, он не даст себя погубить, извини, отец, не даст, не даст! О Боже, но что же делать, что делать?

Вадим посмотрел на часы — половина девятого. Феня, когда уходит вечером к Феоктистовым, возвращается обычно в десять.

Вадим прошел в ванную. В домашней аптечке, висящем на стене небольшом шкафике с инкрустированной на дверце змеей, нашел эфирно-валериановые капли, рассмотрел дату выпуска. Прошлогодние. Все равно надо выбрасывать. Он положил пузырек в карман, вернулся в столовую, подошел к дивану, наклонился к отцу.

— Папа!

Отец не ответил. Вадим вглядывался в его лицо, даже веки не вздрагивали. Он взял руку, рука была холодная, он отпустил ее — рука безжизненно упала, коснувшись пола. Может быть, отец уснул? Ну, что ж, так лучше, отоспится, все пройдет. Вадим открыл форточку — будет побольше воздуха в комнате. Конечно, все обойдется. А то, что промелькнуло в мыслях, все это так, глупости, не надо об этом думать, что будет, то и будет. А он пока сходит в аптеку за лекарством. Старое лекарство не годится, вот он и идет за новым.

По дороге в аптеку Вадим нащупал в кармане пузырек с валериановыми каплями, не вынимая его из кармана, отвинтил крышку и, зажав пузырек в кулаке, вылил жидкость на грязный весенний снег. Валерианка старая, прошлогодняя, все равно не годится, но не надо, чтобы видели, как он ее выливает, могут подумать какую-нибудь глупость. Навстречу попадались люди, озабоченные, усталые, спешили домой с работы. Как много появилось на Арбате незнакомых лиц. Все проходит. И все уходят. Ходила когда-то здесь его мама, давно нет мамы, ходила Вика, слава Богу, не появится больше в Москве, ходил парикмахер Сергей Алексеевич, и он пропал навсегда, и Саша Панкратов сгинул в Сибири, и Юрку Шарока не видно — перевели в другой город, а может быть, и расстреляли — с их братом тоже не церемонятся, Лену Будягину выслали, Нина Иванова тоже исчезла, всех разметало, никого нет. И отец уйдет. И он, Вадим, уйдет в свое время. Все условно, все быстротечно, годом раньше, годом позже, в истории жизнь человеческая всего лишь миг. На углу Арбата он незаметно опустил пустой пузырек в урну.

В аптеке Вадим терпеливо выстоял в очереди. И кассир, и продавец были ему знакомы. «Что-нибудь для сердца, — попросил Вадим, — отец на сердце жалуется». Дали ему и валерьянки, и капли Вотчела, Вадим поблагодарил и вдруг подумал: хорошо, что зашел сюда, хорошо, что его видели, почему так подумал, сам не знал, но подумал. Сейчас он вернется домой. Будем надеяться, отцу стало легче, он покажет купленные в аптеке лекарства. Смотрел в ванной, не нашел, побежал в аптеку, на, принимай и, главное, не волнуйся, видишь, чем это кончается.

Андрей Андреевич по-прежнему лежал в той же позе. Вадим окликнул его, отец не ответил. Вадим наклонился к нему, но дыхания не услышал, взял руку, отпустил, рука так же безжизненно упала на пол.

Вадим набрал «03», потребовал немедленно прислать «скорую помощь» к профессору Марасевичу. Что с ним? Сильный сердечный приступ. Адрес? Он назвал адрес.

Минут через двадцать в квартиру, сопровождаемый двумя санитарами с носилками, вошел молодой врач в белом халате, накинутом на пальто. У санитаров халаты тоже были надеты на пальто.

Почти тут же явилась Феня, заметалась, запричитала, Вадим прикрикнул на нее.

Врач присел на диван возле Андрея Андреевича, щупал пульс, слушал сердце, открывал веки. Потом встал.

— Мертвых не возим.

16

Вдоль стен — железные кровати, на спинках полотенца, стол без скатерти, четыре стула, кухонная тумбочка с посудой. Одежда висит на вбитых в стену гвоздях. Если бы не детская кроватка, тесная комната напоминала бы студенческое общежитие.

— С нами живет Маша, наша бывшая домработница, — объяснила Лена, — теперь уборщица на фабрике, в выходной сидит с ребенком, а я хожу по учреждениям.

Такой безысходной нищеты Варя еще не встречала. Все кругом бедные, но то бедность многолетняя, привычная, люди к ней приспособились. На Лену нищета обрушилась внезапно — выбросили из квартиры, выгнали с работы, ограбили, обворовали, лишили всяких средств к существованию.

Лена одевала Ваню, собиралась в магазин, Варя предложила пойти вместо нее.

— Там очередь, — предупредила Лена.

— С ребенком пускают без очереди?

— Кого теперь пускают без очереди?

— Постою.

— Ну, хорошо, спасибо, вот деньги, купи две бутылки кефира.

— Может быть, еще что-нибудь?

— Ни в коем случае, больше ничего не надо.

Кроме кефира Варя купила сметану, плавленые сырки, десяток яиц и триста граммов мармелада.

— Хочешь закатить нам пир? — Лена с укоризной покачала головой. — В другой раз этого не делай. Я чувствую себя неловко.

— В другой раз посмотрим, — улыбнулась Варя.

К ней, смешно переваливаясь на чуть кривеньких ножках, подошел Ваня, уцепился за подол юбки. Хорошенький, беленький (в Шарока, подумала Варя), пучил на нее голубые глазки. Лена подхватила его на руки, села к столу.

— У нас было три обыска. — Она налила в чашку кефир, вложила в руку сына кусок хлеба, поцеловала его в макушку. — Один обыск — на Грановского, когда брали папу, другой — на даче, третий — здесь, когда брали маму. Забрали все — деньги,

драгоценности, облигации, книги, мои платья, папины костюмы, ведь все заграничное, как можно оставить? Две комнаты сразу опечатали, все, что там было, тут же пропало — папины и мамины документы, патефон, даже велосипед Владлена. Я написала заявление, просила вернуть самое необходимое, никто не ответил. После обыска заставили расписаться, что никаких претензий к НКВД нет, пригрозили: «Не подпишете, ничего не оставим». Тащили прямо на наших глазах, взламывали замки у чемоданов. Все унесли, даже шкаф, по-видимому, и бедный шкаф оказался антисоветским.

Она снова поцеловала сына в макушку, исподлобья взглянула на Варю.

— С работы выгнали сразу, как арестовали папу, сократили мою должность, через неделю должность восстановили, взяли другого человека.

— А кем ты работала? — Варя тоже решила говорить ей «ты».

— Переводчик с английского. И французский знаю. А вот не берут. Позвоните через неделю, потом еще через неделю, а один тип сказал: «Смените фамилию». Представляешь, это когда я хотела устроиться ночной уборщицей, мыть полы и туалеты. Увидела объявление: нужны почтальоны. Меня устраивает, письма и газеты можно разнести, пока Владлен не ушел в школу, все же Ванечка под присмотром. Зашла. Говорят: «Пишите заявление и завтра приходите к шести утра». Прихожу назавтра, они опускают глаза. «Извините, место занято». Через несколько дней смотрю — объявление по-прежнему висит. И все равно хожу, хожу... И в НКВД, и на Кузнецкий, 24, и в прокуратуру, и в военную прокуратуру, папу искала по тюрьмам, маму... Никого не нашла, осудили «без права переписки», значит, нет их уже... Так бы и сказали, нет, надо гонять из тюрьмы в тюрьму, от окна к окну, мучают людей!

— Мне это знакомо.

— Да? У тебя кто-нибудь арестован?

— Я носила передачи Саше Панкратову.

Лена потемнела лицом.

— Мы все виноваты перед Сашей, не помогли ему тогда...

— А что вы могли сделать?

— Не знаю, что именно, но должны были делать. Писать письма, заявления, ходить в НКВД, к прокурорам, отстаивать своего товарища. Тогда только начиналось. А мы молчали. Теперь расплачиваемся за это. И я, и мой отец, и Сашин дядя, тысячи, миллионы людей расплачиваются.

— Началось раньше: с коллективизации и раскулачивания.

— Да, конечно. — Лена спустила мальчика с рук, он пошел к своим кубикам, уселся возле них на полу. — Но я тогда жила за границей, ничего этого не видела. А Саша — это на моих глазах. Не знали мы, что это нас коснется. И сейчас, когда я вижу людей, которые отворачиваются от меня, я думаю: и к вам это придет, и тогда вы вспомните про тех, кого избегали. Ведь за эти три, вернее, четыре года я ни разу не была у Сашиной матери. Не хотела

прикасаться к чужому страданию, берегла собственное спокойствие и наказана за это. Такие мысли приходят, Варенька, в голову. Стыдно, стыдно.

— У каждого человека есть такое, о чем стыдно вспоминать, — сказала Варя.

Лена вздохнула, посмотрела на часы, потом на Варю.

— Сейчас из школы придет Владлен. Я хочу тебя предупредить. Ему тринадцать лет, он целиком под влиянием пропаганды, прочитал в газетах все отчеты о процессе Бухарина — Рыкова, верит каждому слову, проклинает подсудимых, говорит, что их надо посадить в клетки, держать там, как зверей, и пусть люди плюют в них. Папу и маму тоже проклинает, говорит: «Они такие же, как Бухарин и Рыков». Мечтал стать летчиком, понимает, что летчиком ему теперь не быть, хотя он и авиамоделист, способный в этой области мальчик, но его уже не послали на соревнования авиамоделистов, он чувствует себя изгоем и во всем винит отца и мать. Он даже в школе выступил с осуждением своих родителей.

— Не он первый.

— Да, но я знаю других детей. Наши родители боролись за свои идеи. Кто знал, что потом все захлебнется в крови... Но втолковать это Владлену в голову я не могу. Ни капли жалости ни к отцу, ни к матери. Впрочем, и родители были далеки от нас, детей, не хватало на нас времени, занимались своими партийными, государственными делами. — Она показала на игравшего в кубики Ваню. — Ты догадываешься, чей это сын?

— Юры Шарока.

— Ужасная, недостойная связь, моя тяжелая ошибка, — спокойно проговорила Лена, глядя Варе в глаза, — однако знаешь, чем он меня привлек, помимо всего прочего? Как это ни странно, своей семьей.

— Да? — пожала плечами Варя. — Гаже людей я не видела...

— Теперь и я понимаю. Но тогда по контрасту с моим домом мне показалось — вот настоящая семья, дружная, спаянная. А у нас... Я не помню случая, чтобы мы вчетвером сидели за столом, все ели в разное время. Так мы росли... Не спрашивай у Владлена про отца и мать, не говори с ним о политике, как всякий подросток, он жесток в своих убеждениях.

Варя кивнула головой.

— Ладно, учту.

Со двора донесся шум. Лена подошла к окну, поманила пальцем Варю.

— Такое в этом доме происходит каждый день.

Возле их подъезда разгружались четыре грузовика — въезжала новая семья: толстый энкаведешник в форме с пистолетом на боку, шумная, крикливая жена, две белобрысые девочки лет семи-восьми. Энкаведешник грубо командовал грузчиками, их было девять или десять человек, распаковывали вещи.

— У нас шкафы, столы, диваны, — сказала Лена, — все было казенное, на всем висели бирки. Люди были равнодушны к барах-

лу. А у этих старинная павловская мебель, зеркала, столы, буфеты, кресла, рояль!

— Все наворовано, награблено, — проговорила Варя. — Будь у меня сейчас пулемет, всех бы до одного перестреляла, к чертовой матери!

— Варя, никогда не говори таких вещей, никогда и никому, даже самому близкому человеку.

— А что такого? — усмехнулась Варя. — Я это про грузчиков сказала. Двигаются, как мухи! Не могут обслужить работника наших доблестных органов?!

— Даже насчет грузчиков так не говори.

— Ладно, помолчим.

Пришел из школы Владлен, угрюмо поздоровался с Варей, кинул на кровать истрепанный брезентовый портфель, Лена подала ему обед: щи без мяса и пшенную кашу. Он поел, не поблагодарил, ушел, не сказав, когда вернется.

— Надо что-то решать с Владленом, — вздохнула Лена. — На прошлой неделе восемьдесят пять семей из нашего дома выслали из Москвы. Что творилось! Погром! Разве что пух из подушек не выпускали. Энкаведешников полон двор, швыряли в машину людей, чемоданы. Ходят слухи, уже есть список еще на шестьдесят семей, вероятно, и я в их числе. Что я буду делать с Владленом на новом месте? Я и здесь не могу его прокормить, а мальчик растет, организм требует пищи. Порвались башмаки, на что купить новые? Продавать больше нечего. Все, что у меня есть, все на мне. Тяжело об этом думать, но, видимо, придется отдать Владлена в детдом, я ходила в райисполком, меня послали на Даниловский вал, в детский распределитель НКВД, но там ужас, детская тюрьма.

— Оттуда распределяют в детские дома, а там более сносно.

Лена опять вздохнула.

— Другие тоже так говорят. Из нашего дома многие матери сдали туда своих детей, успели перед высылкой. Придется, видно, отдать Владлена, он сам этого хочет. Один раз нечего было есть, он закапризничал, вывел меня из терпения, я ему сказала: «Сдам в детский дом, там тебя накормят». Он ответил: «Очень хорошо. Хоть избавлюсь от этой проклятой фамилии».

— Если тебя вышлют, что будет с Ваней? — спросила Варя.

— Будет со мной. Устроюсь на работу, не уморят же они нас голодной смертью.

— Ты будешь работать, а сын с кем?

— Не знаю... Не могу же я бросить своего ребенка! Ну, вдвоем умрем. Некоторым семьям разрешили выбирать город ссылки, но я не знаю, что выбрать. Есть какие-то дальние родственники в Мотовилихе, в Баку, я с ними не знакома, даже адресов не знаю. Да и боятся сейчас люди всего... Иногда хочется уснуть и не просыпаться, не возвращаться в этот кошмар.

— Если тебе все же дадут возможность выбрать город, назови Мичуринск, там живет моя тетка, старенькая, правда, но еще бод-

рая и очень добрая женщина, живет одна, сможешь у нее остановиться. Если не дадут Мичуринск, проси Уфу.

— Почему Уфу?

— Почему Уфу? — повторила Варя. — Знаешь, ведь Саша на свободе.

— Да?

— Отбыл срок, но не имеет права жить в больших городах. Работает шофером в Уфе, Софья Александровна пишет ему до востребования, и ты, как приедешь, брось ему открытку до востребования.

Лена подумала, отрицательно помотала головой.

— Это не годится. Саша — судимый, я — «дочь врага народа», еще больше осложню его положение. Не имею на это права. Если мне позволят выбирать, то Мичуринск лучше — есть хоть к кому явиться с вокзала, переночевать первую ночь. Но, вероятнее всего, меня не спросят, куда я хочу, вышлют, и все.

— Но все же, если спросят, — настаивала Варя.

— Тогда назову Мичуринск, но примет ли меня с ребенком твоя тетя?

— Примет обязательно. Я ей напишу.

— Спасибо тебе. Мне это очень поможет.

17

Саша и Глеб ужинали обычно в ресторане, цены не намного выше, чем в столовой, зато сиди хоть до двенадцати часов. Выпивали иногда по-крепкому. Глеб к этому привык, Саша втягивался. Неизвестно, что будет завтра, поживем сегодня.

Как-то Глеб сказал:

— Сегодня в ресторане увидишь наше начальство.

— Марию Константиновну?

— Тетка важная из Москвы приехала в командировку, Машкина знакомая. Вот она ей прием устраивает за счет Семена, конечно. И Нонка с ним.

— А мы чего туда попремся?

— Они сами по себе, мы, дорогуша, сами по себе. Они по котлетам «де-воляй» ударят, мы с тобой водяру под селедочку хлебанем.

В ресторане Саша с Глебом сидели, как всегда, в углу, Семен со своими спутницами — в середине зала, возле них хлопотали официанты во главе с женщиной-администратором, значит, рассматривают как высоких персон.

Со своего места Саша хорошо видел всю компанию: Семен, Нонна и две женщины. Брюнетка, как сказал Глеб, и есть Мария Константиновна, вторая — пышная, рыжеволосая — крупный чин из Москвы. Красивые, ухоженные, хорошо одетые дамы, лет тридцати пяти или около того, обращали на себя внимание. Оркестр играл мелодии из кинофильмов, певица цыганских романсов не пела.

— Из-за этой мадамы только Дунаевского с Блантером и наяривают, — заметил Глеб, — идеологию выдерживают. Но бабцы — дай Бог на пасху!

Семен Григорьевич обернулся, посмотрел в сторону Саши и Глеба. Они его взгляд перехватили, но не подали вида. Вслед за Семеном обернулись и дамы.

— Семен показывает свою команду. — Глеб подмигнул Саше. — Машка тут — сила, мужиков к себе подпускает с большим выбором, я к ней подкатывался, отшила. Вот Семен свой товар, то есть тебя, и расхваливает: какой у меня интеллигентный ассистент, с высшим образованием, из Москвы. Обхаживает этих бабенок. Москвичка, между прочим, инструктор ЦК по театрам, большая шишка. А с Машкой училась вместе. Машка потому и смелая такая, что в Москве рука есть, в случае чего выручит. Хорошо иметь в Москве такую руку, а?

— Наверно, неплохо...

— Большая сила. Захотела бы мне помочь, все бы моментально устроила. Конечно, по-ихнему, по-цековски, по телефону. — В голосе Глеба зазвучали начальственные нотки: — «Смотрели мы тут работы художника Дубинина. Интересные работы». Чувствуешь, дорогуша, оценки нет: интересные, и все. «Есть мнение». Понял? Не решение, а всего лишь мнение. «Надо помочь товарищу» — это по-ихнему значит не официально, а по-человечески. В общем, «направляем к вам Дубинина Глеба Васильевича на должность главного художника театра». И возьмут, не пикнут.

— Тебе актером быть!

— Я все могу, дорогуша!

На следующий день обе дамы, сопровождаемые Семеном Григорьевичем, явились во Дворец труда. Уселись в кресла, положили рядом пальто, не оставили в раздевалке, значит, ненадолго пришли.

В зале много прежних Сашиных учеников, помогали ему. Когда Саша хлопал в ладоши и провозглашал: «Так, внимание», — или: «Так, приготовились», — все смотрели, что он показывает. Сегодня разучивали первую фигуру вальса-бостон, самый сложный урок, надо кружиться, как в вальсе, только первый шаг длинный. Тем, кто не умел вальсировать, было трудно осваивать поворот.

Саша видел, что Семен и его спутницы смотрят на него, даже поворачиваясь к ним спиной, чувствовал их взгляды. И когда очутился рядом с ними, Семен поманил его пальцем. Саша хлопнул в ладоши:

— Стоп! Попрактикуйтесь сами. — Обернулся к своим бывшим ученикам. — Ребята, девочки, помогите разучить поворот.

И подошел к Семену Григорьевичу. Тот познакомил его с дамами:

— Ульяна Захаровна, Мария Константиновна, Александр Павлович.

— Вот вы какой, оказывается, — сказала Мария Константиновна. — Приехали и сразу стали знаменитостью.

Что-то бурятское проскальзывало в ее широких скулах, в темно-карих узких глазах, она была благожелательна, но добрым лицо не назовешь.

Саша показал на зал:

— Вот вся моя знаменитость.

Ульяна Захаровна, улыбаясь, смотрела на него.

Красивая, статная, рыжие волосы заплетены в косу и уложены на затылке короной, в больших, широко открытых зеленовато-серых глазах улыбка, мягкая, но что-то еще проскальзывает. Саша не мог гонять что — любопытство?

Семен Григорьевич встал, сказал с наигранной простоватостью мэтра:

— Ну что ж, Саша, поболтайте немного с нашими гостьями, а я позанимаюсь с вашими подопечными.

— Нет-нет. — Мария Константиновна тоже встала. — Проводите меня к директору. — Она посмотрела на часы. — У нас есть еще двадцать минут. Мы наверх, в театр идем, — пояснила она Саше, — к вам зашли по дороге.

Цель этого маневра была ясна: оставить его наедине с Ульяной Захаровной.

— Присаживайтесь. — Она, по-прежнему улыбаясь, подняла на Сашу свои большие глаза, чуть прищурилась, не спешила отводить их и показала на кресло рядом с собой.

— Спасибо. — Саша сел.

Она повернулась к нему, пахнуло хорошими духами, облокотилась на ручку кресла, почти касаясь его грудью.

— Мне сказали, вы из Москвы.

— Да, из Москвы, с Арбата.

Она широко раскрыла глаза, опять в них замелькало что-то непонятное Саше.

— Мы соседи, я живу на улице Грановского.

— Не в Пятом ли доме Советов?

Черт! Сорвалось с языка, сейчас начнет расспрашивать, откуда он знает этот дом, поинтересуется фамилиями знакомых. Кого он назовет? Расстрелянного Будягина? Судя по фамилиям врагов народа, мелькавших в газетах, там всех уже пересажали. А вместо них живут эти, новая элита.

— Угадали. — Она еще ближе наклонилась к нему. — У вас там знакомые?

— Некоторые ребята из этого дома учились в нашей школе: Петя Ворошилов, дочки Ивана Ивановича Михайлова — Вера и Тамара. Это было давно, лет десять назад, я уж всех позабыл.

Она положила свою руку на его, ладонь была пухлая, теплая, с доверительной улыбкой проговорила:

— Может быть, мы и учились вместе? Где вы учились?

— В транспортном институте.

— В транспортном? — удивилась она. — Какое отношение к танцам имеет транспортный институт?

— Инженер из меня получился неважный, тянуло к музыке, танцам. Я не один такой.

Ему стал утомителен этот разговор. Как бы разминаясь, Саша повел плечами, освободил свою руку, откинулся на спинку кресла.

— Дайте вашу руку. — Она опять взяла его ладонь в свою. — Я вас так быстро не отпущу. Может быть, я тоже хочу учиться танцам. Будете меня учить?

— Пожалуйста, хоть сейчас.

— Сейчас мы с Марией идем в театр, так что потом. Вы правы, Саша. — Она произнесла его имя с ударением, как бы подчеркивая их взаимную приязнь и доверие. — Вы правы, многие артисты имеют образование, далекое от их нынешних профессий, и я могла бы что-нибудь для вас сделать. Я знаю руководителей всех ансамблей — и Александрова, и Игоря Моисеева. Конечно, там большой конкурс, и все же товарищи постараются вам помочь. Но вот уже идет Мария, мы еще продолжим наш разговор. Когда вы заканчиваете занятия?

— В десять.

— Спектакль кончается в четверть одиннадцатого. Подождите нас, посидим у Маши, поговорим.

И, не дожидаясь Сашиного ответа, встала. Саша подал ей пальто.

— Упала она на тебя, — сказал Глеб.

— Вроде бы.

— Там работы много.

— Уж больно сановная.

— Зато опытная, на этом карьеру сделала.

— Просила подождать. Да черт его знает! Настроения нет. Не пойду.

— Ты что, дорогуша, спятил? Все у них обговорено, весь план разработан, зря, думаешь, пришли? Она на тебя еще вчера глаз положила. Там уже и выпивон, и закусон — все приготовлено. Тебя в гости приглашают, а ты отказываешься. И не думай! Мария Константиновна тебе этого ввек не простит. Не забывай, ты ей многим обязан. И через месяц-два твоя прописка кончится, опять к ней придешь: «Выручайте, Мария Константиновна». А она тебе: «Извините, Александр Павлович, вы нашим обществом пренебрегаете, так что на нас больше не рассчитывайте». И права будет.

Саша колебался. Конечно, заманчиво. Но что-то сдерживало. Из ЦК партии, о чем он будет с ней разговаривать? Зачем ему это нужно?!

— Такая красотка! — продолжал Глеб. — Только дурак откажется. Венера, Афродита! Будь она местная, сам бы ее обхаживал. А поскольку она из Москвы, важная персона, в тебе твое чистоплюйство заговорило: ах, что обо мне подумают, скажут, ищу выгоду, делаю карьеру, а я не Растиньяк, не Потемкин, не граф Орлов, а высоко моральная личность...

— Смотри, — усмехнулся Саша, — до Растиньяка добрался!

— Дорогуша! — Глеб в улыбке обнажил свои белые зубы. — Никакой ты не Растиньяк и не Потемкин. Что она тебе, минус твой отменит? Твой минус никто не может отменить, да ты об этом и не заикнешься. А если что случится, так мало что случается в приятной компании, когда рядом такая женщина.

18

Небольшой одноэтажный домик в тихом переулке неподалеку от театра. Палисадник, деревянное резное крылечко, на тротуаре следы метлы. В коридоре дорожка на полу, длинная вешалка на стене, на другой стене зеркало. Повесив шубу, Ульяна опустилась на стул рядом с зеркалом, Мария подала ей тапочки. Ульяна встала, потянулась, будто что-то ей мешает.

— Надо бы скинуть сбрую. У тебя в столовой тепло?

— Натоплено. Я тебе халат дам.

Ульяна подняла глаза на Сашу.

— Саша, не возражаете, если я надену халат?

— Ради Бога!

Они прошли в столовую.

— Посидите здесь, — сказала Мария, — мы сейчас вернемся. Идем, Ульяша.

Женщины вышли.

Саша огляделся. Настенные часы с маятником, миниатюры, развешенные не без вкуса, пианино, на нем узкая кружевная дорожка, уставленная фигурками, телефон на круглом столике на толстой завитой ножке. Мебель красного дерева, Саша в этом плохо разбирался, но понимал, что вещи старинные и дорогие. Голландская печь выложена изразцами в русском стиле. Тепло и уютно.

Вернулась Мария, одетая по-домашнему — в юбке, кофточке, шлепанцах, откинула с одной половины стола край плотной узорчатой скатерти, постелила вместо нее белую, поставила три прибора, рюмки, бокалы.

— Ну как, Сашенька, нравится вам здесь?

— Роскошно, даже шикарнее, чем у меня.

Она укоризненно покачала головой.

— Сашенька, вашу квартиру я держу для тех, кому нужна прописка. Ведь вы не живете в ней.

— Конечно.

— А если бы сразу по приезде пришли ко мне, устроила бы в центре города. Но у вас была просрочка, пришлось направить туда.

— И я вам очень благодарен, — искренне сказал Саша. — Я легкомысленно к этому отнесся, и вы меня выручили.

Она покосилась на него, хотела этим сказать: я знаю, голубчик, почему ты не прописывался, но сейчас не время об этом говорить.

Вошла Ульяна в халате, с распущенными по плечам рыжими волосами: расплела косу. Халат длинный, махровый, почти не за-

пахнутый, виднелись белые сильные ноги, округлые коленки. Все откровенно, и стало понятно, что мелькало в ее зеленовато-серых глазах: деловая цековская дама ломаться не будет, ляжет в постельку, а там как сумеешь, будем надеяться, что сумеешь. В ЦК приходится изображать высокую нравственность, а здесь, вдали от начальства и подчиненных, можно отхватить *свое*. Мария ей, конечно, не сказала, кто он такой.

— Ну, соколики мои дорогие, — говорила между тем Мария, ставя на стол тарелки с закусками, — проголодались небось. Чего пить-то будете? Саша, вам, наверное, водочки, а тебе, Ульяша?

— И мне немного водки.

Ульяна придвинула к столу кресло, села, положила ногу на ногу, полы халата распахнулись, ноги совсем оголились.

— Двигайся ближе, — сказала Мария, усмехаясь, — Саша уже насмотрелся на твои распрекрасные ножки. Как, Саша, насмотрелся?

— Что ему мои ножки? — отозвалась Ульяна. — Он на своих танцах сколько ножек перевидал. И беленьких, и черненьких, и в крапинку.

— В крапинку не попадались, — засмеялся Саша.

— Ладно, ребятушки. — Мария налила рюмку. — Выпьем со встречей.

Ульяна тоже подняла рюмку. В ее взгляде вдруг появилась серьезность.

— Выпьем за столицу нашей родины — Москву. Мы ведь с Сашей земляки, почти соседи.

Страхуется. Если переспит с ним, не дознаются. А по рюмочке пропустить — пропустили у подруги за столицу нашей родины.

Выпили. Закусили. Такой закуски Саша давно не видел: икра черная и красная, лососина, ветчина, водка без запаха сивухи, морс смородиновый и клюквенный. Любят хорошо пожить, научились.

Ульяна протянула Саше тарелку.

— Саша, положи мне всего понемножку.

Мария пододвинула салатницы с маринованными грибками, огурцами, помидорами.

— Попробуйте и моих солений.

Ульяна попробовала, похвалила:

— Хорошо. Петровна твоя, что ли, мариновала?

— Она.

— Домашняя закуска самая лучшая. Только некогда этим заниматься.

Она держала тарелку на коленях. Есть ей было не слишком удобно, но хотела сидеть полуголой.

— Я вас еще пельменями угощу, нашими, уфимскими.

Ульяна посмотрела на часы.

— Двенадцатый час. Надо в гостиницу позвонить.

Встала, подошла к телефону, вызвала гостиницу.

— Большакова говорит. Я задержалась у подруги, поздно машину вызывать, неудобно. Заночую здесь. Запишите телефон.

— Зачем телефон дала? — сказала Мария. — Будут ночью беспокоить.

Ульяна возвратилась на свое место.

— Звонить никто не будет, никому я ночью не нужна. Вот, может быть, только Сашеньке, если не побрезгует. Как, Саша, любишь таких, как я?

— Каких таких?

— Рыжих, нахальных и бесстыжих.

Он засмеялся: вот она и сама сказала о себе так, как он о ней думал.

— Кто же их не любит?

Ульяна вернулась к разговору.

— Телефон дала на случай, если завтра поинтересуются, где ночь провела. За товарищами из центра тут в четыре глаза глядят, каждый норовит за тобой телегу послать.

Мария встала.

— Сейчас пельмени принесу, только не балуйтесь тут без меня.

Опытная сводня...

Ульяна наклонилась к Саше, в упор смотрела на него своими большими зелеными глазами, неожиданно сказала:

— Вкалываю на работе по шестнадцать часов в сутки и каждую минуту жду — откуда гром грянет? Могу я иногда разрядиться? С хорошим человеком! Как считаешь?

Он не нашелся, что ответить, только пожал плечами, естественно, мол.

Ульяна не отрывала от него взгляда.

— Ты ведь хороший человек, порядочный?

Он усмехнулся в ответ, опять пожал плечами.

— Вот и договорились. — Она потянулась к нему. — Иди, поцелуемся.

— Так ведь Мария придет.

— Ничего, ничего, Машка своя.

— Ну, ну, — услышали они вдруг голос Марии, — ведь предупреждала. Не можете потерпеть минуту.

Она поставила на стол большую миску с пельменями, разложила их по тарелкам.

— Кому сметана, кому уксус, перец, кто с чем хочет, пельмени настоящие: свинина напополам с говядиной, и баранинки немножко.

— Под такие пельмени выпить не грех, — предложил Саша.

Ему хотелось выпить. Искренне говорит Ульяна или это обычный прием, версия, оправдывающая ее? Какая разница! Он ведь тоже не тот, за кого она его принимает. Так что квиты. Она хочет погулять, ну, и он не прочь. И надо выпить.

— Правильно, — согласилась Мария, — налей себе побольше, нам поменьше. Давай, Ульяна, вместо успокоительного.

Ульяна выпила со всеми... Съела пельмешку, смотрела на Сашу, положила свою руку на его.

— Ульяна, дай человеку поесть! — прикрикнула Мария.

— Пусть ест, кто мешает?

Мария вытерла салфеткой губы, встала:

— Ладно, ребятушки, вы люди вольные, а мне к девяти на службу. Так что спокойной ночи. — Она показала на телефонный столик. — Там ключи, Ульяша, днем я у тебя их заберу. И учти, Петровна моя придет в десять часов... — Поцеловала Ульяну, Сашу, провела ладонью по его щеке. — Ничего, мужичок!

Саша проснулся, когда из-за занавесок пробились сбоку полоски света, услышал движение в столовой, звон посуды. Рядом с ним шевельнулась Ульяна, приглушенно, в подушку прошептала:

— Лежи, Машка посуду убирает.

Он закрыл глаза, звон посуды прекратился, потом хлопнула входная дверь.

— Машка ушла. — Ульяна поднялась с постели. — Сейчас вернусь.

Ульяна вернулась, забралась под одеяло, прижалась к Саше.

— Бр, бр, холодно, — потом потянулась к столику, взяла часы. — Смотри-ка, уже почти девять. — Положила часы, прижалась к Саше. — Так бы и лежала с тобой век. Да нужно на работе показаться, давай, миленький, вставать. — Она откинула с его стороны одеяло. — Одевайся.

Саша встал, оделся.

— Я тебя выпущу, потом оденусь и уйду, мне еще полчаса волосы укладывать. Машкина домработница придет, меня застанет — ничего, а нас двоих — нельзя, сам понимаешь. Ты скажи, когда в Москве будешь? Я ведь сегодня уезжаю.

— Да? — удивился Саша.

— Да, миленький, сегодня ночным. Так когда в Москве будешь?

— Я обещал Семену Григорьевичу в Саратов поехать.

— Подумаешь, какое дело — Семен Григорьевич, старший помощник младшего дворника. У тебя квартира в Москве есть?

— У меня в Москве мать живет.

— И охота тебе таскаться по разным городам? В Москве все тебе сделаю.

Он присел на кровать.

— А ты такая всемогущая? Где ты работаешь?

Она недоверчиво посмотрела на него.

— А ты не знаешь?

— Откуда мне знать?

Она помедлила с ответом, потом сказала:

— В Комитете по делам искусств работаю. Как в Москву поедешь, возьмешь мой телефон у Марии. Я ее предупрежу, чтобы дала.

— Я тебе позвоню, — сказал Саша. Знал, что никогда ей не позвонит. — Но в моем возрасте поздно начинать карьеру. Соли-

стом не стану, статистом не хочу. Однако у меня к тебе просьба. Видела моего аккомпаниатора?

— Беленький такой?

— Да. Он театральный художник, в Ленинграде у Акимова работал, потом в Калининском ТЮЗе. Не поладил с худруком, ушел. Если бы ты ему помогла, было бы замечательно. Его фамилия Дубинин, зовут Глеб Васильевич.

— А у него все в порядке?

— В каком смысле?

— Не понимаешь... А время какое, понимаешь?

Саша пожал плечами, усмехнулся.

— Беспартийный, несудимый.

— Хорошо. — Она опять посмотрела на часы, заторопилась, встала, надела халат. — Скажи ему, мол, вчера провожал Марию Константиновну, рассказал о тебе, и велела она зайти. Помогу ему через Машку. Идем, я тебя выпущу.

В коридоре прислонилась к стене, смотрела, как Саша надевает пальто, кепку.

— Значит, как договорились. По улице иди спокойно, не оглядывайся.

19

Почему она назвала Лене Уфу, почему напомнила о Саше? Саша звонит Софье Александровне, передает ей приветы. Варя благодарила, но в приветы не верила. Софья Александровна говорит это из вежливости, может быть, чтобы утешить. Саша вычеркнул ее из своей жизни, не может простить ей Костю.

Иногда она пыталась себя убедить, что причина в другом. Саша скитается по стране, жизнь его полна опасностей, он не хочет, чтобы подвергалась опасности и она. Но ведь и ее мечты о тихой жизни в глухой провинции давно улетучились, тихой жизни теперь нет ни у кого. Ей надо только знать, что Саша любит ее. И чтобы он знал, что она любит его. Говорить иногда по телефону, писать письма, приезжать к нему хоть на день, на два, в отпуск. И не имеет значения, что у них не будет общего дома, семьи, детей. Горько, конечно, так думать, и все-таки пусть будет хоть так. Главное знать, что они нужны друг другу.

Но однажды ей приснился рыженький маленький заморыш, и будто был это ее сын, она носила его по комнате, запеленутого в байковое одеяло, и прижимала к себе, и целовала, и плакала над ним. И все удивлялась — почему же рыженький? У Саши темные волосы, у нее — тоже, а сынок рыженький.

Проснулась — не хотелось вставать, может, рыженький снова приснится, хоть во сне понянчить их с Сашей ребенка!

Но, странное дело, сон этот отрезвил ее. Ей все казалось, что недоразумение как-то разрешится, Саша обязательно ей напишет,

даже в отпуск не поехала к тетке. Та звонила, уговаривала: наберем малины, сварим тебе варенья. Но Варя боялась: уедет, а в этот момент придет письмо от Саши, вдруг он назначит ей встречу, будет потом локти кусать. А тут ехала на метро на работу, встала у задней двери, чтобы не пялились любопытные на заплаканные глаза, смотрела в темный тоннель и поняла: недоразумение не разрешится, с Сашей они не встретятся. За полтора года после своего освобождения Саша не написал ей ни строчки, позвонил один раз, и она уверена — по настоянию Софьи Александровны. Если он боится соединить их жизни, мог бы написать: «Я не знаю, что будет со мной завтра, не имею права рисковать твоей жизнью, твоей свободой, забудь меня». Он человек прямой и честный, обязательно бы так написал. Не написал. Значит, дело в Косте. Об этом писать он не желает. Отрубил раз и навсегда, и надо с этим примириться. Он ущемлен жизнью, он — гонимый, он верил в нее, известие о Косте ошеломило и оскорбило его. Он решительный человек, мужчина, и он отсек ее от себя. В его тревожной жизни нет теперь места для нее, он просто ее забыл. Но она его никогда не забудет. Разве может она забыть тот день, когда на Казанском вокзале увидела его, шагающего между двух конвоиров с чемоданом в руке и с заплечным мешком на спине. И как, чувствуя на себе ее взгляд, он оглянулся, и она увидела белое, как бумага, лицо и черную, как у цыгана, бороду. Но он никого не увидел, и ее не увидел, и меж конвоиров зашагал дальше к поезду, стоявшему на дальней платформе. Тот день перевернул ее жизнь, она впервые испытала ужас перед этим беспощадным и несправедливым миром. Она никогда не забудет тот день, никогда не забудет Сашу, всегда будет помнить и любить его, будет предана ему, никогда не покинет Софью Александровну. Варя по-прежнему каждый день звонила ей, забегала иногда по пути домой, но теперь у нее появились новые заботы: все свободное время она проводила у Лены Будягиной.

Попытки Игоря Владимировича устроить Лену на работу не давали результата. Его влиятельные знакомые, услышав ее фамилию, сразу отказывались помочь, а если кто-то и доходил до отдела кадров, то отказывали там.

Лена сдала брата в детприемник.

— Если бы ты видела наше прощание, — сказала она Варе с горечью. — Владлен даже не поцеловал меня, кивнул головой, как чужой. Мне сказали, через месяц я смогу узнать, в какой детдом его направили. Будет ли у меня этот месяц? У нас тут плохие известия.

— Что такое?

— Всех высланных отсюда арестовали на новом месте и направили в лагеря. Умно придумано. Если жену «врага народа» арестовать здесь, то в квартире остаются родственники. А выслали всю семью, скажем, в Астрахань, в Москве квартира и освободилась. Скоро за нас возьмутся, осталось всего двенадцать семей. Все ис-

числяется днями. Меня, наверное, в лагерь отправят, Ваню — в детдом.

— Неужели ты отдашь им сына?!

— Что я могу сделать? Если бы я жила на десятом этаже, выбросилась бы с ним из окна. А с первого этажа куда выбрасываться?

— Чепуху говоришь.

— Знаю, что чепуху. Но все другие разговоры бесполезны.

— А почему не уехать?

— Куда?

— Я же тебе говорила — в Мичуринск.

— Варенька, милая, твоя тетя будет меня с Ваней кормить? Пойду искать работу, а там надо заполнить анкету, кто отец, кто мать. И мгновенно заберут. В глуши. Здесь хоть в столице возьмут. Я вижу, ты не согласна со мной?

— Да, не согласна. Почему так покорно идете в тюрьмы и ссылки? Даже детей своих не спасаете! Миллионы людей в лагерях, тюрьмах, ссылках, во всяких минусах. Если все вдруг разбегутся, кто их поймает? Сто НКВД не хватит ловить.

Лена устало опустилась на стул.

— Все упущено, проиграно, раздавлено, мы не знаем, что делать. Хотя бы Ванечку спасти, но как?

— Его надо пристроить к надежным людям, а потом сматываться самой.

— Где эти надежные люди, ты их знаешь?

— Неужели твои родственники в Мотовилихе и в Баку не возьмут твоего ребенка?

— Не возьмут, даже если я их найду. Не возьмут.

— Хочешь, я его заберу пока к себе? Если тебе удастся от н и х ускользнуть и надежно устроиться, я тебе его верну, не удастся — буду воспитывать.

— Спасибо, Варенька, но это нереально. Ты должна работать и учиться, с кем будет Ваня?

— Мне поможет Софья Александровна, Сашина мама.

— И она работает. Нет, этим я ни тебя, ни ее никогда не обременю.

— А у твоей Маши есть в деревне родственники?

— Ее родственники высланы как кулаки, а она девчонкой сбежала из деревни и вот прибилась к нам.

— Возьми ребенка и сегодня же уезжай с ним в Мичуринск. Я поеду с тобой и устрою вас у тетки.

— Я так рисковать не могу. Лучше уж лагерь, ссылка, чем очутиться в незнакомом городе без работы, без куска хлеба, с ребенком на руках да еще с угрозой, что тебя каждую минуту могут схватить и отправить в тюрьму.

Варя ушла расстроенная.

Все трусы, покорно дожидаются своего часа. Мальчишку только жаль, такой беленький, нежный, теплый, голубоглазенький мальчонка, засунут в дом для детей «врагов народа». Сколько этих

малолеток там выживает, а если выживет, не будет даже знать, кто он и откуда. И Лена, если останется жива, тоже не будет знать, где ее ребенок.

По дороге домой Варя зашла на почту, где лежало письмо от Нины. Нина писала до востребования, аккуратно, каждую неделю. В первых же письмах сообщила: «Все хорошо, преподаю историю в старших классах, учителей тут не хватает. С Максимом мы зарегистрировались, теперь я — Костина». Варя тогда подумала, что это Макс уговорил ее переменить фамилию. Молодец! Теперь ее не найдут, впрочем, кто будет ее искать? Тех, кто искал, самих пересажали.

В последующих письмах Нина ничего особенного не писала: новостей нет, все в порядке. Но в сегодняшнем письме чувствовалась тревога: «Ты, конечно, знаешь о наших событиях. Надеюсь, все будет хорошо».

О каких она событиях?! Письмо от первого августа, сегодня — пятнадцатое. Письма идут две недели. Что же произошло в начале августа? Газет Варя не читала принципиально, по радио слушала только сводку погоды — не желала ни слушать, ни читать их вранья. Что-то, правда, доходило до нее: на Дальнем Востоке стычки с японцами. Но ведь с «японскими самураями» у нас вечные стычки.

На другой день на работе Варя узнала, в чем дело. С 29 июля по 11 августа в районе озера Хасан шли ожесточенные бои между советскими и японскими войсками, японцы отброшены, подписали мирное соглашение. Понятно, о чем писала Нина. Макс участвовал в боях, о нем Нина и беспокоилась. Жив ли он?

Впервые война вошла в ее сознание как реальность. Варя читала и о мировой войне, и о гражданской, в школе проходили, но это было давно, далеко, а тут, оказывается, Макса могли убить на войне. Конечно, военный человек, его обязанность — воевать, но зачем война? Она была еще девочкой, однако хорошо помнит, как говорили в школе, как говорила Нина и ее друзья: «Человечество не забыло и не забудет мировую войну, унесшую десять миллионов жизней. Рабочие всего мира не допустят нападения на Советский Союз». А теперь только и слышишь об «угрозе войны» со стороны Германии и Японии. И вот японцы напали, напали-то на нашу территорию, озеро Хасан на нашей земле. Варя купила «Правду», нашла сообщения с Дальнего Востока. Вечером включила радио, прослушала последние известия от начала до конца.

Но если бы с Максом что-нибудь случилось, Нина бы сообщила. А может, запрещают сообщать? У нас все могут. В газетах пишут, сколько потеряли убитыми и ранеными японцы, а сколько мы потеряли, не пишут, скрывают.

Что же делать? Дать телеграмму? Нине Сергеевне Костиной: «Сообщи здоровье». Нина поймет, о чьем здоровье она справляется. Но не навредит ли она им? Все засекречено, все тайна... Спросят: «Почему ваша родственница беспокоится, разве она знает, что то-

варищ Костин участвовал в боях? Откуда знает? Вы ей сообщили? Зачем?» Сволочная страна! Каждый шаг, каждое движение грозит опасностями.

А не зайти ли к родным Макса, они живут в соседнем подъезде, мол, что и как, ведь война была?! Но она с Максом не училась, не дружила, ни разу в его квартиру не заходила, с его родными почти незнакома, а тут вдруг, здравствуйте, явилась, забеспокоилась. Нет, это не годится.

Варя поделилась своей тревогой с Софьей Александровной, та пообещала все разузнать у матери Максима. Через два дня Софья Александровна позвонила: в семье Костиных никаких плохих известий нет. Это сообщение не успокоило Варю. И от родной матери могут скрыть. Ладно! Подождет еще неделю, а потом даст телеграмму.

Телеграмму давать не пришлось. Через несколько дней на работу опять позвонила Софья Александровна:

— Варенька, посмотри сегодняшнюю газету. Там есть насчет Максима.

— Что, плохое?

— Наоборот, хорошее.

Варя разыскала газету. Участники боев у озера Хасан награждены орденами и медалями, несколько тысяч человек. Но в газете приводились только фамилии Героев Советского Союза. Среди них Костин Максим Иванович — командир батальона.

Макс — Герой Советского Союза! Самое высокое звание в стране. Теперь Нина за ним как за каменной стеной. Теперь ее не посмеют тронуть.

И вдруг Варя подумала, что Нина и Макс могли бы приютить маленького Ваню Будягина, усыновить, дать свою фамилию. Детей у них нет, денег, наверно, хватает, и наверняка там, в военном городке, есть и ясли, и детские сады. Откуда взяли ребенка? Очень просто: ребенок сестры Вари, прижила неизвестно от кого, шлюхенция, не пропадать же ребенку возле этой распутницы, хотим воспитать настоящего советского гражданина, стойкого защитника социалистического Отечества. Приехала, сволочь, бросила тут своего ребенка и укатила, вот, оставила бумажку: «Согласна на усыновление М. И. и Н. С. Костиными моего сына Ивана. В. Иванова». Что с нее, с беспутной, возьмешь?! Оформят документы, не Москва, к тому же не кто-нибудь, а Герой Советского Союза!

Согласится ли Лена? Мать должна прежде всего спасать ребенка. Согласится ли Нина? Как она может не прийти на помощь ближайшей подруге?! Неужели партия убила в ней все человеческое? Ну, а Макс поступит так, как скажет Нина, добрый парень. Она сама отвезет туда ребенка, пусть попробуют не взять!

Оказалось, для выезда на Дальний Восток нужен пропуск. Варя пошла в 8-е отделение милиции в Могильцевском переулке, там ей объяснили, что для получения пропуска требуется вызов, оформленный как положено, «там» знают как.

Тут же Варя отправила Максиму телеграмму: «Поздравляю правительственной наградой (черт с ними, так телеграмма быстрее дойдет). Иду в отпуск, срочно пришли вызов мне и моему сыну Ване для получения пропуска. Варя».

20

В жизни Климента Ворошилова не было страшнее тех двух месяцев, что выпали на его долю летом 1938 года. Два месяца Ворошилова не приглашали на заседания Политбюро, на его звонки Сталин не отвечал, на доклады к себе вызывал одного Шапошникова — начальника Генерального штаба. Ворошилов не спал ночами. Вставал, брел на кухню, пил медленными глотками холодную воду, чтобы успокоиться. Что будет, что будет? Арестуют и расстреляют, как арестовали и расстреляли десятки тысяч командиров, как расстреляли почти весь высший командный состав Красной Армии, как расстреляли несколько составов Политбюро? А ведь на все эти аресты и расстрелы он, Ворошилов, беспрекословно давал согласие — и на расстрелы людей, которых вовсе не знал, и на расстрелы тех, кого знал как отважных бойцов и талантливых военачальников. Ни разу не оспорил ни один арест, наоборот, требовал жесточайшего наказания, лишь бы угодить Кобе, лишь бы Коба был доволен. С 1919 года, с Царицына, вся его жизнь была отдана Кобе, служил ему верно и преданно, первым, еще в двадцатых годах, написал о роли товарища Сталина как главного организатора и полководца гражданской войны, прославлял его в каждом выступлении, боролся с его врагами. А теперь и за ним придут ночью, кинут в тюрьму, будут бить, пытать и мучить, заставят все подписать, и он, любимец народа, герой гражданской войны, останется в истории как изменник, предатель и шпион. Екатерину Давидовну, детей тоже будут пытать и мучить, а потом или убьют, или отправят в лагерь, где они погибнут на валке леса.

Всхлип вырывался из горла. Коба издевался над ним: «А ты их не пускай, если за тобой придут!» Что значит: не пускай?! Взломают дверь, скрутят руки. Застрелиться? Тогда объявят, что он умер от разрыва сердца, похоронят с почестями на Красной площади, жену и детей не тронут, и в памяти народной он останется тем, кем и был: первым красным офицером. И все же умереть здоровым, крепким, молодым, ведь ему всего пятьдесят пять, а давали сорок пять — сорок семь. И на портретах выглядел на тот же возраст. Умереть, когда достиг такой высоты, вся страна его знает! И вот все кончено. Коба, Коба, не ценишь ты преданных людей, кем хочешь меня заменить — болваном Буденным? И за что? Ну, поступил неосторожно, необдуманно, но ведь мелочь, не преступление, никто, кроме меня и тебя, Коба, о том разговоре не знает. Можно бы и простить. Не прощает.

Вся беда — Екатерина Давидовна уехала тогда на дачу, остался дома один, и тут звонят Кондратьевы, оказались проездом в Моск-

ве, он их и пригласил зайти. И раньше приглашал Мишку Кондратьева, когда тот бывал в Москве, и Екатерина Давидовна его хорошо, сердечно принимала, знала — Миша Кондратьев спас ему в девятнадцатом году жизнь, грудью заслонил, принял на себя белогвардейскую пулю. И дочь Кондратьевых в прошлом году поступала в университет, и ее Екатерина Давидовна сердечно принимала и с университетом помогла. Только Наталью в дом не пускала, знала о той истории в Царицыне. Хотя какая история? Ничего особенного. Нравилась ему Наталья, так она всем нравилась — огонь-девка была. Но ведь вышла-то она замуж за Мишку Кондратьева, демобилизованного из рядов Красной Армии по тяжелому ранению, как инвалид. А Клим жил у них, и другие товарищи жили, Сталин например... Хорошие ребята. Так что зря Екатерина Давидовна таила что-то на Наталью. Но баба есть баба, хоть и умная, образованная, но с характером, дом у них спокойный, благоустроенный, никаких конфликтов он в доме не желал и потому Наталью никогда не приглашал. Миша всегда приезжал один, работал в банковской системе, бывал в командировках. И вот звонят — оба в Москве, проездом. А он дома один, Екатерина Давидовна с домработницей на даче, значит, можно и Наталью позвать, почему не повидать старых боевых друзей, коммунистов, ни в каких оппозициях не состояли, родственников за границей нет, дочка в московском университете, сын еще школьник, сам товарищ Сталин их знает, люди надежные, да и на Наталью интересно посмотреть, какая она стала через двадцать лет, и она пусть им полюбуется — маршалом Советского Союза. Хоть и жарковато было — июль на дворе, но он надел китель со всеми маршальскими отличиями, с орденами и медалями — знал, идет ему эта форма и народ к ней привык, да и Наталья по портретам именно таким его и представляет, вот пусть и полюбуется.

Ворошилов открыл им дверь. Мишка почти не изменился после последнего приезда в Москву, только чуб совсем седой стал, а сколько ему?.. Сорок с небольшим. Ну, а Наталья как вошла, так сразу пахнуло молодостью, такая же, как и была, фигуристая, особенная стать у казачек, пышногрудая, крутобокая, глаза такие же огневые, черные, и голос певучий, завлекательный.

Он по-хозяйски, но степенно захлопотал, пригласил к столу. Они за стол сели, но ни к водке, ни к вину, ни к закускам не притронулись, приступили сразу к разговору, оказалось, по делу пришли. Сын их, Сережа, — мальчик психически больной, отчего и почему больной, никто не знает, они его и в Москву возили, и местным врачам показывали, все одно говорят — болезнь неизлечима, правда, не буйный, тихий мальчик, заговаривается часто, бормочет что-то, чего бормочет, не понять. Состоит на учете в психдиспансере, последний год пролежал в психбольнице, два месяца назад выписали, устроили на картонажную фабрику коробки клеить, было там собрание, и вот придумали, будто Сережа крикнул: «Долой Сталина!» Он такого крикнуть не мог, политикой не интересуется и не кричит никогда, разговаривает тихо, нечетко

слова выговаривает, бормочет чего-то про себя, и если что-то сказал не так, надо учитывать — психически больной. А его арестовали и приговорили к расстрелу: «За призыв к террористическому акту!» Шестнадцать лет парню! И вот, значит, Климент Ефремович, помогите спасти сына!

Ворошилов знал, что в такого рода делах помогать никому не следует. Если мальчик действительно произнес «Долой Сталина!» (такие слова и повторять страшно), то никто за него не вступится — ни Вышинский, ни Калинин, сумасшедший он или не сумасшедший, взрослый или мальчик. Помочь в таком деле может только сам Сталин. И зацепка есть: Сталин знает Кондратьевых, жил у них, и Мишку знает, и на Наталью заглядывался, тогда она на сносях была, на восьмом месяце, это ее спасло, а то не пропустил бы ее Коба. И можно ему не говорить про эти слова: «Долой Сталина!» Так, мол, брякнул чего-то психически больной мальчик, а его к расстрелу.

И он пообещал помочь. Наталья так умоляюще смотрела на него своими черными глазами, столько было в них мольбы и страдания, столько ее глаза всколыхнули в памяти, так ему хотелось показаться перед ней всемогущим, что он сказал: «Ладно, ребята, не горюйте, постараюсь помочь, разберемся».

С тем они и ушли, обнадеженные. А Ворошилов пораскинул мозгами и решил, что зря обнадежил: с таким делом соваться страшно. И пожалел, что Екатерины Давидовны не было дома, была бы дома, не позвал бы он Кондратьевых, отговорился бы чем-нибудь и не узнал бы про эту историю. Случайно все получилось, однако случай опять подвел Климента Ефремовича.

Через несколько дней сидел у Сталина. Сталин был в хорошем настроении, вспоминали почему-то Царицын, и тут Ворошилов вдруг спросил:

— Коба, помнишь Кондратьевых?

— Каких Кондратьевых?

— В Царицыне ты жил у них на квартире.

— Молодые такие, хлопотливые, муж и жена?

— Вот-вот. Те самые.

— Как они?

— Ничего. Он работает в Стройбанке, она директор техникума.

— Передавай привет.

— Большое несчастье в их семье.

— Что за несчастье?

— Сын психически больной с детства, год провел в психиатрической больнице, сейчас вышел, но все равно больной, сумасшедший.

— Чем можно помочь?

— Как поможешь? Неизлечимый больной. Помочь надо бы в другом. Понимаешь, он что-то выкрикнул на собрании, его арестовали, приговорили к расстрелу. Парню шестнадцать лет. Его нельзя было выпускать из больницы, выпустили.

— А что он выкрикнул?

— Чего-то там... Что с него взять? Сумасшедший.

Сталин поднял на Ворошилова тяжелый взгляд.

— Что именно он выкрикнул?

— Но, Коба!.. Мало ли что несет сумасшедший...

Сталин продолжал смотреть на Ворошилова:

— Что именно он выкрикнул?

— Откуда мне знать, — заволновался Ворошилов, — сумасшедший...

— Если ты взялся за него хлопотать, значит, обязан знать.

— Зал большой. — От волнения Ворошилов вспотел, проклял себя, что ввязался в эту историю. — Шумно, никто ничего толком не слышал, а двое каких-то заявляют, будто он выкрикнул... «Долой Сталина!»

Сталин отвел глаза, подумал и сказал:

— Нам такие сумасшедшие не нужны.

ОН потом проверил — мальчишку расстреляли. И правильно. Иначе каждый террорист объявит себя сумасшедшим. А почему этот сумасшедший не кричал: «Да здравствует товарищ Сталин!»? Почему не вообразил себя Сталиным? Ведь воображают они себя Наполеонами, Иисусами Христами. Никакой сумасшедший еще не кричал: «Долой Наполеона!», «Долой Иисуса Христа!» Нашел за кого просить! Болван! ОН этого болвана держит при себе, сохраняет, выдвигает, а он, идиот, лезет с такими ходатайствами! Подсовывает ЕМУ такую историю. Член Политбюро! Хочет показать, какие выкрики раздаются на собраниях в адрес товарища Сталина?!

Сталин два месяца не принимал Ворошилова. Пусть походит, не зная, что его ожидает, пусть пораскинет мозгами.

А что еще оставалось делать, только и оставалось, что думать. С должности народного комиссара обороны не сместили, каждый день ездил в наркомат, проводил заседания коллегии, принимал командующих округами, командующих родами войск, отдавал приказы. Как член правительства участвовал в заседаниях Совнаркома, остальные наркомы, в том числе Молотов и Каганович, его слушали, будто ничего не изменилось, ничего не произошло, как и раньше, присылали документы, которые положено присылать члену Политбюро. Но Ворошилов хорошо знал эту сталинскую игру с обреченным человеком.

Детям Ворошилов ничего не говорил, а Екатерине Давидовне рассказал. Только представил дело так, что он ждал Кондратьева одного, а тот пришел с женой. На эту мелочь Екатерина, женщина мудрая, не обратила внимания. Сказала, что не надо предаваться панике, что будет, то будет. Но согласилась: лучше смерть, чем мучения и пытки. Если придут сюда, домой, то они застрелятся оба, у каждого есть пистолет. Если придут за ним на работу, он застрелится у себя в кабинете, а она покончит с собой дома. Детей трогать не надо, взрослые — сами для себя все решат. Поцеловала его, сказала, что, если придется умирать, умрет спокойно, благодарна за жизнь, которую они вместе прожили, была счастливой. Ворошилов всплакнул на груди у жены, любил ее, ничем никогда

не подвела, не лезла в кремлевский высший свет, занималась домом, детьми, им занималась, подбирала ему книги для чтения, ходила с ним в оперу, оба любили музыку, пластинки собирала, поощряла его увлечение живописью, водила на выставки, никогда ни в чем не упрекала. И было дело военспецов, и дело Тухачевского и других военачальников, она в это не вмешивалась, молчала, хорошая жена, настоящая! И о политике почти никогда не рассуждала, а если изредка и говорила, то все в точку! И на этот раз не ошиблась, вот ведь какая женщина!

30 сентября, когда Ворошилов приехал домой обедать (обедал он обычно дома), Екатерина Давидовна его спросила:

— Ты в курсе событий в Мюнхене?

— Что-то по радио передавали, какое-то соглашение будто заключено. В газетах ничего нет.

— В газетах будет завтра. Постарайся узнать сегодня. Я думаю, это очень серьезно, возможно, это война. Без тебя ОН теперь не обойдется.

Вернувшись в наркомат, Ворошилов затребовал последние политические сводки. Из них ему стало известно о следующем.

В ночь на 30 сентября 1938 года в Мюнхене Гитлер, Муссолини, Чемберлен и Даладье, главы четырех европейских государств — Германии, Италии, Англии и Франции, — подписали соглашение. Чехословакия должна немедленно передать Германии Судетскую область и пограничные с ней районы, где проживают немцы, а также удовлетворить территориальные претензии Польши и Венгрии. Чехословакия лишалась пятой части своей территории, более четверти населения, половины тяжелой промышленности и мощных оборонительных сооружений на западе. Новая граница Германии пройдет рядом с пригородами Праги, столицы Чехословакии.

И как только Ворошилов кончил читать донесения, ему позвонили из Кремля и попросили срочно приехать на заседание Политбюро.

Екатерина Давидовна оказалась права.

21

В шесть часов вечера собрались в просторном кабинете Сталина, за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Чуть поодаль от других сидел нарком иностранных дел Литвинов.

Сталин в защитно-коричневом френче, того же цвета брюках, заправленных в сапоги, расхаживал по кабинету, но не вдоль окон, как обычно, а вдоль стены, на которой кроме карты СССР висела теперь и карта Европы. На ней референты обозначили новые границы Германии и Чехословакии и заштриховали районы, отобранные у Чехословакии Германией, Польшей и Венгрией. Каждый раз, проходя мимо карты, Сталин останавливался, рассматривал ее, гневно произносил в адрес Чемберлена и Даладье: «Предатели, трусы, торгаши». Но на Гитлера не нападал. Гитлер взял свое, как не

взять, когда само шло в руки. И поляки — стервятники, отхватили Тешинскую Силезию. Пауки в банке! И чехи струсили.

С Ворошиловым Сталин поздоровался, как обычно, будто только вчера виделись. У того сердце толкнулось возле самого горла. Пронесло! Ему дарована жизнь, все страшное позади, Сталин сменил гнев на милость.

Потом спустились этажом ниже и продолжили разговор за ужином. Страдающий астмой Жданов, тяжело дыша, комментировал переведенные на русский последние сообщения иностранных телеграфных агентств:

— Представители Чехословакии прождали весь день в приемной. Их вызвали в половине второго ночи. Гитлер и Муссолини уже удалились. Чемберлен сообщил чехословакам о соглашении и дал им его в руки: читайте, мол, сами. Представитель Чехословакии спросил, ждут ли они ответ его правительства. На это ему грубо ответили: никакого ответа не надо, соглашение окончательное, Чехословакия в границах 1918 года перестала существовать. И вот... Послушайте, послушайте... — Жданов огляделся, убедился, что его слушают. — Во время разговора с чехословаками Чемберлен непрерывно зевал...

— Типично британское высокомерие, — сказал Сталин. — Я видел как-то в газете фотографию этого Чемберлена: длинный-длинный такой, понимаешь, худой, костлявый, а головка маленькая-маленькая, похож на допотопное ископаемое животное. Забыл, как оно называется...

— Птеродактиль, — подсказал Жданов.

— Вот именно. — Сталин отвернулся к закускам.

На столе были выставлены коньяк, водка, копченая севрюга, икра, грибы, хлеб, какая-то травка, пряности, и никаких колбас, ветчины, консервов — ничего этого Сталин не ел. Хрущев, подцепив вилкой огурчик-корнюшончик, показал его Андрееву: «Як головка у того Чемберлена». Все засмеялись. Как и другие члены Политбюро, Ворошилов положил себе на тарелку немного закуски, но вина не налил, побоялся. Сталин покосился на него, усмехнулся:

— Рюмку вина можно и маршалам.

Ворошилов расплылся в благодарной улыбке, налил себе вина.

На другом столе стояли в больших судках первые блюда, рядом стопка чистых тарелок. Каждый подходил, кто наливал себе борщ, кто бульон. Сталин приподнимал крышки у всех судков, заглядывал в них, ни к кому не обращаясь, говорил:

— Ага, щи... А здесь суп... Уха... Нальем-ка ухи...

И Ворошилов вслед за ним поспешил налить себе ухи.

Потом официанты внесли судки со вторыми блюдами. В заключение пили чай, наливали его из большого самовара, чайник с заваркой возвышался на конфорке.

Сталин был в том же френче, что и в кабинете. Только сапоги сменил на мягкие, светлые, сафьяновые, с малиновыми разводами. В квартире тоже висела карта Европы с обозначением новых границ. И как в служебном кабинете, так и здесь Сталин часто под-

ходил к карте, останавливался перед ней, ругал «мюнхенцев», Чемберлена и Даладье, Англию и Францию.

На следующий день в шесть часов вечера опять собрались в служебном кабинете Сталина и опять закончили заседание у него на квартире за ужином. К этому времени поступили новые сообщения: население Праги вышло на улицы с требованием не отзывать армию с границ, объявить всеобщую мобилизацию, люди плакали. Однако первого октября чехословацкое правительство сообщило по радио, что оно капитулирует. В тот же день германские войска пересекли границу и вступили на территорию Чехословакии.

Члены Политбюро дали волю своему гневу, обрушив его на Литвинова.

Особенно усердствовал Молотов — не любил Литвинова: единственный в правительстве держался независимо. Теперь представилась возможность разделаться с ним. Вот к чему привел литвиновский безоглядный ориентир на Англию и Францию, говорил Молотов, слепое доверие этим империалистическим хищникам! Конечно, товарищ Литвинов много лет жил в Англии, считает себя человеком английской культуры, по-английски говорит лучше, чем по-русски, и жена англичанка, но разве это основание для такой близорукой политики? Это не партийные, а мещанские основания. Молотов многозначительно поправился: в лучшем случае, мещанские основания.

Каганович, с ненавистью глядя на Литвинова холодными голубыми глазами, обвинил его в том, что в погоне за дешевой популярностью у западной буржуазии Литвинов поступился интересами Советского Союза. Почему не предвидел, почему не предугадал Мюнхен? Почему не предупредил партийное руководство? Надо делать беспощадные выводы в отношении Литвинова и его аппарата.

Несколько снизил накал страстей осторожный Микоян. Говорил о состоянии торговли между СССР и Западом, о том, что немецкая сторона затягивает заключение взаимного торгово-кредитного соглашения.

Ворошилов, еще не придя в себя от страха, присоединился к общему хору. Кидая робкие взгляды на Сталина, он зачитал данные о советских и чехословацких вооруженных силах. Против 43 немецких дивизий СССР и Чехословакия могли немедленно запустить в дело 133 дивизии. Перевес почти тройной, Гитлер потерпел бы неминуемое поражение. Но вместо того, чтобы внушать Чехословакии уверенность в могучей советской поддержке, Литвинов флиртовал с Англией и Францией, а они за его спиной сговорились с Германией.

Литвинов держался спокойно. Да, Англия и Франция пытаются умиротворить Гитлера ценой предательства. Их надежды безосновательны. У Гитлера далеко идущие планы. И при новых гитлеровских агрессиях они поймут, что Гитлера надо остановить, иначе они сами падут его жертвой. Следовательно, они не могут потерять такого союзника, как СССР. Ситуация тяжелая, но не

безвыходная. Не надо терять голову. У Мюнхенского соглашения есть сильные противники на Западе. Вернувшись в Лондон, Чемберлен объявил: «Я привез мир». На что Уинстон Черчилль ответил: «Мы потерпели полное и сокрушительное поражение. И не надо думать, что этим все кончится. Это только начало». И такова позиция не одного Черчилля, такое общественное мнение господствует в Европе.

— Вы допускаете, что Гитлер нападет на СССР? — перебил его Молотов.

— Англия и Франция представляются ему более легкими противниками, чем СССР. Если он развяжет европейскую войну, то напав прежде всего на них, а уж потом на нас.

— Вы усыпляете нашу бдительность, — грубо сказал Каганович. — В чьих интересах?

— У меня нет других интересов, кроме интересов моей страны и моей партии, — ответил Литвинов.

— Пустые слова! — бросил Каганович и демонстративно отвернулся.

Сталин выступил в конце последнего заседания. Однако члены Политбюро услышали от него совсем не то, что ожидали.

— Англия и Франция, — сказал Сталин, — подталкивают Гитлера к агрессии против Советского Союза. К антисоветскому альянсу присоединилась Япония, СССР очутился в опасной политической изоляции.

Он встал и продолжал говорить, прохаживаясь по комнате, как обычно, вдоль окон, посматривая на огни Кремля, на освещенную ночную Москву.

— Что же предпринять в этих условиях? Товарищ Литвинов уверяет нас, что Гитлер нападет на западные державы. Такой вариант не исключен, но это прежде всего должны понять сами западные державы. — Сталин остановился против Литвинова, протянул к нему палец. — Если вы, товарищ Литвинов, убеждены, что гитлеровской агрессии подвергнутся прежде всего Франция и Англия, то вы и должны убедить в этом руководителей Франции и Англии. В этом теперь и заключается основная задача нашей дипломатии.

Литвинов и работники Наркомата иностранных дел усердно выполняли директиву Сталина.

Однако сам товарищ Сталин главную задачу советской дипломатии понимал совсем по-другому.

После Мюнхенского соглашения все увидели слабость Англии и Франции, их страх перед Гитлером. И это подтолкнет Гитлера к нападению на «вечного врага» — Францию, на ненавистную Англию. В этом Литвинов прав. Но Гитлер нападет на них, только имея в тылу дружественный или по меньшей мере нейтральный Советский Союз. Этого Литвинов не понимает и сближение СССР с Германией осуществлять не будет. За него это

делают другие. А Литвинов пусть ведет переговоры с Францией и Англией, усыпляет их бдительность.

Безусловно, Гитлер хорошо бы воспринял отставку еврея Литвинова. ОН это сделает, когда отношения ЕГО с Гитлером достигнут нужного уровня. Но не уничтожит. Неизвестно, как повернется, Литвинов еще может пригодиться. В Англии и США у него хорошая репутация, пусть продолжает их убеждать. Истинную политику, ЕГО политику проводят другие. Тайные переговоры ведет торгпред в Германии Канделаки. И обращается не к Литвинову, а к НЕМУ лично. В курс тайных переговоров надо теперь ввести и Молотова.

22

Позвонила Лена.

— Варенька, если можешь, срочно приезжай, как можно быстрее.

— Сейчас приеду...

Варя положила трубку, пошла к Игорю Владимировичу.

— Игорь Владимирович, мне надо отлучиться.

Он недоуменно смотрел на нее. Через час они должны быть в Моссовете, Варя готовила ему материал для доклада и, как всегда в таких случаях, сопровождала его.

— У меня дома неотложное дело, — сказала Варя, — схемы я передам Левочке, все объясню, он с вами поедет. Хорошо?

— Да, пусть в таком случае поедет Лева, — согласился Игорь Владимирович.

Оказалось, Лене и всем жильцам их квартиры вручили предписание в трехдневный срок покинуть Москву. Спросили: «Куда хотите ехать?» Лена назвала Мичуринск, как советовала Варя. «В Мичуринск нельзя». Тогда она назвала Уфу, другой город не пришел на ум. Ей и выписали Уфу, выдали железнодорожный литер. «У меня ребенок». — «Сколько лет?» — «Полтора года». — «Отдельного билета не требуется». И вот послезавтра вечером она должна выехать в Уфу и там явиться в местное управление НКВД. Такие вот дела. Домработница Маша сегодня увольняется с работы, переходит в Метрострой, там ей дают общежитие. Надо попробовать заверить у нотариуса доверенность на Машу, мол, я, Будягина Елена Ивановна, доверяю ей узнать, в какой детский дом перевели моего брата. Но оформят ли такую доверенность, неизвестно.

— Хочешь, я поеду в этот детприемник и сама узнаю все о Владлене?

— Варенька, посторонним людям никаких справок не дают. Это у них правило. А Маша, в крайнем случае, покажет свой паспорт, она была прописана у нас и на Грановского, и здесь. Может быть, это поможет.

— Ладно, пусть узнает Маша, — сказала Варя, — но давай присядем на минутку, я хочу с тобой поговорить.

Они сели.

— Хорошо, что Уфа, найдешь там Сашу, он тебе поможет.

— Нет. Сашу я искать не буду, не хочу ставить его в затруднительное положение. К тому же они не случайно дают выбирать город, не такие уж они гуманисты. Я думаю, таким образом хотят выяснить, где у кого есть родственники, и там пойти по новому кругу арестов и ссылок.

— Дело твое. Но Ваню ты не имеешь права брать с собой. Если тебя там посадят, он пропадет, если не посадят, вы пропадете оба.

Лена исподлобья взглянула на нее.

— Что ты предлагаешь?

— Скажи, ты не задумывалась, за кого вышла замуж Нина и куда она уехала?

— Нетрудно догадаться, Варенька. Вышла за Макса и уехала к Максу.

— Так вот. За бои на озере Хасан Максу присвоено звание Героя Советского Союза.

— Да? — оживилась Лена. — Я рада за него. Макс был прекрасный парень. Простой, скромный, его Саша очень любил. Слава Богу, хоть он уцелел.

— Я предлагаю, — сказала Варя внушительно, — оставить Ваню мне, а я отвезу его к Нине и Максу. Они его усыновят, у них он будет в безопасности. Спасем ребенка, ты будешь знать, что он жив, и будешь знать, где он. И если твои обстоятельства изменятся к лучшему, то вы разберетесь. Потребуется, я съезжу за ним и привезу его тебе.

Опустив голову, Лена долго думала, потом спросила:

— А они его возьмут?

— Не сомневайся ни минуты. Я все беру на себя и за все отвечаю. Я уже дала телеграмму, чтобы они прислали мне и ребенку вызов для получения пропуска. У меня на работе очередной отпуск. Побуду с Ваней, пока придет вызов, мне поможет Софья Александровна. Ты только собери его вещи.

Лена по-прежнему сидела, опустив голову. Расстреляли отца и мать, брат в детприемнике НКВД, теперь она расстается с сыном, наверно, навсегда, ее ждет судьба родителей. Пусть будет спасен хотя бы он.

Господи, откуда явилась к ней эта мужественная и самоотверженная девочка? Как сохранилась в этом злобном и кровавом мире?

— Я тебе дам адрес Нины, — сказала Варя, — но не записывай и не пиши туда. Заучи наизусть. Там армия, пострадают они, пострадает и твой сын. Будете переписываться через меня. Мне пиши до востребования. Так спокойней и надежней.

— Договорились, буду писать тебе до востребования.

Она помолчала, грустно улыбаясь, посмотрела на Варю.

— Какая ты хорошая, Варя! Ты хоть сама об этом знаешь?

23

13 января 1939 года корреспонденты, аккредитованные в Берлине, передали сообщение о состоявшемся накануне открытии нового здания имперской канцелярии. Расписывали ее размеры, в десятки раз превышавшие размеры прежней имперской канцелярии, сообщали о громадных колоннах из мрамора и таких же плитах, которыми был вымощен внутренний двор, о массивных, высотой в пять метров, дверях, о ведущей в главный зал галерее, которая согласно указанию Гитлера вдвое больше галереи Версальского дворца. Колоссальный кабинет украшала бронзовая скульптура в человеческий рост, изображавшая наполовину вынутый из ножен меч. Этот меч, сказал якобы Гитлер, будет внушать дипломатам страх. Новая имперская канцелярия открылась большим приемом для дипломатического корпуса.

Но главным на газетных страницах было то, что во время приема Гитлер подчеркнуто долго разговаривал с советским послом Мерекаловым. После Гитлера к Мерекалову подошли Риббентроп и генерал Кейтель. Советский посол оказался в центре внимания.

В своем донесении в Москву Мерекалов был осторожен: «Гитлер поздоровался, спросил о жизни в Берлине, о моей поездке в Москву, сказал, что ему известно о моей встрече в Москве с немецким послом Шуленбургом, и пожелал успеха». Осторожность Мерекалова не удивила Сталина: он не в курсе тайных контактов, к тому же плохо знает немецкий язык, а Гитлер говорил без переводчика. Но значение этого факта понятно. Гитлер подает ЕМУ сигнал: он в курсе тайных переговоров, одобряет их и готов изменить к лучшему отношения между СССР и Германией.

Подтверждением тому стало прекращение в немецкой прессе нападок на руководителей Советского Союза.

Но еще более важное подтверждение содержалось в положенном на стол Сталину донесении антифашистской группы Шульце — Бойзена, действовавшей в германском министерстве авиации: утром восьмого марта Гитлер в речи, произнесенной перед генералами и адмиралами, приказал не позднее пятнадцатого марта оккупировать всю остальную часть Чехословакии; до осени, пока не развезло дороги, оккупировать Польшу; в сороковом — сорок первом годах стереть с лица земли «извечного врага» Францию и установить господство над Англией, захватить ее богатство и владения во всем мире.

Сталин мог поздравить себя. ЕГО прогноз оказался правильным: Гитлер нацелился на Францию. Теперь слово за НИМ. Этим ответным словом был доклад Сталина на Восемнадцатом съезде партии, сделанный им через два дня, 10 марта 1939 года.

Готовясь к Восемнадцатому съезду, Сталин главное внимание уделил составу Центрального Комитета партии, который предстояло вновь избрать. Взял за основу список членов ЦК, избранных на Семнадцатом съезде, вычеркнул расстрелянных, их было большин-

ство, против обреченных на расстрел поставил жирные кресты, некоторые фамилии обвел карандашом, словно нарисовал петлю на виселице, и опустил их вниз, в кандидаты, других также висельной петлей поднял из кандидатов в члены и, сообразуясь со своими расчетами, добавил новые фамилии.

А в доклад на Восемнадцатом съезде партии Сталин продиктовал добавление. Отметив, что Англия и Франция не дали отпора Германии, Сталин сказал:

«Главная причина... желание не мешать Германии впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны глубоко увязнуть в тине войны, дать им ослабить и истощить друг друга, а потом, когда они достаточно ослабнут, выступить на сцену со свежими силами и продиктовать ослабевшим участникам войны свои условия. И дешево, и мило!.. Необходимо, однако, заметить, что эта большая и опасная политическая игра может окончиться для них серьезным провалом».

В Берлине ответ Сталина поняли.

15 марта немецкие войска вошли в Прагу. Чехия была включена в Германскую империю под названием: «Протекторат Богемия и Моравия». Вслед за этим немецкие войска захватили литовский порт Клайпеда (Мемель). 23 марта пал Мадрид, республиканская Испания потерпела поражение. Открытое военное противостояние СССР и Германии на испанской земле прекратилось.

Итак, дорога к союзу с Гитлером открыта. Но союз с фашистской Германией?! Надо сделать минимальными политические издержки этого шага.

Народ? Народ не есть политическая сила. Политической силой он становится только в руках политического руководителя. Сопротивление крутому повороту возможно только при наличии в стране политической оппозиции. Ее нет. Она уничтожена, искоренена навсегда. ОН руководит народом, народ привык к ЕГО неожиданным поворотам и маневрам. В ЕГО руках партия — невиданной силы и послушности рычаг, способный мгновенно повернуть в нужную сторону государство. Народ, люди — всего лишь подданные государства.

Запад? На Западе реакция будет неоднозначна. Буржуазия впадет в истерику, социал-демократы тоже. Коммунисты? Коммунистические партии в его руках, живут на советское золото. Противники его курса окажутся среди западной интеллигенции. Конечно, им понадобится лидер. Такой лидер есть. Троцкий. У него имя, ореол героя Октябрьской революции, он олицетворяет социализм, к которому так тянется западная интеллигенция. И главное, изо дня в день предсказывает союз Сталина с Гитлером и в глазах западных рабочих и интеллигентов, не искушенных в большой политике, окажется прав. В своих последних статьях Троцкий пишет:

«Крушение Чехословакии — это крушение политики Сталина... Теперь советская дипломатия попытается пойти на сближение с Гитлером — ценой новых отступлений и капитуляций... Сближение

Сталина и Гитлера весьма вероятно... Разрушив партию и обезглавив армию, Сталин открыто ставит ныне свою кандидатуру на роль главного агента Гитлера».

Каков негодяй! Хорошо понимает необходимость политических маневров, а на него льет помои. Нетрудно предвидеть, как завопит от радости, когда ЕГО союз с Гитлером состоится и этот ничтожный IV Интернационал превратится в большую силу. В политическом чутье ему не откажешь, свои будущие шансы Троцкий отлично предчувствует.

Уничтожение Троцкого из задачи возмездия и отмщения становится задачей ликвидации опасного противника. Этим вместо Слуцкого и Шпигельгласа занимаются теперь в НКВД Судоплатов и Эйтингон. Берия уверяет, что они тщательно готовят операцию. Медленно готовят! Надо поговорить с этими людьми.

Эйтингон был в отъезде. Берия явился с Судоплатовым. Сталин знал его: два года назад тот приходил к нему по украинским делам. Робел. Теперь выглядит более уверенным.

Движением руки Сталин предложил ему и Берии сесть. Они уселись по обе стороны длинного стола. Сталин расхаживал по кабинету, негромко говорил:

— Вы, конечно, хорошо знаете, сколько зла принес Троцкий нашему народу. Его сообщники понесли заслуженное наказание. А их главарь? Жив и здоров. — Сталин замолчал, ходил из угла в угол. Судоплатов взглянул на Берию, Берия едва заметно качнул головой: нет, пауза не означает, что товарищ Сталин кончил говорить, он продолжит свою мысль. — Десять лет Троцкий за границей. Неужели за десять лет не могли обезвредить его? Безусловно, могли. Не захотели. Саботировали. Виновные за это строго ответят. Но больше ждать нельзя. В нынешней международной обстановке мы этого больше терпеть не можем. Война надвигается. Троцкий стал пособником фашизма. Троцкисты проникают в левое движение, дезорганизуют его и тем ослабляют помощь, которую прогрессивные силы могли бы оказать Советскому Союзу. Нужно нанести удар по IV Интернационалу. Как? Обезглавить его.

Сталин остановился перед Судоплатовым, вперил в него свой тяжелый взгляд, резко произнес:

— Троцкий должен быть ликвидирован в течение одного года. Надеюсь, вы с этим справитесь. Выезжайте в Мексику. Вам будут созданы все условия и оказана необходимая помощь.

Судоплатов поднялся для ответа.

— Сидите! — приказал Сталин.

Судоплатов опустился на стул, но и сидя говорил, будто стоит навытяжку.

— Товарищ Сталин! Мы сделаем все для выполнения вашего указания. Однако мне выезжать в Мексику не следует: я не владею испанским языком и привлеку к себе нежелательное внимание.

— А Эйтингон?

— Так нами и решено, товарищ Сталин. На месте операцию возглавит товарищ Эйтингон.

— Что он за человек?

— Сорок лет. Опытный разведчик, надежный, находчивый, твердый. Член партии с 1919 года. Учился в военной академии, работал с товарищем Дзержинским. Очень хорошо проявил себя в Испании. Свободно владеет английским, немецким, французским и испанскими языками?

— Каков план операции?

— Спланировано несколько вариантов. Конкретно — решится на месте. Общее между ними то, что ее осуществят коммунисты, прошедшие подготовку в Советском Союзе и воевавшие в Испании.

— Ну, что ж, — сказал Сталин, — действуйте! Средств не жалейте. Учтите, — он снова тяжело посмотрел на Судоплатова, — ликвидация Троцкого — поручение Центрального Комитета нашей партии. — Протянул руку. — Желаю успеха, до свидания!

Сталин и Берия остались одни.

— Что у вас? — спросил Сталин. Берия положил перед ним лист бумаги. Это был донос работника Наркоминдела о том, что в одном частном разговоре Литвинов неодобрительно отозвался о внешнеполитических действиях руководства партии и правительства.

Зная характер Литвинова, Сталин допускал, что тот мог себе такое позволить. И вообще пора переходить к более широким переговорам с немцами. Литвинов для этого не годится.

Конечно, ОН не забыл, как тогда в Лондоне Литвинов защитил ЕГО от пьяных докеров. Конечно, ОН ценит, что за прошедшие тридцать лет Литвинов никому об этом не рассказал. Но у всякой благодарности есть предел. У руководителя государства нет и не бывает личных друзей, у него есть только великое дело, которое ОН делает. И люди делятся на тех, кто помогает ЕМУ это дело делать, и на тех, кто мешает. Жаль, что товарищ Литвинов этого не понимает. Многим такое непонимание стоило жизни. Однако жизнь Литвинову надо сохранить, Литвинов еще может понадобиться.

На углу доноса Сталин написал: «В дело». Возвратив бумажку Берии, сказал:

— Литвинова пока не трогать. Но о каждом его слове я должен знать. Где бы это слово ни было произнесено.

3 мая Литвинов был смещен с поста наркома иностранных дел и заменен на этом посту Молотовым, который оставался также председателем Совнаркома. Ночью на процедуре смещения Литвинова и вступления в должность Молотова присутствовали Маленков и Берия. Присутствие Берии было не случайным. К лету 1939 года было репрессировано пять заместителей Литвинова, 48 послов, 140 сотрудников Наркомата иностранных дел, большинство работников советских посольств за границей. Некоторые посольства были истреблены полностью. Новую сталинскую внешнюю политику были призваны делать новые люди.

24

До занятий оставалось два часа, Саша и Глеб зашли на почту, там получали письма до востребования. Глебу тетушка писала редко, а Саше пришло письмо от мамы, письмо спокойное. Саша уже несколько раз посылал ей деньги, она ему выговаривала за них, боялась — от себя отрывает, но понемногу укреплялась в мысли, которую Саша ей внушал: все у него в порядке, в Уфе остался потому, что квартира лучше, заработок больше.

Стоя у окна, Саша читал мамино письмо. Глеб болтал с девушками, сидевшими за барьером, все знакомые: в прошлом году занимались в их группе, хорошая была группа, веселая. Саша опустил письмо в карман, поднял глаза. И в эту минуту к окошку, где выдавали почту до востребования, подошла высокая женщина в черном пальто и темно-сером берете, протянула паспорт. Что-то знакомое показалось Саше в промелькнувшем лице, он не отрывал от нее взгляда. Она стояла, наклонившись, девушка за барьером, держа в одной руке паспорт, другой перебирала письма в ящике, захлопнула паспорт, вернула — писем нет.

Женщина выпрямилась, повернулась. Бог мой, Лена Будягина!

— Лена!

По-прежнему красивая, матовое удлиненное лицо, чуть вывернутые губы — «левантийский профиль», как говорила про нее Нина Иванова. Но глаза усталые, и в них что-то новое, суровое.

Она посмотрела на него чуть исподлобья. Этот с детства знакомый взгляд напомнил ему их класс, их школу, их дружную компанию, пахнуло Арбатом.

— Здравствуй, Саша, рада тебя видеть.

Сказала спокойно. Не было удивления от того, что они так неожиданно встретились. А ведь не виделись пять лет. Может быть, знает, что он в Уфе?

Подошел Глеб. Улыбнулся Лене, сверкнув белыми зубами. И Лена наконец улыбнулась. Улыбка вежливая, не застенчивая, как прежде. Саша их познакомил: Лена — соученица по школе, друг детства и юности. Глеб — ближайший товарищ.

Они пошли по улице втроем. Саша расспрашивал ее о Москве, о друзьях, давно ли в Уфе. Она отвечала односложно: в Уфе уже полгода. Друзья? Макс в армии, Нина вышла замуж, куда-то уехала, Вадим как будто в Москве. Была сдержанна, ни одной фамилии, только имена, ни слова о Шароке, а ведь он отец ее ребенка, ни слова о том, куда уехала Нина, а уехала она на Дальний Восток к Максу, Саша знал это от мамы. И Макс ныне Герой Советского Союза, это напечатано в газетах, однако Лена на уточняет, о каком именно Максе идет речь, ни слова о своих родителях и о том, почему оказалась в Уфе.

Они подошли к автобусной остановке.

— На какой тебе? — спросил Саша.

Она взглянула на табличку, там было обозначено три маршрута... Помедлив, ответила:

— Безразлично, любой годится.

Любой ей никак не мог годиться, они шли в разные стороны.

— Может быть, дашь свой адрес, я заеду к тебе, — сказал Саша.

— Нет, я живу очень далеко. Могу заехать к тебе, или мы можем где-нибудь встретиться, видишь, уже весна, тепло.

— Хорошо. Запиши мой адрес.

— Я запомню.

Он назвал адрес, договорились о дне и часе. Лена села в подошедший автобус.

— Красивая, — проговорил Глеб задумчиво, — осторожная.

— В школе была красотка номер один, — сказал Саша. — Осторожная? Кто теперь не осторожный? Она знает, что пять лет назад меня арестовали, выслали, теперь вдруг увидела в Уфе. В каком положении я сейчас — ей неизвестно.

Он доверял Глебу во всем, но доверял свое, а тут чужое. Может быть, Лена живет под другой фамилией, могла ведь и выйти замуж. Не будет пока ничего о ней рассказывать.

— Дорогуша, она ведь из-за меня осторожничала. И правильно: кто я такой, может быть, мы с тобой оба сбежали из Сибири? Смылась от нас на первом попавшемся автобусе. Говорю не в осуждение, а, наоборот, в одобрение. Видно, не все в вашей школе выросли такими лопухами, как ты.

— Вот и прекрасно, — сказал Саша, — давай газетку посмотрим.

— Чего смотреть, съезд да съезд.

Но остановился с Сашей у стенда с газетами.

Уже который день все газеты были заполнены отчетами о XVIII съезде партии. Одно и то же, одно и то же... Доклады, выступления, приветствия, здравицы в честь товарища Сталина, бурные аплодисменты.

Но вот речь писателя Шолохова. Саша ее прочитал. Сказал Глебу.

— А ну-ка, посмотри...

И Глеб стал читать:

— «...Советская литература, избавившись от врагов, стала и здоровее и крепче... Мы избавились от шпионов, фашистских разведчиков, врагов всех мастей и расцветок, но вся эта мразь, все они, по существу, не были людьми... Это были паразиты, присосавшиеся к живому, полнокровному организму советской литературы... Очистившись, наша писательская среда только выиграла...» Нет, — сказал Глеб, — не могу читать. Тошнит. Пошли!

— Читай, страна должна знать своих героев!

— «...Так повелось, так будет и впредь, товарищи, что и в радости и в горе мы всегда мысленно обращаемся к нему, творцу

нашей жизни. При всей глубочайшей человеческой скромности товарища Сталина придется ему терпеть излияния нашей любви и преданности ему (аплодисменты), так как не только у нас, живущих и работающих под его руководством, но и у всего трудящегося народа все надежды на светлое будущее человечества связаны с его именем. (Аплодисменты.)» Слушай, зачем мне все это читать? Пошли! — повторил Глеб.

— Ладно пойдем. Что скажешь?

— Холоп!

— Но ведь написал «Тихий Дон», великий роман.

— В двадцатых годах его авторство ставилось под сомнение, даже была создана специальная комиссия.

— Я что-то об этом слышал.

— Мне Акимов рассказывал. Автором был какой-то белый офицер. Но разве могли такое признать?! Что ты, дорогуша?! А тут свой, станичник, из народа. Но если «Тихий Дон» — гениальный роман, то его автором не может быть холоп. Как сказал твой любимый Пушкин, дорогуша, гений и злодейство — две вещи несовместные.

— Не всякий гений может преодолеть страх. И Шолохов все-таки не гений.

— Топчет расстрелянных товарищей, это что — страх?

— Да, страх.

— Нет, дорогуша, это наше российское холопство. Холоп перед барином пресмыкается, а другого холопа по барскому приказу забивает кнутом насмерть. Все холопы, сверху донизу, весь «великий советский народ», о котором вы, интеллигенты, говорите с придыханием.

— Интеллигент — плохо, народ — плохо, кто же ты сам?

— Я, дорогуша, тоже холоп, стою на ушах, как и все. Расскажу тебе то, что видел своими глазами. Хочешь?

25

Саша засмеялся.

— Давай. У тебя на любой случай есть какая-нибудь история.

— Ты послушай, послушай. Году, наверно, в двадцать девятом или в тридцатом была у меня пассия, хорошая девчонка, сельская учительница. Я к ней наезжал, она меня за брата выдавала, отчества у нас одинаковые: я Васильевич, она тоже Васильевна. Ночью мы, конечно, по кровати катались, это мы умели, а днем я уходил в лес, в поля с этюдничком. Такая была сельская идиллия. Пейзане ко мне относились вроде бы неплохо, снисходительно, знаешь, как работающий мужик к горожанину с мольбертом, мол, «дурит барин», но, в общем, ничего, добродушно. Однажды спим мы еще с моей Клавочкой, наработались за ночку, слышу, шум на улице. Что такое? Она встала, подошла к окошку, чуть отодвинула занавеску и говорит: «Голодухиных раскулачивают». А там, между про-

чим, дорогуша, все Голодухины и деревня раньше называлась Голодухино, потом ее, конечно, переименовали на современный манер: «Гроза империализма».

— Не заливай, не заливай!

— Слово даю. Нищий колхозик, а назывался именно так: «Гроза империализма», такое вот устрашающее название.

— Анекдот!

— Не в этом суть. Суть в том, что у всей деревни фамилии одинаковые — Голодухины, выходит, все они в родстве, в дальнем, в ближнем, но в родстве. И вот каких-то Голодухиных раскулачивают. Я, конечно, быстренько натягиваю портки: на такое зрелище надо посмотреть. А Клавка мне: «Не ходи, там милиция, уполномоченные всякие, а ты не местный, придерутся, документы потребуют, кто такой, а наши скажут: к учительнице, Клавдии Васильевне, приезжает, ночует, не хочу я этого. Смотри отсюда, все видно, встань вот сюда».

Встал я, как она посоветовала, и вижу: возле избы две телеги, милиционеры вытаскивают из дома женщин, детей, стариков, хозяева не сопротивляются, знают, за сопротивление пришьют статью, бабы кидают на телеги узлы, нищее свое барахло, бабка совсем дряхлая, не ходит, ее мильтоны с печи стянули, на руках вынесли и на телегу бросили, один ребенок грудной, и остальные детишки малые, орут, плач, крик, стон, картина, в общем, жуткая и отвратительная, ни за что ни про что срывают с родного места, разоряют обжитое гнездо, отправляют в Сибирь, фактически на смерть.

Глеб замолчал, долго шел молча.

— Но главное, дорогуша, другое. Рядом стоят мужики, бабы, молча стоят, детишки и те замерли, и все — Голодухины, как и эти несчастные раскулаченные, родственники, кумовья, сватья, вместе жизнь прожили. И вот на их глазах творится такое злодейство, и совершают его какой-то задрипанный уполномоченный в пиджачке и два хлипких мильтона. И по тому, как стоят сильные, здоровые, хмурые мужики и тоже сильные, здоровые бабы, и по тому, дорогуша, какая готовность написана на их лицах, я думаю: сейчас обрушатся на тех хлюпиков, обезоружат, бросят на телеги, стеганут по коням и выгонят из деревни. И я жду этого момента. Однако нет... Мильтоны уже всю семью выволокли из избы, посажали на телеги, бабы ревут ревом, и детишки плачут навзрыд, а мильтоны — хлоп кнутом по лошадям и поехали... И вот тут, дорогуша, вот тут толпа бросилась, но не вдогонку, не выручать своих, не вызволять из беды — в избу бросились: растаскивать оставленное, что не могли увезти с собой те несчастные. И идут, понимаешь, домой наши добрые, жалостливые бабы радостные, довольные, и ребятишки рядом, кто с горшком, кто с тарелкой, кто с печной заслонкой, прямо из печи с проволокой выдрали, торопились, пока председатель сельсовета эту разграбленную и опозоренную избу не опечатал. Было мне тогда лет девятнадцать-двадцать. И в тот момент понял я, что народ наш — холоп, от мужика до вот этого холопского писателя Шолохова, от простой бабы до

члена Политбюро, который по команде признает себя шпионом и диверсантом. И все, что пишут там всякие Достоевские и прочие философы об особой душе, особой миссии, особом предназначении, — все это чепуха! И тютчевское: «Умом Россию не понять... У ней особенная стать» — все это, дорогуша, поэтическое словоблудие, поэтические фантазии.

— Вся деревня в этом участвовала? — спросил Саша.

— Не вся, конечно, но что это меняет?

— Многое. Кучка мародеров — это еще не народ. Всюду есть свои бандиты.

— Почему же «хорошие люди» не пришли защищать своего соседа?

— А ты пришел? Ты защитил?

— Дорогуша, я такой же холоп.

— Тогда и от других не требуй! Особенно от мужика, которым всегда помыкали, обирали, вертели им, как хотели, и помещик, и староста с кнутом, и урядник с шашкой, и свой брат-мироед, и казак с нагайкой, и продразверстщик с винтовкой, и агитатор, за которым стоял комиссар с маузером, и те, кто приказал «раскулачивать», и те, кто это выполнял. Но с них мы не спросим — опасно, а мы жить хотим, плясать, выпивать и закусывать.

— Кстати, о закуске, — подхватил Глеб, они проходили мимо ресторана, — зайдем.

— Час назад пообедали. Скажи прямо: хочу сто граммов принять.

Глеб рассмеялся.

— Да, дорогуша, хочу перед занятиями сто граммов принять.

Саша взглянул на часы.

— Не успеем. Отзанимаемся, тогда зайдем, выпьем.

— Пусть так, — согласился Глеб, — перенесем на вечер. Только я тебе вот что скажу. Меня ты обругал, а сам?

— Я такой же, как и ты. Но, каков бы я ни был, на затюканных, замордованных, обманутых людей валить не буду. Я не их, я с е б я презираю.

Некоторое время Глеб шел молча, потом сказал:

— Я о народе нашем так говорю не потому, что я из немцев или еще из каких-нибудь инородцев. Нет, дорогуша, я чистокровный русский человек, сейчас этим разрешено гордиться, сейчас патриотизм в моде. «Александр Невский», «Минин и Пожарский», «Петр Первый» — к чему эти картины снимают? Для воспитания патриотизма, и заметь, дорогуша, русского патриотизма. Я тебе больше скажу, только тебе: я — потомственный русский дворянин из старинного рода, мои предки при Грозном Казань брали и Астрахань, с Суворовым через Альпы ходили, отличились, были среди них градоначальники и декабристы, помещики и народовольцы, всякие бывали, но ни одного немца. Правда, захудел наш род, породнился с купцами, перешел в интеллигенцию, университеты кончали, были и профессора, и художники, так что о моем дворян-

стве, слава Богу, никто до сих пор не пронюхал. Только дворянство свое я, дорогуша, ни во что не ставлю. Сохранился документ шестнадцатого или семнадцатого века, мне один родственник показывал, предок наш боярин челобитную царю подал и подписался: «Верный холопишка твой Ивашка, сын такой-то». Французский или немецкий дворянин так о себе не написал бы: холопишка... Это наше, российское. И тогда уже все холопы были, и бояре, вельможи, вон откуда это повелось.

— О французах, о немцах сказки не рассказывай, тоже много чего наворотили. Какие немцы были свободные после войны, какие демократы! И сами себе Гитлера на шею посадили, заметь, всеобщим голосованием. От кайзера к свободе кинулись, а как ее понюхали, обратно под кнут запросились. Так что не надо других в пример ставить. И не надо весь наш народ стричь под одну гребенку.

Они дошли до Дворца труда. Глеб положил ладонь на ручку, но дверь не открыл, неожиданно сказал:

— А эта школьная подруга твоя, Лена, интересная...

— В таких случаях ты говоришь: мадонна колоссаль, — усмехнулся Саша.

— Нет, — задумчиво ответил Глеб, — тут что-то позначительнее.

26

Молотов — тугодум, может промедлить, а медлить нельзя. Гитлер намерен оккупировать Польшу до осеннего бездорожья, значит, должен урегулировать свои отношения с Советским Союзом. Теперь не ОН, а Гитлер будет искать пути к соглашению и пойдет на уступки. ОН не заставит Гитлера унижаться, унижения человек не забывает и при первой возможности мстит. Но ОН покажет Гитлеру, что отлично понимает его ходы. Это будут переговоры между руководителями двух сильнейших держав, между людьми, интересы которых совпадают.

СССР и Германии противостоят Англия и Франция. Эту концепцию ОН высказал десять лет назад, теперь она полностью подтвердилась. Гитлер сокрушит Польшу за месяц-два. А вот если Франция и Англия ввяжутся в войну с Гитлером, это надолго. Первая мировая война продолжалась четыре года, эта продлится еще дольше. Они истощат себя в борьбе, а за это время СССР станет самой грозной военной силой, и ОН будет диктовать изнуренной войной Европе свои условия.

По ЕГО указанию советник советского полпредства в Берлине Астахов посетил Мининдел Германии и имел беседу, смысл которой сводился к тому, что в вопросах внешней политики у Германии и Советского Союза нет противоречий.

Через неделю германский посол Шуленбург заявил Молотову: «Пора оздоровить отношения между Германией и СССР. При ре-

шении польского вопроса русские интересы будут учтены. Англия не может и не хочет оказать помощь СССР, она заставит СССР таскать каштаны из огня». Заявление хорошее. Но в Берлине Астахову сказали: «Если СССР хочет встать на сторону противников Германии, то германское правительство готово к тому, чтобы стать противником».

Это звучит у г р о ж а ю щ е. Такого тона ОН не потерпит. Гитлер нервничает, до нападения на Польшу осталось три месяца, но нужно владеть своими нервами. Гитлер истерик. После того как Гинденбург привел его к присяге как канцлера Германии, заплакал. Чувствительный немчик. И в «Майн Кампф» пишет, что, узнав о ноябрьской революции 1918 года в Германии, тоже заплакал. Заплакал, приехав в Вену после присоединения Австрии к Германии, растроганный возвращением на родину. Крокодиловы слезы, конечно. Не пьет, не курит, вегетарианец. И спокойно пускает под нож тысячи людей. Натура неуравновешенная. Но с НИМ ему придется взвешивать слова.

Сталин приказал Молотову прекратить политические переговоры с Германией, требовать прежде всего подписания торгового соглашения. На такую тактику Молотов мастер. Волынить, затягивать — его стихия, его натура. В июне и июле все попытки немцев продолжить политические переговоры наталкивались на холодную сдержанность Молотова, требовавшего подписания торгового соглашения. И только 22 июля советская пресса опубликовала наконец сообщение: «Возобновились переговоры о торговле и кредите между германской и советской сторонами».

И наконец, через пять дней, Астахов прислал отчет о беседе с ведущим немецким дипломатом Шнуре, которая состоялась 25 июля в Берлине, в отдельном кабинете фешенебельного ресторана «Эвест». Надо думать, хорошо поели, дипломаты любят изысканную пищу, большие гурманы, тем более пьют и едят за государственный счет.

Шнуре от имени фюрера заявил: «Германская политика направлена против Англии. Это решающий фактор. С нашей стороны не может быть и речи об угрозе Советскому Союзу. Несмотря на все различия в мировоззрении, есть один общий момент в идеологии Германии, Италии и Советского Союза: противостояние капиталистической демократии. Что может Англия предложить России? Ни одной устраивающей Россию цели. Что можем предложить мы? Понимание взаимных интересов, отчего обе стороны получат взаимную выгоду».

ЕГО тактика оказалась правильной. Главная забота Гитлера, чтобы ОН не договорился с Англией. Но что к о н к р е т н о он предлагает?

Сталин продиктовал телеграмму Астахову:

«Если немцы искренне меняют вехи и действительно хотят улучшить отношения с СССР, то они обязаны сказать нам, как они конкретно представляют это улучшение. Дело зависит здесь целиком от немцев».

Телеграмму подпишет Молотов. Но это телеграмма не дипломата. ЕГО текст. Гитлер это поймет.

Гитлер понял, и Гитлер торопился. Ответ был таков:

«От Балтийского до Черного моря не будет проблем. На Балтике хватит места обоим государствам. Вопрос с Польшей немцы урегулируют в течение недели. Если русские пожелают, то Германия заключит с ними соглашение о судьбе Польши».

Седьмого августа на ЕГО стол легло донесение разведки: «Начиная с 20 августа следует считаться с началом военной акции против Польши».

На следующий день явился Ворошилов со срочным докладом: в Монголии, в районе реки Халхин-Гол, японцы сосредоточили для генерального наступления войска под командованием генерала Камацубары.

Угроза войны на два фронта, то, чего ОН опасался больше всего, становилась реальной.

— О Халхин-Голе будешь докладывать по мере развития событий, — сказал Сталин. — Как переговоры с английскими и французскими военными представителями?

— Переговоры начнутся завтра. Главная трудность: Польша отказывается пропустить через свою территорию наши войска. Не можем же мы на коленях умолять Польшу, чтобы она приняла нашу помощь.

— Англия и Франция, — сказал Сталин, — рассчитывают на то, что, оккупировав Польшу, Германия выйдет к нашим границам и эта близость подтолкнет Гитлера к агрессии против СССР. Они не задумываются над тем, что Гитлер может броситься не на нас, а на них. Ну, что ж, попробуем еще раз их в этом убедить. Посмотрим, что дадут твои переговоры с их военными представителями. Вряд ли они образумятся.

Он говорил с сильным грузинским акцентом, ударяя ребром ладони по столу.

Ворошилов сидел тихо, боялся каким-нибудь неловким движением вызвать гнев товарища Сталина.

— Начинай переговоры, держись твердо, а там посмотрим, — заключил Сталин.

27

Вскоре пришел вызов. Пропуск в милиции Варе выдали без задержки: действовало звание Макса — Герой Советского Союза.

Небольшие осложнения возникли в Хабаровске. Молоденький лейтенант, проверявший пропуска, спросил:

— Почему ребенок не вписан в ваш паспорт?

— Он вписан в паспорт отца.

— У вас нет отметки о регистрации брака.

— Мы не зарегистрированы.

— А где свидетельство о рождении ребенка?

— Неужели метрику ребенка возить, когда в гости едешь?! Товарищ лейтенант! Все документы у меня проверили вдоль и поперек, когда пропуск выдавали, что же вы Москве не доверяете?

— Порядок одинаков для всех граждан, не нарушайте его в следующий раз! — И, обходя Варю взглядом, поставил штамп на пропуске.

Хоть Макс был известен теперь всей стране как Герой Советского Союза, повышен в звании и должности, ни праздничности, ни спокойствия в их доме не чувствовалось. У Нины появилась седая прядка в волосах, рановато.

— Папа тоже рано поседел, наверное, это у меня наследственное.

— Ничего, — сказала Варя, — тебе даже идет.

В разговорах Макс и Нина были сдержанны, и все же Варя поняла, что на Дальнем Востоке, несмотря на победные реляции, происходит то же самое, что и в Москве. В газетах та же злобная истерика, почти весь командный состав пересажали в тридцать седьмом году, а в этом году пересажали вновь назначенных.

Нина не хотела обсуждать эту тему, и Варя помалкивала — ни к чему обострять отношения, надо устроить Ваню. Однако Нина первой и не выдержала. Накануне Макс допоздна задержался на партийном собрании, пришел, когда Варя уже спала, и ушел, когда она еще не встала. За завтраком Нина пожаловалась:

— С этих собраний Максим приходит раздавленный. Вербуют в осведомители красноармейцев, заставляют доносить на командиров. Сделал замечание рядовому, а он бежит к особисту, несет какую-нибудь чепуху, а за эту чепуху — трибунал.

И вышла из-за стола, и больше об этом не заговаривала. Жалко, конечно, ее, живет в страхе. А кто теперь живет не в страхе.

Рассказ о Лене Будягиной Макс и Нина выслушали молча.

Но, оставшись с Варей наедине, Нина сказала:

— Получив твою телеграмму, я решила, что это ребенок твой и Саши, вам обоим или тебе одной грозит опасность, тебя надо выручать. Мы с Максимом не исключали, что Саша снова арестован, могут прийти и за тобой, даже подумывали, не придется ли тебя здесь выдавать замуж. Мы не колебались ни минуты: ты — моя сестра и ты знаешь, что Саша значит для Максима. Кстати, что с Сашей?

— Ездит из города в город, работает шофером, где устроится, — ответила Варя сдержанно. Нина убеждена, что у них с Сашей все в порядке. Пусть и дальше так думает, хотя и резало по сердцу каждый раз, когда та пускалась в рассуждения об их с Сашей жизни.

— Бедный Саша, — вздохнула Нина, — досталось ему, но, с другой стороны, может быть, и посчастливилось. Если бы его забрали сейчас, а сейчас его, безусловно бы, забрали, он слишком самостоятельный и принципиальный, то расстреляли бы.

— По-видимому, это так.

— В общем, мы предполагали, что вы с Сашей решили оставить ребенка у нас. И, повторяю, никаких колебаний не было, но сын Лены и Шарока, внук Будягина...

— Я думаю, Шарок к делу не относится, — заметила Варя.

— Это я так, к слову, — поправилась Нина, — но внук Будягина! Если узнают, то Максиму пришьют помощь врагам народа, навалят еще черт знает что, до меня докопаются, в общем, катастрофа.

— Ты боишься?

— Боюсь. Да. Все как снег на голову. Надо привыкнуть к этой мысли, надо все обдумать. Есть ли гарантия, что сюда не дойдет правда об этом мальчике?

— Исключено! Лена и под пыткой не признается, где он, понимает, если погибнете вы, то погибнет и Ваня. У нее версия — оставила сына на вокзале, теперь это делают сплошь и рядом.

— А Софья Александровна знает?

— Я ей сказала, что это сын моей подруги, у нее арестовали мужа, сама боится ареста, смылась из Москвы и попросила отвезти ребенка к ее родителям на Дальний Восток.

Именно так она и сказала Софье Александровне, хотя по глазам Софьи Александровны видела, что та ей не верит, до этого она ей во всех подробностях рассказывала о Лене Будягиной, даже советовалась, как поступить с Ваней. Тем не менее Софья Александровна сделала вид, что приняла эту версию. Надежный человек.

— Хорошо, — не слишком уверенно согласилась Нина. — Теперь второй вопрос. При мальчике никаких документов.

— Твои соседи знают, что к тебе приехала сестра с сыном. Все меня видели — я каждый день гуляю с Ваней. Здесь у вас каждый чих известен.

— Да уж, все наши мужики на тебя заглядываются.

— А в один прекрасный день я исчезну. Вы с Максом...

— Варенька, называй его Максимом. Макс — это со школы пошло. Звучит не по-русски. А тут малейший иностранный звук воспринимается с подозрением.

— Ладно. Вы с Максимом разведете руками: ну и сестрица, бросила ребенка и укатила. Можешь наворотить на меня: беспутная, развратная, шляется где-то.

— Это уж чересчур, такие слова! — поморщилась Нина.

— Ничего, ваши полковые дамы будут руки потирать от удовольствия, еще от себя добавят: ходила тут финтифлюшка, вертихвостка, строила глазки, сразу видно, что за тварь. Бедная Нина Сергеевна, теперь ей с этим подкидышем мучиться.

— Фантазии у тебя, — улыбнулась Нина. Но улыбка получилась вымученная.

— Это не фантазии, а реальность. Будут обо мне языки чесать, а о «бедном подкидыше» забудут. Запишите его Костиным, мол, даже не знаем имени и фамилии его отца, думаем, наша милая сестричка тоже не знает, от кого родила.

— Хватит упражняться на эту тему!

— Подбрасываю тебе аргументы. Ну, а насчет воспитания советского человека, будущего защитника родины, я думаю, ты сама найдешь слова.

— Не иронизируй, — нахмурилась Нина, — ты уже выросла из этого возраста. И я, между прочим, подросла.

— Если вы сочтете все же, что Ваня осложнит положение Макса, прости, Максима, я увезу его обратно.

— И что будешь с ним делать?

— Буду воспитывать, как мать-одиночка.

— Ладно, не пугай меня. Подождем. Обдумаем. Все решит Максим.

На следующее утро Нина встала чуть свет, ждала, когда проснется Варя. Сразу начала разговор, с места в карьер:

— Не нравится мне твоя версия: «Бросила ребенка... Укатила... Не знаем, где теперь ее искать...» Несерьезно это.

Значит, обсудили ночью с Максимом Варины аргументы. Варя-то думала, Макс у Нинки по-прежнему под башмаком. Изменилась ситуация. Распоряжалась всем вроде бы Нина, но с оглядкой на Максима, и, хотя он был немногословен, свое мнение высказывал деликатно, Нинка с его решениями тут же соглашалась.

— Может, сказать иначе: хотела здесь устроиться, но ничего не вышло, и вот объявила, что завербуется на север, поедет туда счастья искать. И тут уж мы сами настояли, чтобы оставила у нас Ваню. Двух лет нет мальчишке, что ему-то мучиться в бараках и общежитиях. А устроит свою судьбу, выйдет замуж за приличного человека, тогда и заберет его к себе. Как ты думаешь?..

— Ради Бога, — засмеялась Варя, — хоть на север, хоть на юг! Правильно! Это действительно будет звучать убедительней. — И не удержалась, поддела Нинку: — Скажи Максиму, что я эту идею одобряю.

Выслушав по приезде Вари историю мальчика, Максим больше разговоров ни о нем, ни о Лене Будягиной не затевал. Домой приходил поздно, новоиспеченный командир полка, рачительный, дотошный и требовательный. В свободные минуты беседовал с Варей ни о чем, о пустяках, играл с Ваней, мальчишка ему нравился, и мальчик встречал его радостно.

А однажды, в последних числах августа, сказал, что сумел договориться: Ваню с 1 сентября возьмут в ясли.

— Отслужит в яслях год, а как стукнет три, повысим в звании, переведем в детский сад, — добавил Максим добродушно.

На следующий день Варя уехала в Москву.

Приютить у себя внука врага народа — Максим хорошо сознавал рискованность такого шага. Но отослать мальчишку не мог. Лена — ближайшая подруга его жены, и он с ней дружил с детства, не раз и не два сиживал в их доме на Грановского, любил этот дом и Ивана Григорьевича Будягина любил, и в то, что тот «враг народа», не верил, как не верил в то, что «враги народа» — его верные боевые товарищи. И Варе доверял: все сделала правильно, вряд ли

кто докопается. А если и докопаются, то он чем виноват: подсунули мальчишку.

Максим не любил врать, но если уж приходилось, делал это с той лукавой крестьянской простотой, которая убеждала любого. Советуясь с комиссаром полка и секретарем партийной организации, развел руками:

— Давайте, братцы, думать. Родила девка безотцовщину, прискакала — буду выходить здесь замуж. Вышла бы, конечно, красивая, образованная, с невестами у нас дефицит, и с ребенком возьмут. Но я свою свояченицу знаю: останься она здесь, такое начнется, все бабы со своими мужьями передерутся. И из-за кого? Из-за родственницы командира полка. Пришлось ей отказать. Поищи, говорю, миленькая, себе муженька в другом месте. А она: ах, не хотите мне помочь ребенка воспитать, завербуюсь на Север! Тут уж моя жена не выдержала: езжай, куда хочешь, говорит, но мальчишку зачем в полярную ночь тащить?! Он у тебя и так — кожа да кости! Не пустим! Оставим у себя! Она отвечает: пожалуйста. И укатила. Когда теперь объявится и объявится ли вообще, неизвестно. Ну, что ж, думаю, раз так уж случилось, воспитаем и без тебя сына полка. И нужная моральная обстановка в полку сохранится. Такое вот решение я намечаю. Ваше мнение, товарищи?

Товарищи с ним согласились. Высокая моральная обстановка в полку — самая важная задача на данном этапе, ибо моральная обстановка — неотделимая часть обстановки политической.

28

После ухода Ворошилова Сталин позвонил Молотову:

— Сообщи в Берлин: мы заинтересованы в переговорах. Но немцы торопятся, надо дать им понять, что мы не торопимся, у нас нет причин торопиться. Найди формулировку: постепенно, поэтапно... Это заставит их выложить карты. Если их предложения устроят нас, тогда и мы поторопимся.

Через три дня, 15 августа, Молотов явился с ответом Риббентропа. Из текста было ясно, что ответ продиктован Гитлером и предназначен ЕМУ.

Сталин, обдумывая каждое слово, начал медленно читать послание вслух. Молотов внимательно слушал, хотя уже слышал и перечитывал это послание.

— «Дорога в будущее открыта обеим странам. У Германии нет агрессивных намерений в отношении СССР. Германо-советские отношения пришли к поворотному пункту своей истории. Решения, которые будут приняты, будут в течение поколений иметь решающее значение для германского и советского народов...»

Сталин прервал чтение, посмотрел на Молотова.

— До чего любит цветисто говорить этот австрияк.

— Оратор! — отозвался Молотов, знавший, что в слово «оратор» Сталин всегда вкладывает иронический смысл.

Сталин снова начал медленно читать:

— «Интересы Германии и СССР нигде не сталкиваются. Между Балтийским и Черным морями не существует вопросов, которые не могли бы быть урегулированы к полному удовлетворению обоих государств (Балтийское море, Прибалтика, Юго-Восточная Европа и т. д.). Немецкая и советская экономики могли бы дополнять друг друга... Имперский министр иностранных дел готов прибыть в Москву с кратким визитом, чтобы изложить взгляды фюрера господину Сталину».

Сталин опустил бумагу на стол, откинулся на спинку кресла.

— Предложения понятные. Кроме польских территорий Гитлер согласен повести разговор о Прибалтике, Финляндии, Бессарабии... Однако союз с агрессором наш народ не поймет и не одобрит. Мы можем заключить договор о ненападении. Такой договор наш народ поймет и одобрит. Такой договор означает, что СССР не будет воевать, что советскому народу обеспечены мир и спокойствие. Значит ли это, что мы отказываемся от своих интересов в Польше, Прибалтике, Бессарабии и других районах Европы? Нет, не значит. Но это должно быть оговорено отдельным, секретным протоколом.

Он помолчал, потом продолжил:

— Конечно, когда-нибудь наши потомки узнают об этом секретном протоколе и спросят: почему Сталин и Молотов заключили секретный протокол? Ведь большевики всегда были против секретных договоров, большевики опубликовали секретные договоры, заключенные царем и его министрами. Да, такой вопрос смогут задать. На такой вопрос есть ответ: одно дело — договора, заключенные царским правительством против интересов народа, другое дело — секретные договора, заключенные рабоче-крестьянским правительством в интересах народа. Это разные вещи. И будущие поколения нас поймут. Как подвигаются торговые переговоры?

— Успешно. В этом месяце, я думаю, закончат.

— Надо так поставить вопрос: сначала торговое соглашение, потом договор о ненападении. Тогда немцы пойдут на все наши условия. Для немцев пакт о ненападении означает, что СССР не будет вмешиваться, когда Германия нападет на Польшу.

— Англия и Франция дали гарантии Польше, — заметил Молотов.

— Они боятся Гитлера. Ну, а если они решатся на войну с Германией, тем лучше. Все они увязнут в такой войне, истощат себя, и кончится тем, чем кончилась предыдущая война, — революцией. И наконец, японские провокации пора прекратить. Это должна взять на себя Германия, она союзница Японии. Значит, — он поднял палец, — на послание Риббентропа ответишь так: готова ли Германия заключить с СССР договор о ненападении? Что касается секретного протокола, то разговор о нем только устный. Посмотрим, что они предложат.

На другой день, 16 августа, Молотов передал эти вопросы германскому послу Шуленбургу.

А 17 августа Шуленбург зачитал Молотову ответ Риббентропа: «Германия готова заключить с СССР пакт о ненападении и употребить свое влияние на улучшение японо-советских отношений. Риббентроп готов завтра, 18 августа, прилететь в Москву, имея от фюрера полномочия подписать соответствующие соглашения».

Молотов замялся. Ни он, ни Сталин не смогут завтра принять Риббентропа — документы не подготовлены. И потому Молотов сказал, что в данный момент невозможно даже приблизительно определить время приезда.

Этим ответом Сталин остался недоволен:

— Такой ответ Гитлер может расценить как нежелание принять его министра: даже приблизительно не могу назвать. Почему не можешь? Можешь. Подпишут торговое соглашение, тут же примем Риббентропа. Немедленно разыщи немецкого посла и передай ему такой ответ. И вручи проект пакта о ненападении. Они сейчас любой пакт подпишут, времени у них нет.

Молотов поднял на ноги свой аппарат, приказал разыскать Шуленбурга и снова пригласить его в Кремль. Шуленбург явился. Молотов передал ему проект пакта о ненападении и заявил, что Риббентроп мог бы приехать в Москву сразу после подписания торгового соглашения.

20 августа соглашение было подписано. А 21 августа в 15 часов Сталину было вручено послание самого Гитлера.

Господину Сталину. Москва

1. Я искренне приветствую подписание нового германо-советского торгового соглашения как первую ступень перестройки германо-советских отношений.

2. Заключение пакта о ненападении с Советским Союзом означает для меня определение долгосрочной политики Германии. Поэтому Германия возобновляет политическую линию, которая была выгодна обоим государствам в течение прошлых столетий.

3. Я принимаю проект пакта о ненападении, который передал мне господин Молотов, и считаю необходимым как можно более скорое выяснение связанных с этим вопросов.

4. Дополнительный протокол, желаемый советским правительством, может быть выработан в возможно короткое время, если ответственный государственный деятель Германии сможет лично прибыть в Москву для переговоров.

5. Поведение Польши таково, что кризис может разразиться в любой день.

6. Я еще раз предлагаю принять моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, самое позднее — в среду, 23 августа. Имперский министр иностранных дел имеет полномочия на составление и подписание как пакта в ненападении, так и протокола. Я буду рад получить ваш скорый ответ.

Адольф Гитлер

Больше тянуть нельзя. Гитлер взял переговоры в свои руки, всякая проволочка может обернуться непредсказуемыми последствиями.

В тот же день, в 19 часов 30 минут, Сталин отправил Гитлеру ответ.

21 августа 1939 года

Канцлеру германского государства господину Гитлеру.

Я благодарен за письмо.

Я надеюсь, что германо-советский пакт о ненападении станет решающим, поворотным пунктом в улучшении политических отношений между нашими странами.

Народам наших стран нужны мирные отношения друг с другом. Согласие германского правительства на заключение пакта о ненападении создает фундамент для ликвидации политической напряженности и для установления мира и сотрудничества между нашими странами.

Советское правительство уполномочило меня информировать Вас, что оно согласно на прибытие в Москву господина Риббентропа 23 августа.

И. Сталин

Вечером того же дня, во время заседания военных представителей СССР, Англии и Франции, адъютант Ворошилова передал ему записку: «Клим, Коба сказал, чтобы ты сворачивал шарманку». Записка без подписи, и почерк неразборчив. Вроде бы Молотова.

Переговоры были прекращены как зашедшие в тупик.

Весь день 22 августа и ночь на 23-е были заняты подготовкой к приезду Риббентропа. Готовили документы, помещение, охрану, встречу в аэропорту. Не могли найти германских государственных флагов — красных полотнищ с черной свастикой в белом круге, наконец нашли на «Мосфильме», их использовали на съемках антифашистских фильмов и хранили на случай последующих съемок.

Сталин не уехал на дачу, ночевал в городе, утверждал документы, готовился к разговору. Прочитал справку о Риббентропе — надо знать, с кем предстоит иметь дело. В молодости Риббентроп был коммивояжером по продаже вин, примкнул к нацистам, стал послом в Англии, теперь министр иностранных дел. ЕГО внимание привлек отзыв Геринга, второго после Гитлера человека в государстве: «Ленивый и некомпетентный, тщеславный, как павлин, высокомерный и лишенный чувства юмора. Когда я стал критиковать кандидатуру Риббентропа, заявляя, что он не справится с английскими делами, фюрер сказал мне, что Риббентроп знает лорда такого-то и министра такого-то. На это я ответил: «Вся беда в том, что и они знают Риббентропа».

Таким взаимным уколам Гитлер, конечно, потакает. Властитель не терпит вокруг себя сплоченного окружения, оно может сговориться за его спиной. Так что к словам Геринга надо отнестись критически. На посту министра иностранных дел Гитлер не станет держать ленивого, некомпетентного политика. Журналисты, наобо-

рот, характеризуют его как человека работоспособного и решительного, грубого и нахального. Успехи германской внешней политики это подтверждают. Что касается высокомерия, то у дипломата высокомерие — тактический прием, тем более когда политика агрессивна. Но в предстоящих переговорах Риббентроп будет лебезить и заискивать, до 1 сентября остается неделя, они с Гитлером у НЕГО в руках. Ну, а если будет высокомерным, ОН его быстро укоротит.

Сейчас, накануне приезда Риббентропа, ОН должен окончательно все для себя решить. ЕГО решение надолго определит судьбу Советского Союза, судьбу Европы, судьбу всего мира. Главный вопрос — верит ли он Гитлеру? Не промаршируют ли германские дивизии по Польше, чтобы потом кинуться на Советский Союз?

В политике никому не верят, в политике верят только себе. Говорят, Гитлер обладает особой интуицией. Ерунда! Интуиция — всегда следствие холодного расчета. Расчет показывает, что вслед за Польшей Гитлер нападет на Францию. Говорят, Гитлер непредсказуем. За непредсказуемость принимается способность великих политиков круто менять курс, когда того требует их гениальное предвидение. Подписание ИМ пакта с Гитлером тоже будут толковать как непредсказуемость. На самом деле это хорошо продуманный шаг, соответствующий долгосрочным интересам Советского Союза.

Безусловно, Гитлера как личность трудно разгадать. Человек с челкой, свисающей на лоб, с чаплинскими усиками, над которыми торчит острый угреватый нос, со странной привычкой складывать руки где-то ниже живота, не похож на великого политического деятеля. И все же он, несомненно, великий политический деятель. Говорят, будто Гитлер страдает манией величия, на каждом шагу подчеркивает свою гениальность, свое высшее предназначение. «Гению само Провидение доверяет повести за собой великий народ... Чтобы спасти нацию, нужен диктатор с железным кулаком». Конечно, для советского человека такое ячество непривычно, советский народ ценит в правителе прежде всего скромность. Видимо, у немцев другое представление о вожде, немцы любят выспренность. Однако только человек, верящий в свою гениальность, способен внушить такую веру другим. А говорить или не говорить о ней... ОН никогда не говорит о своей гениальности, за него говорят другие. Гитлер предпочитает сам говорить. Его дело. Но это не мания величия. Мания величия — это когда мания есть, а величия нет. А ведь нельзя не признать, что за шесть лет Гитлер поднял Германию из руин, победил хаос, восстановил порядок, достиг промышленного подъема, ликвидировал безработицу, создал и вооружил мощную армию, флот и авиацию, порвал цепи Версаля, присоединил Австрию и Чехословакию, не потеряв ни одного немца, увеличил население страны на десять миллионов человек, захватил огромную, важную в стратегическом отношении территорию, превратил безоружную, разоренную Германию в сильнейшее государство, перед которым трепещут Англия и Франция, загнивающие, увядающие, терпящие провал за провалом.

На кого же ОН будет ставить? На Гитлера, на которого работает время, или на западные демократии, время которых уходит? Кого ОН будет защищать? Чванливую польскую шляхту, поработившую четыре с половиной миллиона украинцев и полтора миллиона белорусов? Польшу, которая еще в прошлом году, как стервятник, бросилась на растерзанную Чехословакию и урвала у нее Тешинскую Силезию?! ОН не виноват, что Польшей управляют надменные дураки. Почему не отдали немцам Данциг? Данциг-то ведь немецкий город. Почему отказались пропустить через свою территорию советские войска? Разве они настолько сильны, чтобы ссориться с Германией и Россией одновременно? Поляки всегда были несговорчивым народом и сейчас не желают вести реалистическую политику. Пусть поплатятся. Теперь Польше поздно думать о своих просчетах. Завтра Риббентроп будет в Москве, и ОН подпишет с Гитлером договор. Об этом союзе он думал давно, был уверен, что Гитлер пойдет на такой союз, его уверенность наконец оправдалась, не могла не оправдаться. Объединиться с западными демократами — значит заведомо обречь себя на поражение. Это понимает ОН, это понимает и Гитлер.

Все эти годы ОН много размышлял о Гитлере, находил много общего в их характерах, в их судьбах. Как и ОН, Гитлер писал в юности стихи, пел в детском хоре, был в детстве болезнен, замкнут и одинок, любит и знает историю, не знает и не хочет знать иностранных языков. Как и ОН, Гитлер обладает несгибаемой волей, последователен и решителен в достижении поставленной цели, чувствует малейшую опасность и мгновенно реагирует на нее, умеет подбирать верных людей и навсегда избавляться от ненадежных. Как и ОН, способен к м а н е в р у.

Неужели они, два величайших деятеля современности, люди сходной судьбы, вознесенные на вершину власти только благодаря самим себе, превратившие свои страны в могущественнейшие державы мира, сплотившие свои народы высокой идеей государственности, неужели они оба погубят свои народы, свои державы и самих себя во взаимной истребительной войне на радость международной буржуазии, к ликованию плутократов, которых они оба одинаково ненавидят? Неужели ЕМУ и Гитлеру, их народам, их странам нет достаточно места на этой планете, которую эксплуатируют английские и французские империалисты? Мир велик, в нем достаточно территории и для России, и для Германии. Когда они овладеют миром, они найдут способ сосуществования. Если же потомки не сохранят их наследства, тем хуже для потомков.

О «территориях на востоке» Гитлер писал в двадцать четвертом году. Россия тогда была слаба, казалась легкой добычей. В дальнейшем Гитлер сохранил этот тезис для обмана Запада, чтобы Запад не мешал ему вооружаться. Сейчас в мире другая расстановка сил, Гитлер уже не маневрирует, а идет к своей главной цели.

Несколько дней назад Рузвельт, Президент Соединенных Штатов, прислал Молотову телеграмму: «Если советское правительство заключит союз с Гитлером, то ясно как Божий день, что, как

только Гитлер завоюет Францию, он двинет свои войска на Россию». Что понимает Рузвельт? Он понимает только интересы американских банкиров. Безусловно, американские банкиры не хотят видеть сильную, сплоченную Европу. Они предпочитают иметь дело с другой Европой: разрушенным Советским Союзом, разрушенной Германией, загнивающей Францией, увядающей Англией, Европой, которая будет покорна американским банкирам. Такой Европы Рузвельт не увидит.

Вопрос ИМ решен. Решен окончательно. Теперь к этому окончательному решению пришел и Гитлер.

29

В Париж прибывает испанский коммунист Жак Морнар, его следует свести со Зборовским. Зборовский познакомит Морнара с американской троцкисткой Сильвией Агелофф — участницей предстоящего троцкистского конгресса. Таково задание Эйтингона. Шарок передал его Зборовскому и попросил рассказать об этой даме.

— Девушке, — уточнил Зборовский. — Переводчица, свободно говорит на французском, итальянском, испанском, естественно, на английском, знает и русский — мать русская. Ее сестра, Рут, работает в Мексике, в Кайоакане, в личном секретариате Троцкого. Когда Сильвия навещает Рут, ее тоже привлекают к работе в секретариате. И Лев Давидович, и Наталия Ивановна Седова любят ее, ценят и абсолютно ей доверяют.

В тоне Зборовского чувствовалась симпатия к Сильвии Агелофф. И ко Льву Седову он относился дружелюбно, что не помешало ему отправить того в мир иной. Однако он по-прежнему представлял интересы Троцкого в Париже, выпускал «Бюллетень оппозиции», именно поэтому, как утверждал Зборовский, Троцкий отказывает ему в переводе в Мексику — в Европе он нужнее. Впрочем, Зборовский допускал, что Троцкому и его жене было бы тяжело видеть рядом человека, который ежедневно напоминал им о покойном сыне. Шарок против этих объяснений не возражал, но был убежден, что у Троцкого или у кого-то из его окружения осталось недоверие к Зборовскому. Поэтому и не допускает к себе. Следовательно, пути проникновения в Кайоакан, намеченные Судоплатовым и Эйтингоном и так точно и вовремя высказанные Шароком, единственно правильные.

Морнара, высокого красивого испанца в очках, с усами, бородкой и небольшими бакенбардами, Шарок сразу узнал, видел в феврале тридцать седьмого года в разведшколе НКВД под Москвой. Ни бородки, ни усов он в то время не носил, и звали его не то Рамон, не то Лопес. Молодой парень, лет двадцати трех — двадцати четырех, говорил по-французски, вежливый, деликатный, пробыл несколько дней, потом его перевели в другую школу, по-видимому, туда, где готовили «Яшиных ребят». Делами Испании занимались тогда интенсивно, наши внедрялись там в различные политические

движения, и прежде всего в троцкистскую ПОУМ, засылали агентов и производили необходимые акции по ликвидации политических противников. Таким завербованным агентом и был молодой испанец. Шароку он запомнился потому, что напросился пойти с ним на лыжах. Никогда раньше не ходил, а тут решил попробовать. Пошли втроем: он, Шарок и Арвид — то ли швед, то ли норвежец. Арвид умчался вперед, скрылся за деревьями, а испанец упрямо тянулся за Шароком, хотя и лыжи у него спадали, и сам то и дело падал в снег. К тому же был легко одет, даже без шапки, а тут завьюжило, февраль. Шарок пожалел парня, сказал: «Возвращайся-ка лучше домой. Простудишься!» Испанец с обидой, даже злобно посмотрел на него и пошел обратно. Неожиданная обидчивость и агрессивность в таком на вид мягком и симпатичном человеке и запомнились Шароку. На следующий день испанец уехал, ни с кем не попрощавшись.

Так что никакой это не Жак Морнар, паспорт бельгийский, конечно, чужой, подобран в Испании, в Интербригаде. Как только доброволец прибывал в Испанию, у него отбирали паспорт, они теперь пачками шли в Москву. Паспорта убитых после тщательного изучения биографии, семьи и родственников погибшего выдавались агентам нашей разведки. Выдавались и паспорта живых после того, как высочайшего класса мастера подделывали имя и фамилию.

Какой именно паспорт у Жака Морнара — убитого бельгийца или поддельный, — Шарок не знал, но по паспорту Морнару было тридцать три года, значит, прибавили ему годков шесть-семь. Чтобы выглядеть старше, он и завел усы и бородку — Сильвии Агелофф, которую ему предстояло обольстить, двадцать восемь.

Шарок тоже носил усы и бородку. Узнал ли его испанец? Трудно сказать. Вида не подал. И по-русски не произнес ни слова. Выдержанный парень. Держался по-прежнему вежливо, деликатно, но появились неторопливость в движениях, подчеркнутое достоинство, даже аристократичность — это тоже входило в создаваемый портрет тридцатитрехлетнего солидного человека.

Шарок свел Морнара со Зборовским. Морнар сообщил выработанную Эйтингоном версию: отец Морнара — бельгийский консул в Тегеране, Морнар порвал со своей знатной семьей по идейным соображениям, видит царящую в мире социальную несправедливость, но к политике равнодушен, не хочет ею заниматься, будет работать в Париже фотокорреспондентом в бельгийском пресс-агентстве. Кроме того, Эйтингон обязал его войти через Сильвию в доверие к супругам Росмерам, ближайшим друзьям Троцкого. На их вилле в городке Rekigny, близ Парижа, и состоится троцкистский конгресс.

Шарок отдал должное уму Эйтингона: подобрал Морнару прекрасную профессию — фотокорреспондент, далекий от политики. Как убедился Шарок из нескольких разговоров с Морнаром, тот был малообразован и как политик не прошел бы, вызвал бы подозрение. Росмеры в этом смысле — матерые волки, их не проведешь.

Через несколько дней позвонил Зборовский, сказал, что знакомство состоится завтра в кафе на рю Николо, в час дня. Он и Морнар придут минут за десять.

Шарок появился чуть позже, прошел мимо Зборовского и Морнара и уселся неподалеку, чтобы хорошо их видеть.

В кафе вошли две женщины. Зборовский встал, пошел им навстречу. По описанию Шарок без труда угадал, кто из них Сильвия: среднего роста блондинка, хотя и с неплохой фигурой, но далеко не красавица, тускленькая, не обращает на себя внимания. Не позавидуешь Морнару. И чтобы такой красавец в нее влюбился? Кто поверит? Но никуда не денешься, задание есть задание.

Зборовский подвел женщин к своему столику, Морнар встал. Все пожали друг другу руки, сели. Со своего места Шарок хорошо их видел, они оживленно, хотя и негромко разговаривали, когда кто-нибудь повышал голос, до Шарока долетали отдельные слова. Поддастся ли Сильвия чарам Морнара? Синий чулок, занимается политикой, такие или остаются старыми девами, или выходят замуж за уродцев единомышленников. А Морнар в политике человек невежественный. Какое же у них может быть «взаимное понимание» или «духовная близость»? Тут может быть близость только физическая. Не побоится ли связываться с красавцем? Всякая женщина рассчитывает свои возможности, знает, что ей отпустила и чего не отпустила природа. Единственная надежда у Сильвии — фигура. Это, конечно, существенно. Если у бабы хорошая фигура, с ней хорошо в постели. И он, увидев Калю на трамвайной остановке, в первую очередь обратил внимание на крутые бедра. Когда крутые бедра, бабу можно брать по-всякому, что они и делали не раз, но будут ли и дальше продолжать в том же духе, проблематично. До сих пор стояло перед глазами, как Абакумов облапил ее. И хоть поклялся Шарок тогда Кале никогда о том не вспоминать, вспоминалось. Перед отъездом в Париж не стал ей звонить. Переживет. А там будет видно. Когда он теперь попадет в Москву — через месяц, через год, через два?

А за столиком Зборовского разговор тем временем становился все оживленней. Морнар о чем-то рассказывал, Сильвия смеялась. Расплатившись с официантом и направляясь к выходу, Шарок подумал, что у Морнара шансы есть.

Свои шансы Морнар сумел использовать. По словам Зборовского, они встречаются с Сильвией ежедневно, ходят в театры, рестораны. Морнар на своей машине отвозил Сильвию к Росмерам в Rekigny, затем приезжал за ней. Сильвия познакомила его с ними. Все идет хорошо.

На вилле Росмеров состоялся учредительный конгресс IV Интернационала. Зборовский передал Шароку манифест и другие принятые там документы. Передал также опубликованную в газетах статью Троцкого: «Десять лет потребовалось кремлевской клике, чтобы задушить большевистскую партию и превратить первое рабочее государство в мрачную карикатуру... Только десять лет... Но в течение ближайшего десятилетия программа IV Интернационала

сделается путеводной звездой миллионов, и они будут знать, как штурмовать землю и небо!» Все это Шарок отправил в Москву.

Наконец Зборовский сообщил: Морнар и Сильвия поселились в двухкомнатной квартире в центре Парижа, у собора Нотр-Дам-де-Пари. Завтракают в американском баре Пан-Нам на площади Опера. Таким образом, задание Эйтингона выполнено. Шароку оставалось только давать Морнару деньги, много денег.

30

В условленный день и час Лена позвонила в дверь. С уфимскими автобусами, которые ходили как Бог на душу положит, рассчитать время трудно, однако рассчитала — всегда отличалась пунктуальностью.

— Легко нашла? — спросил Саша, помогая ей снять пальто.

— Ты так подробно все объяснил, я не могла заблудиться.

Саша заварил чай, поставил на стол бутерброды с колбасой и сыром, конфеты, бутылку красного вина — запасся этим вчера, но Лена от вина отказалась:

— От одной капли голова кружится.

Держалась свободнее, чем на почте.

— А я выпью за нашу встречу.

Саша налил полстакана, выпил.

— Так, Леночка, прежде всего я расскажу тебе о своих делах, а потом ты мне расскажешь про свои. После ссылки я получил минус, не имею права жить в больших городах, вот скитаюсь по небольшим. С моей анкетой на обычной работе большие хлопоты, поэтому и занимаюсь необычной: преподаю западноевропейские танцы. Глеб, с которым я тебя познакомил, мой аккомпаниатор и верный, проверенный товарищ, можешь его не опасаться. С мамой регулярно говорю по телефону, она живет одна. Отец работает в другом городе, у него новая семья. Дядька мой Марк расстрелян. Таковы мои дела. Что я знаю о твоих? Иван Григорьевич и Ашхен Степановна арестованы в тридцать седьмом. У тебя есть сын, отец его, как я слышал, Юра Шарок, но с ним ты вроде бы порвала. О друзьях: Макс — на Дальнем Востоке, Герой Советского Союза. Нина Иванова — его жена. Вадим Марасевич — преуспевающий критик, как я понимаю, большой негодяй. Вот все, что я знаю о себе, о тебе и о наших общих знакомых. Теперь ты расскажи, конечно, то, что считаешь нужным.

Она посмотрела на него исподлобья.

— Думаешь, я тебе не доверяю?

— Леночка, недоверие — знамя эпохи. И я тебя не призываю к откровенности. Но, возможно, нужна моя помощь. Я готов.

— Я тебе, Саша, всегда верила и сейчас верю, — сказала она серьезно. — В основных чертах ты все знаешь. Добавлю: папу расстреляли, у меня не приняли ни одной передачи. Говорят, это первый признак того, что человек расстрелян, маму, видимо, тоже.

Мой брат Владлен, ты помнишь его, в детприемнике НКВД, мой сын Ваня воспитывается у хороших людей. Мне приказали покинуть Москву, предложили выбрать город, я выбрала Уфу, хожу здесь раз в месяц на отметку в НКВД на улицу Егора Сазонова. Работаю на «Нефтегазе», живу в общежитии.

— Кем работаешь?

— Работаю на строительстве и ремонте железнодорожных подъездных путей. Работа нелегкая, но платят хорошо.

— Шпалы таскаешь?

— Приходится и шпалы. Меня это устраивает: имею возможность посылать деньги Маше, это бывшая няня Владлена, не даст пропасть мальчишке.

Саша откашлялся, мотнул головой, налил еще полстакана, выпил, перехватил взгляд Лены.

— Боишься, стал алкоголиком? Не думай, не стал. Значит, такая у тебя работа, шпалы таскаешь. Рукавицы хоть выдают?

— Выдают. Все это, конечно, временное. Всех «членов семьи врага народа», высланных таким образом из Москвы, уже отправили в лагеря. И меня это не минует. Рядом есть лагпункт, так что могут из одного барака перевести в другой, но уже за проволоку. Что касается наших знакомых, то да — Нина уехала к Максу, это держится в секрете, но, раз ты знаешь, для тебя секрета нет. Вадим? Сестра его Вика вышла замуж за француза, живет в Париже, теперь у него «есть родственники за границей», и Вадим особенно старается.

— Почему не ешь? — спросил Саша. — Пей чай, а то остынет.

Она взяла бутерброд, отхлебнула чай из стакана.

— Скажи мне, если не секрет, какую фамилию ты носишь?

— Свою. Будягина.

— Ты пробовала искать другую работу?

— Какую?

— Ведь ты знаешь языки.

— Сашенька, милый, кто мне даст здесь работу с языком? Преподавать в школе, институте кто пустит?

Неожиданная мысль пришла ему в голову.

— Ведь ты хорошо играешь на рояле.

— Играю. Хорошо или плохо, не знаю.

— Ты сегодня свободна?

— А что?

— Пойдем со мной во Дворец труда, я там преподаю танцы. Посмотришь, как я это делаю.

— Сегодня? — Она посмотрела на часы. — Хорошо. Я как-то не представляю тебя в роли преподавателя танцев.

— А я не представляю тебя таскающей железнодорожные шпалы.

— Да, — сказала она. — Я иногда думаю, что это возмездие.

— Возмездие? За что?

— За грехи отцов.

— Что ты имеешь в виду?

— Все. Красный террор, Чека, ГПУ. За все, что творилось. Ведь они были руководителями страны, отвечали за судьбы народа.

Саша налил еще полстакана вина, посмотрел на Лену, засмеялся.

— Папочка, не пей! Помнишь, откуда это?

Она наморщила лоб.

— Очень знакомо... Но не помню, откуда...

— «Анна на шее» Чехова.

Она тоже засмеялась:

— Ну, конечно же, «Анна на шее». Правильно: «Папочка, не пей!»

— Нельзя все валить в одну кучу, Леночка, красный террор сопутствовал белому террору, злодейство было обоюдным. Революция — это катаклизм, горный обвал, виноваты те, кто не сумел этот обвал предотвратить.

Саша допил вино, подумал, продолжил:

— В двадцать первом году гражданская война окончилась, и обнаружилось: насильственным способом построить коммунизм невозможно. И движение пошло в обратную сторону. НЭП был рассчитан на постепенные и безболезненные преобразования. Однако НЭП был отброшен, и вот *что* мы получили и *кого* мы получили. В этом наши отцы и виноваты. Они *не предотвратили*, имели власть и безропотно отдали ее в преступные руки. В этом виноваты. И я виноват...

— Чем ты виноват?!

— Помнишь в нашем классе Соню Шварц?

— Конечно, я с ней после школы виделась. Кончила университет, физик, как и ее отец-академик.

— Я ее тоже как-то встретил на Арбате, вспомнили, конечно, наш класс, ребят, преподавателей, и она, смеясь, мне говорит: «А знаешь, Саша, ведь я тебя в школе боялась». — «Боялась? Почему?» — «Не знаю, почему. Но очень боялась». И я подумал: почему же она меня боялась? Разве я был страшный, обижал кого-то?

— Что ты, мы все тебя любили!

— А она боялась. И я понял почему. Я, комсомолец, олицетворял для нее систему, основанную на страхе. Этот страх я ей внушал, и в этом моя вина. Так что виновны и твой отец, и твоя мама, и я. Но не ты! При чем тысячи, десятки тысяч таких, как ты, жен, детей, отцов и матерей — они за что?! Ты называешь это возмездием, я — произволом.

— Но если наши отцы, — сказала Лена задумчиво, — так безропотно отдали власть, значит, не так уж могучи были их идеалы, не так уж верны были их идеи *изначально*, ведь эти идеи и подвигли их на революцию.

— Кто-то сказал: революцию начинают идеалисты, заканчивают подлецы, которые этих идеалистов истребляют. Мы это с тобой видим, и наша задача — *выжить*. Возможно, нас ожидают лучшие времена.

— Ты в это веришь? Или придумал мне в утешение?

— Верю. Поэтому и говорю тебе, мы должны выжить хотя бы ради наших близких: у тебя есть сын, у меня — мать. Кстати, давно ты ее видела?

Она опустила голову.

— Саша, я перед тобой очень виновата — я ни разу не была у твоей мамы. И за это тоже возмездие.

Саша рассмеялся:

— Я тебя спросил о своей матери не для того, чтоб узнать, навещала ты ее или нет, а совсем по другой причине. На почте мне показалось, что ничего неожиданного дня тебя в нашей встрече не было, и подумал: о том, что я в Уфе, тебе известно от моей мамы.

— Да, — сказала Лена, — я знала, что ты здесь. Но не от твоей мамы. Мне об этом сказала Варя, сестра Нины Ивановой.

— Варя... Ты с ней встречалась, дружила?

— Мы с ней много виделись, последнее время она часто бывала у меня. Ты ее, наверно, помнишь девочкой?

— Помню школьницей, — коротко ответил Саша.

— Она уже давно не школьница. Временами мне казалось, что она и взрослее, и мудрее меня, я уж не говорю о том, что сильнее. Она меня вытягивала из беды, в ы т я г и в а л а, во всех смыслах. После ареста родителей меня тут же выкинули с работы, и я не могла устроиться даже мыть полы. А на моих руках брат и сын...

Она встала из-за стола, подошла к окну, не хотела, чтобы Саша заметил ее волнение.

— Всех друзей как ветром сдуло. И вдруг я встречаю Варю. Случайно. На улице. Если бы я верила в Бога, я должна была бы возносить за нее молитвы каждый день! Что, кстати, я и делаю: я не знаю молитв, своими словами молюсь. Я не говорю о том, что она нас подкармливала все эти месяцы при грошовом, в общем-то, заработке: простая чертежница, у самой каждый рубль на учете. Она спасла Ванечку.

Лена повернулась к Саше, посмотрела на него испытующе.

— Она отвезла моего сына к своим родным.

— К Нине?

— Да. Об этом никто не знает, Саша.

— И не узнает, не беспокойся.

— Отвезти на Дальний Восток не просто. В Ваниной метрике написано: мать — Будягина Елена Ивановна, а пропуск на Иванову Варвару Сергеевну. Ты представляешь, как она рисковала? Могли отобрать ребенка, могли обвинить ее в том, что она его украла. Но она святая, поэтому ей все удается. Честное слово даю, она святая! Такая молодая, такая красивая, и вся жизнь в чужих делах и заботах!

— Подожди, подожди! — Саша был потрясен услышанным. — Я не понимаю, какой пропуск?

— На Дальний Восток нельзя без пропуска. Макс должен был прислать Заре пропуск на нее и на сына. А пока пропуск шел, Ванечка почти месяц жил у нее и у твоей мамы. Софья Александровна тоже с ним нянчилась, она все готова была сделать для Вари,

Варя ведь и ей помогала, Саша, носила тебе передачи в тюрьму, стояла в тех жутких очередях. Ты знаешь об этом?

— Конечно.

— Нина и Макс, наверное, думали, что Ванечка — Варин сын.

— Я слыхал, будто она была замужем за каким-то бильярдистом?

— Да. Глупая история. Ей было семнадцать лет. А разве мой роман с Шароком меня украшает? А ведь я была старше. Все мы проходим через ошибки, они и помогают нам становиться умнее.

Она вдруг улыбнулась, взглянула на Сашу исподлобья.

— Между прочим, ты, Саша, до некоторой степени виноват в ее браке, косвенно, конечно.

— Как так?

— Тебя отправляли в ссылку с Казанского вокзала, сопровождали два конвоира с командиром.

— Правильно.

— Ты был с бородой, нес чемодан.

— Да.

— Так вот, в это же время с другого пути уезжали на Дальний Восток выпускники военного училища, среди них и Макс. Его провожали Нина и Варя. Варя увидела тебя, увидела твое бледное лицо и большую черную бороду. Она говорила мне, что это было самое сильное потрясение в ее жизни. Ей показалось, Саша, что ты покорно шел между конвоирами, покорно тащил чемодан, *покорно шел в ссылку*. Ей было тогда семнадцать лет, Саша, не обижайся. Ей казалось, что ты дал себя унизить, что ты должен был сопротивляться, тебя должны были нести связанным, чтобы не пробегали мимо люди, равнодушные к чужому несчастью, чтобы не были так веселы новоиспеченные командиры, не обратившие даже внимания на то, что человека ведут под конвоем. Вот такое потрясение она испытала. И решила, что она так жить не будет, не превратится в покорную рабыню. И нашелся человек, который нигде не служил, что-то изобретал, зарабатывал большие деньги, был независим от государства. И она вышла за него замуж, чтобы тоже быть независимой. Однако быстро разобралась, что это блеф, он — бильярдный игрок, а может быть, и шулер. И прогнала. При довольно драматических обстоятельствах.

— Он будто бы хотел убить ее?

— Ах, ты знаешь? Я напрасно это тебе рассказываю.

— Нет, нет, я знаю только последний эпизод. Она его прогнала, и он грозился убить ее. Мне это передала мама на вокзале, при очень короткой встрече. Все остальное я слышу впервые. Мне все это очень интересно, рассказывай, пожалуйста.

— Из этой истории Варя поняла: независимость не дается кем-то, независимым человек становится сам, если *всему вопреки* способен творить добро. Так она и живет теперь. И я тебе скажу: если бы не Варя, я бы не смогла перенести все, что на меня обрушилось. Это Варя мне сказала: «Будут предлагать тебе город для ссылки, называй Уфу: там Саша. Обязательно найди его, оставь

открытку до востребования, и он тут же откликнется». Боже мой! Значит, Варя не забывает его...

— Почему же ты не бросила мне открытку?

— У тебя и так сложное положение, Саша, я не хотела быть тебе обузой.

31

Плевицкая ни в чем не признавалась, ломала комедию. Тем не менее факты, да и само исчезновение Скоблина ее уличали. Процесс освещала вся пресса. Газеты, ни одной из них Шарок не пропускал, обвиняли французское правительство в покровительстве большевикам, полицию в том, что помогла похитителям Миллера запутать следы. Но ни на кого из советских резидентов ни следствие, ни суд не вышли, никто назван не был. Плевицкую приговорили к двадцати годам каторжных работ, фактически к пожизненному заключению. Эмигранты ликовали. Бурцев заявил: «Пусть гниет в каторжной тюрьме».

Но РОВС фактически был разрушен. Третьяков по-прежнему аккуратно записывал разговоры в штабе, но они не представляли интереса. Штаб неделями пустовал, нечем было платить жалованье даже охраннику.

Во время процесса Плевицкой Шарок решил, что сейчас самое время выйти на Вику Марасевич. Вика была у Плевицкой в Озуар-ла-Ферьер, название этого городка склоняют в газетах на все лады, Вика напугана и, если напугать еще сильней, сдастся. Практического применения ей пока не видно, однако может наступить момент, когда понадобится. Но к тому времени она придет в себя, объявит, что ее шантажируют, характер Вики он знает. Сумела уйти от них в Москве, здесь и подавно сумеет. А сейчас она деморализована, подавлена, суд над Плевицкой продолжается — никуда не побежит.

Операцию с Викой Шарок поручил сотруднику по кличке «Сухов». Сам он войдет в контакт, когда того потребует дело. При нем «Сухов» позвонил Вике, сказал, что привез ей письмо от брата и лучше всего бы им встретиться в каком-нибудь музее, скажем в Лувре. Единственный для него возможный день встречи — завтра, желательно в первой половине дня, точный час пусть назначит Вика. Он мог бы прислать письмо по почте, но, как предупредил Вадим, письмо ничего существенного не содержит, главное — это то, что он должен передать на словах.

После некоторого молчания Вика спросила:

— Простите, как вас зовут?

— Петр Александрович.

— Скажите, Петр Александрович, там что-нибудь случилось?

Тщательно проинструктированный Шароком «Сухов» ответил:

— Виктория Андреевна, вы меня ставите в затруднительное положение. Извините за московский оборот речи, но это разговор не

для телефона. В числе других дел есть и наследственные. Кстати, приношу вам свои искренние соболезнования по поводу кончины вашего батюшки.

О смерти профессора Марасевича Шарок узнал из газет. «Наследственные дела» — приманка, на которую Вика должна клюнуть.

Однако Вика молчала. Шарок подал «Сухову» знак, и тот сказал:

— У вас нет желания встретиться со мной, а у меня нет причин настаивать. Наоборот, мне же спокойнее. Пусть Вадим ищет другие пути. Я с вами прощаюсь.

— Нет, нет, — перебила его Вика, — подождите. Я обдумываю, когда нам удобнее встретиться. В Лувре, в двенадцать часов возле касс, вас устраивает?

— Устраивает.

— Как я вас узнаю?

— Я бывал на Староконюшенном, у Вадима, и я вас отлично помню. Возможно, и вы меня вспомните. Я буду один, надеюсь, и вы тоже.

На следующий день к двенадцати часам Шарок и «Сухов» подъехали к Лувру. Вика прохаживалась возле касс. Шарок показал ее «Сухову». Несколько минут они рассматривали публику возле музея — не привела ли Вика кого-нибудь. Впрочем, рассматривал «Сухов», Шарок любовался Викой, вспоминал барскую квартиру Марасевичей на Староконюшенном, знаменитых людей, бывавших там, баловней славы. Вика и в Москве здорово смотрелась, видная баба, ничего не скажешь.

Убедившись, что «хвоста» нет, «Сухов» подошел к Вике. Поздоровались, вошли в музей. Шарок последовал за ними, поднялся по широкой лестнице, вошел в зал. Вика и «Сухов» уселись на скамейке. Шарок прохаживался вдоль стен, делал вид, что рассматривает картины.

О смерти отца Вике сообщила Нелли Владимирова, Шарль принес ей газету «Известия» с некрологом. От Вадима ни слова. И его жизнь не интересовала Вику. Наследственные дела?! Мамины драгоценности всегда принадлежали ей, они и сейчас у нее. Вадим хочет поделиться тем, что осталось после отца? Исключено. Скупердяй и жила. И вообще она никого не желает видеть из советских. И все же согласилась на свидание. Черт его знает! Вдруг в бумагах отца обнаружено нечто серьезное? Предки-то были в родстве с гетманами. Возможно, есть богатые родственники в Европе, даже имущество, на которое она имеет право. Может быть, у отца зарегистрированы на Западе медицинские открытия, патенты, о которых не знают Советы? Возможно, Вадим сам хочет навострить лыжи, приехать сюда корреспондентом и остаться, в Советском Союзе ужас что творится! Вадим ей здесь никак не нужен, но если есть патенты или имущество, то их без

Вадима не получишь — тоже наследник. Во всяком случае, у себя на шее она ему сидеть не позволит. В общем, надо все узнать.

Петра Александровича она совершенно не помнила. Худощавый, даже худой молодой человек. Скромно одет. Улыбается. Вытащил из кармана пиджака конверт, вынул из него бумагу, не выпуская из рук, показал Вике.

— Вам знаком этот документ, Виктория Андреевна?

Она вгляделась и похолодела. Это было обязательство о сотрудничестве, данное ею в свое время на Лубянке. Проклятое прошлое, проклятая страна! Петр Александрович свернул обязательство, положил в карман, повторил свой вопрос:

— Так как, Виктория Андреевна, припоминаете?

А что они ей сделают? Тут не Москва! Кликнет полицейского и передаст ему этого советского шпиона! Посмел шантажировать ее какой-то фальшивой бумажкой. Эта бумажка прежде всего уличит его самого.

— Нет, — ответила Вика, — я не знаю этого документа. Может быть, мы пройдем в полицию и там разберемся?

— Не нужна нам полиция, Виктория Андреевна, — улыбнулся Петр Александрович, — набегут корреспонденты, опубликуют документ в газетах, вам будет трудно опровергнуть графологическую экспертизу, трудно будет объяснить свои связи с госпожой Плевицкой и посещения Озуар-ла-Ферьер. Все это о ч е н ь заинтересует публику. Госпожа Плевицкая изобличена, и связь с вами, сотрудником НКВД, добавит новые обвинения в ее адрес, да и вас изобличит. Перед тем как идти в полицию, надо хорошенько подумать.

Слова этого мерзавца, произнесенные с ласковой улыбкой, не пустая угроза: поломают жизнь и ей, и Шарлю. За границей они так же безнаказанно творят свои дела, как и в Москве на Лубянке! Среди бела дня похитили генерала Миллера, а еще раньше генерала Кутепова, убили невозвращенца Игнатия Райсса. Подумать только: Скоблин — генерал, Плевицкая — знаменитая певица, и те на них работали!

— Я не намерен обременять вас, — добавил Петр Александрович. — Возможно, мы попросим вас оказать нам кое-какие мелкие услуги, никак не нарушающие законы Франции. Мы ни разу вас не беспокоили, не было необходимости. Необходимость появилась в связи с делом Плевицкой. Вы у нее бывали, мы хотели бы знать, о чем вы разговаривали.

— Ни о чем особенном! Надежда Васильевна рассказывала о своей жизни, пела иногда, вспоминала Россию, она глубоко верующий человек, показывала мне их церковь. Я поражена, потрясена всем, что произошло!

— Вот и прекрасно! Это и напишите. Принесите в следующий четверг, в это же время, на это же место. Но предупреждаю вас, Виктория Андреевна, не вздумайте делать глупостей. Первый же ваш нелояльный шаг, и немедленно во всех газетах появятся ваши

фотографии, ваше обязательство, даты ваших встреч с Плевицкой. Надеюсь, вы будете благоразумны.

После этой встречи Шарок приказал «Сухову»:

— Тяните потихоньку, что принесет, то и ладно. Держите на длинном поводке. Встречи только в общественных местах: музеи, галереи, выставки.

Вскоре приехал Эйтингон. Операцию с Викой одобрил, но посоветовал действовать осторожно. Люди богатые, в деньгах она не нуждается, идейных побуждений нет. Значит, только страх, а это в данном случае мотив ненадежный. Вика сейчас его не интересовала, Шарока переориентировал на испанцев, переправлял их в Мексику, сколачивал там мощную диверсионную группу, дело вел широко, денег не жалел.

Эйтингон и в Париже держался столь же уверенно, как и в Москве. Даже любовницу не прятал, Шарок позавидовал: чувствует себя хозяином, а он робел, жил монахом. Связываться с проститутками побаивался — наваришь какую-нибудь гадость, все деньги угрохаешь на врача или нарвешься на сутенера, влипнешь в историю, и прощай карьера. Ему бы какую-нибудь постоянную бабу найти, лучше всего было бы с Викой, но с Викой Эйтингон оказался прав.

Как и было договорено, через неделю «Сухов» в сопровождении Шарока подъехал к Лувру. Прошли в зал. Вика ждала на скамейке. Но «Сухов» к ней не подходил, рассматривал с Шароком картины, прошли и в следующий зал, не упуская Вику из виду. «Сухов» изменил внешность, приклеил усы, бороду. Народу было немного, Шарок и «Сухов» заметили двух типов, которые целый час не покидали зал, что за типы, догадаться было нетрудно. Потом типы ушли, вслед за ними ушла и Вика.

Эйтингон высказал предположение, что Вика во всем призналась мужу, тот связался с Сюрте, с контрразведкой, предложил через Вику выйти на советских агентов, за это ей простят московские девичьи шалости.

— Не трогайте ее пока, — сказал Эйтингон, — надобности в ней нет. Придет время, будете думать.

Много общаясь теперь с Эйтингоном, Морнаром, встречаясь с людьми из Испании и направляя их в Мексику, Шарок получил представление об основных участниках предстоящей операции. В Москве ею руководил Судоплатов, здесь — Эйтингон. Бабенка эта — Эустасия Мария Каридд дель Рио — не только любовница, но и помощница Эйтингона. Дочь богатого кубинца, была замужем за живущим в Барселоне испанским аристократом Меркадером, имеет от него пятерых детей, женщина экзальтированная, ушла от мужа, жила с детьми в Париже, вернулась в Барселону, вступила в коммунистическую партию и была завербована Эйтингоном. Дети находились под ее влиянием, один из них, Рамон Меркадер, и назывался ныне Жаком Морнаром. Как и мать, завербованный Эйтингоном, отправился в Москву, там, в разведшколе, Шарок его и видел. В Москве Рамон пробыл год с чем-то, в Париж прибыл

уже под именем Жака Морнара, сошелся с Сильвией Агелофф, познакомился с Росмерами, и все с одной целью — проникнуть в Кайоакан к Троцкому.

Пришло официальное сообщение: Ежов освобожден от должности наркома внутренних дел. Итак, свершилось. Можно считать, что Ежов уже покойник. Не имеет значения, когда его посадят и расстреляют — через неделю, через месяц или через два. На его место назначен Берия. Как пометет новая метла? Хотелось, конечно, Шароку обсудить все это с Эйтингоном, но не решился: незачем выказывать беспокойство. Эйтингон обронил как-то в разговоре, что Кобулов, ближайший человек Берии, покровительствует Абакумову. Значит, и у Шарока есть в верхах заручка. Поживем — увидим. Перетряска будет, но их отдел вряд ли пострадает, для «хозяина» центральная задача — Мексика, кто ее готовит, тех не тронут. Тронут, если не выполнят задачу. Хотя и медленно, но все идет хорошо. Сильвия вернулась в Америку. Меркадер остался пока в Париже, сославшись на коммерческие дела. На самом же деле Эйтингон решил заменить его паспорт на более надежный. Таковым оказался паспорт канадского гражданина югославского происхождения Тони Бабича (Tony Babich), погибшего в Испании. «Т» было переделано на «F», «о» на «а», между «F» и «а» вписали «г», последнюю букву «у» изменили на «k». Получился «Frank». То же самое проделали с фамилией, вместо «Babich» получился «Jackson» — канадский гражданин Франк Джексон, родился в Югославии 13 июля 1905 года, натурализовался в Канаде в 1929 году. Паспорт подделывали в Москве опытнейшие мастера. Все было готово в августе. Рамон Меркадер, он же Франк Джексон, он же Жак Морнар, получил наконец возможность отправиться в Америку, где его ждала Сильвия.

32

Многочисленная немецкая делегация, сопровождаемая охраной и прислугой, вылетела из Берлина на двух четырехмоторных самолетах «кондор». На одном из них, личном самолете фюрера, летел Риббентроп. В Москве приземлились в полдень 23 августа. Делегацию отвезли в здание бывшего австрийского посольства, переданного теперь Германии. Наскоро пообедав, Риббентроп поспешил в Кремль. Переговоры с Молотовым назначены на 15.30. Вечером предстоит встреча со Сталиным. Однако, войдя в кабинет Молотова, Риббентроп увидел там Сталина.

Это был ЕГО ход, ОН решил сразу же огорошить гитлеровского министра. Но держался просто, радушно, благожелательно. ОН не дипломат, ОН здесь хозяин, арбитр. Спор может решить одной фразой, одним своим словом. Он сидел в кресле, внимательно слушал Молотова, Риббентропа, переводчика Павлова. Советский проект пакта был краток: в отношении друг друга СССР и Германия обязуются воздерживаться от насилия, агрессии, нападения. Если

одна сторона окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая сторона эту державу поддерживать не будет. Споры стороны будут разрешать исключительно мирным путем. Договор заключен сроком на пять лет и вступает в силу после ратификации.

Риббентроп предложил поправку: договор заключен не на пять, а на десять лет и вступает в силу немедленно после подписания. Торопятся, а потому хотят задобрить. Ну что ж, можно согласиться, советский народ это поддержит: если договор вступает в силу немедленно, значит, немедленно вступает в силу и мир.

Перешли к секретному протоколу. Риббентроп вынул из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, передал переводчику Хильгеру. Хильгер зачитал его пункт за пунктом. Риббентроп, не отрываясь, смотрел на Сталина. Но на лице Сталина ничего нельзя было прочитать. Прикрыв глаза, он слушал Хильгера, по-русски читавшего протокол о разграничении сфер интересов обеих сторон в Восточной Европе... Гитлер открывает ЕМУ путь в Прибалтику и отдает половину Польши, а вопрос о самом ее существовании они решат в дальнейшем. ОН должен еще подумать, что ЕМУ выгоднее: иметь общую границу с Германией или сохранить между ними какой-то обломок Польши.

— Это все, господин Сталин. — Хильгер положил листок на стол.

Сталин заговорил медленно, с паузами, давая возможность Павлову переводить.

— Я думаю, протокол, в основном, приемлем. Будет полезным упомянуть об интересах Советского Союза в Бессарабии. Всем известно, что Бессарабия всегда входила в состав России и была оккупирована Румынией в 1919 году.

Выслушав перевод, Риббентроп сказал:

— Я вас понял, господин Сталин. Я немедленно запрошу согласие господина Гитлера. Я надеюсь, что ответ будет скорым и положительным.

Ответ пришел через два часа.

«Да, согласен. Гитлер».

Подписание документов перенесли на полночь.

На церемонию подписания Сталин приказал пригласить начальника Генерального штаба Шапошникова. Присутствие бывшего полковника царской армии будет импонировать немецкому генералитету, в прошлом — кайзеровским офицерам. Пусть знают, что ОН уничтожил только несколько изменников, а основная масса офицеров за НЕГО.

Молотов и Риббентроп подписали договор и протокол. Как положено, обменялись папками и рукопожатиями. Риббентроп попросил соединить его по телефону с Гитлером. Прямая связь была установлена накануне. Взволнованный и довольный собой, Риббентроп радостно доложил фюреру о том, что все документы подписаны, миссия увенчалась полным успехом. Разговаривая с Гитлером, Риббентроп по ошибке опустился в кресло Молотова.

«Совсем ошалел от восторга», — подумал Сталин.

Перешли в комнату, где был накрыт стол с винами и закусками. Там их ожидали корреспонденты и фоторепортеры. Все пили и закусывали стоя.

Сталин сел в кресло у стены, пригласил Риббентропа сесть рядом. Возле Риббентропа встал немецкий переводчик Хильгер, возле Сталина — русский переводчик Павлов.

— Интересно знать, как господин Риббентроп рассматривает советско-японские отношения? — спросил Сталин.

Риббентроп выслушал перевод, в знак искренности приложил руку к сердцу.

— Господин Сталин, могу вас заверить, что германо-японская дружба ни в коем случае не направлена против Советского Союза. Более того, мы, господин Сталин, в состоянии внести вклад в дело улаживания разногласий между Советским Союзом и Японией. Я готов энергично действовать в этом направлении.

Несколько часов назад ЕМУ вручили донесение с Дальнего Востока. Наступление советских войск в районе Халхин-Гола успешно развивается, основные силы японской армии полностью окружены. Риббентроп этого, конечно, не знает.

— Советский Союз не боится войны и готов к ней, — сказал Сталин. — Если Япония хочет мира, тем лучше. Конечно, помощь Германии может быть полезна. Но мы ни у кого помощи не просим. Мы рассчитываем только на свои силы.

— Конечно, конечно, господин Сталин, вы абсолютно правы. Никакой новой инициативы Германии не будет. Я просто продолжу с ними беседы, которые веду уже несколько месяцев.

Понимает! Напрасно Геринг называл его некомпетентным.

Возле них возник человек с фотоаппаратом.

— Господин Сталин, — торжественно произнес Риббентроп, — позвольте представить вам господина Гофмана, личного фотографа и друга господина Гитлера.

Сталин пожал Гофману руку, улыбнулся, показав на стол.

— Когда мы с господином Риббентропом перейдем к столу, мы выпьем за ваше здоровье.

Взволнованный фотограф ответил:

— Ваше превосходительство, для меня большая честь передать вам сердечный привет и добрые пожелания от моего друга Адольфа Гитлера. Он был бы рад лично познакомиться с великим вождем русского народа.

— Прошу вас, — ответил Сталин, — передать господину Гитлеру, что и я был бы счастлив с ним познакомиться.

Затем Гофман сделал шаг назад, установил аппарат, сфотографировал Сталина с Риббентропом, поблагодарил и отошел к столу.

— А что вы думаете о Турции? — спросил Сталин. Турция граничит с Советским Союзом, Турция владеет проливами — Босфором, Дарданеллами, — это выход советского Черноморского флота в Средиземное море, а следовательно, в мировой океан. Проливы — давняя и острая проблема русской политики.

— О господин Сталин! — воскликнул Риббентроп. — Я делаю все, чтобы добиться дружеских отношений с Турцией. Но с турками очень трудно договариваться, господин Сталин.

— Да, — подтвердил Сталин, — турки всегда колеблются.

— Это понятно, господин Сталин, — подхватил Риббентроп. — Англия потратила пять миллионов фунтов стерлингов на антигерманскую пропаганду в Турции.

Сталин усмехнулся.

— Английские плутократы уверены, что все покупается и продается. Вот, приезжали к нам их военные представители, десять дней болтали. Мы так и не поняли, чего же они в действительности хотят. Если бы можно было нас купить, они бы, наверное, знали, что сказать. Но, как вы понимаете, нас купить нельзя.

— Господин Сталин, — закивал головой Риббентроп, — простите, но я могу вам сказать, что Англия слаба, уверяю вас, господин Сталин. Я был послом в Англии и знаю, Англия слаба и хочет, чтобы другие страны поддерживали ее высокомерные претензии на мировое господство.

Уходит от вопроса о проливах, перескочил на Англию. Ничего. Никуда Гитлер от решения этой проблемы не уйдет — СССР должен господствовать на Черном море. Пройдет время, ОН потребует и проливы, и еще многое, чего Гитлер сейчас не желает отдавать.

— Я с вами согласен. — Сталин сделал паузу, чтобы Риббентроп оценил такое признание. — Англия господствует в мире только благодаря глупости других стран. Всего несколько сотен англичан правят Индией — это разве не смешно? Но войну они будут вести упрямо, будут ловко играть на противоречиях между странами. К тому же Франция, союзница Англии, располагает армией, которую нельзя сбрасывать со счетов... Вот спросим у Молотова.

Он сделал знак Молотову подойти.

Молотов поставил на стол тарелку и подошел.

— Мы с господином Риббентропом обсуждаем вопрос военной мощи Франции, — сказал Сталин. — Что вы думаете?

— Я думаю, Франция располагает армией, достойной внимания.

— Вот видите! — сказал Сталин Риббентропу.

— Возможно, вы, господин Сталин, и вы, господин Молотов, располагаете более достоверными данными, — ответил Риббентроп, — но учтите, господа, что «Западный вал» в пять раз сильнее, чем «линия Мажино».

Сталин усмехнулся про себя. И Молотов усмехнулся. Они отлично знали, что немецкий «Западный вал» — лишь разрозненные укрепления от Люксембурга до швейцарской границы и как единая оборонительная линия существует только на бумаге. И Риббентроп это, конечно, знал. И все же, чтоб придать убедительность своим словам, высокомерно добавил:

— Если Франция попытается воевать с Германией, она, определенно, будет побеждена. Германия имеет союзников...

— По антикоминтерновскому пакту? — иронически спросил Молотов.

Риббентроп встал, потом сел, волнуясь, заговорил:

— Господин Сталин, господин Молотов, господа. Я хочу внести полную ясность в этот вопрос. Я хочу со всей определенностью и твердостью заявить: антикоминтерновский пакт ни в коей мере не направлен против Советского Союза, он направлен исключительно против западных демократий.

— Антикоминтерновский пакт напугал только мелких английских торговцев, — сказал Сталин. — Больше никого этот пакт не мог запугать.

Пусть Гитлер поймет: названия своих союзов нужно выбирать поосторожнее. Никакого антикоминтерновского пакта ОН не боится.

Риббентроп не понял или сделал вид, что не понял насмешки...

— Вот именно, господин Сталин, вот именно. Я тоже не думаю, что этот пакт мог напугать советский народ, господин Сталин. Я догадывался об этом, читая советскую печать. Немцы все это хорошо понимают. Знаете, господин Сталин, среди берлинцев, известных своим остроумием, уже несколько месяцев ходит такая шутка: «Сталин еще присоединится к антикоминтерновскому пакту».

Сталин поморщился. Немчик лишен чувства юмора. В этом Геринг прав.

— Большие шутники берлинцы, — сказал Сталин. — А как немецкий народ относится к урегулированию отношений между Германией и Советским Союзом?

— Все слои германского народа, господин Сталин, это приветствуют. Самые простые люди понимают, что нам препятствуют только интриги Англии.

— Простые люди всегда желают мира, — сказал Сталин.

— Да, — подтвердил Риббентроп, — германский народ хочет мира, но, с другой стороны, возмущение Польшей так сильно, что все до единого готовы воевать. Германский народ не будет больше терпеть польских провокаций.

Сталин не собирался говорить о войне Германии с Польшей. Не дослушав перевода, встал, движением руки пригласил Риббентропа к столу.

Официант разлил шампанское. Сталин поднял свой бокал. Все затихли.

— Я знаю, — сказал Сталин, — как сильно немецкий народ любит своего вождя, поэтому мне хочется выпить за его здоровье.

Все выпили за Гитлера. В эту минуту уже знакомый Сталину немецкий фотограф щелкнул аппаратом. Сталин подозвал его, кивнул на свободный фужер, фотограф торопливо налил шампанского, чокнулся со Сталиным.

— Скажите ему, — Сталин повернулся к переводчику Павлову, — что такой снимок не надо публиковать. Такой снимок может быть неправильно понят советскими и немецкими людьми. Немец-

кие и советские люди могут подумать, что мы здесь не обеспечиваем людям мир, а пьянствуем.

— Извините, господин Сталин, извините, — смутился фотограф, — вы абсолютно правы, я сейчас открою камеру и отдам пленку.

Движением руки Сталин остановил фотографа.

— Не надо! Я ему верю. Скажите, что мне достаточно его слова.

Сталин зря поверил фотографу. Как и Гитлер, он тоже обманул его. Через некоторое время снимок, изображающий Сталина пьющим за здоровье Гитлера, появился в немецкой, а затем и в мировой печати.

Молотов поднял бокал в честь товарища Сталина.

— Именно товарищ Сталин своей речью в марте этого года, которую в Германии правильно поняли, полностью изменил политические отношения между нашими странами.

Молотов имел в виду доклад Сталина на XVIII съезде партии.

Затем Молотов предложил тосты за Риббентропа, за посла Германии Шуленбурга и за германскую нацию.

Тост Риббентропа за господина Сталина, господина Молотова и советское правительство вылился в длинную и витиеватую речь.

За окном уже рассветало, наступило утро 24 августа. Прием кончался.

Проводив Риббентропа до дверей, Сталин остановился и через переводчика Павлова медленно, значительно и, как ему казалось, душевно сказал.

— Передайте господину Гитлеру, что советское правительство относится к новому пакту очень серьезно. Я даю вам свое честное слово, что Советский Союз никогда не предаст своего партнера.

— Господин Сталин, — ответил Риббентроп, — можете быть уверены, что это будут первые слова, которые я передам господину Гитлеру.

31 августа вечером внеочередная сессия Верховного Совета СССР ратифицировала Договор о ненападении между СССР и Германией.

1 сентября, на рассвете, в 4.45 утра, немецкая армия пересекла границы Польши и двинулась к Варшаве с севера, юга и запада. Началась вторая мировая война, самая кровопролитная война в истории человечества.

33

Однако поначалу это была странная война. Англия и Франция не сделали ни одного выстрела, спокойно наблюдая, как танковые армады Германии за две недели разгромили польскую армию и, пройдя через всю страну, заняли Брест.

Не оставляет ли Запад ЕГО один на один с Гитлером? Не совершен ли за ЕГО спиной новый «мюнхенский сговор»? Не жертвуют ли они Польшей, чтобы направить удар Гитлера на Советский Союз? Не просчитался ли ОН? Не обманул ли ЕГО Гитлер?

17 сентября советские войска вошли в Польшу и, не встречая сопротивления, вышли на линию, согласованную с Риббентропом. Значит, Гитлер ЕГО не обманул. Все прошло четко, организованно и корректно. При передаче советским войскам Бреста и других городов были устроены совместные военные парады, прошедшие в дружеской и теплой атмосфере. Рядом с таким соседом можно жить.

27 сентября Риббентроп вновь прибыл в Москву. На этот раз его встречал сам Молотов, был выстроен почетный караул, аэропорт украшен флагами со свастикой — теперь их изготовили достаточно.

Переговоры начались в кабинете Сталина в десять часов вечера и продолжались до рассвета. Заключили договор «О дружбе и границе». Поделили Польшу. СССР получил всю Прибалтику. Провели на карте новую, «окончательную» границу. Сталин подписал ее синим карандашом, Риббентроп — красным. Польша как государство перестала существовать. На заседании Верховного Совета Молотов заявил: «Оказалось достаточно короткого удара со стороны германской армии, а затем Красной Армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора».

На следующий день Сталин устроил в честь Риббентропа торжественный обед. Вечером в Большом театре смотрели балет «Лебединое озеро». Впоследствии Риббентроп писал об этой встрече со Сталиным: «Порой мне казалось, что я нахожусь в кругу старых партийных товарищей».

После отъезда Риббентропа Советский Союз разместил в Эстонии, Литве и Латвии войска, военно-морские базы и аэродромы. 12 октября начались переговоры и с Финляндией. В их исходе Сталин не сомневался: не собирается же ничтожная Финляндия воевать с великим и могучим Советским Союзом!

Перед лицом таких всемирно-исторических успехов чего стоит карканье Троцкого! Не унимается, брызжет ядовитой слюной:

«Теперь открылось, что Кремль давно искал военного соглашения с Гитлером. Сталин боится Гитлера. И боится не случайно. Фашизм идет от победы к победе. Германо-советский пакт есть капитуляция Сталина перед фашистским империализмом в целях самосохранения советской олигархии... Гитлер ведет военные действия, Сталин выступает в роли интенданта... Страшные военные угрозы стучатся в двери Советской страны... Через два года Германия нападет на Советский Союз. Единственной гарантией является подпись Риббентропа под клочком бумаги».

Сталин отшвырнул от себя статью Троцкого. Скотина! Кончен как политик, никого уже за ним нет, даже собственных детей нет, а, смотри, не унимается! Забился в щель и пророчествует: через два года Гитлер нападет на Советский Союз! Откуда такие точные прогнозы? Почему именно в сорок первом году нападет? В сорок первом году мир будет совсем иным, забудут и Троцкого,

и его идиотские прогнозы. Дни этого человека на земле сочтены. Пусть посмеют Судоплатов и Эйтингон не выполнить ЕГО распоряжения!

И старый дуралей Литвинов тоже витийствует. На людях молчит, но дома перед женой разглагольствует, однако знает, что квартира его прослушивается, и потому ни разу и не назвал ЕГО, критикует только Молотова. Но ОН хорошо понимает, в чей огород камешки.

Записи перепечатали, положили перед НИМ.

«Гитлер занял позиции непосредственно у западных границ СССР. Для Советского Союза возник Западный фронт... (Кашляет.) Соглашение втягивает СССР в беспринципное сотрудничество с гитлеровской Германией. Молотов надеется, что ему удастся установить с Германией стабильные взаимоотношения. Это опасная иллюзия!.. (Чихает... Простужен, что ли, болван?!) Германия — извечный противник России. Пакт и соглашение открыли дорогу второй мировой войне».

Литвинова следовало бы расстрелять. Чем он отличается от Троцкого? Но трогать его пока не надо. Союз с Гитлером укрепляется, и рано или поздно какие-то шаги с евреями придется предпринять. Безусловно, от своей интернациональной сущности Советский Союз не откажется, такой козырь он не отдаст, потом, в последний, решающий момент этот козырь он противопоставит гитлеровскому национальному чванству. Это дело отдаленного будущего. Однако не исключено, что на пути к этому будущему придется пойти на некоторые идеологические уступки, возможно, придется о с а д и т ь евреев, кинуть Гитлеру эту кость. Литвинов в компании с другими еврейскими крикунами и станет этой костью. Понадобится, выйдет на процесс. И болтовня с женой будет ему тогда предъявлена.

Возвращая донесение Берии, Сталин сказал:

— Добавьте Литвинову такие слова: «Дипломатия Молотова отражает его собственную тупость и ограниченность», — а потом донесение покажите Молотову.

Пусть эти доносы немного пощекочут нервы товарищу Молотову, а то уж чересчур спокойный, чересчур невозмутимый.

Берия передал бумагу Молотову. Однако никакой реакции с его стороны не последовало. Все так же спокойно и невозмутимо докладывал Сталину очередные дела. Среди них было сообщение из советского посольства в Берлине. Приходила жена Тельмана, Роза Тельман. Просит Москву попытаться вырвать из фашистских застенков ее мужа, Эрнста Тельмана, руководителя германской компартии, верного друга Советского Союза. Попутно заметила, что не имеет никаких средств к существованию, голодает, но просит помочь не ей, а Тельману, вождю немецкого пролетариата, она убеждена, что Германия не посмеет отказать Советскому Союзу в такой просьбе.

Жена Тельмана на свободе? Разгуливает по Берлину, заходит в посольства?.. Подослана. И ясно, зачем. Первое — Гитлер хочет

показать, что в отличие от НЕГО он не репрессирует семьи своих врагов, мол, достаточно силен, чтобы не бояться каких-то там жен и детей. Второе — Гитлер проверяет его лояльность. ОН показал свою лояльность, выдав Гитлеру несколько сотен немецких антифашистов. Но если взамен попросит освободить Тельмана, то это не лояльность, а сделка.

— Что ей ответили в посольстве? — спросил Сталин.

— «Мы ничем не можем вам помочь». Тогда она заплакала: «Неужели вся работа Тельмана в пользу коммунизма прошла даром? Дайте мне хотя бы совет: могу я обратиться к Герингу?» Ей ответили: «Это ваше личное дело».

— Ну, что ж, — сказал Сталин, — правильно ответили.

По такому поводу ОН не желает вступать в переговоры с Гитлером. В Германии коммунистическое движение разбито, и что будет с Тельманом, уже не имеет значения. А репрессирует или не репрессирует Гитлер семьи своих врагов, ЕГО не интересует. Еще в тридцать седьмом году ОН лично продиктовал и подписал решение Политбюро: «Установить впредь такой порядок, по которому все жены изобличенных изменников родины, право-троцкистских шпионов подлежат заключению в лагеря не менее, как на 5 — 8 лет». И тогда же высказал свое кредо: «Мы будем уничтожать каждого врага, хотя бы был он и старым большевиком, мы будем уничтожать весь его род, его семью. Каждого, кто своими действиями и мыслями, да, и мыслями, покушается на единство социалистического государства, беспощадно будем уничтожать».

А пока надо вернуть Россию в ее давние границы. Остались только Финляндия и Бессарабия. Молотов доложил, что финны упрямятся. Финны упрямятся?! Прибалты не пикнули, а эти упрямятся. Сколько их, финнов? Три-четыре миллиона... И не хотят уступить Советскому Союзу? Забыли, что именно Советская власть дала им независимость. Она им ее дала, она и отберет. Сталин приказал Молотову вызвать в Москву ответственного представителя финского правительства.

Прибыл опытный дипломат Паасикиви. Наш посол сообщил из Хельсинки, что вся Финляндия провожала его пением национального гимна. Какие, сказывается, чувствительные! А он-то думал, что финны — флегматичный народ.

Сталин прошел в кабинет Молотова. При его появлении Паасикиви поднялся — высокий костлявый финн. Сталин кивком предложил ему сесть, через переводчика попросил объяснить, в чем затруднение. Ведь СССР предлагает такие хорошие условия: финны отодвигают свою границу от Ленинграда, взамен получают гораздо большую территорию в Карелии. Чем плохо?

Переводчик перевел ответ Паасикиви.

— Видите ли, господин Сталин, — сказал Паасикиви, — согласно нашей конституции, территориальные вопросы решает только сейм. И для положительного решения нужно не менее двух третей голосов. Я опасаюсь...

— Можете ничего не опасаться, — грубо перебил его Сталин, — вы получите больше, чем две трети, а плюс к этому еще наши голоса учтите.

Угроза была недвусмысленной. Но на финнов не подействовала.

— Что же, — сказал Сталин на военном совете, — тогда подействует артиллерия. При первом же залпе финны поднимут руки вверх.

И Ворошилов, и Тимошенко с ним полностью согласились.

30 ноября Советский Союз начал войну с Финляндией.

Однако финны не подняли руки вверх. Не зря, видимо, пели свой национальный гимн в день отъезда Паасикиви. Война с маленьким народом Финляндии продолжалась не девять дней, как планировалось, а сто четыре дня. СССР потерял в ней 76 тысяч человек убитыми, 176 тысяч человек ранеными и обмороженными. И, не добившись полной победы, тринадцатого марта закончил войну. Перед всем миром Советский Союз обнаружил свою военную слабость.

34

Со станции Иркутск Варя отправила Лене в Уфу до востребования телеграмму: «Отпуск кончился еду домой». Телеграмму не подписала — догадается, а в графе «отправитель» обозначила: «Сидорова — проездом». Приехав в Москву, застала на почте письма от Лены, короткие, деловые: нашла работу и общежитие, как дела у тебя? Про Ваню ни слова, так они и договаривались. Варя тут же телеграфировала: «Письма получила, все здоровы, настроение бодрое, подробности письмом». В письме написала, что отпуск провела замечательно, отдохнула, поправилась, загорела, родственники приняли ее сердечно. Лена поймет, что все это относится к Ване. В таком виде письмо казалось ей достаточно законспирированным.

Игорь Владимирович знал, что она ездила на Дальний Восток, достал ей билет в купированном вагоне, что Варю огорчило — доехали бы и в плацкартном.

— Позвольте сделать вам этот небольшой подарок, — сказал Игорь Владимирович. — Я хотел, чтобы вы ехали хоть с какими-то удобствами.

— Теперь подарки женщинам делаются железнодорожными билетами?

Он засмеялся.

— Полагается цветами. Но цветы вы вернули.

На такой шутливой ноте они тогда расстались. И встретил он ее по приезде радостно, ни о чем не расспрашивал, только сказал:

— Я договорился относительно работы для вашей знакомой. Но, как я понимаю, необходимость в этом уже отпала.

— Почему вы так решили?

— Не позвонила.

— Она выслана из Москвы, — коротко ответила Варя, желая оборвать разговор.

Конечно, Игорь Владимирович о многом догадывается. Когда он доставал билет, Варя дала ему свой пропуск: с ребенком, достаточно умен, чтобы кое-что сообразить. А вводить его в подробности — значит сделать соучастником. Не надо.

Но оборвать разговор не удалось. Подбирая слова, медленно и внушительно Игорь Владимирович проговорил:

— Я хотел сказать, Варя, чисто по-дружески: будьте осторожней.

— Что я такого сделала?

— Вы иногда чересчур откровенно высказываете свои мысли, не слишком своевременные, так бы я сказал. Это может быть истолковано не в вашу пользу.

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

Он все так же тщательно подбирал слова.

— У меня ощущение, что ваше имя стало вызывать нездоровый интерес, кое-кто начинает приглядываться к вашему поведению. Выражаясь техническим языком, повысился уровень опасности, значит, надо повысить степень осторожности.

— Все же, — настаивала Варя, — ведь не на ровном месте возник вдруг интерес к моей персоне? Ваши опасения связаны с Леной Будягиной?

— Не знаю. Но с некоторого времени со стороны парткома я почувствовал, как бы это сказать, холодноватость что ли в ваш адрес. Вряд ли я ошибаюсь.

— Может быть, мне перейти в другое место?

— Ни в коем случае. Там вы будете еще незащищеннее. Спокойнее и безопаснее вам, Варя, будет у меня. И, — голос его дрогнул, — рядом со мной. Но я призываю вас к осторожности, Варенька, умоляю вас.

Что стоит за его предупреждением? Оно не случайно. Не способ расположить ее к себе. Игорь Владимирович не скрывает, что влюблен в нее, но пугать мнимыми опасностями не станет. Что-то есть. Какой-нибудь бабский треп в мастерской? Оказалось, не бабский треп.

Вышел в свет «Краткий курс истории ВКП(б)», во всех учреждениях, предприятиях и учебных заведениях началось его изучение, обязательное для всех сотрудников. Раз в неделю по два часа после работы. Каждый покупал учебник, за неделю надо было прочитать главу, на занятиях она обсуждалась, руководитель задавал вопросы, цель которых была — выяснить, прочитал ли сотрудник заданную главу, понял ли ее так, как следует понимать.

Варя, как и все, купила «Краткий курс», их привезли в мастерскую, стоит рубль с чем-то. По дороге домой в метро перелистала, ее чуть не стошнило от этой белиберды — сначала через строчку Ленин, потом каждую строчку Сталин. На первое занятие она,

конечно, не явилась, объявила, что «Краткий курс» проходят у них в институте — обычный ее прием.

Однако на этот раз прием не сработал. У нее потребовали официальную справку из института об изучении «Краткого курса» именно там. А в институте объявили, что «Краткий курс» все должны проходить по месту работы и в эти вечера студенты освобождаются от занятий. Такое исключительное государственное значение придавалось изучению гражданами страны «Краткого курса истории ВКП(б)».

Как выразился Левочка: «Варя попала в переплет». Рина помалкивала.

В тот же день Варю вызвали к председателю месткома Ираиде Тихоновне, толстой, медоречивой, хлопотливой женщине — инженеру отдела водоснабжения и канализации. Как инженер была бездарна и потому активно и старательно занималась профсоюзной деятельностью. Но не вредная, при возможности даже услужливая. Именно она в свое время сказала, защищая Варю: «Учится человек, повышает квалификацию молодой товарищ». Ираида Тихоновна доставала сотрудникам путевки в дома отдыха и санатории, их детям — в пионерские лагеря, в том числе и в знаменитый «Артек» на берегу Черного моря. В общем, была удобна всем: и сотрудникам, и администрации, и партийному бюро, членом которого неизменно состояла. По своей должности Ираида Тихоновна мало что делала, но подпись ее стояла на проектах и чертежах, и премии получала, и продвигалась по службе.

Комната месткома была обставлена ее стараниями как положено. Стол покрыт зеленым сукном, в углу переходящее красное знамя, на стенах портреты Ленина и Сталина, обязательства коллектива по социалистическому соревнованию, портреты ударников, почетные грамоты. В общем, все, как должно быть в солидном учреждении. Для уюта Ираида Тихоновна принесла из дома горшочки с геранью — алеют цветочки на подоконнике, рядом леечка с отстоявшейся водой.

— Варя, — сказала Ираида Тихоновна, — ты знаешь мое к тебе отношение. Мы все тебя здесь ценим как растущего молодого специалиста. Но, Варя, ты нас обманула, сказала, что «Краткий курс» проходишь в институте, это оказалось неправдой. Ты очень нас всех подвела, Варя.

— Кого я подвела?

— Во всех учреждениях сто процентов охвата. А у нас в коллективе всего сорок человек, и каждый отсутствующий резко снижает показатели.

— Из-за этих показателей я буду пропускать институт?

— В вечерних институтах разрешено в эти дни пропускать занятия.

— Я беспартийная, мне не обязательно изучать историю партии.

Ираида Тихоновна оцепенела: такая дерзость! Не обязательно изучать историю партии!

— Товарищ Иванова! — Голос Ираиды стал официальным. — Вы читали приказ администрации, он объявлен всем сотрудникам и висит на стене.

— Не помню, на стене много чего висит.

— Я вам напомню: «Все сотрудники обязаны посещать занятия по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)». Вы нарушили приказ.

— Возможно, — спокойно ответила Варя. — Значит, получу выговор.

— И ваше заявление о том, что беспартийные не должны изучать историю нашей партии, это противопоставление коммунистов беспартийным.

— Да? — удивилась Варя.

— Да, да! В нашей стране блок коммунистов и беспартийных, а вы его стремитесь расколоть.

— Я могу расколоть такой могучий блок?!

— Иванова! Не стройте из меня дурочку! Я вас защищала, теперь жалею об этом. За вами много чего есть, Иванова, очень много. Вы нас давно обманываете, прикрываясь институтом. Не участвовали ни в одной первомайской и ноябрьской демонстрациях, сбегали со всех собраний и митингов. Вы единственная в мастерской подписались на заем на трехнедельную зарплату, в то время как остальные сотрудники на месячную, а я, например, на двухмесячную.

— Вы богаче меня, — сказала Варя. — Я рядовой техник, а вы старший инженер, и муж ваш вроде вас, тоже где-то старший инженер.

Щеки Ираиды Тихоновны налились краской, глаза сузились.

— Да, мой муж инженер, — прошипела она, — а ваш муж осужден за мошенничество и расхищение социалистической собственности.

— Это неправда. У меня нет и не было мужа. А с кем я сплю, до этого никому нет никакого дела. Я не интересуюсь, с кем вы спите и спит ли кто-нибудь с вами.

Ираида Тихоновна молча, с ненавистью смотрела Варе в лицо, потом, задыхаясь, проговорила:

— Вам дорого обойдется, Иванова, сегодняшний разговор, многое вам припомнится — и осужденный муженек, и исключенная из партии сестра, и ссыльный троцкист, с которым вы переписываетесь. Мы все про вас знаем. Выведем на чистую воду. Мы сильнее вас, запомните это.

— Я запомню ваши угрозы, за них-то вы наверняка ответите.

Варя встала и вышла из кабинета. Почему обещала запомнить угрозы Ираиды, почему пригрозила ответственностью за них, Варя сама не знала. Хотелось оставить за собой последнее слово, не выходить из этого паршивого кабинета униженной.

Но откуда они все насобирали? Долго, видно, собирали, намек Игоря Владимировича не случаен. Слава Богу, хоть о Лене Будягиной ничего, видимо, не знают.

Пока не пришили политического дела, надо уходить, уйдет — о ней забудут. А техники-конструкторы всюду нужны. Игорь Влади-

мирович даст ей хорошую характеристику. Жаль, конечно, четыре года здесь проработала, привыкла, вроде бы друзьями всех считала, но другого выхода нет.

Игорь Владимирович прочитал ее заявление. Оно было коротким: «Прошу уволить по собственному желанию». Перечитал, положил на стол, спросил:

— Это терпит до завтра?

— А что изменится завтра?

— Вы свободны сегодня вечером?

— Мне в институт.

— Отмените институт. Я хочу поговорить с вами. Это очень важно. Посидим в кафе «Националь». Помните, где мы когда-то познакомились?

35

И вот они сидят в кафе «Националь» за маленьким столиком у окна, выходящего на Моховую. Перед ними красно-кирпичное здание Исторического музея и подъем на Красную площадь, слева гостиница «Москва», где когда-то помещалась их проектная мастерская. Гостиница построена, мастерскую перевели на Ордынку. Справа Александровский сад, где бродили они с Игорем Владимировичем в день их первого знакомства четыре года назад. Но сидели они тогда не здесь, а на втором этаже, в ресторане. И была Вика со шведом Эриком, красотка Ноэми с японцем, Нина Шереметева с итальянцем. Вика в Париже, Ноэми замужем за известным писателем, Нина Шереметева тоже замужем, чуть ли не за каким-то королем или принцем, Варя знает это со слов Левочки и Рины. Давно все было, будто сто лет прошло, никакой ностальгии по той жизни она не испытывает, наоборот, отвращение — пир во время чумы. Единственное хорошее воспоминание — встреча с Игорем Владимировичем, она понравилась ему, потом это перешло у него в любовь, хотя и не разделенную, но стойкую и терпеливую. Если бы она тогда ответила на его любовь, ее жизнь сложилась бы по-иному, не было бы гадкой истории с Костей. Правда, не было бы и Саши, но Саши все равно нет и не будет. Сейчас, сидя здесь, она вспомнила, как танцевали они с Игорем Владимировичем на маленькой площадке перед оркестром и на его вопрос, какую музыку она любит, она ответила: громкую. И все смеялись, а уже потом, в Александровском саду, они убегали от сторожа, и она порвала чулок, и Игорь Владимирович сочувствовал ей. Все ушло, не состоялось. Ушло радостное удивление жизнью, ожидание счастья в мире, который казался таким заманчивым и прекрасным. Теперь она знает, что мир несправедлив, жесток и беспощаден.

Игорь Владимирович заказал себе вина, Варе — кофе с пирожным, от еды она отказалась — пообедала на работе. Варя видела волнение Игоря Владимировича, история с «Кратким курсом» его

обеспокоила. Не боец. Впрочем, кто теперь боец? Он порядочный человек, это много в наших условиях, очень редко сейчас.

Все было подано, официант отошел, Игорь Владимирович чуть наклонился к Варе, не хотел, чтобы их слышали за соседними столиками.

— Варенька, нам предстоит важный разговор, самый важный в моей жизни.

Он отпил вина из бокала, закурил, долго, глядя в пепельницу, тушил спичку.

— И прошу вас, Варя, серьезно отнестись к тому, что я скажу. И с полным доверием. Я хочу, чтобы вы видели во мне надежного друга.

— Я всегда видела в вас надежного друга, — ответила Варя, растроганная его волнением. — И я тоже ваш верный друг.

— Прекрасно. Так вот, вы подали заявление об уходе, надеетесь таким образом прекратить отвратительную возню, затеянную вокруг вас. Вы должны, Варя, твердо уяснить: этим вы ничего не достигнете. Они найдут вас всюду, они уже давно наблюдают за вами. Все мы на учете. На каждого сотрудника есть личное дело, в нем — родные, знакомые, служба, характеристики и весь компромат. Мы обложены со всех сторон. С «Кратким курсом» вы дали повод им начать раздувать угли. Ираида Тихоновна в ярости, я говорил с ней, видимо, вы задели ее лично.

Варя пожала плечами.

— Был бабский разговор, она оскорбила меня, я ей ответила. Что такого?

— Понятно. Но она придает всему политическую окраску: «Беспартийные не обязаны изучать историю партии, пусть этим занимаются коммунисты» (так якобы вы ей сказали), ваша сестра исключена из партии — вы это скрыли, вы переписываетесь с ссыльным троцкистом и будете переписываться впредь.

— Этого я не говорила.

— Она может выдумать что угодно. Ее доброта только для вида: так больше шансов продержаться в месткоме, так она «пользуется авторитетом в коллективе», а в сущности своей это такое же злобное существо, как и все ей подобные. И признайтесь самой себе, Варя, вы позволяли себе многое, чего в нашем обществе не позволяется никому. И состряпать против вас дело той же Ираиде Тихоновне очень легко. Вы перед ними бессильны. Вы можете все бросить и уехать к сестре, однако на вызов, на пропуск уйдет время, я не уверен, успеете ли вы. Но если даже успеете, что вас там ждет? Работа? Придется заполнять анкету, они запросят последнее место службы, то есть наш Моспроект, все обнаружится, раскроется, и они доберутся до вас. Что же остается? Выйти замуж за какого-нибудь лейтенанта, сменить фамилию и стать домашней хозяйкой, чтобы не заполнять анкет.

Варя покачала головой. Нинка устроилась на работу в школу без всяких запросов из Москвы. Дальний Восток отпадает по другой причине: там маленький Ваня, придумана история о ее вербовке на север, показываться ей там нельзя.

Игорь Владимирович истолковал этот жест по-своему.

— Да. И я так думаю: для вас ли такая жизнь? И кем окажется этот ваш будущий неизвестный муж?

Он замолчал, поглаживал тонкими пальцами ножку бокала, думал.

— Когда-то вы сказали, что любите другого человека и ждете его. У меня нет оснований вам не верить. Но где этот человек?! Вы тогда сказали: «Он вернется через год». Прошло уже три года. Если он есть, то способен ли вас выручить, забрать к себе, обезопасить? Если да, я прикажу оформить ваши документы, и уезжайте к нему немедленно. Но, Варя, если ничего этого нет, если все это вы сказали, чтобы вежливо отказать мне, то у вас есть только один выход. — Он сделал небольшую паузу и, глядя Варе в глаза, твердым голосом добавил: — Выйти за меня замуж.

Варя молчала. Когда Игорь Владимирович сказал: «...нам предстоит важный разговор, самый важный в моей жизни», — Варя поняла, что он сделает ей предложение.

Почему она не может произнести «да»? Она прекрасно относится к Игорю Владимировичу, доверяет ему, ценит, но что-то такое мешает, не позволяет. Саша? С Сашей все кончено, это ясно. И все же Саша, не состоявшийся в ее судьбе Саша, до сих пор часть ее жизни, а милый, хороший Игорь Владимирович остается как бы вне ее. Не любит она его. И потому не имеет права сказать «да».

Голос Игоря Владимировича вывел ее из задумчивости.

— Я понимаю, Варя, вам трудно решить это сразу. Но хочу добавить вам материал для размышления. Прежде всего — практическая сторона. Если вы принимаете мое предложение, то завтра же мы регистрируемся.

— Разве можно сразу зарегистрироваться?

— Нас зарегистрируют. И завтра же вы увольняетесь. Через месяц-два, когда у нас все поуспокоятся, я вас устрою, если вы, конечно, захотите, в другую мастерскую, куда я перейду после Нового года. Я начинаю новый большой проект. Или, это было бы предпочтительнее, вы переводитесь на дневное отделение, будете свободны вечерами, ведь помимо работы существуют еще и театры, концерты, консерватория, выставки, чего вы сейчас практически лишены. Но это вам решать самой. События же в мастерской рисуются мне так. Вы моя жена и у нас больше не работаете. Начать против вас склоку? Значит, она затеяна против меня.

— Но ведь не ваша сестра, а моя исключена из партии.

Он рассмеялся.

— Это в некоторой степени станет фактом и моей биографии. Но против меня они не пойдут — достаточно умны, знают, на *какой уровень* могу выйти. Так что эта сторона дела утрясется. Но есть, Варя, и еще одна сторона.

Он допил свой бокал, снова закурил, опять смотрел, как догорает спичка, бросил ее в пепельницу.

— Больше всего, Варя, я боялся, что вы подумаете, будто я решил воспользоваться вашим безвыходным положением. Это не

так. Вы всегда держали меня на расстоянии, я привык к этому, вероятно, терпел бы и дальше. Но вашей гибели, Варя, я не могу допустить. Не только потому, что высоко ценю вас как личность, а потому, что люблю вас. Вы — человек мужественный и ради других пренебрегаете опасностями. Но все гораздо серьезнее, чем вы думаете, поверьте мне. Мое предложение решает все проблемы, со мной вы будете в безопасности. И вот теперь то главное, что я хотел сказать. Я вам предлагаю не фиктивный брак, это унизительно для меня и оскорбительно для вас. Я предлагаю вам свою любовь и преданность в надежде на то, что и вы меня полюбите. И вы можете принять мое предложение только при желании ответить любовью на мою любовь. Вы сами никогда не пойдете на сделку, вы слишком благородны для этого, но в этом вопросе должна быть полная ясность. Если вы примете мое предложение, то вы будете моей женой, я вашим мужем, дай Бог, у нас будут дети, которых мы будем любить, и наконец, у нас будет общее дело. Есть вещи, Варя, которые стоят выше времени, — это то, что мы с вами создаем. Это не избавляет нас от горестей и бед человеческих, но это дает нам возможность своей работой, своим искусством приносить людям хоть малую радость и утешение. Вы очень одарены, Варя, и на этом пути вас ждет большое будущее. Я знаю, вы сейчас думаете, что помощь, которую вы оказываете гонимым и обездоленным, выше всех произведений искусства. И я с вами согласен. Но в том положении, которого вы можете достичь, эту помощь, это милосердие вы сумеете оказывать в гораздо более широких масштабах.

Он откинулся на спинку стула, с грустной улыбкой посмотрел на нее.

— Уф... Никогда не произносил таких длинных речей, утомил вас. Теперь слово за вами, Варя.

Она тоже улыбнулась в ответ.

— Сегодня на работе вы меня спросили: «Это терпит до завтра?» Теперь этот вопрос я обращаю к вам.

Он вздохнул.

— Ну что ж, до завтра, значит, до завтра.

Они вышли на улицу Горького.

— Не надо меня провожать, — сказала Варя, — мне три остановки на метро.

— Хорошо, — согласился Игорь Владимирович. — Итак, до завтра. Подумайте. Но запомните, Варя, что бы вы ни решили, как бы ни повернулась ваша судьба, я готов идти за вами куда угодно.

36

Варя пошла домой пешком. Не хотелось толкаться в метро.

Положение ее серьезно. Соберут собрание, потребуют очистить коллектив от «вражеского элемента», а потом за нее возьмутся органы. Сценарий известный.

Выйти замуж за Игоря Владимировича — единственный шанс спастись. Имеет ли она право им воспользоваться? Не в Саше дело, для Саши она не существует, давно пора с этим примириться. Но она много раз убеждала себя, что не любит Игоря Владимировича. Он ей не противен, даже приятен, но почему-то с первого дня их знакомства не представляет его себе как мужа. Может быть, потому, что тогда, девчонке, он показался ей старым. А ведь он не старше Кости. Костя ей старым не казался, а вот Игорь Владимирович казался. Костя предстал тогда в ореоле независимости, а Игорь Владимирович был зависим. Костя, по ее тогдашним понятиям, не принимал существующего порядка, Игорь Владимирович принимал. Сравнение это глупо. Костя — бильярдный игрок, делец, шулер, зависит от законов уголовного мира, а это ничем не лучше нашего государственного беззакония. Она должна ясно представить себе, смогут ли они жить вместе. Будет ли она им гордиться или будет стыдиться? Как талантом, как человеком выдающимся будет гордиться. Но кому и чему служат нынешние таланты? Все той же усатой морде. А Игорю Владимировичу он к тому же и покровительствует. Чем же она будет гордиться? Выставками, премиями, хвалебными статьями в газетах, поздравлениями? Сколько сволочей и ничтожеств их удостаиваются!

Будет ли ей стыдно за него? За эти годы только один раз покоробило — каким казенным языком давал он ей характеристику на профсоюзном собрании и потом, после собрания, в «Канатике» неожиданно визгливым голосом закричал на эту Костину проститутку Клавдию Лукьяновну: «Давно в милиции не ночевали? Я вам быстро это устрою!» Шуганул бы ее от стола, а он: в милицию... И она подумала про него тогда — трус!

Напрасно подумала, несправедливо. Он не привык к профсоюзным собраниям и решил говорить с ними их языком, не привык к скандалам с проститутками и не нашел сразу линию поведения. И сколько лет прошло с тех пор, нехорошо об этом вспоминать, он мог бы ей припомнить гораздо больше, того же Костю.

Стыдно ей за него не будет. Да, он служит, но ведь и она служит. Он главный автор реконструкции Москвы, которая должна на века запечатлеть великую сталинскую эпоху. Она рядовой техник, но ведь тоже служит, как все. Надо жить, надо пить и есть, и, что там ни говори, строить города. А Игорь Владимирович достиг своего положения не угодничеством, не подлостями, а талантом. И в душе сочувствует гонимым и обездоленным, хлопотал за Лену Будягину, помог отвезти Ваню.

Она вспомнила, как они шли однажды по Волхонке мимо площадки, где возводили Дворец Советов. Она спросила его, почему в свое время он не участвовал в конкурсе на проект дворца, все тогда недоумевали по этому поводу.

Он рассмеялся.

— Вы знаете, кто больше всего боялся, что Дворец Советов будет построен? Никогда не угадаете, даю голову на отсечение.

Она назвала несколько имен, но не угадала. Оказалось — Гитлер! Если Москва возведет эту громадину под облака, то переплюнет Берлин, чего фюрер не желает.

— Получается, вы не хотели огорчать Гитлера?

— Выходит так.

— А серьезно?

— Серьезно?.. Дворец строят на месте разрушенного храма Христа Спасителя. Можно по-разному относиться к религии, к храмам вообще и к этому в частности. Но он был построен в честь победы над Наполеоном, на народные деньги, по копейке собирали по всей России. В его разрушении я не мог участвовать.

Да, жизнь с Игорем Владимировичем будет достойной жизнью, насколько она может быть достойной в этой стране.

И все же... Что подумает Саша, когда узнает, что она опять, во второй раз вышла замуж? Первый раз — за удачливого шулера, второй — за процветающего архитектора? Плохо подумает. Он мечется по стране, гонимый, преследуемый, без дома, без крова, а она будет жить в прекрасной квартире, посещать консерваторию, бывать на премьерах. С Сашей кончено, но она не хочет остаться в его глазах дешевкой, искательницей богатых женихов.

Почему Саша не захотел встретиться с ней?! Приехала бы в Калинин, посидели бы на вокзале, поговорили, он бы все понял, может быть, тогда и повернулось бы все по-другому. А теперь с ее именем Саша свяжет еще одно разочарование, еще одно предательство. И ничего изменить нельзя.

С Сашей ничего не получилось и не получится, хватит иллюзий. Обстоятельства вынуждают ее выйти замуж. Лучшего мужа, чем Игорь Владимирович, она не найдет, другой такой ей не встретится: умный, порядочный, любящий, заботливый. И не надо откладывать, он торопит, завтра или послезавтра она переедет к нему на улицу Горького. А дальше... Дальше многое ее смущало. Как она перейдет с ним на «ты»? Она привыкла говорить ему «вы», привыкла называть его по имени-отчеству. Как поцелуется с ним, как ляжет в постель? Придется что-то переломить в себе. Ладно, все это потом. А сейчас важно до конца прояснить все с Сашей. Конечно, Саша узнает, что она снова вышла замуж. Но пусть Софья Александровна скажет ему, что этот человек ждал ее четыре года, как и она годы ждала Сашу. И не дождалась. И посчитала себя вправе распоряжаться своей судьбой.

Она даст согласие Игорю Владимировичу, но сначала все ему расскажет. И про Костю, и про Сашу. Но это прошлое, а в будущее она войдет с Игорем Владимировичем и надеется быть ему хорошей, преданной и уж, конечно, верной женой.

Во дворе Варя посмотрела на окна Софьи Александровны, в них горел свет. Значит, не спит. Варя поднялась к ней.

Привычный коридор, знакомая квартира. В комнате Михаила Юрьевича новые жильцы, и в комнате Саши, той, которую когда-то снимала она с Костей, обитает незнакомая женщина. На Варин

вопрос, кто она, Софья Александровна уклончиво ответила: «Знакомая моего мужа». Видно, кто-то из новой семьи Павла Николаевича, но расспрашивать Варя не стала.

Многое изменилось. И все же, войдя к Софье Александровне, Варя с тоской подумала, сколько всего связано у нее с этой комнатой — собирали посылки Саше, читали его письма, она надписывала и клеила бандероли. Теперь этот дом перестанет быть ее вторым домом, конечно, она не оставит Софью Александровну, но мало вероятно, что сумеет ее навещать так же часто, как прежде. И останутся на память об этой квартире только книги, подаренные Михаилом Юрьевичем.

Варин рассказ встревожил Софью Александровну.

Это может плохо кончиться. Уезжай пока к тетке в Мичуринск, а там будет видно.

И тогда Варя сказала, что Игорь Владимирович сделал ей предложение.

— Ну и прекрасно, — оживилась Софья Александровна, — ты ведь его хвалила!

— Да, он порядочный человек. Он даже в партию не вступает, хотя от него это требуют. Руководитель мастерской — и беспартийный. Таких единицы.

— Для меня самое главное, что он готов защитить тебя. Конечно, сейчас и не такие головы летят, но его рассуждения представляются очень логичными, с ним ты будешь в безопасности. Выходи, Варенька, спасайся. И жить тебе будет легче.

Варя молчала. Софья Александровна взяла ее за руку, посмотрела в глаза.

— Что тебя смущает? Поделись со мной! Саша?

Своим молчанием Варя подтверждала ее предположение.

— Варенька, милая... Я, конечно, совершила ошибку, рассказав Саше о Косте. Было бы лучше тебе самой это сделать. Но, Варюша, это ничего бы не изменило. Саша полгода пожил в Калинине, теперь в Уфе, сказал, что в командировке, но я узнала: Калинин объявлен режимным городом, вот и пришлось уехать. Завтра режимным городом могут объявить Уфу, значит, снова скитания, а может быть, ссылка, лагерь. И никакого просвета. Саша меченый, обреченный, за такими, как он, охотятся. Имеет ли он право коверкать твою жизнь, как исковеркана его собственная? Если бы он узнал о твоем нынешнем положении, он бы, ни минуты не размышляя, сказал: «Немедленно выходи замуж, тем более выходишь за порядочного человека». Мне горько тебе это говорить, я знаю, ты была бы Саше замечательной женой, но, если у Саши все сломано, пусть хотя бы у тебя будет хорошо.

Варя молчала, потом сказала:

— Насчет Саши, возможно, вы правы. Вероятно, он действительно должен быть свободен. Но я ни в коем случае не была бы ему обузой, так я думаю. А Игорь Владимирович и вправду прекрасный человек. Но я не уверена, что люблю его.

— Варенька, милая, ты считаешь, самый лучший брак — это по любви? Ты заблуждаешься... Любовь, даже самая сильная, еще не гарантия счастливой семейной жизни. Я была очень влюблена в своего мужа, Сашиного отца. Моя семья была против этого брака: прямолинейный, категоричный, нетерпимый, а я считала, это идет от самостоятельности, от чувства собственного достоинства. Я была ослеплена любовью, Варенька, он был очень красив. И сломала себе жизнь. Он оказался эгоистом, бессердечным себялюбцем. Вот тебе и брак по любви! Связывать свою жизнь нужно только с че-ло-ве-ком! Настоящим. Игорь Владимирович ждет тебя четыре года, значит, любит, выходи за него, не раздумывай!

— Вы хотите, чтобы я вас послушалась?

— Да. Потому что я желаю тебе счастья.

На следующий день утром Варя вошла в кабинет Игоря Владимировича.

Он встал, вопросительно смотрел на нее.

— Игорь Владимирович, — сказала Варя, — давайте сегодня опять где-нибудь посидим, я хочу вам кое-что рассказать.

— Хорошо, пожалуйста, но скажите, Варя, только одно слово: да или нет?

Варя улыбнулась ему.

— Да.

37

Глеб встретил их в фойе Дворца труда. Заулыбался.

— Я знал, что Саша приведет вас сюда.

— Да? — Лена тоже улыбнулась в ответ.

— Чтобы похвастаться своим искусством.

— Друг называется, — сокрушенно проговорил Саша, — представляет меня честолюбцем. Я тебе пианистку привел!

— Это совсем замечательно! — воскликнул Глеб. Посадил Лену рядом с собой. Поглядывая на нее, взял первые аккорды.

Никогда еще Саша не занимался с такой радостью, как сегодня, никогда привычные мелодии, которые наигрывал Глеб, так не действовали на него.

«...Ах, эти черные глаза меня пленили, их позабыть нигде нельзя, они горят передо мной...»

Рассказ Лены потряс его. Удивительное совпадение! Его привезли тогда на вокзал в «черном вороне». Первыми выпрыгнули из машины красноармейцы, а он, увидев после тюрьмы свободных людей, небо в низких тучах, мокрый асфальт, замешкался... Командир крикнул: «Давай, давай, поезд ждать не будет, вылезай!» И, насупленный, маленький, в длиннополой шинели, заспешил вперед, озабоченно расталкивая толпу. Почувствовав тогда на себе чей-то взгляд, Саша оглянулся, но не встретил ни одного знакомого лица и пошел дальше к своему вагону между двумя красно-

армейцами. А это Варя смотрела на него и плакала. Сама судьба свела их перед разлукой, но не пришлось даже взглянуть друг на друга. Не получилось. А дальше он сам поломал все. Как мог так жестоко говорить с ней по телефону! Он вспоминал ее упавший голос: «Ты больше ничего не хочешь мне сказать, Саша?..» Он позвонит ей. Только бы услышать ее голос, что бы она ни ответила, пусть знает, он ценит ее, гордится ею, винит себя за тот разговор...

А Глеб все играл и играл.

«...Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать, увидел вас я в недобрый час...»

Двигаясь по залу, Саша видел Лену, она тоже посматривала на него, на группу, улыбалась шуткам Глеба, и, когда Саша объявил перерыв и подошел к ним, ему показалось, что лицо ее стало спокойнее.

— Ну как, — спросил Саша, — не скучаешь?

— Я поражена!

— А ты могла бы мне аккомпанировать, как Глеб?

— Аккомпанировать? Навряд ли. Я играю только по нотам.

— Зачем ноты?! — заулыбался Глеб. — Какое-нибудь танго помните?

— Помню, конечно. «Брызги шампанского», «Утомленное солнце»...

Глеб взял несколько аккордов.

— Это?

— Да.

Он встал:

— Садитесь, сыграйте.

Лена села за рояль, сыграла танго. Подняла глаза от клавиш.

— Я уж сто лет не подходила к роялю. Как, ничего?

— Прекрасно, замечательно! — воскликнул Глеб.

— А говоришь, у тебя только одна профессия — иностранные языки, — сказал Саша. — Оказывается, есть и вторая.

— Я никогда об этом не думала как о профессии.

— А теперь подумай. Лучше, наверно, чем шпалы таскать.

Глеб с удивлением поднял брови, Лена нахмурилась.

— Не хмурься, — сказал ей Саша, — Глебу не мешает знать, что у тебя за работа. Мы с ним попытаемся устроить тебя аккомпаниатором. Как, Глеб, сумеем?

— Постараемся.

— И хорошую квартиру тебе снимем, и охранять будем, а то ты для туземцев слишком красивая.

— Не только для туземцев, — добавил Глеб.

Лена встала.

— Мне пора. Далеко добираться, а завтра на работу.

— Когда Стасик должен прийти? — спросил Саша у Глеба.

— К восьми.

— Вот и прекрасно. Потерпи, Леночка.

Саша повернулся к залу, захлопал в ладоши.

— Продолжаем занятия! Прошу встать парами.

«...Прощай, прощай, прощай, моя родная, не полюбить мне больше в жизни никого, и о тебе одной лишь вспоминаю и шлю тебе свое прощальное танго...»

Саша опять занимался с группой, по-прежнему думал о Варе, снова и снова перебирал в уме все, что рассказывала о ней Лена: «Такая молодая, такая красивая, а вся в чужих делах и заботах». И ему она писала в ссылку: «Как бы я хотела знать, что ты сейчас делаешь...» И его хотела поддержать своей любовью, и сына Лены отвезла на Дальний Восток... Они с Глебом рассуждали: народ, холопы... Нет, не все холопы! Саша машинально сжал руку своей партнерши, та удивленно взглянула на него.

— Я сделала что-то не так?

— Прости, — извинился он, — ты молодец, все делаешь, как надо. Я задумался о чем-то...

Глеб заиграл новую мелодию.

«...Окончен путь, устала грудь... И сердцу хочется немного отдохнуть...»

Он оранжировал под ритм танца любые мелодии, даже цыганские, знал, что Саша их любит. Лена сидела возле него, он что-то говорил ей, объяснял, видно, как аккомпанировать. Появился Стасик, тоже присел к роялю. Стали подходить люди из следующей группы.

Саша наконец отпустил своих учеников, взглянул на Глеба.

— Отвезешь Лену?

— Не надо, я доеду сама.

— Он тебя отвезет на машине, остановится, где прикажешь, там и высадит.

— У вас есть машина?

— В этом городе все машины наши, — засмеялся Глеб.

— Не пропадай. Где нас с Глебом найти, знаешь. Утром мы дома, вечером — здесь. Постараемся оформить тебя в нашу бригаду.

— Я должна подумать.

— Думай, но не слишком долго.

Глеб вернулся, когда уже следующая группа заканчивала занятия.

— Ну, дорогуша, доложу тебе, живет она за нефтеочистительным заводом, темнота, какие-то домишки, вдали бараки, дальше ехать не разрешила. И проводить не разрешила. Я, конечно, настоял: «Не отпущу вас одну». Проводил. Бараки стоят по ниточке, как в лагере. Возле каждого — фонарь, а в самих бараках — темно, рано, наверно, спать ложатся, а может быть, свет выключают в определенное время, черт их знает. В общем, как к баракам подошли, она со мной попрощалась и быстро пошла, но я заметил: вошла во второй барак справа.

Историю Лены Саша рассказал Глебу за ужином. Глеб слушал внимательно, хотя ничего необычного в судьбе Лены для нынешнего времени не было, кругом сплошь такие судьбы.

— Я решил, она учительница: твердо выговаривает окончания слов.

— Долго жила за границей, с тех пор осталось, потом работала переводчицей в каком-то техническом издательстве.

— Отец мог бы ее получше устроить.

— Нет, отец ее из тех, настоящих! И сама она бы на это не пошла. Я в свое время тоже рассуждал: стране нужны инженеры.

Глеб усмехнулся.

— Идейные были детки...

— Это точно, — рассмеялся Саша, — хотели служить социалистическому отечеству, а оказались ему не нужны.

— Такая женщина, — сказал Глеб, — знает три языка, а ее заставили шпалы таскать, рельсы укладывать, костыли забивать. Вот тебе и стихи о прекрасной даме.

— Ладно, заказывай еще по сто граммов.

— Смотри, — удивился Глеб, — сам предлагаешь. Что случилось?

— Есть проблемы.

Выпили, закусили.

— Понимаешь, какая история, — сказал Саша, — была любовь у меня, в Москве еще. Ну, как сказать? Любовь? Девчонка, семнадцать лет, нравился я ей, хорошая девочка, красивая, умная, с характером. Потом меня посадили, она по тюрьмам ходила, носила передачи, о матери моей заботилась, в ссылку мне писала, я отвечал, мечтал встретиться, Варя ее зовут. Ну, вот, а когда вернулся, узнал, что в это время она выходила замуж, правда, быстро развелась. Меня как обухом по голове, и я, конечно, порвал, отрубил. И вот Лена рассказала мне, как было в действительности, и все обернулось совсем иной стороной, долго об этом рассказывать. В общем, я был неправ, отверг ее грубо, несправедливо, она меня ждала, а и ее отбросил.

— Любил ты ее?

— Любил.

— А сейчас?

— И сейчас люблю.

— А она?

Саша пожал плечами.

— Не знаю, не виделись пять лет.

— Задача... — протянул Глеб. — Девчонка молодая, не будет тебя, конечно, столько лет на печке дожидаться. Но, с другой стороны, первая любовь! Это тоже, дорогуша, не забывается.

— Позвоню ей, — сказал Саша.

— Правильно, — одобрил Глеб. — Вызови ее сюда. Устроим в гостинице в лучшем номере. И разберетесь в своих делах.

— Как она сюда поедет? Работает, учится.

— Майские праздники на носу, еще пару дней прихватит от отпуска, вот тебе и медовый месяц получится. За это надо выпить, дорогуша!

Хорошая мысль! И Лена в Уфе. Он скажет Варе: «Приезжай к нам на праздники! Повидаемся все вместе».

— Теперь насчет Лены, — сказал Саша. — Надо устроить ее к нам, пропадет она на этих шпалах.

— Надо. Обязательно, — согласился Глеб, — Леню и Стасика уговорю, потеснимся. Боюсь, Машка не пропустит — высланная.

— Каневский сейчас играет в местном симфоническом оркестре и у нас работал, тоже высланный. А фамилия? Машка может и не знать такую фамилию, не шибко, наверное, политически грамотная.

— Предположим. А Семен? Опять скажет: пианисты не нужны.

— Не захочет Семен — завтра все брошу и уеду.

— Даже так?

— Даже так. Тут и раздумывать нечего.

— Дорогуша, я не раздумываю, а обдумываю, как это все наверняка сработать. С отставкой — ход правильный. И я добавлю: если Сашка уйдет, то и я уйду.

Обычно Саша звонил в Москву по воскресеньям. Но до воскресенья — три дня. Столько ждать немыслимо. На следующий день позвонил Варе.

Принимая заказ, телефонистка спросила:

— Кто подойдет, или кого вызываете?

— Иванову Варвару Сергеевну.

— Ждите.

Потом сказала:

— Нету дома.

То же повторилось и на следующий день. Наверное, в институте.

В воскресенье позвонил сначала маме. Она, как всегда, ждала его звонка. Здоровье, самочувствие... К концу разговора спросил:

— Как поживает Варя?

И почувствовал вдруг, что мама медлит с ответом.

— Варя, — повторила мама, — Варя вышла замуж, Сашенька.

— Замуж?

— Да. За хорошего, порядочного человека. Они много лет знакомы, но все решилось в один день. Так сложились обстоятельства. Понимаешь меня?.. Такое время, Сашенька, не мне тебе говорить.

— Когда это произошло?

— Полмесяца назад.

— Ну, что же, — сказал Саша, — передай мои поздравления. Самые добрые, искренние и сердечные.

И мрамор лейтенантов —
фанерный монумент.
Б. Слуцкий

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

У Глеба новости. Мария Константиновна велела принести документы, подтверждающие, что он театральный художник.

— Москва запросила, подыскивают для вас театр.

— Действует твоя Ульяна, — сказал Глеб Саше.

Саша поморщился. Напоминание об Ульяне резануло. Какая «его» Ульяна!..

— Посмотрим, какую дыру они мне предложат. А пока надо Лену устраивать.

Семен Григорьевич и слышать не хотел о новом аккомпаниаторе — группы кончаются, работы осталось на месяц-полтора. Но когда Саша и Глеб пригрозили уходом, уступил. Хорошо, послушает их знакомую, а потом решит.

Однако Лена не появлялась.

— Съездим к ней, — предложил Глеб, — я видел, в какой барак она вошла.

— Она не хочет, чтобы мы к ней приезжали, — ответил Саша, — подождем.

Лена появилась во Дворце труда недели через две.

— Работали без выходных.

Была без пальто, на дворе теплынь, в простой серенькой кофточке поверх такого же простенького платья, высокая, сильная, загоревшая.

Саша занимался с группой, увидев Лену, приветливо помахал рукой.

Глеб обрадовался, заулыбался, снова посадил Лену рядом с собой, опять показывал, как аккомпанировать, даже заставил поиграть немного вместо себя. Вроде бы ничего, получалось.

В перерыве Саша подошел к ним, обнял Лену за плечи.

— Мы обо всем договорились. Глеб тебя немножко потренирует, потом покажешь начальству свое искусство. Главное понять, где делать паузы, где повторять, все это придет со временем.

Неожиданно Лена отказалась:

— Спасибо, ребята. Но мне это не подходит.

— Почему?! — изумился Саша. — Тебя перевели на лучшую работу?

— Работа прежняя. Но меня она устраивает. Надежно. Рабочие всегда нужны. Особенно шпалы таскать. У вас надежности нет. Сегодня вы здесь, завтра вас нет. С чем я останусь?

— Устроим в Гастрольбюро. Приезжают певцы, певицы, им надо аккомпанировать на концертах.

Она отрицательно покачала головой.

— На заводе я незаметна, а тут буду на виду. Аккомпанировать в концерте? Значит, мое имя появится на афише. «У рояля Е. Будягина» — так ведь пишется?

— Сейчас дело идет о работе у нас, а там будет видно.

— Сашенька, мне видно только одно: здесь мне осталось быть совсем недолго. Ты понимаешь?

— Лена, — вмешался Глеб, — я вас тоже понял. Но ведь положение меняется. «Ежовых рукавиц» уже нет, говорят, самого Ежова посадили. И кое-кого уже освобождают, реабилитируют.

— Возможно, возможно, — ответила Лена насмешливо, — но если меня тоже освободят, зачем мне метаться с одной работы на другую? Подожду, может, вернут в Москву и родителей моих вернут.

Ее ирония понятна. Какая реабилитация?! Прошел слушок, будто бы освободили нескольких генералов и сажать вроде бы стали меньше, так ведь полстраны уже пересажали, если взяться за вторую половину, то кто останется, кем товарищ Сталин будет руководить? Лена рассуждает здраво. Конечно, то, что на заводе она незаметна, условно, кому положено, знают о ней. Но видимость незаметности все-таки есть, это ее успокаивает.

— Решай, как ты считаешь нужным, — сказал Саша, — я, честно говоря, думал, ты обрадуешься, нет, так нет, но все же приходи к нам. Не пропадай надолго.

Глеб поглядел на Лену с тоской.

Влюбился, что ли?!

Лена стала бывать у них в свои выходные. Сидела рядом с Глебом, иногда играла вместо него просто так, ради удовольствия.

Глеб с ее приходом оживлялся, был даже нежен. Саша никогда не видел его таким — ровный, веселый, поглядывает на Лену, счастливо улыбается.

Потом они провожали ее домой, иногда оба, чаще Глеб один, у рояля его заменял Стасик, Сашу никто не мог заменить.

Однажды, как раз в ее выходной, отменилась группа — в учреждении срочное собрание.

— Может, посидим в ресторане? — предложил Глеб.

Лена пожала плечами.

— Я бы лучше сходила в кино. По дороге к вам купила «Правду», Эйзенштейн хвалит последний роммовский фильм — «Ленин в 1918 году».

— Замечательно, — согласился Глеб, — пойдем в кино.

Билеты купили на шестичасовой сеанс, Саша еле досидел до конца. Прославление Сталина — ладно, все теперь этим занимаются. Но сцена, когда Бухарин способствует покушению на Ленина, отвратительна, дальше в подлости ехать некуда. Саша видел Бухарина один раз — на пионерском слете в Хамовниках, где тот выступал, его избрали почетным пионером, в красном галстуке он шел с ними по Большой Царицынской, посередине улицы, невысокий, плотный, широкоплечий человек с бородкой и веселыми голубыми глазами, смеялся, шутил, дошел с ними до Зубовской площади и там сел в поджидавшую его машину. Никакой охраны, простой, веселый, обаятельный. «Любимец партии» — так называл его Ленин. И вот его расстреляли как изменника, шпиона и убийцу. И режиссер Михаил Ромм спешит потоптаться на растерзанном Бухарине.

Они вышли из кино молча. Сели в автобус. Лена отказалась ездить на машине: «Не хочу лишних разговоров».

В автобусе Саша попросил у нее «Правду»:

— Дай-ка посмотрю, что там Эйзенштейн пишет.

«Картина доходит до сердца, — писал Эйзенштейн, — в ней схвачена самая сердцевина того, чем велик большевизм, — гуманность... Через все оттенки характеров и поступков действующих лиц сквозит тема гуманности революции, великой гуманности тех, кто ее совершает...»

И Эйзенштейн туда же! Мальчишкой Саша смотрел его «Броненосец Потемкин» в «Художественном» на Арбатской площади. Кассирши, билетеры, гардеробщики — все были одеты в матросскую форму, выглядело здорово, создавало настроение. Мир признал «Броненосец Потемкин» лучшим фильмом, а Эйзенштейна величайшим кинорежиссером. Теперь этот «величайший» верно служит тирану и палачу. Вот иллюстрация к их с Глебом спору о гении и злодействе.

Глеб тоже прочитал газету, выразительно посмотрел на Сашу.

— Ну что ж, еще один холоп.

Значит, и Глеб вспомнил об их разговоре.

Саша радовался приходам Лены. Возникали воспоминания детства и юности, грустные, приятные, щемящие сердце. Глядя на нее, он часто думал: вот что значит кровь Ивана Григорьевича! Передал дочери волю и мужество. Знает, что не сегодня-завтра ее заберут, и ни слова об этом, только однажды бросила мимоходом: «Возможно, переведут из одного барака в другой, но уже за проволоку».

Его ситуация была куда легче, чем нынешняя у Лены, именно из-за неожиданности ареста. Он не представлял себе, как бы ходил в институт, встречался с друзьями, ел, пил, думая все время об одном: «Это твой последний шаг на воле». А у Лены — пытка! И с сыном пытка! Возможно, уже попрощалась с ним без надежды когда-либо увидеть. Единственное утешение, что рядом он и Глеб, не

так все же одиноко, и в Москве она не чувствовала себя одинокой, рядом была Варя.

Известие о новом замужестве Вари Саша перенес стойко. Так ему казалось, во всяком случае.

— Ну, что твоя Варя, — спросил Глеб, — ждать ее в Уфе или нет?

— Варя вышла замуж. Знала этого человека много лет, а решилось все в один день. Может быть, так и лучше.

Что, собственно говоря, изменилось бы, если бы успел с ней поговорить? Ну, увиделись бы. Что бы он ей ни сказал, что бы она ему ни ответила, все равно он должен исчезнуть из ее жизни. А сейчас получилось, что из его жизни исчезла она. И правильно поступила: он обречен на скитания, в лучшем случае, в худшем — его ждет лагерь. Так что она все равно бы его не дождалась. Возможно, ее новый муж так же, как и она, помогает людям, это их и сблизило. Жаль только, что не попросил прощения. Позвонить сейчас? Прозвучит глупо — не звонил, не писал, а узнал, что вышла замуж, объявился, поздравляет, просит извинить за прошлое. Может быть, когда-нибудь увидит ее, извинится.

Тоска, конечно, но что поделаешь?! И что впереди? Куда ехать после Уфы? Тащиться вслед за Семеном Григорьевичем в Саратов? Если бы еще с Глебом, тогда другое дело, верный друг все же. Ехать в Рязань? Чем ему поможет брат покойного Михаила Юрьевича? Какую работу искать в Рязани? Все в тумане. И недовольство собой точило. В ссылке он занимался французским, писал очерки по истории Французской революции, здесь и учебник, и очерки валяются в чемодане, он к ним ни разу не притронулся, не прочитал ни одной книги. Танцует, выпивает. Вот к чему свелась его жизнь.

2

Гитлер за две недели разгромил польскую армию, одну из сильнейших в Европе, покорил страну, население которой почти в десять раз превышает население Финляндии. ОН воевал более трех месяцев и не смог справиться с народом, в сорок раз меньшим по численности, чем советский народ. Доверился военным, недооценил силу финского сопротивления. Ну что ж, у каждого политика бывают неудачи, любой полководец терпит иногда и поражения.

А народ должен по-прежнему верить в непобедимость своей армии, должен знать, что воевать будем только на чужой земле, и мы воевали только на финской земле, должен быть убежден, что побеждали и будем побеждать малой кровью. И потому о наших потерях не сообщать. СССР — большая страна, и если в ее бесчисленных городах, деревнях и селах не досчитаются по несколько человек, то никто не узнает, сколько людей мы потеряли в действительности. Народ должен знать одно: СССР отодвинул границу с

Финляндией с тридцати двух километров до ста пятидесяти и этим обеспечил безопасность Ленинграда.

И еще народ должен знать: в Европе война. ЕГО усилиями для Советского Союза сохранен мир. Мир хрупкий и ненадежный. Крепким и надежным он может стать, если СССР превратится в сильнейшую мировую державу, на которую никто не посмеет напасть. Для этого экономику страны надо перевести на военные рельсы, увеличить производство самолетов, танков, новейшего вооружения. Это потребует много сил, много жертв, но, если народ хочет мира и спокойствия, он должен на них пойти. Надо ввести в стране жесточайшую трудовую дисциплину, за самовольный уход с работы, прогулы, опоздания, выпуск плохой продукции карать самым беспощадным образом. Надо в несколько раз увеличить подготовку командного состава всех рангов — создать новые академии, школы, курсы — военная профессия должна стать самой почетной в стране. Навести в армии железный порядок, ввести единоначалие, генеральские и адмиральские звания. Ворошилова с поста наркома обороны снять, вместо него назначить Тимошенко. Виновником неудач в Финляндии объявить военную разведку. Начальника Разведывательного управления Красной Армии Проскурова расстрелять.

Международный резонанс? Плохой резонанс, невыгодный. Но это временно. Истинную свою силу Советский Союз еще покажет. Гитлер будет воевать с Советским Союзом, только когда сокрушит Англию и Францию, воевать на два фронта он не может. А Франция и Англия — это не Польша, за две недели их не одолеешь. Три-четыре года Советский Союз в запасе имеет. За это время ОН создаст самую мощную в мире военную индустрию, самую мощную в мире армию. Нашими неудачами в Финляндии пусть никто не обольщается, разговорами о «колоссе на глиняных ногах» пусть никто себя не тешит.

Англия и Франция помогали финнам, посылали оружие, формировали экспедиционный корпус, со всей Европы в Финляндию прибывали добровольцы. В этих условиях продолжение военных действий неизбежно перешло бы в войну СССР с Англией и Францией. Этого и хотел Гитлер, хотел втянуть СССР во вторую мировую войну на своей стороне. Но Советский Союз еще не готов к такой войне. ОН выступит, когда укрепится, а они ослабнут. Вот почему ОН прекратил военные действия и подписал мир с финнами.

Да, да, именно поэтому подписал, показал Гитлеру, что не глупее его, и Гитлер понял, что втянуть СССР в войну не удастся, воевать придется самому. И воюет. В апреле немцы заняли Данию и высадились в Норвегии. В начале мая капитулировали Голландия и Бельгия. Путь на Францию был открыт. Англия едва успела эвакуировать из Дюнкерка свой экспедиционный корпус.

Правительство Чемберлена пало, к власти пришел Черчилль. Конечно, Черчилль — заклятый враг советской власти. Но Чер-

чилль осудил мюнхенскую сделку и на новый сговор с Гитлером не пойдет. Англия будет продолжать войну. Пока у Германии есть западный фронт, СССР гарантирован от ее нападения.

24 мая Берия доложил Сталину о только что полученной из Нью-Йорка телеграмме: «Операция проведена. Результаты будут ясны позже».

Итак, добрались до Троцкого. Но почему «результаты будут ясны позже»? Убит мерзавец или не убит?

Ответа на этот вопрос Сталину пришлось ждать несколько дней. Наконец явился Берия. По его лицу, по тому, как прятал глаза за стеклами пенсне, по тому, как дрожал голос, Сталин понял: операция провалилась.

Не отрывая от Берии тяжелого взгляда, Сталин бросил:

— Докладывайте!

Берия доложил.

— Операция проведена под руководством знаменитого художника Сикейроса. В три часа ночи группа в составе двадцати двух человек, вооруженных автоматами и пулеметом, подъехала к дому Троцкого, мгновенно разоружила внешнюю охрану. Наш человек, дежуривший у ворот, их открыл. Люди Сикейроса разоружили внутреннюю охрану и открыли шквальный огонь по окнам и дверям спальни Троцкого. Пулемет бил прямой наводкой длинными очередями, было выпущено более двухсот пуль. Закончив операцию и бросив напоследок бомбу, группа скрылась. Но...

В этом месте голос Берии осекся.

— Что «но»? — грозно спросил Сталин.

— Троцкий и его жена спрятались за кроватью, кровать их и прикрыла. Пострадал только их внук в соседней комнате, так, небольшая царапина.

Сталин встал, прошелся по кабинету. Берия сидел за столом, не шевелясь.

— Спальня большая? — не поворачивая головы, спросил Сталин.

— Небольшая...

— И вы хотите мне доказать, что двести пуль, выпущенных по небольшой комнате, не задели людей, которые в этой комнате находились?

— Товарищ Сталин...

— Я знаю, что я товарищ Сталин! Я вас спрашиваю: как это могло быть? Двести пуль — и ни одна не попала?

— Между окном и кроватью — полметра. Жена столкнула туда Троцкого и легла на него. Через окно стреляли по кровати, по всей комнате, но то место, где они укрылись, было мертвым пространством.

Сталин вернулся к столу, сел, снова поднял тяжелый взгляд на Берию.

— А бомба?

— Бомба не взорвалась.

Сталин ударил кулаком по столу. Лицо его было страшно.

— Кто кого обманывает?

Берия молчал.

Сталин снова ударил кулаком по столу.

— Я спрашиваю, кто кого обманывает. Сикейрос Эйтингона, Эйтингон Берию или Берия пытается обмануть товарища Сталина?

Берия молчал.

— Почему молчите? — крикнул Сталин.

— Товарищ Сталин, — сказал Берия, — в окружение Троцкого внедрен наш человек. Ваше задание будет выполнено.

— Когда?

— В ближайшее время.

— Так вот, — сурово проговорил Сталин, — даю вам три месяца, в августе все должно быть закончено. Передайте это Судоплатову и Эйтингону. Кстати, напомните им о судьбе Шпигельгласа.

6 июня новый английский посол в Москве Стаффорд Криппс передал Сталину личное послание Черчилля. Черчилль предупреждал, что Гитлер стремится покорить все европейские страны, в том числе и СССР, и предложил сотрудничество.

Прочитав послание, Сталин ответил:

— Я хорошо знаком с несколькими руководящими деятелями Германии и не заметил у них никакого стремления к поглощению европейских государств.

Этот разговор, как и текст послания Черчилля, был в тот же день передан Гитлеру — Сталин демонстрировал ему свою лояльность.

Через неделю, 14 июня, немцы заняли Париж.

Это известие ошеломило Сталина. За месяц повержена Франция — сильнейшая держава Европы. Гитлер непобедим? Неужели Гитлер ЕГО обманет?

В речи, произнесенной в рейхстаге в честь победы над Францией, Гитлер заявил:

«В этот час я полагаю, что моя совесть велит мне еще раз воззвать к разуму и здравому смыслу Великобритании, ибо являюсь не побежденным врагом, который просит пощады, а победителем... Не надо ждать, когда Черчилль удерет в Канаду, надо вступить в мирные переговоры с Германией сейчас».

Ответа Англии Сталин ожидал с неменьшим волнением, чем Гитлер. После молниеносной победы над Францией мир с Англией сделает Гитлера властелином Европы, опрокинет все ЕГО расчеты. Члены Политбюро, оставшиеся вечером с НИМ обедать, сидели притихшие, никаких анекдотов, никаких шуток. Сталин был мрачен, вставал, выходил из-за стола, снова садился, опускал глаза в тарелку. Молотов потом жаловался жене: «Такое напряжение, что нервов не хватает».

Через несколько дней министр иностранных дел Англии Иден отверг мирные предложения Гитлера. 13 августа немцы бомбили

английские города, началось воздушное сражение над Англией. Этого англичане, конечно, никогда Гитлеру не простят. Сталин вздохнул с облегчением. Он не остался один на один с Гитлером. Их союз продолжается. Время работает на НЕГО.

А 21 августа вечером явился Берия со срочным сообщением: сегодня в больнице города Мехико скончался Троцкий. Удар туристским ледорубом по голове нанес ему испанец Рамон Меркадер, тот самый внедренный в Койоакан агент НКВД, о котором в прошлый раз он ЕМУ доложил. Руководил операцией в Мексике Эйтингон, в Москве — Судоплатов.

Прикончили наконец негодяя! Тридцать пять лет этот человек отравлял ЕМУ жизнь, портил ЕМУ кровь. ОН впервые увидел его в 1905 году на Лондонском съезде — молодой, красивый, окруженный поклонниками и поклонницами, произносил эффектные речи и даже не заметил ЕГО. И в 1913 году в Вене Троцкий тоже произносил эффектные речи, тоже был в центре внимания и тоже ЕГО не заметил. И в семнадцатом году разыгрывал роль вождя и руководителя революции, и во время гражданской войны считал себя главным организатором победы — ни во что ЕГО не ставил, держался высокомерно и заносчиво. А последние пятнадцать лет поливал ЕГО помоями, позорил на всех углах, даже, говорят, книгу о НЕМ написал, опубликовать только не успел. Ясно, о чем эта книга: о том, что Троцкий — гений, а Сталин — посредственность. Нет! Товарищ Сталин вершит судьбы мира, а господин Троцкий валяется в морге с проломленным черепом. Туда ему и дорога.

Берия вручил ему и завещание Троцкого, написанное в феврале, еще до нападения Сикейроса. Предчувствовал свою смерть, негодяй, понимал, что не избежать возмездия. Но умереть, как все люди, не мог. И на краю могилы сохранял позу. Ну, что ж, посмотрим, что он здесь понаписал.

Сталин открыл врученную ему Берией папку.

Завещание

Развязка, видимо, близка. Эти строки будут опубликованы после моей смерти.

Мне незачем здесь опровергать глупую и подлую клевету Сталина и его агентуры: на моей революционной чести нет ни одного пятна. Ни прямо, ни косвенно я никогда не входил ни в какие закулисные соглашения или переговоры с врагами рабочего класса. Тысячи противников Сталина погибли жертвами подобных же ложных обвинений. Новые революционные поколения восстановят их политическую честь и воздадут палачам Кремля по заслугам.

Я горячо благодарю друзей, которые оставались верны мне в самые трудные часы моей жизни. Я не называю никого в отдельности, потому что не могу назвать всех.

Я считаю себя, однако, вправе сделать исключение для своей подруги, Наталии Ивановны Седовой. Рядом со счастьем

быть борцом за дело социализма судьба дала мне счастье быть ее мужем. В течение почти сорока лет нашей совместной жизни она оставалась неистощимым источником любви, великодушия и нежности. Она прошла через большие страдания, особенно в последний период нашей жизни. Но я нахожу утешение в том, что она знала также дни счастья.

Сорок три года своей сознательной жизни я оставался революционером, из них сорок два года я боролся под знаменем марксизма. Если бы мне пришлось начать сначала, я постарался бы, разумеется, избежать тех или других ошибок, но общее направление моей жизни осталось бы неизменным. Я умру пролетарским революционером, марксистом, диалектическим материалистом и, следовательно, атеистом. Моя вера в коммунистическое будущее человечества сейчас не менее горяча, но более крепка, чем в дни моей юности.

Наташа подошла сейчас к окну и раскрыла его шире, чтоб воздух свободнее проходил в мою комнату. Я вижу ярко-зеленую полосу травы под стеной, чистое голубое небо над стеной и солнечный свет везде. Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения очистят ее от зла, гнета, насилия и наслаждаются ею вполне.

27 февраля 1940 г. Койоакан Л. Троцкий

3

Первые сообщения разведки о готовящемся нападении Германии на Советский Союз начали поступать в июне 1940 года. Сталин не придавал им значения. Разговоры каких-то немцев — болтовня, подготовка нескольких тысяч парашютистов, знающих русский язык, — выдумка идиота, передвижение немецких частей на территории Польши — нормальная военная жизнь в оккупированной стране, концентрация немецких войск на советской границе — дезинформация, обманывают Черчилля, отвлекают его внимание от подготовки к вторжению в Англию.

Более серьезное предупреждение поступило в октябре от агента в немецком Генштабе. Германия начнет войну с СССР весной будущего года, цель — отторжение Украины. И этому сообщению верить нельзя — к весне будущего года Гитлер не успеет закончить войну с Англией, переправляться зимой через Ла-Манш не будет.

И упрямый обалдуй Литвинов тоже талдычит о неизбежности нападения Германии, о неправильной политике Молотова, подразумевая, конечно, не Молотова, а Сталина.

«Разгром Франции — полное банкротство советской политики. Теперь у Гитлера нет второго фронта, Англия — это не второй фронт. Теперь рейх опирается на ресурсы всей континентальной Европы. Задабривание Гитлера — это политика страуса, прячущего голову в песок».

Ничего не понимает, старый болван! Гитлер не нападет на Советский Союз. Если, конечно, учитывая импульсивный характер Гитлера, не давать ему повода. Гитлер должен быть убежден в ЕГО лояльности. ОН переведет Литвинова из членов ЦК в кандидаты, Гитлер увидит, что ОН освобождается от евреев. А Жемчужину вообще выведет из состава ЦК, пусть Гитлер полюбуется — женой Молотова, руководителя правительства, и той пожертвовал.

5 октября на Политбюро обсуждался план обороны страны. Были вызваны Тимошенко, Шапошников, Жуков и разработчик плана, один из руководителей Генерального штаба, Василевский. Он же и докладывал план.

Все сидели за длинным столом. Сталин, как обычно, расхаживал по кабинету, иногда подходил к карте, по которой Василевский водил указкой, потом опять отходил, слушая Василевского, старался составить для себя окончательное о нем мнение. Слушает его уже третий раз, и с каждым разом ЕГО благоприятное впечатление укрепляется.

Василевский из семьи священника, у отца до сих пор приход в глухом селе. Берия дал положительную характеристику. Редкий случай. При самом положительном отзыве Берия обязательно вставит что-нибудь отрицательное, подстрахует себя. А тут ничего плохого не приписал. В мировую войну дослужился до штабс-капитана, с мая 1919 года служит в Красной Армии, кончил школу «Выстрел», потом Академию Генерального штаба, с тридцать седьмого в Генштабе. Человек знающий, мягкий, деликатный. Жуков, конечно, вояка, но солдафон, вызывает раздражение, а на Василевского и раздражаться невозможно, однажды ОН сказал ему: «Товарищ Василевский, вы, наверное, муху не обидите... Будьте потверже». И голос хороший, мягкий, и лицо приятное, русоволосый, голубоглазый, в косоворотке сошел бы за сельского учителя. Сталин слушал его, не перебивая, лишь в том месте, где Василевский докладывал об укрепленных районах, спросил:

— Вы что, планируете отступление?

— Нет, товарищ Сталин, ни в коем случае! Мы планируем только наступление, но оно не исключает создания на границе оборонительной линии.

Сталин остановился, повернулся к Василевскому.

— Да, не исключает. На новой границе! Сейчас у Советского Союза новая граница! Ее и укрепляйте. А вы планируете укрепление и старой границы. А старой границы уже нет и никогда не будет. Забудьте о ней.

— Но она хорошо вооружена и оборудована, товарищ Сталин, — робко возразил Василевский.

— Прекрасно. Вот вам готовое оборудование. Снимите его и перевезите на новую границу. А все подземные сооружения передайте колхозам, пусть используют их как зернохранилища. Оставить в целости старые оборонительные сооружения — это значит сказать войскам: «Не бойтесь, вам есть куда отступать, у вас за

спиной есть еще мощная оборонительная линия». Это значит культивировать в армии отступательные настроения, учить ее не наступать, а отступать. Продолжайте!

Василевский продолжил. План был обстоятельный, Василевский излагал его толково. Когда он кончил, в кабинете воцарилось молчание. Военные молчали — они уже все сказали своим планом, члены Политбюро тоже молчали — не знали, что думает по этому поводу товарищ Сталин.

Продолжая прохаживаться по кабинету, Сталин заговорил:

— Мне не совсем понятна установка Генерального штаба...

Как всегда, он говорил медленно, четко, тихо, заставляя всех напряженно вслушиваться в каждое слово.

— В чем заключается установка Генерального штаба? Она заключается в том, чтобы наши главные силы сосредоточить на Западном фронте. Из чего исходит эта установка? Она исходит из предположения, что немцы в случае войны, конечно, попытаются нанести главный удар по кратчайшему пути: Брест — Москва. Можно ли согласиться с такой установкой? Я думаю, с такой установкой согласиться нельзя. Думаю, что немцы не пойдут по этому кратчайшему пути. Все разведывательные данные говорят о том, что немцы хотят захватить Украину. Можно ли безоговорочно верить этим разведывательным данным? Конечно, нельзя. В них много дезинформации, вранья и глупостей. И все же не случайно всегда упоминается Украина. Почему не случайно? Если допустить мысль, что Гитлер ввяжется в войну с Советским Союзом, это будет длительная война, СССР — не Польша и не Франция, и без хлеба, без топлива, без сырья такая война невозможна. Значит, для немцев особую, исключительную важность представляют украинский хлеб, уголь Донбасса, криворожская руда, никопольский марганец. Следовательно, Гитлер будет готовить основной удар не на западном, а на юго-западном направлении. Тем более Гитлер уже утвердился на Балканах, и оттуда нанести удар ему будет легко. Исходя из такой установки и надо разрабатывать план.

Он помолчал, потом спросил:

— У вас есть возражения, товарищи?

И Тимошенко, и Шапошников, и Жуков, и Василевский отлично знали, что, по планам германского Генерального штаба, главные силы немцев нацелены на Смоленск и Москву. Мало того, покоряя страны Европы, Гитлер, чтобы быстрее закончить войну, прежде всего рвался к их столицам. Это его хорошо отработанная, проверенная и оправдавшая себя тактика.

Но ни у одного из них не хватило мужества возразить товарищу Сталину.

— Ну что ж, — заключил Сталин, — возражений нет. Прошу Генеральный штаб еще раз подумать и доложить план через десять дней.

14 октября план снова был доложен на Политбюро. В этом переработанном плане главный удар ожидался на юго-западе, там

и предусматривалась наибольшая концентрация советских войск. Как и в прошлый раз, Василевский докладывал толково, обстоятельно, убедительно.

Сталин остался доволен и после заседания пригласил всех спуститься этажом ниже и отобедать у него на квартире.

Обед был простой. Пусть военные увидят, как скромно живет товарищ Сталин, пусть берут с него пример. На первое — густой украинский борщ, на второе — хорошо приготовленная гречневая каша и много отварного мяса, на третье — компот и фрукты. Сталин пил легкое грузинское вино «Хванчкара». Но в этом военные ему не подражали, налегали больше на коньяк.

Сталин поднял тост за здоровье товарища Василевского и, отпив немного из бокала, задал неожиданный вопрос:

— Товарищ Василевский, а почему вы по окончании семинарии не пошли в попы?

Смущенный Василевский что-то промямлил насчет того, что он и три его брата выбрали в жизни другую дорогу.

— Так, так, — улыбнулся Сталин, — не имели такого желания, понятно. А вот мы с Микояном хотели пойти в попы, но нас почему-то не взяли. — Он повернулся к Микояну. — Как, Анастас, не взяли тебя в попы?

— Не взяли, товарищ Сталин, — подтвердил Микоян.

— Вот видите. — Сталин развел руками. — До сих пор не поймем, почему не взяли.

Все заулыбались, радуясь шутке вождя, его хорошему настроению.

Сталин помолчал, потом опять поднял на Василевского глаза.

— Скажите, пожалуйста, товарищ Василевский, почему вы, да и ваши братья, не помогаете материально своему отцу? Насколько мне известно, один ваш брат — врач, другой — агроном, третий — летчик. Вы обеспеченные люди. Я думаю, все вы могли бы помогать родителям, тогда бы, наверно, старик давным-давно бросил бы свою церковь. Ведь она ему нужна только для того, чтобы как-то существовать.

Теперь никто не улыбался, не зная, к чему клонит вождь и чем все это обернется для Василевского.

— Видите ли, в чем дело, товарищ Сталин, — пытаясь сдержать волнение, объяснил Василевский, — я еще в 1926 году порвал всякую связь с родителями.

— Порвал связь с родителями? — разыгрывая искреннее удивление, переспросил Сталин. — Почему, если не секрет?

— Иначе я не мог бы состоять в рядах нашей партии, не мог бы служить в Красной Армии, тем более в системе Генерального штаба.

— Неужели в нашей партии и в нашей армии такие порядки? — по-прежнему с удивлением спросил Сталин.

Все отлично знали, что и в партии, и в армии именно такие порядки, но никто этого товарищу Сталину не подтвердил. Тем более самому товарищу Сталину это хорошо известно.

Но Василевский понимал, что обязан доказать справедливость своих слов, иначе будет выглядеть в глазах Сталина лжецом. И он сказал:

— Товарищ Сталин, если вы разрешите, то я расскажу вам такой случай...

— Расскажите...

— Две недели тому назад я неожиданно, впервые за многие годы, получил письмо от отца. А я с 1926 года во всех анкетах указывал, что мой отец — священник и никакой связи, ни личной, ни письменной, я с ним не имею. И вот вдруг письмо. Об этом письме я тут же доложил секретарю своей партийной организации. И он потребовал, чтобы я на письмо не отвечал и чтобы впредь сохранял во взаимоотношениях с родителями прежний порядок.

Сталин обвел удивленным взглядом сидевших за столом членов Политбюро. Они наконец поняли, что от них требуется, и ответили ему выражением такого же удивления, недоумения и даже возмущения.

— Ваш секретарь — дурак, — сказал Сталин, — он не имеет права работать в Генеральном штабе, в Генеральном штабе нужны умные люди, а не болваны. Красная Армия должна быть единой и монолитной, а не разделенной по социальному происхождению. У Ленина отец был дворянин, и, как вы знаете, Владимир Ильич не отрекался от своих родителей. Я вас прошу, товарищ Василевский, прошу вас и ваших братьев, немедленно установите со своими родителями связь, оказывайте им систематическую материальную помощь. И передайте об этом секретарю вашей партийной организации, конечно, если к тому времени он еще будет секретарем и если он еще будет работать в Генштабе.

4

Мария Константиновна передала Глебу письмо из Москвы: Комитет по делам искусств предлагает ему выбрать город, где он сможет работать художником в Театре юного зрителя. Среди названных городов был Калинин. Там новый художественный руководитель, старого уже нет, из-за него Глеб в свое время ушел из театра. Глеб выбрал Калинин.

Но не торопился. Оттягивал отъезд, и было ясно: из-за Лены. С нетерпением ждал ее прихода во Дворец, провожал домой, возвращался хмурый, озабоченный, раздевался, ложился спать. Влюбился. Перестал встречаться с девками. И Саша перестал — надоело. И по-крепкому больше не выпивали.

Глеб звонил в Калинин, узнал, что и как, звонил в Ленинград, выбивал нужные документы. Ходил в местные театры на спектакли, смотрел декорации.

Однажды пришел во Дворец взволнованный.

— Арестовали Мишу Каневского. И еще, говорят, кое-кого. Подчищают Уфу.

— После занятий съездим к Лене, — сказал Саша.

— Ночью всех в бараке переполошим. Ехать надо сейчас, пока светло.

— Поработай с группой вместо нас, — попросил Саша Стасика, — поиграй для них, пусть тренируются.

Остановили машину, доехали до заводского поселка.

У барака на завалинке сидели три женщины, одна, старая, седая, опиралась на палку, другие помоложе.

— Бабоньки, — заулыбался Глеб, — просьба есть, вызовите сюда, пожалуйста, Будягину Елену Ивановну. Сами боимся заходить.

— Чего боитесь-то? — спросила старуха. У нее были живые, беспокойные глаза.

— Барак ваш женский, сцапают нас девки, не отпустят.

— Такое возможно. — Старуха засмеялась. — Вон вы какие пригожие. Откуда будете?

— Из той же деревни, на одной печке валенки сушили.

— Балагур ты, — покачала головой старуха, — как тебя звать-то, что Лене сказать?

— Твои, мол, деревенские пришли, гостинцы принесли.

Лена вышла в том же простеньком платье, в котором приходила во Дворец труда, удивленно посмотрела на них, оглянулась почему-то.

— Идите на детскую площадку, — подсказала старуха, — там скамейка есть.

Возле песочницы что-то поблескивало в траве, Лена наклонилась, подняла совок, заржавленный, с облупившейся краской на деревянной ручке.

— Кто-то потерял.

— Арестован один наш знакомый пианист, высланный из Ленинграда, — сказал Саша, — говорят, еще кого-то забрали. Видно, подбирают отсюда высланных. Может коснуться и тебя.

Она молча слушала, вытирая носовым платком совок. Наконец подняла глаза.

— У нас на заводе все спокойно.

— Это вопрос времени.

— Безусловно, но пока не закончат строительство завода, я думаю, никого не тронут, тем более простых рабочих, их и сейчас не хватает.

— Когда кончат строить?

— К концу месяца.

— И ты намерена дожидаться ареста?

— Что я могу сделать?

— Уехать.

— Куда?

Поднялся со скамейки Глеб.

— Лена, не будем терять времени. Едем в Калинин. Немедленно. Там мой дом, работа, есть *свои* люди. Мы распишемся, вы возьмете мою фамилию, ваш сын будет жить с нами, он станет и моим сыном.

Она перестала крутить совок, спрятала платок в карман, посмотрела на Глеба исподлобья.

— Милый Глеб, спасибо вам. Я знаю, я была бы счастлива с вами. Но они меня все равно найдут, тогда со мной пострадаете и вы. А я не хочу, чтобы вы пострадали.

— Никто никогда вас не найдет, — возразил Глеб, — я сберегу вас.

— Когда началось мое дело, — сказал Саша, — наш сосед посоветовал мне уехать. Я его не послушался. И зря. Сейчас ты совершаешь ту же ошибку.

Она покачала головой.

— Ты был тогда свободен и волен был ехать, куда хочешь. А я, уехав из Уфы, совершу побег, объявят всесоюзный розыск, найдут и будут судить уже не только как «члена семьи». Жаль, Глеб, что мы не встретились с вами раньше, я, не раздумывая, приняла бы ваше предложение. — Она ласково посмотрела на него. — В сущности, Глеб, вы мне предлагаете руку и сердце, так ведь?

— Да, но я предлагаю вам еще и свободу.

— Со мной вы сами ее лишитесь. И страшно жить с мыслью, что каждую минуту могут арестовать и тебя, и близкого тебе человека. — Она положила Глебу руку на плечо. — А вы, Глеб, вы близкий мне человек... И скажу вам честно, для таких, как я, нет большой разницы между всем этим, — она показала на бараки, на мрачные, заводские корпуса, — и лагерем. В лагере, я думаю, даже спокойнее.

Тихий летний вечер, еще светло, но в бараках мелькает свет, и уже взошла Венера — первая вечерняя звезда, дым поднимается из заводских труб. Мирный пейзаж, черт бы его побрал!

— Значит, в лагере тебе будет спокойнее?

Она внимательно посмотрела на Сашу, услышала в его голосе недобрую интонацию.

— Да, я так думаю.

— И за кого тебе будет спокойнее? Может быть, за сына? Тебе от него будут передавать поцелуи, а ему от тебя шоколадки?

— Ты жестоко говоришь со мной, Саша.

— Говорю так, как вы того заслуживаете. Неужели опыт собственных родителей вас ничему не научил? Дали себя заглотнуть, подставили головы. Розыска боишься! Какой суд тебя судил? Никакой! Какой срок тебе дали? Никакого! Незаконно приказали уехать в такой-то город. И вы все безропотно подчинились, уехали дожидаться здесь лагеря. Ведь у тебя чистый паспорт. Через три дня вы с Глебом зарегистрируетесь, и тебе дадут новый, с другой фамилией. И никто тебя не найдет. Но ты боишься, трусишь! Привыкли жить рабами, рабами и помрете. И поделом!

Опустив голову, она молчала, долго молчала, потом сказала Глебу:

— Глеб, вы стоите лицом к бараку. Сколько там женщин на скамейке?

— Четыре.

— А когда вы пришли, были три?

— Да.
— Четвертая в зеленой кофточке?
— Да.
— Одна из тех, кто следит за нами. Поэтому я и не разрешала себя провожать до барака. И если я сейчас с вами уйду и не вернусь ночевать и тем более не выйду утром на работу, меня кинутся искать. Мы можем прямо сейчас уехать? Есть поезд?
— Ленинградский поезд днем, в двенадцать часов.
— Вот видите! Я могу уйти только в выходной.
— Когда он у тебя? — спросил Саша.
— Послезавтра.
— Рискованно ждать, — сказал Глеб, — не обязательно ехать поездом, можно пароходом, а потом где-нибудь пересесть.
— Милый Глеб, у них свои люди и на вокзале, и на пристани, даже на автобусной станции. У нас кое-кто пытался уехать, поймали. Важно, чтобы здесь хватились возможно позже, поэтому бежать надо в выходной. — Она усмехнулась. — Какое слово «бежать»...
— Мне оно нравится, — пытался пошутить Глеб.
Саша встал.
— Послезавтра утром мы ждем тебя у нас дома. Постарайся прийти пораньше, могут возникнуть другие варианты.
— Я буду ровно в девять. Как вы понимаете, без вещей. — Она улыбнулась, наконец-то это была ее прежняя застенчивая улыбка. — Придется вам, Глеб, справлять мне новый гардероб.
На следующий день Глеб оформил увольнение. Семен Григорьевич поморщился, но никуда не денешься — человеку надо к новому месту службы. Глеб ему сказал, что уедет дня через три, а сам взял билеты на завтра, на ленинградский поезд, были у него знакомые в городской кассе, все сделали.
Вечером дома, собирая вещи, Глеб говорил Саше:
— Хватятся ее, а она уже в Калинине, пока расчухаются, она уже Дубинина Елена Ивановна. Звучит?
— Звучит.
— Всесоюзный розыск? Это милиция, прописка, отделы кадров. В загс не сунутся. Тем более ее старый паспорт перечеркнут и отдадут мне, девки знакомые, а я его сожгу. Заберем ее сына, а там, глядишь, и своего соорудим. Как думаешь?
— Дело нехитрое.
Глеб закрыл наконец чемодан, поставил на него баян, подсел к столу.
— Ну, что, по прощальной?
— Учти, при Лене тебе придется с этим сократиться.
— Не беспокойся. Все будет в пределах разумного. Ведь мне, дорогуша, уже под тридцать. Как это твой Пушкин говорил насчет женитьбы?
— «Кто в двадцать лет был франт иль хват, а в тридцать выгодно женат».
— Вот за это давай и дернем!
Они выпили. Глеб закрыл бутылку, поставил в шкаф.

— Все! Тебе оставляю.

Снова сел за стол.

— Не хочу, дорогуша, произносить лишних слов...

— Твоя молчаливость мне известна, — рассмеялся Саша.

— Вот именно. Но скажу тебе так. Когда я ее на почте увидел, сразу понял — это моя судьба. И не в том дело, что красавица, языки знает, дело, дорогуша, совсем в другом...

Он помолчал, потом продолжил:

— Ведь она одной с тобой породы — деликатная. Но в — ней это вызывает у меня нежность, благоговение, извини за такие высокие слова. Ты мужчина и должен быть в этом мире бульдогом с мертвой хваткой. А она женщина, она бульдогом быть не может. Вот Ульяна твоя...

— Возьми ее себе.

— Неважно чья. Ульяна — бульдог. А Лена — женщина, я ее защищать хочу, оберегать от этого хамского мира. Я когда услышал, что она шпалы таскает, хотел пойти туда и перебить всех этих директоров и прорабов — сами, сволочи, таскайте, вот какое состояние у меня было. Одного не могу себе простить: почему две недели назад, как только получил письмо из Москвы, сразу не увез ее. Оробел, дорогуша. Такая женщина! Как подойти? Как сказать? Как предложить? А узнал про Каневского, сразу решил — надо выручать, спасти во что бы то ни стало. Любит не любит, не имеет значения, главное — увезти отсюда... А теперь, слышал? «Вы мне близкий человек». А?! «С вами я была бы счастлива». Как, дорогуша?! Тебе кто-нибудь говорил такие слова? Мне нет, никогда!

— Лена замечательная, — сказал Саша, — я много лет ее знаю. Я рад за тебя и рад за нее. А теперь давай спать ложиться. Привыкли с тобой дрыхнуть до полудня, а завтра рано вставать...

В девять часов они были готовы, но Лена запаздывала. Глеб подходил к окну, смотрел, не идет ли, метался по комнате.

— Что-нибудь задержало, — успокаивал его Саша, — сейчас придет.

Время подошло к десяти, потом к одиннадцати... Поезд через час...

— Может быть, она прямо на вокзал поехала? — предположил Глеб.

— Такой глупости она не сделает, скорее всего, отменили выходной.

В двенадцать часов они поехали к Лене.

На завалинке, опираясь на палку, сидела та старуха, что разговаривала с ними в прошлый раз. Увидев Сашу и Глеба, тихо сказала:

— Идите, идите, ребята, нету Лены.

— Когда ее забрали?

— Вчера, идите, идите.

Они не двигались с места.

Старуха поманила Глеба пальцем.
— Сынок, а какой она нации?
— Русская она.
— А веры-то какой? Православной или еще какой?
— Православной.
— Дай ей Бог, — прошептала старуха.

5

В вестибюле здания НКВД на улице Егора Сазонова они заполнили анкету: Будягина Елена Ивановна, 1911 года рождения, адрес — поселок Нефтегаз, кто запрашивает — Дубинин Глеб Васильевич, степень родства...
— Напиши — жених, — посоветовал Саша.
— Нет, напишу — двоюродный брат, так вернее.
— Не лезь в родственники к Будягину, понял? Пиши — жених!
— Женихом может назваться всякий, пошлют к едрене-фене. А родственнику? Пусть попробуют не выдать справку!
— Только не задирайся. Без эксцессов!
— Сам знаю, дорогуша! Главное, ты не суйся, всю музыку испортишь.
Он подошел к окошку, постучал, сдал анкету.
— Ждите!
Ждали они долго, хотя народу в вестибюле было немного. Выходили по очереди на улицу покурить, Саша купил на углу в газетном киоске «Правду», проглядел: победы Гитлера в Европе, нерушимая дружба с Германией, убийство Троцкого, совершенное «одним из его ближайших людей и последователей... Его убили его же сторонники, с ним покончили террористы, которых он же учил убийству из-за угла, предательству и злодеяниям».
Сами, конечно, и убили! Всех считают идиотами.
Глеб ходил взад и вперед по приемной, нетерпеливо поглядывая на окошко.
— Дубинин!
Глеб подошел. Саша встал сбоку.
— Паспорт!
Саша схватил его за руку — не давай!
— Зачем вам мой паспорт?
— Справки выдаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Глеб вынул паспорт, оттолкнул Сашу, протянул.
Окошко захлопнулось.
Они отошли в сторону.
— Зачем ты им отдал паспорт?! Сказал бы — нет с собой. Сейчас ухватятся — нашли в Уфе родственника Будягина. Давай мотать отсюда, пока не поздно! Добудешь в Калинине новый паспорт.
Он потянул Глеба к выходу, но тот опять оттолкнул его.

— Положил я на них с прибором! И пока не узнаю, где Лена, отсюда не уйду.

Переубедить его было невозможно. Глеб, всегда такой осторожный, теперь шел напролом.

Рядом с окошком открылась дверь, в ней возник толстый приземистый энкаведешник в очках. Поднял к глазам бумагу:

— Дубинин!

— Я Дубинин.

Энкаведешник внимательно посмотрел на него, открыл дверь пошире и, придерживая ее рукой, сказал:

— Пройдемте!

— Зачем?

— Там вам скажут зачем, пройдемте!

Глеб приблизил к нему искаженное гневом лицо.

— А почему там, почему не здесь?

Энкаведешник отступил на полшага, снова поднял к очкам бумагу.

— Вы наводите справку о... Будягиной Елене Ивановне?

— Да, я.

— Вот вам там и дадут справку.

Саша подошел к ним.

— Глеб, на работу опаздываем.

Энкаведешник воззрился на него.

— А вы кто?

— Товарищ. Шли на работу, попросил зайти с ним сюда. Вот зашли.

— И идите. Товарищ вас догонит. Пройдемте, гражданин Дубинин.

— Глеб! — Саша схватил его за рукав.

Энкаведешник грубо оттолкнул его плечом и, войдя вслед за Глебом, захлопнул дверь.

Ненависть, отчаяние, сознание собственного бессилия душили Сашу. Кричать, протестовать? Выскочит дюжина амбалов с квадратными мордами, скрутят, изобьют, утащат в камеру, а оттуда путь известен. Власть в стране захватила банда уголовников, как с ней бороться?! Идти на верную смерть? Никому ничего его гибель не даст, никто о нем даже не узнает.

Саша вышел на улицу, остановил машину, назвал адрес Семена Григорьевича. У него с Глебом давние отношения, к тому же Семен вел занятия в клубе НКВД, какие-то связи наверняка возникли, может, нажмет на нужные кнопки, выручит Глеба?

Семен Григорьевич выслушал Сашин рассказ, обещал что-нибудь узнать. А к концу дня сообщил, что ничего узнать не удалось, и, глядя мимо Саши, своим красивым, актерским голосом добавил:

— Ваши две группы, Сашенька, закончу я сам, а вы сегодня можете получить у Нонны расчет за отработанные часы.

Так. Избавляется от него. И Глеба выручать не будет.

— Ну, что ж, — согласился Саша, — могу получить расчет. Но это еще не все, Семен Григорьевич.

Тот выжидающе смотрел на него.

— Расчет — это еще не все, Семен Григорьевич, — повторил Саша, — нужно выдать мне справку: работал у вас с такого-то по такое-то, сделать отметку в паспорте об увольнении, да, кстати... — Он вынул из кармана пиджака документы, нашел профсоюзный билет, открыл его. — Точно, у меня профсоюзные взносы не уплачены за последние три месяца. Вот какой я безответственный должник.

— Саша... Но вы понимаете?! Вам придется здесь задержаться.

Саша пожал плечами.

— Я никуда не тороплюсь. Может быть, найду другую работу.

Брови у Семена Григорьевича поползли вверх.

— Я считал вас более благоразумным. Вашего ближайшего друга арестовали. И женщина, которую вы мне рекомендовали, также арестована.

— Ай-ай-ай, — засмеялся Саша, — какое гнездо, оказывается, вы у себя свили, Семен Григорьевич.

Он наслаждался его испуганным видом. Хочет, чтобы Саша мгновенно смылся. Нет, он не смоется! Не убежит, не удерет! Он уедет, к о г д а з а х о ч е т. Посадят? Сажайте. Но бежать сломя голову он не собирается. Да, он бессилен, он ничего не может сделать для Лены и Глеба, но так просто он их не бросит.

— Позвольте, позвольте... — В голосе Семена Григорьевича зазвучали скандальные нотки. — Эту женщину я и в глаза не видел, а как только услышал ее фамилию, сразу отказался взять на работу.

— Ставите себе это в заслугу? Ладно, не будем морализировать на эту тему. Все ясно: хотите, чтобы я уехал. Получили указание от Марии Константиновны?

— Да, Мария Константиновна также считает, что самое правильное для вас было бы уехать.

— А вам она не советовала уехать?

— Нам еще две группы надо заканчивать.

— Наверно... «Две группы». Не будете вы их заканчивать, Семен Григорьевич. Смоетесь от греха подальше. Вернете деньги за недоданные часы, чтобы не было претензий, чтобы не разыскивали вас. И все свои документы оформите как положено. Вот и я того же требую. И у меня документы должны быть в порядке. Передайте это Марии Константиновне.

Мария Константиновна, неприязненно взглянув на Сашу поставила штампик в его паспорте, сама наклеила марки в профсоюзном билете и выдала справку о работе в Башкирском республиканском Гастрольбюро. Справка была на официальном бланке, но подписана: «Руководитель курсов С. Г. Зиновьев». И взялась за телефонную трубку, давая понять Саше, что, мол, все, иди, не рассиживайся тут! Жест был пренебрежительный, хамский.

— Спасибо. — Саша забрал бумагу, не спеша засунул в карман паспорт и профсоюзный билет. — Я буду, вероятно, в Москве. Что прикажете передать Ульяне Захаровне?

— Ульяне Захаровне? — Она нагло посмотрела на него. — Разве вы с ней знакомы?

Ну и баба!

— Забыла? — Саша изобразил на лице удивление. — И я тоже малость запамятовал. С кем это я в уютной комнатке пил водку и закусывал грибочками, с кем лежал на кроватке под зеркальцем? Может быть, напомнишь?

Она сидела за столом, не поднимая головы, на ее бурятском лице резко обозначились скулы.

— Молчишь? — Саша кивнул на телефон. — Что же милицию не вызываешь? Караул не кричишь? У меня в кабинете хулиганят!.. Боишься? Про грибочки и про кроватку расскажу? Не бойся, не расскажу. Не хочу руки о тебя марать!

Глеб не вернулся ни на следующий день, ни через неделю. И за его вещами не приходили. Ублюдки, подонки! Никогда еще не испытывал Саша такой ненависти, такой жажды отмщения. Дожить бы только до часа, когда наступит возмездие.

Он рассчитался с хозяйкой, собрал чемодан Глеба. С Лени-баяниста взял слово, если через пару месяцев Глеб не вернется, Леня отошлет чемодан тетке. Глеб ушел из дома в тенниске и сандалиях на босу ногу. Пропадет на этапе без теплой одежды. А тетка, может быть, сумеет ему переслать.

На почте девочки упаковали баян Глеба в фанерный ящик, обшили мешковиной, надписали: «Осторожно, стекло». В посылку Саша вложил письмо, объяснил тетушке, что произошло, посоветовал, куда обратиться, написал, где оставил вещи Глеба.

Позвонил маме. Говорил спокойно, весело, как всегда. О том, что уезжает из Уфы, ни слова. В конце разговора как бы мельком, но достаточно внятно сказал:

— Тут Лена была, с которой мы вместе в школе учились.

— Да, да, знаю.

— Она заболела, надолго... Передай родным, кого знаешь. Ты поняла меня?

— Да, да, понимаю, я передам.

Мама, конечно, имеет в виду Варю. Ей передаст.

6

Нина была довольна переводом Максима в Москву. Будет труднее материально, зато спокойнее. И в Москве сажают, но в Москве Максим не так заметен. А здесь все скученно, огороженный забором военный городок, тесно стоящие двух- и четырехэтажные дома, одни и те же лица, настороженные взгляды.

Максим — Герой Советского Союза, но именно то, что Герой, уже командует полком, многих обогнал по службе, вызывало зависть — чувство, чуждое и Нине, и Максиму, они всегда признавали превосходство ума и таланта. Теперь нормой поведения стали двоедушие, ложь, доносительство. Жены командиров днем не знают, вернутся ли мужья со службы, а когда мужья уже дома, не знают, не придут ли за ними ночью. Как и все, Нина боялась говорить об арестах, но как не сказать хоть пару ободряющих слов соседке, у которой ночью забрали мужа, что же, отвернуться, увидев ее на лестнице?

Арестовали командующего воздушными силами Флеровского, командующего Тихоокеанским флотом Викторова и весь его штаб, расстреляли командующего Приморской группой войск Федько, затем сменившего его Левандовского, затем легендарного Покуса, в гражданскую войну руководившего штурмом Спасска... Максим, хмуро улыбаясь, напомнил Нине строчки из знаменитой песни, самой их любимой в юности: «И останутся, как в сказке, как манящие огни, штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни...» Тогда они гордились страной, славили ее героев, а сейчас только и думаешь о том, кому следующему всадят пулю в затылок.

Шепотом говорили о маршале Блюхере. Вызвали в Москву, критиковали на Политбюро. Однако Сталин с ним держался миролюбиво, советовался насчет строительства новой стратегической железной дороги, Ворошилов предложил отдохнуть с семьей на сочинской даче. На даче Блюхера и взяли, привезли в Москву, пытали четыре следователя, выбили глаз... «Будешь запираться, второй выбьем...» Привели к Берии, Берия его пристрелил. Жене дали восемь лет лагерей, детей рассовали по приемникам, младший, восьмимесячный, пропал бесследно.

Соответствовало ли это действительности, Нина не знала, но так рассказывали. Спросила Максима, тот ответил:

— Не слушай эти разговоры!

— Ну и что изменится, если я не буду слушать?! — взорвалась Нина. И вышла из комнаты.

Потом одумалась, пожалела. У Максима нервы на пределе, сам под неусыпным наблюдением и политотдела, и партбюро, и особистов, за каждого подчиненного отвечает, за любое произнесенное ими слово. Поэтому так и отреагировал на ее вопрос, трудно ему говорить об этом. Надо бы ей промолчать в ответ, надо терпеть, доживают в городке последние месяцы, в сентябре на курсах начинаются занятия, Максим уже получил направление.

Она открыла дверь и, как ни в чем не бывало, позвала Максима:

— Иди, скажи Ване «спокойной ночи». Он ждет.

Советская власть и партия по-прежнему оставались для Нины святыми понятиями, но, как это ни горько, надо признать — нет уже той партии, нет уже той советской власти. Конечно, если в Москве докопаются до ее прошлой партийности, будут неприятности, но в райкоме навряд ли остался кто-то из тех людей, что

занимались ее делом. И в НКВД тоже, говорят, поменялись люди, в доме на Арбате никто ничего не знает, да и собираются они жить не на Арбате, а в общежитии при военной академии.

Варя жила у мужа, но комнату на Арбате сохранила, не выписалась и Нину не выписала, сразу отдала ей ключи. Нина стала часто там бывать, иногда ночевала, а потом и вовсе переселилась на Арбат. В общежитии комната крохотная, Ваня мешал Максиму заниматься, и удобнее на Арбате — в соседнем подъезде мать Максима, когда Нина уходила по делам или уезжала к Максиму, оставляла Ваню у бабушки.

В доме ее возвращения не заметили, как в свое время не заметили ее исчезновения. Впечатление произвел Максим. Все его, конечно, помнили, бегал тут мальчишка, сын лифтерши, и вот, пожалуйста, Герой Советского Союза. Пришли к нему делегаты из школы, где учились они с Ниной, объявили, что школа им гордится, его фотография висит в Ленинском уголке, просьба: выступить перед учащимися, рассказать о своих подвигах, о геройских делах доблестной Красной Армии, о разгроме японских самураев.

Встретила как-то Нина во дворе мать Юрки Шарока. Та не узнала ее или сделала вид, что не узнала. И неведомо ей было, что рядом с Ниной идет сын ее сына, внук ее идет. И слава Богу — вступать с ней в разговоры не было желания.

Нина позвонила Софье Александровне, Сашиной маме, и попросила разрешения зайти. Больше всего боялась она неожиданной встречи во дворе, ничего на людях не сумеет сказать, разговор будет скомкан, она останется в глазах Софьи Александровны человеком, отступившим от Саши. А Нина хотела сказать Софье Александровне, что она не изменила Саше, не предала его, наоборот, написала письмо в защиту Саши, собирала подписи, потом ей это вменилось в вину, поэтому и уехала из Москвы. Причина ее отчуждения была в другом. Софья Александровна пустила к себе жить Варю и ее тогдашнего мужа, и видеть Варю *с тем человеком* было выше ее сил. Вероятно, следовало переступить через свою антипатию, не оставлять Софью Александровну, продолжать ходить к ней, не обращая внимания на Варю и ее мужа. Что поделаешь, не сумела себя перебороть.

Такое логичное и убедительное объяснение приготовила Нина.

Но когда она, держа за руку Ваню, вошла в знакомую полутемную комнату, увидела Софью Александровну, маленькую, седую, похудевшую и постаревшую, увидела большой Сашин портрет на комоде, она расплакалась. И эти слезы примирили их без всякого объяснения.

О чем она плакала? Плакала об их юности, о неосуществленных надеждах, о несбывшихся мечтах, таких честных, прекрасных и вот погубленных, расстрелянных и распятых, плакала о Саше, о Лене, выдавленных из жизни, в которую верили, которой были так бескорыстно преданы, плакала об Иване Григорьевиче, об Алевтине Федоровне, ее старших товарищах, уничтоженных именем Револю-

ции, которой отдали жизнь. Вместо них явились тупые, безжалостные карьеристы и шкурники. Этим людям надо подчиняться, придется теперь жить с опущенной головой.

Она сидела на краю дивана, всхлипывала, вытирала платочком глаза. Ваня прижался к ее коленям, теребил рукав: «Мама, ты что, мама, почему плачешь?» Никогда Нина не позволяла себе такой слабости, но сейчас, здесь, у Софьи Александровны, не смогла удержаться — единственная родная душа, встретившая ее в этом доме, Сашина мать, и для Вари была матерью, а она отстранилась от нее тогда, и никакие объяснения ее не оправдают — уже заползал в нее в то время страх, подчинял себе, коверкал душу.

Глядя на Нину, Софья Александровна тоже прослезилась. Обиды за прошлое не было. Обманутые дети, погибшее поколение, несчастная страна. И хорошенький беленький мальчик, что жмется к коленям Нины, ему четыре года всего, и он уже обманут, где его мать, кто его отец — не знает и никогда, наверное, не узнает. Слава Богу, есть у него Нина, есть Максим, не сгинул в детприемнике НКВД.

Софья Александровна протянула руку, погладила Ваню по голове.

— Мама давно не была в Москве, соскучилась, приехала, всех нас увидела и заплакала от радости. Ты меня понял, Ванюша?

Мальчик не отвечал, вопросительно смотрел на Нину.

— Вот пусть мама подтвердит. Правильно я говорю, Нина?

Вытирая глаза и глотая слезы, Нина проговорила:

— Да, правильно.

— Видишь? — Софья Александровна снова погладила Ваню по голове. — Как, нравится тебе в Москве?

Мальчик снова посмотрел на Нину, перевел взгляд на Софью Александровну, серьезно сказал:

— Нравится.

Через несколько дней после приезда Нины и Максима Варя позвала их в гости.

Жили они с Игорем на улице Горького, в новом доме, окна выходят на Советскую площадь, посередине площади обелиск Свободы, на другой стороне тоже новый дом с магазином и рестораном, справа Моссовет. Большая квартира, просторная, но Нина отметила, что Варя ничего не перевезла сюда с Арбата: ни свою лампу любимую, ни книг, ни фотографий. Возможно, ей не хотелось оголять их комнату, такое тоже могло быть.

Варя приезжала их встречать на вокзал, подхватила Ваню на руки, расцеловала, прижала к себе.

— Опусти его, — всполошилась Нина, — такой костюм нарядный, испачкает он его ботиночками!

— Не испачкает, он умный.

И Ваня прилип к ней, не оторвешь.

— Смотри, он меня вспомнил, узнал!

— Ты думаешь? — засомневалась Нина. — Столько времени прошло. Просто понравилась ты ему. Я давно заметила: дети любят красивых.

Варя уговорила их поехать на Арбат, пообедать, отдохнуть, переночевать, а утром Максим разузнает насчет комнаты в общежитии.

— Зачем всем табором тащиться в академию?!

И пробыла с ними там до вечера, сама выкупала Ваню, сама уложила его в постель. И, глядя, как она целует его и шепчет что-то ласковое на ухо, Нина подумала: жалеет, что не оставила мальчика себе, или горюет, что нет собственного ребенка. Глаза были грустные.

Она спросила Варю, знает ли Саша о ее замужестве, просто так спросила, не вкладывая в это никакого особенного смысла.

Варя помолчала, потом произнесла странную фразу:

— Может, знает, может, нет, мне это неизвестно.

И оборвала разговор.

И сейчас, придя к ней в гости и глядя на эту просторную, светлую, но не обжитую Варей квартиру, сразу вспомнилась почему-то та странная фраза, и все как-то связалось вместе. На обратном пути Нина сказала Максиму:

— Мне кажется, по-настоящему Варя любила только Сашу.

Игорь Владимирович им понравился: милый, воспитанный, приветливый, хотел подружиться с родственниками жены. Посмеялись над тем, что он развел «семейственность»: после окончания института Варя работала инженером-конструктором в проектной организации, подчиненной Игорю Владимировичу.

— Садимся ужинать, — распорядилась Варя, — иначе мясо пережарится. А насчет выпивки пусть командует Максим.

Максим прочитал название вин: «Мукузани», «Цинандали», задержал взгляд на бутылке с водкой:

— Я бы предпочел вот это.

— Будем пить водку, — согласилась Варя, — Игорь, налей!

Игорь Владимирович с бутылкой в руке обошел стол, наполнил рюмки. Варя подняла свою:

— Нина, Максим, за вас! С возвращением, чтобы вам в Москве хорошо жилось, чтобы Максим стал генералом!

Максим добродушно улыбнулся.

— Генералами быстро не становятся.

— А Буденный, — возразила Варя, — Чапаев, Щорс, Котовский, про кого-то еще я фильм смотрела. Простые унтер-офицеры, а командовали армиями, к тому же хвастались: «Мы академиев не кончали».

— Варенька, — мягко перебил ее Игорь Владимирович, — ты предложила тост, давайте выпьем. За вас, Нина, за вас, Максим!

Нина уловила в голосе Вари задиристые нотки, решила переменить тему. К чему за столом говорить об армии? Похвалила фасоль.

— Ты готовила?

Варя кивнула головой в сторону окна:

— Нет, в ресторане заказала. Это грузинский ресторан, «Арагви», они специальные травки кладут, я даже не знаю, какие.

Однако Максим сам продолжил разговор:

— Тогда было другое время, Варя, другая техника и другая война — гражданская. К современной войне старые мерки неприменимы.

Он помолчал, поднял глаза на Варю:

— Если мы будем подходить к армии с устаревшими представлениями, то предстоящую войну проиграем.

Игорь Владимирович чуть отодвинул стул от стола, положил руку Варе на плечо, с интересом смотрел на Максима. Для того чтобы в нынешнее время говорить о возможности поражения, надо обладать мужеством.

— Ты прав, Макс, — сказала Варя виновато, — я дурачилась. И все же, желаю тебе стать генералом, а Нине — генеральшей. Приятно иметь сестру генеральшу.

— Добре, — согласился Максим, — постараюсь.

— Вы допускаете, что война будет? — спросил Игорь Владимирович.

Максим коротко ответил:

— Мировая война идет уже второй год.

То, что сказал Максим Варе, было вызвано не ее задиристостью, а выражало одолевавшее Максима беспокойство. После расстрела лучших военачальников руководством Наркомата обороны завладели выходцы из Первой конной армии во главе с Ворошиловым, люди недалекие, необразованные, живущие опытом гражданской войны. Новоиспеченный маршал Кулик объявил, что красноармейцу нужна не буржуазная выдумка — автомат, а трехлинейная винтовка со штыком, мол, пуля — дура, штык — молодец! Тот же Кулик отрицал необходимость минометов, утверждал, что артиллерия должна быть на конной тяге: наших дорог никакая механизация не выдержит. И это начальник Главного артиллерийского управления! Под стать ему были и другие руководители обороны. К чему приведут они армию?

Максим с его основательностью, хозяйственностью был хорошим командиром полка. Любил порядок, умел наводить его не жесткой, но твердой рукой. Родившись в Москве, окончив одну из лучших столичных школ, выросший в среде интеллигентных арбатских ребят, он по своему развитию и образованности превосходил товарищей по службе, много читал, выписывал из Москвы книги и журналы.

Конечно, ни в какие процессы, открытые или закрытые, он не верил — все шито белыми нитками. Не верил в то, что командиры, испытанные в боях в Испании, на Хасане, на Халхин-Голе, — враги народа. Но вступаться за них значило разделить их участь, перестать служить своей стране, своему делу. Он никого не защищал, но умудрялся уходить и от осуждения. Сходило это с рук до поры, до времени. На него начали косо посматривать. Надо уез-

жать, курсы при академии оказались кстати. Не хотелось расставаться с родным полком, но другого выхода не было.

И в Москве Максим не обрел спокойствия. Встретил здесь многих друзей, с некоторыми служил на Дальнем Востоке, с другими учился в военном училище. Были они одного поколения, комсомольцы двадцатых годов, все, в общем и в целом, мыслили одинаково. Время сделало их осторожными, и все же иносказательно, намеками, иногда как бы рассказывая смешной анекдот, говорили о многом. И приезжали в академию представители Вооруженных Сил с выступлениями, позволяли себе говорить нечто, выходящее за рамки казенных газетных сообщений. И сохранились еще кое-кто из профессоров старой школы, которым начальство прощало некоторую стариковскую политическую наивность. Преподаватель военной истории привел, например, такое суждение некоего полководца: «Провоцирует агрессора не повышенная готовность противника, а, наоборот, его неготовность к войне». Тем, кто соображал, было ясно: это о нас, о нашей боязни готовиться к обороне, чтобы не рассердить Гитлера. А ведь все знали, где, на каких границах сосредоточено сто сорок немецких дивизий. В ноябре сорокового года фельдмаршал Браухич с высшими генералами инспектировал эти войска, проверял их боевую готовность.

Другой профессор, разбирая действия немецких войск в Европе, сказал, что для вторжения в Англию немцам надо перебросить минимум тридцать дивизий, а для этого потребуется столько-то пароходов, барж, буксиров, катеров, не считая флота прикрытия и поддержки.

— Есть ли у Германии такое количество судов?

И потому, как пожал плечами, было ясно, что такого количества судов у Германии нет, вторжение немцев на Британские острова проблематично и уверенность советского руководства, что Гитлер прежде всего нападет на Англию, беспочвенна.

Тот же профессор, подчеркивая решающую роль, которую в победоносных немецких операциях сыграли их крупные танковые соединения, не удержался:

— А мы свои механизированные корпуса ликвидировали.

Потом спохватился и добавил:

— Видимо, избрана другая тактика.

Но те, кто следил за жизнью армии, знали, что высшее начальство отказывается восстановить механизированные корпуса по своей тупости. И нет достаточного количества танков. И стрелковые дивизии имеют половину личного состава. И это накануне войны.

Вот так жили Максим и его товарищи. Все на полусловах, полуфразах, намеках, догадках, на фоне усыпляющих официальных сообщений, все надо додумывать самому.

Преподаватели хорошие, профессора академии, но скованы программой, основанной на стратегии — только наступать! Запрещалось даже обсуждать тактику вынужденного отступления, встречных сражений, боя в условиях окружения. «Наступательная стратегия» привела к тому, что склады подтянули к самой границе

(«Будем наступать») и в случае внезапного нападения немцев они тут же окажутся в руках врага.

Почему же страна и армия не готовятся к неминуемой войне? Такого вопроса никто не смел задать, и никто не посмел бы на него ответить.

Вместо ответа курсанты были обязаны досконально изучить книгу Ворошилова «Оборона СССР». Из этой книги они могли узнать, что:

«Товарищ Сталин, первый маршал социалистической революции, великий маршал победы на фронтах гражданской войны, маршал коммунизма, как никто другой знает, что нужно делать сегодня».

7

После заключения пакта «Молотов — Риббентроп», после вступления Красной Армии в Польшу во Франции начались аресты русских эмигрантов, подозреваемых в связях с Советским Союзом, и шумная антисоветская компания, достигшая апогея при нападении СССР на Финляндию.

Перед отъездом в Америку Эйтингон сказал Шароку:

— Теперь здесь действуют законы и суды военного времени. Затаитесь. Зборовский, вероятно, уедет из Парижа, боится немцев.

Эту фразу Эйтингон неожиданно произнес по-немецки — проверяет его знание языка. Смотри-ка! Шпигельгласа расстреляли, а как выполняются его задания, проверяют.

Весь остальной разговор они продолжали на немецком.

— Думаете, они придут сюда? — спросил Шарок.

Эйтингон пожал плечами:

— Полагаю, немцы очутятся в Париже быстрее, чем французы в Берлине. Если немцы придут сюда, вы считаете, они нам выдадут белогвардейцев?

Вот черт, завел пустой разговор, хочет послушать, как он говорит по-немецки.

— Я не знаю, какие есть договоренности на этот счет, — ответил Шарок.

— Белогвардейцев они нам не выдадут, а русских троцкистов могут выдать. Зборовский как еврей не устраивает немцев, как троцкист — русских. Он уедет. За вами остается только Третьяков, свои контакты с ним сделайте более осторожными: смените квартиру и телефон, прекратите личные встречи, используйте тайники. От всего остального о т с т р а н и т е с ь. Через год-два положение прояснится, определится наш противник. Вы поняли, что я сказал?

— Конечно.

— Спрашиваю потому, что ваш немецкий — не слишком уверенный. Вам следует больше практиковаться.

— Постараюсь. Но у меня к вам тоже вопрос: вы не исключаете, что Германия нападет на Советский Союз?

— Вторая мировая война только началась, расстановка сил еще неизвестна.

— А ваш прогноз? — настаивал Шарок. Его оставляют в сложной обстановке, он должен иметь какой-то ориентир.

После некоторого раздумья Эйтингон ответил:

— Разведчик должен держать в уме разные варианты, иначе он не будет готов к неожиданным поворотам политики.

Значит, не исключает конфликта между СССР и Германией. Товарищ Сталин утверждает, что пакт обеспечил нашему народу длительный мир, а Эйтингон в надежность этого мира не верит. И по Троцкому мир этот ненадежен, а Эйтингон едет убивать Троцкого.

Эйтингон выразительно поглядел на Шарока:

— Надо смотреть вперед, главное, уйдите в тень, живите как обыватель. Заработок, квартира, приличное вино к ужину, небольшой круг знакомых русских эмигрантов — вот ваши интересы. Разумеется, как патриот, вы болеете за судьбу Франции.

Слава Богу, что ему приказано затаиться. Конечно, сейчас очень удобно смыться. Для французов, англичан, американцев заполучить такого агента — находка. Он бы много мог порассказать, всю бы сеть передал во главе с Эйтингоном. Его бы припрятали. Но надолго ли? С перебежчиками не церемонятся: изменил тем, изменишь и нам. Вытянут все, что им надо, и выкинут. И неизвестно, как обернется война. А если не будет Гитлер воевать с Советским Союзом? Если вместе со Сталиным обрушится на Францию и Англию? Куда он тогда денется?

Нет, не время. По словам Эйтингона, положение прояснится через год-два. Бог даст, он их проживет спокойно.

В Венсеннском лесу Шарок проверил тайник — все в порядке, место надежное. Свидание Третьякову назначил на окраине города, в метро сел в последний вагон и вышел из него последним, чтобы видеть всех пассажиров, потом пересел на другую линию и повторил ту же процедуру. Убедившись, что слежки за ним нет, сел в кафе за столик рядом с Третьяковым.

Третьяков в последнее время был встревожен. Хотя аресты коснулись только просоветской части эмиграции, подозрительность властей и недовольство французов распространились на всех русских. Третьяков жаловался: вполне приличный с виду господин обозвал его «паршивым иностранцем» (sale etranger). В магазине, при людях. И никто не вступился. Все французы заражены сейчас русофобией. И как тому не быть, глядя на игры нашего царствующего дома?! Кирилл Владимирович выдал свою дочь за сына бывшего германского кронпринца, «бывшие» женятся на «бывших», думают, минус на минус даст плюс, как вам это понравится?

Логики в этой эскападе Шарок не уловил, сменил тему разговора. Его предложение прекратить личные свидания и перейти на связь через тайник обрадовало старика — меньше встреч, меньше риска. Да... Но деньги? Шарок его успокоил, передал аванс на три месяца вперед, обещал и в дальнейшем платить аккуратно.

— И с учетом роста цен, — заканючил Третьяков.

— Разумеется, — ответил Шарок.

Весной сорокового года в тюрьме скончалась Надежда Васильевна Плевицкая. Перед смертью ее исповедовал православный священник... Это насторожило Шарока. Для полиции не существует законов о тайне исповеди, наверняка установили в камере подслушивающее устройство. Шарок с Плевицкой не встречался. Скоблин не знал ни его настоящего имени, ни адреса, квартира и телефон уже дважды сменены. Но знала ли Плевицкая о Третьякове? Все возможно... Последние два дня Скоблин скрывался у него, Третьяков теперь опасен, за ним могут следить. Свои соображения Шарок доложил резиденту, тот велел связь с Третьяковым прекратить без объяснений. «Понадобится, найдем».

Непонятно только, что происходит в Мексике... Неужели опять не повезет?!

Конечно, с Троцким надо кончать, заварил эту кашу в семнадцатом году. И акцию совершит Эйтингон, тоже неплохо — один еврей убивает другого. Но если Эйтингон выполнит задание, то будут награждены и он, и Судоплатов, и Берия. А ему, Шароку, ничего! Мелкая сошка. Даже не вспомнят, как он здесь, в Париже, перебрасывал людей в Мексику, организовывал знакомство Меркадера с Сильвией. Не в наградах, конечно, дело, но карьера дала сбой. Ежов намеревался поставить его со временем над Шпигельгласом, а может быть, и над Слуцким, для того и перевел в ИНО, таков был его расчет. Был, да сплыл. Ежова и Шпигельгласа расстреляли. Слуцкого отравили, а Шарок застрял на прежней должности без надежды на повышение. Обидно.

Но если не сумеют прикончить Троцкого, полетит голова и Эйтингона, и Судоплатова полетит, а возможно, и Берии. Вместе с ними может загреметь и Абакумов, теперешний его покровитель, появится новое начальство, новые люди — ищи к ним подход. Так что пусть лучше остаются эти, Эйтингон и Судоплатов, так будет спокойнее. И потому Шарок был за успешный исход операции, аккуратно читал газеты, но никаких сообщений из Мексики в них не находил.

А остальное Шарока не волновало. Глупости пишут французы, гонят от себя мысли о войне: театральные премьеры, скачки, выставки. На улицах, правда, много военных, вечерами действует затемнение, знаменитый шансонье Морис Шевалье исполняет новые патриотические песенки, иногда появляются немецкие самолеты, но не бомбят. Заказчики, которые приходили к хозяину Шарока, рассуждали, что немцы не сунутся за линию Мажино. Мол, не по зубам!

Однако немцы вторглись в Норвегию и Данию, а затем в Бельгию и Голландию и, обходя линию Мажино с северо-запада, устремились во Францию. Утром шестнадцатого мая стало известно: сопротивление французской армии сломлено, дорога на Париж открыта.

Началась паника. Через Париж с востока и севера страны шли толпы беженцев, толкая нагруженные пожитками тачки, тележки, детские коляски. Двигались старые машины с чемоданами, узлами, тюфяками, с кроватями и диванами на крышах, велосипеды с мешками на рамах, телеги, кареты, коляски, погребальные дроги, запряженные лошадьми, ослами, волами. Небо покрылось черным туманом. Одни говорят — на окраине горят склады мазута, другие — будто горит Руан, третьи уверяют, что это дымовая завеса.

Шарок зашел в свою контору, хозяин его, эльзасец, вместе с младшим сыном убирал прихожую. Обычно все делала Мари, их уборщица.

Оказалось, Мари взяла утром расчет — уезжает вместе с родными.

— Имею сообщить вам такую же печальную новость, — усмехнулся Шарок.

Кафе, в котором они часто ужинали, закрылось. На дверях замок, окна заколочены — евреи его держали, драпанули из Парижа.

— Ничего, скоро все образуется, — успокоил Шарока хозяин.

Голос был веселый.

Под словами «все образуется» следовало понимать, что немцы войдут в Париж.

Прихода немцев Шарок не боялся. В какой-то степени это даже облегчало его положение — союзники. В случае провала отдадут его Москве, не против Германии работал, против русских белогвардейцев. И пакт с Гитлером Шарок одобрял. Правильный ход. Нацистская Германия нам ближе, чем английские и французские плутократы.

13 июня стало известно, что немцы обходят Париж, отрезают его от остальной Франции. Над министерством иностранных дел взметнулись клубы дыма — сжигали архивы. На длинных черных машинах удирали в спешке высокопоставленные чиновники с работниками своего аппарата. На повороте Ке д'Орсей наперерез кинулись несколько подростков, толпа их подбадривала криками: «Негодяи, убегают, а нас бросили!», «Изменники!», «Предатели!» Вмешалась полиция, просила не мешать движению. Париж объявили открытым городом, войскам отдали приказ в бой не ввязываться.

Шарок поплелся домой. Жара дикая. Глотнуть бы где-нибудь холодного пивка, но кафе и магазины закрыты.

14 июня над городом пролетели немецкие самолеты, летели низко, были видны черные кресты на крыльях.

По радио передали приказ военного губернатора Парижа: жителям в течение сорока восьми часов из домов не выходить, за это время немцы закончат оккупацию города. Живущие в центре наблюдали из окон за парадным шествием немецких войск. У Триумфальной арки парад принимали фашистские генералы.

В последующие дни Шарок видел, как немецкие войска проходили через город, мотоциклисты — в коже и стальных шлемах, неподвижные, похожие на изваяния. Пехотинцы — в открытых машинах, у солдат плечи развернуты, подбородки подняты, на груди автоматы. Шарок удивился, как много солдат в очках — у нас на строевую службу близоруких не берут. И наконец, танки — устрашающе громыхали гусеницами по Елисейским полям, расползались по улицам, наполняя город дымом и лязгом. Да, силища!

Однако страх парижан быстро прошел. Немцы вели себя корректно. Солдаты, даже подвыпив, не задирали прохожих, горланили песни, гогоча, на пальцах договаривались с проститутками о цене.

Многие из тех, кто бежал из Парижа, возвращались, открывали дома, кафе, магазины. Конечно, поднятые над Ратушей, Триумфальной аркой и могилой Неизвестного солдата огромные флаги со свастикой задевали национальную гордость французов. И мимо здания Оперы парижане проходили с каменными лицами: на ступенях, как хозяева, расселись музыканты в серо-зеленых мундирах, играют свои немецкие марши. А Шарок несколько дней подряд ходил их слушать. Замечательные марши, создают настроение. И вообще Германия — могучая держава, Гитлер знает, чего хочет, а французы не знают — болтали в газетах, в Палате депутатов и доболтались. Эйтингон давно предсказывал, что немцы займут Париж, неужели окажется прав и в другом: Гитлер нападет на Советский Союз? Тогда плохо! С Германией воевать трудно, особенно когда Франция разбита, а англичане прячутся на своих островах. И война с Гитлером — это возврат к коммунистической говорильне, к «интернационализму», к «социалистическому отечеству», ко всем этим еврейским штучкам, ничего хорошего России это не сулит. Посмотрим, как все повернется.

А пока купил Шарок по дешевке немецко-французский словарь, подналег на немецкий. Словари навалом лежали на прилавках, так же как и путеводители по Парижу на немецком языке. Но особенно их не расхватывали, солдаты охотней покупали открытки с видом Эйфелевой башни и неприличные фотографии.

Русскую эмиграцию немцы не тронули. Шарок предполагал, что Сталин, выдавая Германии многих немецких коммунистов, потребует взамен хотя бы наиболее активных белогвардейцев. Неизвестно, просила ли Москва об этом, но ни одного русского не получила. А в материальном отношении немецкая оккупация оказалась для них даже благоприятна, немцы многим дали работу: шоферами, комендантами зданий, заведующими столовыми, знавшие немецкий язык служили переводчиками.

Шарок подумал, что и он мог бы устроиться к немцам, языком владеет прилично. Но команды работать у немцев не было.

В конце августа в газетах появились сообщения об убийстве Троцкого. Теперь Шарок еще тщательнее следил за газетами и наконец составил себе довольно полную картину проведенной акции.

Первое покушение было совершено еще двадцать четвертого мая большой группой, возглавляемой мексиканским художником Сикейросом. Оно оказалось неудачным. Парижские газеты о нем в то время не сообщали или сообщали мельком, и Шарок пропустил — на фоне вторжения немцев в страну событие было малозначительным.

Акцию удалось совершить Рамону Меркадеру, тому самому, который, опекаемый Шароком, жил в Париже под именем Жана Морнара, а затем под именем Франка Джексона отправился в Америку вслед за Сильвией Агелофф. Из всех вариантов удачным оказался тот, который готовил Шарок. И Шарок опять с горечью подумал, что никто об этом не вспомнит, лавры достанутся другим.

Из Америки Рамон и Сильвия направились в Мексику, где Рамон якобы занимался коммерцией, а Сильвия сотрудничала в секретариате Троцкого. Как жених Сильвии, Меркадер появлялся иногда в доме Троцкого, подружился с его внуком Севой, охрана к нему привыкла, пропускала беспрепятственно, Меркадер оказывал семье и ее гостям разные услуги, возил в магазины, а однажды на его машине совершили путешествие к Атлантическому побережью, четыреста километров проехали. Симпатичный, предупредительный молодой человек, не стесненный в средствах коммерсант. С самим Троцким Меркадер в контакты не вступал, близости не искал, держался почтительно, на расстоянии, как человек, далекий от политики.

Неожиданная просьба Меркадера прочитать какую-то его статью удивила Троцкого, но отказать жениху Сильвии — любимицы дома — он посчитал неудобным. Их первая встреча наедине состоялась семнадцатого августа, когда Меркадер принес Троцкому в его кабинет свою статью. Продолжалась она несколько минут. Троцкий сделал на рукописи кое-какие пометки и разрешил Меркадеру прийти через несколько дней с исправленным текстом.

Двадцатого августа Меркадер явился снова. В шляпе, с плащом на руке, хотя был жаркий день.

— Почему вы так тепло одеты? — удивилась жена Троцкого, Наталия Ивановна. — Погода солнечная.

— Это ненадолго, может пойти дождь, — ответил Меркадер.

Предложи она Меркадеру повесить плащ на вешалку, тут бы все и открылось. Меркадер плащ бы не отдал — в кармане лежали ледоруб и кинжал, она заподозрила бы неладное, вызвала бы охрану. И конец! А в том, что охранники не знали про ледоруб и кинжал, их винить нельзя: Троцкий запретил обыскивать людей, постоянно бывавших в его доме, внушил охране, что недоверие унижает человека.

Прочитав эти строки, Шарок усмехнулся. Вот такими представлениями жил «вождь и организатор Красной Армии». Потому и проиграл.

Не обратила внимание охрана и на то, что свою машину за оградой Меркадер заранее развернул так, чтобы побыстрее уехать. И вторая машина ждала его за углом, тоже прозевали, в ней сидели мать Рамона — Каридад и Наум Исаакович Эйтингон.

Вторая и последняя встреча также продолжалась несколько минут. Троцкий сел за стол и начал читать статью. Меркадер положил на край стола свой плащ, и, когда Троцкий наклонился, делая какую-то пометку на рукописи, Меркадер выхватил из кармана плаща ледоруб и обрушил его на голову Троцкого. Шарок представил себе силу этого удара: Меркадер был не только крепок физически, но и хорошо, конечно, натренирован. Расчет был на то, что такой сокрушительный удар сразит Троцкого мгновенно и Меркадер успеет выйти из дома и уехать.

Однако расчет не оправдался. Раздался отчаянный крик, Троцкий вскочил и бросился на Меркадера, тот его оттолкнул, Троцкий упал, но сумел подняться на ноги и, спотыкаясь, выбежал из комнаты. Тут же Меркадера схватили охранники и начали жестоко избивать рукоятками револьверов. Меркадер жалко выл:

— Они держат мою мать... Я был вынужден...

— Не убивайте его, — с трудом произнес Троцкий, — его надо заставить говорить.

Троцкий сохранил сознание и в госпитале. Перед операцией даже пошутил: «Завтра меня должен посетить парикмахер; теперь визит придется отложить».

Однако удар Меркадера оказался смертельным. Через двадцать шесть часов Троцкий скончался.

Долгожданную акцию наконец осуществили. Шарока только удивило, как грубо заметали следы. Советская версия, будто убийца — «одно из лиц ближайшего окружения Троцкого», рассчитана на внутреннее употребление. Но в кармане Меркадера нашли письмо о том, что Троцкий поручил ему поехать в Москву и убить Сталина. Такое поручение Меркадер не пожелал выполнять и был вынужден убить самого Троцкого. В Мексике смертной казни нет, самое большое наказание — двадцать лет тюрьмы, это наказание Меркадер получил бы при любой версии, так что можно было бы придумать что-нибудь поумнее. Впрочем, Эйтингону версия безразлична. Он выполнил задание Сталина и тем избег судьбы своего предшественника Шпигельгласа — сохранил себе жизнь.

Много позже узнал Шарок, что Эйтингон и Каридад восемь месяцев отсиживались на Кубе и в Калифорнии и вернулись в Москву через Китай в мае сорок первого года. Участники операции были щедро награждены высшими орденами, а Меркадеру секретным постановлением Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза.

8

Опять Казанский вокзал, на башне часы со знаками Зодиака, опять Каланчевская площадь, машины, трамваи, пассажиры с мешками и чемоданами, ларьки и киоски, суета и толчея. Нет только айсора — чистильщика сапог, и будки его нет.

Того чувства страха и униженности, которое испытывал Саша три года назад, приехав сюда после ссылки, сейчас не было. Спросят документы, пожалуйста, он в Москве транзитом, тран-зи-том, понятно? Вот билет. Грамотные? Читайте!

Обидно только, что маму не повидает. Поедешь к ней, заметят, начнут потом ее таскать, они, суки, все могут. А звонить — только расстраивать. Был в Калинине, потом в Уфе, теперь Рязань, почему, зачем? Позвонит ей из Рязани — нашел лучшую работу и к тебе ближе.

А в институт поедет. Обязаны выдать свидетельство об окончании института. Вот она, зачетная книжка, все предметы сданы, и отметки проставлены — отличник, только дипломный проект не защитил. А тем, кто не защитил диплом, выдают свидетельство об окончании теоретического курса. Некоторые ребята-москвичи нарочно не защищали дипломного проекта, чтобы после института не загнали на периферию, оставались в Москве и на работу устраивались: специалист хоть и не дипломированный, но с законченным инженерным образованием.

Зачем ему такое свидетельство, Саша не знал. В учреждение он работать не пойдет, там анкеты, отделы кадров. Опять шоферить! Для этого свидетельство не нужно. Самое лучшее — на танцах халтурить. Но нет Глеба, нет Семена. И Рязань — не Уфа, рядом Москва, научились, наверно, фокстротам. Надо искать что-то другое. В Уфе ему попадались ребята вроде него, перекати-поле, пробавлялись в разных экспедициях, подбирают туда с бора по сосенке, начальство далеко и «органы» далеко. Изыскания по строительству шоссейных дорог, например, чем плохо? Учился он на автодорожном, были у них курсы: «Шоссейные дороги», «Мосты», и геодезия была, и топография. Может ходить с теодолитом! Тогда свидетельство ему понадобится. А главное — положено! А положено, отдай!

На улице, в трамвае он вглядывался в лица людей. Обычная московская толпа, усталые, озабоченные, хмурые люди, настороженные и неприветливые. И почему-то неожиданно чужие. Впрочем, сам он здесь чужой, отлучили его от Москвы.

И знакомая Бахметьевская улица, и институт, где он проучился четыре года, были чужими. Семь лет тут не был, а никакого волнения не испытал, ничего не дрогнуло в сердце. Помнил только, как его исключали, топтали, терзали, издевались, стены, двери, лестницы, коридоры были отвратительны, и из столовой доносится все тот же противный запах прокисшей капусты. Зря пришел — опять видеть эти морды, просить, доказывать, унижаться. Нет, унижаться он не будет! А что положено, потребует.

Своего факультета Саша не нашел, преобразовали в отдельный институт, перевели на Ленинградское шоссе.

В дирекции на Сашину зачетную книжку даже не посмотрели.

— Идите в архив, пусть найдут ваше личное дело.

Архив по-прежнему в полуподвале, в тесном и плохо освещенном помещении. За столом, стиснутым шкафами, сидел желчного

вида высохший старик архивариус — потертый пиджак, черные нарукавники. Под глазами набрякшие мешки, и глаза такие же тусклые, как и лампочка, висевшая под потолком.

Саша изложил свое дело. Поступил в институт в тридцатом году, в начале тридцать четвертого года окончил теоретический курс, вот его зачетная книжка, все предметы сданы, дипломную практику не проходил, диплома не защищал, просит выдать ему свидетельство. Дирекция требует справку из архива.

Старик, опустив голову, слушал Сашу.

— Почему не защищали дипломный проект?

Он шепелявил, зубов, что ли, не хватает или вставная челюсть не держится.

— Уехал из Москвы по семейным обстоятельствам.

— А почему шесть лет не обращались за свидетельством?

— Надобности не было. И в Москву ни разу не приезжал.

— Дайте вашу зачетную книжку.

Старик перелистал зачетную книжку, тяжело, опираясь обеими руками на стол, поднялся и пошел к дальним шкафам, выдвинул узкий ящик, долго перебирал карточки, нашел наконец нужную, вернулся, сел, прочитал, посмотрел на Сашу, снова прочитал, протянул Саше.

Так, карточка его. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения все правильно, год поступления в институт — тоже правильно. Причина выбытия: «Как осужденный за антисоветскую, контрреволюционную деятельность».

Теперь старик смотрел не на стол, а на Сашу, и во взгляде его появилось что-то живое, сдержанно-заинтересованное, как показалось Саше, даже чуть насмешливое, мол, вот какие у тебя, оказывается, «семейные обстоятельства».

— Ну и что? — с вызовом спросил Саша.

— То есть... — не понял архивариус.

— Свидетельство выдают всем не защитившим диплом, независимо от причин, по которым они его не защитили.

Старик отвел от него взгляд, опять долго молчал...

— Выдаю не я, а дирекция. Туда я должен передать учетную карточку.

— Давайте, за этим я и пришел.

— На руки это не выдается, из дирекции за ней пришлют. — Он пожевал губами и добавил: — Мне уже трудно отсюда подниматься на третий этаж.

И, опять глядя на стол и не поднимая головы, сказал:

— Здесь указана причина вашего исключения.

— Это лишает меня права на получение свидетельства?!

— Директор... — начал старик и замолчал, затем повторил: — Директор будет думать не о *вашем* праве, а о *своем* праве. Вероятно, будет консультироваться, прежде чем выдаст вам такой документ.

Намек ясен. Директор передаст это в спецотдел, те позвонят в НКВД. Вот, мол, явился такой-то, ходит тут, требует. И старик

ставит перед ним ясный вопрос: понимает ли Саша, чем все может обернуться? Неужели в этом подвале, в этих мерзких казенных стенах он все же встретил человека?

— Вы в Москве живете? — спросил архивариус.

— У меня минус. В больших городах меня не прописывают.

— Я помню вашу историю, — сказал старик, — это было еще при Глинской, при Криворучко, вашим деканом был тогда, кажется, Янсон или этот... Лозгачев. — Он повернулся к Саше, и на лице его опять появилось что-то живое, сдержанно-заинтересованное и насмешливое. — Все оказались врагами народа, понимаете, какое дело, врагами народа оказались. А вы говорите — имею право.

Он опять уткнулся взглядом в стол.

— Когда вы должны уехать?

— Сегодня.

— Паспорт у вас есть?

— Есть.

— Покажите.

Перелистал паспорт, вернул Саше. Потом положил в папку Сашину карточку, зачетную книжку, опять, опираясь на стол, встал.

— Пойдемте.

Они поднялись на третий этаж в дирекцию. Старик шел медленно, держался за перила, подолгу стоял на каждой лестничной площадке. Саша хотел поддержать его под локоть, но старик отстранился.

Наконец добрались.

— Подождите тут.

Архивариус вошел в комнату, где висела табличка: «Отдел кадров».

Скамейки ни одной. Саша прохаживался по знакомому коридору, в конце на гипсовом пьедестале бюст Ленина, обрамленный красными знаменами, на стенках лозунги, доска приказов, институтская многотиражка, разные объявления...

Десять лет назад пришел он сюда впервые — сдал документы в приемную комиссию. Десять лет! Сейчас ему двадцать девять, тогда было девятнадцать. Вдалбливали им в голову тупые сталинские формулировки, главным учебником была книга Сталина «Вопросы ленинизма», они ее вызубривали наизусть — за ошибку можно было вылететь из комсомола. Уже наступили новые, иные времена: «железных мальчиков» революции сменили аккуратные «райкомовские мальчики» — послушные чиновники, бездушные исполнители.

Любопытные вещи сообщил ему архивариус. То, что Глинскую, Янсона и Криворучко должны были посадить, это ясно. Но Лозгачеву, карьеристу и приспособленцу, и тому влепили 58-ю статью! Больше всего Саше было жалко Янсона, его любили студенты, добрый, порядочный человек, сын латышского крестьянина, батрачил, пошел в революцию, на гражданскую войну, потом получил высшее образование, один из тех миллионов людей, кого революция подняла из низов, приобщила к культуре. Когда кто-нибудь

проваливал сессию, Янсон вызывал его к себе в кабинет «поговорить по душам».

— Страна о вас заботится, бесплатно учит, — и вставлял свое любимое, — дает возможность выбиться в люди, а вы этого не цените.

Чистый был человек.

Из отдела кадров архивариус прошел к директору. Саша посмотрел на часы. В отделе кадров старик пробыл ровно час, интересно, сколько пробудет у директора?

У директора архивариус пробыл полтора часа, долго же они ломают голову, а может быть, «консультируются» с кем положено. Выскакивала секретарша, входили какие-то люди, выходили, впрочем, могли являться к директору и не по его делу, а архивариус сидит в приемной и дожидается.

Он появился, посмотрел на Сашу, ничего не сказал, опять направился в отдел кадров. Что-то исправляли или уточняли, подумал Саша, глядя, как старик снова возвращается к директору.

Саша терпеливо ждал. Получится — хорошо, не получится — черт с ними! Значит, номер не удался. Жил без свидетельства, еще проживет.

Наконец старик вышел, протянул Саше зачетную книжку:

— Так, это ваше.

Протянул бланк:

— И это ваше.

Свидетельство настоящее, отпечатанное в типографии. Сашина фамилия, имя, отчество, даты поступления и окончания, предметы и оценки были, как положено, вписаны черной тушью. Но в самом конце, после фразы «Дипломный проект не защитил», стояло: «Ввиду его ареста».

— Это все, что я мог для вас сделать.

Безусловно, приписку об аресте приказал сделать директор. Плевать! Согнет бланк в этом месте, приписка со временем сотрется.

Саша с благодарностью смотрел на старика.

— Спасибо вам большое, скажите мне на прощание, как вас зовут?

— А зачем? Будьте здоровы, всего вам хорошего.

Повернулся и стал спускаться по лестнице.

Саша вышел из института. Отсюда на вокзал, а там в Рязань. Что ждет его в Рязани? В институте повезло, может, и в Рязани повезет?

9

Итак, своими маршалами и генералами Сталин мог быть доволен: исполнительные, послушные, в политику не лезут, из его разговора с Василевским поняли, что ему известна подноготная каждого.

Не совсем ясны действия Германии. Разместила свои войска в Румынии и в Финляндии, подписала с Японией и Италией «Пакт трех». Япония стала военным союзником Германии, а у СССР в случае войны на западе появится второй фронт на востоке.

В ответ на запрос Молотова Риббентроп предложил Советскому Союзу присоединиться к «Пакту трех», превратить его в «Пакт четырех». Однако это втягивало Советский Союз в военный конфликт с Англией и США, к чему СССР не был готов. Решено было начать длительные дипломатические переговоры, чтобы выиграть время.

12 ноября Молотов приехал в Берлин, дважды встречался с Гитлером. Гитлер в длинных речах заверял, что в ближайшее время Англия будет разбита, Германии и Советскому Союзу вместе с Японией и Италией предстоит разделить британское наследство. Попытки Молотова заговорить о германских войсках в Финляндии и Румынии, о черноморских проливах, о положении на Балканах Гитлер отводил, не слушал, по-прежнему разглагольствуя о глобальном разделе мира.

Беседы с Гитлером ничего не дали. Провожая Молотова, Риббентроп сказал:

— Основной вопрос заключается в том, готов ли Советский Союз сотрудничать с нами в деле ликвидации Британской империи. Все остальное является абсолютно незначительным.

Надо было реагировать на эти слова. И опять было решено тянуть с ответом, а тем временем самостоятельно урегулировать отношения с Японией. Япония готовилась к броску на Индонезию, Малайю, Сингапур, Бирму, естественно, ей нужно обезопасить себя со стороны СССР.

13 апреля 1941 года в Москве между СССР и Японией был заключен пакт о нейтралитете. Сталин торжествовал. Опять ОН показал Гитлеру, что разгадал его замысел. Некоторые шаги Гитлер предпринимает, проверяя ЕГО реакцию. Этакая игра в шахматы, где фигуры — народы и страны. И каждый его ответный ход наверняка вызывает у Гитлера восхищение: достойный соперник, достойный союзник.

Когда подписавший договор японский министр иностранных дел Мацуока уезжал из Москвы, поезд на Ярославском вокзале был задержан. Провожать Мацуоку прибыл сам Сталин. Случай единственный в истории советского государства. До этого Сталин никогда не встречал и не провожал иностранных представителей. На перроне Сталин положил руку на плечо Шуленбургу и, обращаясь к Мацуоке, торжественно произнес: «Мы должны оставаться друзьями и сделать для этого все». И германскому военному атташе Кребсу, пожав руку, сказал сердечно: «Мы остаемся друзьями».

После этих церемоний поезд тронулся, и Мацуока, сидя в своем салон-вагоне, мог спокойно обдумать сложившуюся ситуацию, о которой Сталин, несмотря на свою мощную разведку, ничего, видимо, не знал и ни о чем не догадывался. Будучи перед подписа-

нием договора в Берлине, Мацуока встретился с Гитлером, и тот ему объявил: «Через несколько месяцев с СССР как с великой державой будет покончено». Тогда же Мацуока информировал Риббентропа о возможном заключении пакта с СССР, никаких возражений Риббентроп не высказал. Значит, Гитлеру не нужен союзник против СССР, надеется с ним справиться сам.

Вспоминал Мацуока также свой визит к начальнику штаба Красной Армии генералу Жукову. Просьба о таком визите была неожиданна для советской стороны, но Мацуока счел этот визит необходимым. Неужели Сталин и Молотов не осведомлены о предстоящем германском нападении? Прожженные политики могли разыграть перед ним любой спектакль. Жукова будет легче разгадать. О чем может думать начальник Генштаба накануне войны? Естественно, только о войне. Как потом Мацуока докладывал в Токио, перед ним предстал солдат, неумело, по приказу свыше, пытался быть любезным, признался, что никогда не был за границей, но много читал о Германии, Италии и Англии, примитивно рассуждал о том, что страну легче узнать не по книгам, а при личном посещении. Но, известно ли Жукову о предстоящем нападении Германии, Мацуока так и не понял.

Сталин был доволен подписанием пакта с Японией: у Советского Союза второго фронта нет, а у Германии есть — Англия. И пока Гитлер с ней не справится, он на СССР не нападет. Конечно, если не давать ему повода, если укреплять их с Гитлером доверие и симпатию. Для этого он должен делать политику сам, как официальный глава государства. В начале мая Сталин возглавил правительство, стал Председателем Совета Народных Комиссаров. Молотов остался наркомом иностранных дел.

Как и прежде, Сталин не верил ни одному сообщению о готовящемся нападении Германии на Советский Союз — все это мелкие, пешечные ходы на шахматной доске. Даже тугодум Молотов и тот сказал на заседании Политбюро:

— На разведчиков полагаться нельзя. Разведчики могут толкнуть на такую опасную позицию, что потом не разберешься. Провокаторов там и тут не счесть.

Правильно сказал. Половина наших зарубежных агентов перевербована и сообщает то, что нужно их хозяевам. Не случайно многие отказываются возвращаться и переходят на сторону врагов.

Однако не только разведчики, но и командиры наших войск сообщают о концентрации немецких частей на новой границе СССР, о непрерывном движении к ней эшелонов с танками, артиллерией, машинами и оружием, о нарушениях границы, о постоянных полетах немецких разведывательных самолетов в глубь советской территории. Многие командиры выражают недоумение: почему им запрещено отражать эти провокации? Даже Жуков посмел обратиться к НЕМУ с таким вопросом.

Сделав Жукову за это нагоняй, Сталин все же как глава правительства в личном послании Гитлеру написал, что концентрация немецких войск на советской границе ЕГО удивляет, создается впе-

чатление, что Германия собирается воевать с Советским Союзом. На это Гитлер тоже в личном письме Сталину незамедлительно, и как он подчеркнул, доверительно написал, что сведения у господина Сталина верные, в Польше действительно сосредоточены крупные воинские соединения, но они не направлены против Советского Союза, он, Гитлер, будет строго соблюдать заключенный пакт, в чем ручается своей честью главы государства. Причина же в том, что территория Германии подвергается сильным английским бомбардировкам, хорошо наблюдается англичанами с воздуха, поэтому он и вынужден был отвести войска на восток. Он, Гитлер, надеется, что эта информация не пойдет дальше Сталина.

Ответ искренний, дружеский, убедительный и, главное, соответствует ЕГО убеждению в том, что нельзя доверять разведчикам.

Однако приехавшего из Берлина в Москву советского посла Деканозова пригласил к себе германский посол Шуленбург и за обедом в присутствии советника посольства Хильгера сказал:

— Господин посол, может быть, этого не было в истории дипломатии, но я собираюсь передать вам государственную тайну номер один. Известите господина Молотова, а он, надеюсь, проинформирует господина Сталина, что Гитлер принял решение: двадцать второго июня начать войну против СССР. Вы спросите, почему я это делаю? Я воспитан в духе Бисмарка, а он всегда был противником войны с Россией.

Доложили об этом Сталину. На заседании Политбюро Сталин сказал:

— Будем считать, что дезинформация уже на уровне послов.

Члены Политбюро согласились, что дезинформация действительно пошла на уровне послов.

Теперь сообщения разведки и донесения командиров пограничных частей вызывали у Сталина только раздражение.

Советский разведчик в Японии Рихард Зорге, по кличке «Рамзай», передал в Москву фотокопию телеграммы Риббентропа германскому послу, где было сказано, что нападение Германии на СССР запланировано на вторую половину июня.

О том же через своего посла предупредил Сталина Черчилль.

11 июня сотрудник германского посольства в Москве Герхард Кегель донес, что из Берлина получен приказ уничтожить секретные документы посольства и приготовиться к эвакуации в недельный срок.

12 июня советский разведчик в Швейцарии Радо предупредил: «Нападение произойдет на рассвете в воскресенье 22 июня».

Однако 14 июня в газетах и по радио советскому народу было официально сообщено: «Германия неуклонно соблюдает условия советско-германского Пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы».

15 июня из Японии от Зорге была получена новая телеграмма: «Нападение произойдет на широком фронте на рассвете 22 июня».

В тот же день к Сталину явились Тимошенко и Жуков и вручили пачку последних донесений о предстоящем нападении Гитлера.

Сталин их бегло перелистал, небрежно бросил на стол, показал на другую папку:

— Вся эта галиматья мне уже доложена. Более того, сегодня один наш мудак, который в Японии обзавелся заводиками и публичными домами, соизволил даже сообщить дату германского нападения — двадцать второго июня. Прикажете ему верить? Идите и занимайтесь своим делом. И строго запретите вашим подчиненным паниковать. Вот командующий Западным военным округом Павлов присылает уже третью телеграмму: «Разрешите занять полевые укрепления вдоль госграницы». Вам не кажется, что генерал Павлов хочет спровоцировать войну?

Решился ответить Жуков:

— Товарищ Сталин, у нас нет оснований подозревать генерала Павлова. Проверенный человек. Конечно, осторожный, предусмотрительный.

— Под предлогом осторожности можно хорошо послужить врагу, — перебил его Сталин, — если Павлов позволит себе любое самовольное действие, вы за это ответите головой. «Предусмотрительный»! Павлов предусмотрительный, а правительство и Центральный Комитет партии не предусмотрительны?

Тимошенко и Жуков молчали.

— Так вот, — сурово проговорил Сталин, — категорически запретите Павлову даже посылать такие телеграммы. Объясните ему, если он не понимает: выдвижение войск может только спровоцировать немцев.

16 июня поступило сообщение секретной агентуры из Германии: «В Дрездене состоялось совещание 2500 лиц, назначенных возглавлять различные ведомства на оккупированной советской территории». И назывались фамилии будущих бургомистров Москвы, Петербурга, Киева, Минска, Тифлиса.

Сталин приказал вызвать к нему наркома госбезопасности Меркулова и начальника разведуправления Фитина. Те приехали в Кремль через несколько минут. Сталин не пригласил их сесть, и они стояли у двери.

Прохаживаясь по кабинету, не называя Фитина ни по имени, ни по фамилии, Сталин сказал:

— Начальник разведки, доложите, что за источники это сообщают, их надежность и какие у них есть возможности для получения таких секретных сведений.

Фитин подробно рассказал о каждом агенте.

Выслушав, Сталин долго ходил по кабинету, потом сказал:

— Вот что, начальник разведки. Нет немцев, кроме Вильгельма Пика, которым можно верить. Ясно?

Подошел к столу, наклонился, снова перечитал донесение, что-то написал на нем и передал его Фитину:

— Идите, еще раз все перепроверьте и все доложите мне.

Выйдя из кабинета Сталина, Меркулов и Фитин прочитали резолюцию Сталина:

«Можете послать ваш источник из штаба германской авиации к е... матери. Это не источник, а дезинформатор».

Меркулову и Фитину не пришлось ни перепроверять, ни посылать кого-то к такой-то матери.

21 июня границу перешел немецкий солдат Альфред Лисков и заявил, что немецкая армия начнет наступление завтра в четыре часа утра. Артиллерия заняла огневые позиции, танки и пехота — исходное положение для наступления.

Об этом доложили Сталину. Он приказал Тимошенко, Жукову и Ватутину немедленно явиться к нему. Они явились. В кабинете за столом уже сидели члены Политбюро.

— А не подбросили ли немецкие генералы этого перебежчика, чтобы спровоцировать конфликт? — спросил Сталин.

— Нет, — уверенно ответил Тимошенко, — мы считаем, что перебежчик говорит правду.

— Что же будем делать? — спросил Сталин.

Жуков зачитал проект директивы о приведении всех войск на границе в полную боевую готовность и решительном отражении любого нападения.

Сталин перебил его:

— Преждевременно давать такую директиву. Будем пытаться все уладить мирным путем. Наши войска не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений.

Военные ушли готовить новую директиву. Члены Политбюро уже под утро разошлись по домам. Сталин уехал на дачу.

Разбудил Сталина стук в дверь.

— Товарищ Сталин, генерал армии Жуков просит вас по неотложному делу к телефону.

Сталин взял трубку.

— Слушаю.

— Товарищ Сталин, — доложил Жуков, — только что немецкие самолеты бомбили Минск, Киев, Вильнюс, Брест, Севастополь и другие города.

Сталин молчал.

— Вы меня поняли, товарищ Сталин?

Сталин не отвечал.

— Товарищ Сталин, вы меня поняли? — опять переспросил Жуков. — Вы меня слышите, товарищ Сталин? Алло, алло! Товарищ Сталин, ответьте, пожалуйста, вы меня слышите?

Глухим, осипшим голосом Сталин наконец произнес:

— Приезжайте с Тимошенко в Кремль. Передайте Поскребышеву, пусть явятся все члены Политбюро.

Так в четыре часа утра 22 июня сорок первого года Германия напала на Советский Союз, который не был готов к войне и потерял в ней двадцать семь миллионов своих сынов и дочерей.

10

Бледный, невыспавшийся, Сталин вошел в свой кремлевский кабинет. Члены Политбюро уже ждали его. Выглядят спокойными, притворяются. Мол, пока товарищ Сталин с нами, все образуется. Пусть притворяются, что они еще умеют делать?

Рухнула политика, такая ясная, дальновидная, годами выношенная, единственно приемлемая для него и для Гитлера. Кто ее разрушил? Сам Гитлер? Это невозможно. В Берлине государственный переворот? Купленные английскими плутократами немецкие генералы развязали войну, мошенник Черчилль отвел удар от себя? Требуется ясность.

— Надо позвонить в германское посольство, — сказал Сталин.

Молотов подошел к телефонному столику, переговорил с кем-то, не опуская трубки, обернулся к Сталину:

— Германский посол просит принять его для срочного сообщения.

Молотов вопросительно смотрел на него. Считает, конечно, что Шуленбурга должен принять товарищ Сталин. Нет, Сталин с ним разговаривать не будет, объясняться по *такому* поводу не намерен, выслушивать от немца *такое* сообщение не желает.

— Прими его, — сказал Сталин.

Молотов положил трубку и ушел в свой кабинет.

Явился генерал Ватутин, доложил: после артиллерийской подготовки немцы перешли в наступление по всей линии Западного и Северо-Западного фронтов. Но ЕГО этот маневр не обманет. Если действительно война, то немцы отвлекают наше внимание от юга, там они готовят главный удар.

Вернулся Молотов.

— Ну что? — спросил Сталин.

— Германия объявила нам войну.

Сталин встал, прошел в дальний угол кабинета, остановился у окна. Значит, не генералы, не заговорщики, не британские агенты. Слезливый подонок Гитлер обманул его. Ослеплен победами в Европе. Но Советский Союз не Европа, Советский Союз — шестая часть планеты, пусть прогуляются по России немчики в своих шинелишках и пилоточках. ОН не хотел войны. Но ЕГО вынудили, ОН будет воевать.

Поднялся Жуков.

— Генеральный штаб предлагает немедленно обрушиться на противника всеми силами, которые есть в приграничных округах, и задержать его дальнейшее продвижение.

Сталин молчал.

Тимошенко лучше Жукова знал Сталина и потому уточнил:

— Не задержать, а уничтожить.

Сталин кивнул:

— Давайте директиву.

Военные вышли.

— О войне надо сообщить народу, — сказал Сталин и поглядел на Молотова, — готовь выступление!

Наступило тягостное молчание. Все были убеждены, что Сталин сам выступит.

— Товарищ Сталин, — отважился Вознесенский, — в такой ответственный исторический момент народ должен прежде всего услышать вас.

— Какая разница, от кого услышит?! От председателя Совнаркома или от его заместителя? Народ знает Молотова.

— Поднять народ на оборону страны может только товарищ Сталин, — сказал Каганович.

— Народ не поймет, почему не выступает сам Сталин, — добавил Микоян.

— Народ поймет, что началась война, а это главное, — ответил Сталин.

— Все же лучше бы выступить товарищу Сталину. — И Калинин туда же, затряс бороденкой. — Конечно, товарища Молотова знают, но народ должен услышать голос своего вождя, вождя партии и государства.

Хотят вытолкнуть его вперед, а сами будут стоять за его спиной. Не могут сообразить, что с е й ч а с ему нечего сказать, он должен не с о о б щ и т ь, а объяснить, почему после заверений, что войны не будет, она все же началась, это объяснение надо продумать. Через несколько дней, когда враг будет отброшен, когда Красная Армия нанесет ему мощные удары и погонит его назад, тогда ОН выступит.

Сталин нахмурился:

— Товарищ Молотов много раз выступал перед народом, много говорил о германских делах. Его выступление будет логичным и понятным для народа. Пиши свое выступление, Вячеслав!

Наконец Молотов зачитал текст выступления. Сталин внимательно слушал. Выступление Молотова будет ЕГО обращением к человечеству и к истории: пусть знают, как честно вел себя ОН и как вероломно поступил Гитлер.

И потому в разных местах обращения он велел добавить такие фразы:

«Без предъявления каких-либо п р е т е н з и й германские войска напали на нашу страну».

«Несмотря на то, что советское правительство со всей д о б р о с о в е с т н о с т ь ю выполняло все условия договора».

«Германское правительство не могло предъявить ни одной п р е т е н з и и к СССР».

«Ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границ».

И хотя обращение кончалось призывом: «Еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашего великого вождя товарища Сталина», — и словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — оно звучало, как и хотел Сталин, обвинением Гитлера в коварстве и вероломстве.

Никто из членов Политбюро не посмел возразить против сталинских поправок.

Между тем с границ поступали тревожные сообщения. Враг продвигался на западе и северо-западе, но Сталин по-прежнему был убежден, что это отвлекающий маневр, главный удар Гитлер нанесет на юге, и потому приказал Жукову:

— Вылетайте немедленно в Тернополь, в штаб Юго-Западного фронта.

— А кто же будет руководить Генштабом в такое сложное время?

— Оставьте за себя Ватутина, — сказал Сталин и раздраженно добавил: — Не теряйте времени, мы тут как-нибудь обойдемся.

Жуков вылетел в Киев и вечером был в Тернополе. Тут же ему позвонил Ватутин и прочитал директиву Сталина: войскам перейти в контрнаступление с разгромом противника и выходом на его территорию. Под этой директивой нужна подпись Жукова как начальника Генштаба.

— Какое контрнаступление? — закричал Жуков. — Надо разобраться в обстановке, подождите до утра.

— Согласен с вами, — ответил Ватутин, — но дело решенное.

Ни о каком контрнаступлении не могло быть и речи. К обороне советские войска не были готовы. На фронтах царил хаос. По приказу Сталина вооружение со старой границы сняли, а на новую границу еще не поставили. Ведь, как сказал товарищ Сталин, Гитлер нападет только в будущем году и главный удар попытается нанести на юге. Гитлер же напал в этом году и главный удар нанес на западе, где имел пяти-, шестикратное превосходство. И за несколько дней до войны Сталин запретил командующему Западным фронтом Павлову даже занять полевые укрепления вдоль границы. Вздорная, нелепая директива, но возражать Сталину Жуков не посмел.

— Хорошо, ставьте мою подпись.

Ватутин опять появился в кабинете Сталина, доложил: немецкие танковые колонны недалеко от Минска.

— Что вы путаете? За пять дней противник прошел двести километров?

— Да, товарищ Сталин, Западный фронт прорван.

Сталин ударил кулаком по столу.

— Вот как Генеральный штаб руководит войсками! Узнаете о положении на фронте, когда враг подошел к Минску! Завтра придете и скажете, что он уже под Москвой! — Сталин отшвырнул карту. — Заберите свои филькины грамоты и через два часа представьте мне точное расположение наших и немецких войск на всех фронтах.

Немцы возьмут Минск?! В это невозможно поверить! Может быть, к Минску прорвалось несколько немецких танков, а в Генштабе запаниковали?

Сталин позвонил в Тернополь Жукову.

— Товарищ Жуков! На Западном фронте сложилась тяжелая обстановка. Противник подошел к Минску. Непонятно, что происходит с Павловым. Выезжайте в Москву.

Ночью перед Сталиным навытяжку стояли Тимошенко, Жуков и Ватутин, осунувшиеся, с красными от бессонницы глазами.

Сталин бросил на стол карту Западного фронта.

— Подумайте вместе и скажите, что можно сделать.

На следующий день, 28 июня, Минск пал. За шесть дней немцы разгромили десятки советских дивизий, взяли в плен семьсот пятьдесят тысяч красноармейцев, захватили технику и военные склады. В первый же день войны уничтожили тысячу двести самолетов, из них восемьсот на земле, даже не дав им подняться в воздух.

Это была катастрофа. Через три дня они будут в Смоленске, еще через три дня — в Москве...

Сталин сидел в кабинете один. Телефоны молчали. Куда все подевались? Торчали тут за столом, пили, ели, рассуждали и вдруг испарились, исчезли. Обдумывают, как спасти свою шкуру! Сговариваются, как свалить на него поражение, хотят сделать его козлом отпущения! Сволочи! Мерзавцы! А они где были? Молотов уверял, что немцы не нападут, расписывал свои встречи с Гитлером, Герингом и Риббентропом... Нарком иностранных дел называется! А маршалы и генералы? Почему не настаивали, не доказывали свою правоту? Обманывали, втирали очки, вводили в заблуждение, не приняли должных мер к обороне. Да, ОН требовал осторожности, но осторожность не означает бездействия. Сейчас явятся, начнут выкладывать свои претензии, арестуют, протащат по московским улицам, отдадут на растерзание озверелой толпе. Скорее, скорее из этой мышеловки.

Сталин нажал кнопку звонка. Подождал. Никто не является. Неужели и Поскребышев сбежал?

Сталин подошел к двери, прислушался. Все тихо. Удрал Поскребышев! Заглянул в приемную. Пусто. Так и есть, сбежал, мерзавец! Подошел на цыпочках к следующей двери, опять прислушался — в коридоре ни звука. Взялся за ручку двери, но не успел нажать — дверь неожиданно отворилась. Сталин отпрянул. Перед ним стоял Поскребышев с бумагами в руках, удивленно смотрел на него.

— Машину! На дачу! — прохрипел Сталин.

11

Машины промчались по ночной Москве. С заднего сиденья Сталин смотрел в спины водителя и охранника, сжимал в кармане френча пистолет. Чуть отодвинул край занавески, но за окном

ничего не было видно, Москва затемнена. На перекрестках мелькали чьи-то фигуры, наверное, милиционеры-регулировщики.

Отворились ворота, машина подъехала к дому, охранник открыл дверку. На даче, в караулке, во дворе — ни огонька. Темно, мрачно. Сталин быстро прошел к себе, зажег свет, на окнах висели синие шторы затемнения, но в комнате проветрено, есть чем дышать. Все же он приоткрыл форточку, хотелось больше воздуха.

Вошла Валечка, справиться насчет ужина: что подавать? Увидела приоткрытую форточку, забеспокоилась:

— Комары на свет налетят, Иосиф Виссарионович, спать вам не дадут, покусают. Ужасть, сколько комаров в этом году.

Он нетерпеливо дернул плечом: болтает, болтает.

— Ужин потом, скажи Власику, пусть зайдет.

И опустился в кресло, закрыл глаза.

Неужели все потеряно? Великие люди кончали жизнь на гребне успеха, на вершине славы, потому они и бессмертны. Наполеон потерпел поражение после того, как покорил Европу, и остался в памяти человечества величайшим полководцем. Робеспьер, мелкий адвокат, якобинец, неудачливый террорист, погиб на гильотине. Неужели и ЕГО ждет такой бесславный конец?! «Соратники» свалят на него неудачи войны, оклевещут, опозорят, инсценируют народный гнев, спровоцируют толпу на расправу.

За спиной послышался шорох.

Он испуганно оглянулся. В дверях стоял Власик.

— Ты что... твою мать, крадешься, как мышь, — прошептал Сталин.

— Вызывали, товарищ Сталин? — растерянно пробормотал Власик.

— Никого не принимать, к телефону не звать! — приказал Сталин.

— Слушаюсь!

— Иди!

Сталин снова закрыл глаза, ему казалось, он дремал, потом пробуждался. Как, почему это произошло? Он создал государство незыблемое, на века, уничтожено все, что могло угрожать его существованию, его будущему, выжжено до основания, дотла, истреблена даже способность к инакомыслию. Выросли новые поколения, не знающие и не желающие знать никакой иной идеи, кроме привитой им с детства, поколения, для которых советское государство — самое лучшее, самое справедливое, идеальное, а все остальные — несправедливые и враждебные, они не желают знать никакого иного образа жизни, кроме советского. Неужели пять миллионов немецких солдат смогут покорить двести миллионов т а к и х людей?! Неужели может рухнуть могучая империя, основанная на энтузиазме и беспрекословном подчинении, на страхе перед вождем и на беззаветной любви к нему? И все же Гитлер вонзается в страну, как нож в масло, за шесть дней дошел до Минска, двигается дальше, солдаты сдаются в плен, командиры бездействуют.

ОН услышал вдруг в коридоре грохот сапог... Идут?! Идут заговорщики! Арестуют его или придушат, как придушили Павла Первого.

Сталин вскочил с кресла.

Дверь открылась. В дверях стоял Власик, бросил ладонь к козырьку фуражки.

— Разрешите доложить?

Сталин испуганно смотрел на него. Кто там за его спиной?! Никого за спиной Власика не было.

— Ты что... твою мать, топаешь, как слон?!

— Разрешите доложить, товарищ Сталин. Звонит генерал армии товарищ Жуков.

— Сказал ведь: ни с кем не соединять!

— Слушаюсь, товарищ Сталин!

Власик по-солдатски повернулся, вышел.

Жуков звонил... Что ему нужно, Жукову? Хочет сообщить, что немцы взяли Смоленск, что немцы под Москвой?! Начальник Генерального штаба бездарный! ОН и его охрана будут биться до конца, а последний патрон для себя. Лучше, чем быть растерзанным толпой. Или, того хуже, оказаться у Берии, в его подвалах на Лубянке. «Соратники» могут договориться с Гитлером, отдать Украину, Белоруссию, Прибалтику, Кавказ с бакинской нефтью, лишь бы сберечь свою шкуру, а ЕГО сделают виновником поражения, костоломы будут мучить в лубянских подвалах, выбивая показания, что он предал Советский Союз. Берия переметнется мгновенно, старый провокатор!..

Он представил себя голым, истерзанным, на каменном полу. При одной мысли о пытках и мучениях его чуть не стошнило. Не посмотрят, что он, в сущности, старик, ему уже за шестьдесят. Кто это жаловался, что его, с т а р и к а, били... Многие жаловались, писали, но именно эти слова запомнились... «Меня, с т а р и к а, били...» Мейерхольд писал, режиссер, народный артист, расстрелянный в прошлом году.

Сталин встал, подошел к шкафу, выдвинул ящик, вынул папку, где хранились письма, которые он не отдавал в архив, иногда и перечитывал. Десятка полтора-два из того миллиона писем, которые писали ему осужденные на смерть.

Была здесь «мольба о прощении» Бухарина, написанная им за несколько часов до расстрела:

«В моей душе нет ни слова протеста. Я должен бы быть десять раз расстрелян за мои преступления. Я стою на коленях. Разрешите новому Бухарину жить. Этот жест пролетарского великодушия будет оправдан». Вот ведь как писал.

Ежов:

«Судьба моя очевидна, жизнь мне, конечно, не сохранят... Прошу одно — расстрелять меня спокойно, без мучений... Передайте Сталину, что умирать я буду с его именем на устах...»

Были здесь письма и других расстрелянных членов Политбюро. ОН хранил их для истории — пусть знают: казненные были ви-

новаты, это они писали перед смертью, а перед смертью не лгут.

Письмо Мейерхольда было адресовано не ему, Молотову. Берия доложил, что такое письмо Молотову передано, он и спросил у Молотова:

— Тебе Мейерхольд писал?

— Писал.

— Что писал?

В ответ Молотов передал ему письмо. Оно попало в эту папку. Взял с делами на дачу, так здесь и осталось? Или слова «меня, старика, били» запомнились?..

Сталин вынул из папки письмо Мейерхольда, перечитал:

«Меня здесь били, больного шестидесятилетнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновыми жгутами били по пяткам, по спине, по ногам... И когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что казалось, что на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток... Этой резиной меня били по лицу, размахами с высоты... Я кричал и плакал от боли... Лежа на полу лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться, корчиться и визжать, как собака, которую плетью бьет хозяин...»

Сталина снова чуть не стошнило. Нет, этого он с собой делать не позволит, этого он не допустит. Пусть его здесь убьют немцы. Впрочем, почему немцы его убьют? Зачем немцам его убивать? Кого из руководителей покоренных стран они тронули? Никого. Ни королей, ни президентов, ни премьер-министров. Во Франции маршал Петен — глава правительства. Ну и что же? Сохранил хоть часть Франции. А уйдут немцы, Петен окажется спасителем страны.

Главное — сохранить жизнь, уцелеть. Не дадут, изменники, предатели! Будут спасать свою подлую жизнь.

Он позвонил. В коридоре послышались шаги. Нормально наконец идет, болван. В дверях появился Власик, замер.

— Немцы забрасывают к нам парашютистов, — хмуро проговорил Сталин.

Власик таращил глаза, напряженно слушал.

— Парашютистов, — повторил Сталин, — переодеты в нашу форму, выдают себя за сотрудников НКВД, хорошо говорят по-русски.

Он помолчал, посмотрел на Власика, тот по-прежнему пучил глаза.

Сталин снова заговорил:

— Диверсионную группу могут выбросить сюда, чтобы обезглавить партию и правительство. Надо усилить охрану.

— Слушаюсь, товарищ Сталин, сейчас вызову еще войска.

— Нет! Никуда не звони, никого не вызывай! У тебя достаточно охраны. Надо повысить бдительность. Чтобы никто не мог сюда проникнуть. Понятно?

— Понятно, товарищ Сталин, будет выполнено.

— Иди!

Он снова сел в кресло, снова задремал, снова разбудил шорох. Но то был знакомый шорох — Валечка принесла ужин. Он что-то пожевал, есть не хотелось.

Валечка посмотрела на почти нетронутую еду, укоризненно покачала головой, все унесла. Перед уходом хотела закрыть форточку, знала: Иосиф Виссарионович не любит спать при открытых форточках. Но Сталин велел не закрывать.

Он снова дремал в кресле, надо бы лечь, но он боялся раздеваться. Только сапоги снял.

Так и просидел ночь, то задремывал, то пробуждался. Мысли по-прежнему путались, возникали, забывались. Только одна была отчетлива: двести миллионов. Двести миллионов. Двести миллионов. Неужели *такое* можно преодолеть? Если встанут все до единого, кто может сквозь это пробиться? Мужчины, женщины, дети, миллионы, миллионы, миллионы. Море людей, готовых по ЕГО приказу идти на смерть, — кто их может покорить?

Утром его разбудил птичий гомон на веранде. Раньше спал при закрытых форточках, ничего не слышал. Он встал, подошел к веранде, раздвинул шторы. За деревьями вставало солнце, забыл, что такое рассвет, теперь вспомнил.

Все тихо. И вдруг захотелось спать. Снова задернул занавески, лег на диван, укрылся кителем, мгновенно уснул.

Проснулся, посмотрел на часы. Половина первого. В доме, за окном все та же гнетущая тишина. Валечка принесла завтрак. Опять почти ничего не ел, велел убрать, уселся в кресле. И снова страх овладел им. Он не знал, что делается в стране, не включал радио — зачем, ничего утешительного не услышит и всей правды тоже не услышит. И ничего не хотел слышать. И ни о чем не мог думать, каждая мысль доставляла боль и страдание. Только одно сверлило мозг — двести миллионов, двести миллионов! Сквозь такую громаду Гитлер не продерется. Но ЕГО предали, предали, предали...

Наступил вечер. В углах столовой стемнело, он опять задремал.

Очнулся, услышав вдруг шум в коридоре.

Идут!

Хотел вскочить, взять пистолет. Но не было сил подняться. Закрыл глаза. И когда открыл, увидел перед собой Молотова, Ворошилова, Маленкова, Берию, Микояна и Вознесенского... Казалось, заполнили собой всю комнату, обступили со всех сторон.

— Зачем... Зачем пришли?.. — выдохнул Сталин.

— Коба, — сказал Молотов, — надо действовать. Страну надо поставить на ноги, создать могучий центр — Государственный Комитет Обороны, отдать ему всю полноту власти, передать ему функции правительства, Верховного Совета, Центрального Комитета партии. Во главе Государственного Комитета Обороны должен стать ты, Коба, твое имя внушит народу веру, силу, обеспечит руководство военными действиями.

Сталин молча слушал. Сознание постепенно возвращалось к нему. Эти люди без НЕГО ничего не могут, боятся брать власть, не способны даже толком предать. Они по-прежнему покорны ЕМУ и только ЕМУ, и народ покорен только ЕМУ. Смотрят на НЕГО, ждут ЕГО слова. Но сумел выдавить из себя только одно:

— Хорошо.

Теперь ОН смотрел на них. Да, они покорны ЕМУ, и народ покорен ЕМУ. Двести миллионов покорных ЕМУ людей. Вся дорога от Минска до Москвы будет выложена телами этих миллионов, немецкие танки не продерутся через горы трупов, немцы задохнутся в этом смраде, задохнутся в огне и дыму пожарищ. Париж был объявлен открытым городом, в России Гитлер не встретит открытых городов, все будет сожжено, разрушено и уничтожено — города, села, деревни, урожай на полях, заводы и фабрики, немцы не получат украинский хлеб и донецкий уголь, только кровь, кровь, кровь, Гитлер захлебнется в этой крови. Это будет кровь миллионов, десятков миллионов людей. Ничего, история простит это товарищу Сталину. Если же ОН проиграет войну, отдаст Россию во власть Гитлера, история не простит ЕМУ этого никогда.

Молчание прервал Берия:

— Я думаю, состав Государственного Комитета Обороны должен быть небольшим. Во главе товарищ Сталин, члены: Молотов, Ворошилов, Маленков, Берия.

— Хорошо, — опять проговорил Сталин и неуверенно добавил: — Может быть, включить Микояна и Вознесенского? — натолкнулся на них взглядом.

Берия возразил:

— Кто же будет работать в Совнаркоме, в Госплане? Пусть товарищи Микоян и Вознесенский занимаются делами правительства.

Вознесенский сказал твердо:

— Я думаю, ГКО должно состоять из семи человек. Я думаю, названные товарищем Сталиным лица должны войти в состав ГКО.

Что стоит за этими разногласиями? Чего они не могут поделить? Хитроумный Микоян с досадой произнес:

— Мне кажется, мы теряем время. Считаю спор неуместным. Пусть в ГКО будет пять человек. И у меня, и у Вознесенского и без того достаточно обязанностей.

Они не едины, они по-прежнему разобщены. Это хорошо.

Сталин натянул сапоги, встал, прошелся по комнате, шел медленно, немного вразвалку — затекли ноги в кресле за сутки. Подошел к веранде, стоял, смотрел на цветущий летний сад. Не оборачиваясь, сказал:

— Ну, что ж, это будет разумно, а там поглядим. Готовьте указ о создании Государственного Комитета Обороны. Какое завтра число? Первое июля. Завтра и опубликуйте.

Он по-прежнему смотрел на сад, на свой сад, на цветы, за которыми ухаживал, на лес, видневшийся за забором. Много садов будет теперь вытоптано, много лесов будет сожжено. Выжженную

землю, сожженные города и села, кровь и горы трупов — вот что получит Гитлер. Теперь ОН знал, что ОН должен сказать народу.

— После образования ГКО народ будет ждать выступления его председателя, — услышал он за спиной голос Молотова.

— Я выступлю по радио третьего июля, — ответил Сталин.

И все же Сталин волновался, садился голос, пил воду, и во всех репродукторах и радиоточках страны был слышен дребезжащий стук стакана о стекло графина. Впервые в жизни он произнес слова: «... Братья и сестры... К вам обращаюсь я, друзья мои...»

Конечно, он говорил неправду, будто причина неудач — внезапность нападения, будто лучшие дивизии врага разгромлены. Но главное было не это. Главным было объявление войны на истребление, войны на уничтожение...

«Наша страна вступила в смертельную схватку... Мы должны беспощадно бороться со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов... Не оставлять противнику ни одного килограмма хлеба... Ни одного литра горючего... Угонять весь скот... Все, что не может быть вывезено, должно, безусловно, уничтожаться... Создавать партизанские отряды, диверсионные группы для взрыва мостов, дорог, почт, телефонных и телеграфных проводов, поджога лесов, складов, обозов... Создавать невыносимые условия для врага, преследовать и уничтожать их на каждом шагу... Вперед за нашу победу...»

Если ЕМУ суждено погибнуть, ОН погибнет не один. С НИМ погибнет весь народ. До единого человека.

12

Война застала Сашу в Пронске — маленьком городке на юге Рязанской области. Работал шофером в геодезической экспедиции на строительстве новой шоссейной дороги. В воскресенье с утра жители городка высыпали на центральную площадь к репродуктору. Не у всех было радио, а у кого было, те надеялись здесь, на площади, принародно, узнать больше того, что услышат, сидя дома. Речь Молотова выслушали молча и разошлись молча. В тот же день в магазинах скупили всю соль, спички и мыло.

А на следующий день по главной улице Пронска маршировали призывники — парни, молодые мужчины, местные и из окрестных сел и деревень, в гражданской одежде, с узелками или заплечными мешками, рядом с колонной шли матери, невесты, жены, выглядывали своих, окликали, переговаривались.

Саша ездил по трассе на своей полуторке «ГАЗ-АА», собирал работников экспедиции с их материалами и инструментами. В деревнях стояли стон и вой — провожали ребят на войну. Местные власти пытались придать мобилизации «культурный вид» — с ми-

тингами, речами, но деревня провожала их по-старинному, по-русски — с плачем, песнями, плясками, водкой, обильной закуской. В общем, «последний нонешний денечек»...

С очередной партией изыскателей Саша возвращался в Пронск, помогал упаковывать хозяйство экспедиции.

В комнате весь день не умолкало радио. К сводкам с фронта относились недоверчиво. «Ожесточенные бои на Брестском направлении» означало, что Брест в руках врага. «Противнику удалось потеснить наши части» — значит наши отступают, или окружены, или уничтожены. «За сутки взято в плен пять тысяч германских солдат и офицеров» — где же такое могло произойти, если бои идут уже в районе Минска?! Это не наши берут в плен германцев, а германцы берут в плен наших.

В Рязани ввели светомаскировку, повесили на окна синие бумажные шторы, заклеили стекла, во дворах рыли щели, по улицам колоннами шагали призывники. Как и в Пронске, рядом шли матери, жены, сестры, в военкомате, отделениях милиции, школах занимались строевой подготовкой добровольцы. Саша позвонил маме, предупредил, что его скоро мобилизуют в армию. Мама говорила спокойно, понимала, что с войной начинается для Саши новая жизнь, то особенное, что сопровождало его, осталось в прошлом.

Зашел Саша к Евгению Юрьевичу, единственному человеку в Рязани, с кем поддерживал дружеские отношения. Был он ему приятен, напоминал своего брата Михаила Юрьевича, Сашиного арбатского соседа, такой же мягкий, интеллигентный, и похож на него: пенсне, редкие русые волосы, тот же тихий смешок, добрая улыбка. Любил музыку, сидел вечерами у большого радиоприемника, теперь приемник пришлось сдать, обходится, как и все, радиоточкой.

— Что, Саша, — говорил Евгений Юрьевич, — будем воевать?! Я попытался записаться в народное ополчение, не берут. — Он показал на пенсне. — Щели роем и на службе, и дома. Как думаете, помогут эти щели при бомбежке?

— Наверное, помогут.

— Меня поражает и утешает сплоченность народа. Столько несправедливо пострадавших, а перед лицом опасности забыли свои обиды. Газеты пишут, что немцы забрасывают в наш тыл шпионов, диверсантов, это, безусловно, так, но измены в России не будет. Ни в одной войне среди русских не было изменников.

— А если Гитлер распустит колхозы, освободит крестьян?

— Если Гитлер разрушит колхозы, он не получит хлеба. Пока будут делить землю, пока будут устраиваться, пройдет время. А Гитлеру хлеб нужен сейчас.

— Он может пообещать им землю.

— Милый Саша, если бы Ленин в семнадцатом году только обещал землю, обещал мир, он и неделю бы не удержался у власти.

Он дал все это в один день, одним декретом и потому выиграл. Обещаниям никто не верит. Нет, Саша, русский человек не потерпит захватчиков. Я думаю, наши руководители оценят это, будут больше доверять людям. Я, Саша, надеюсь, что после войны наступят новые, лучшие времена.

Саша слушал. Таково сейчас общее умонастроение: патриотическое, воинственное. И для него самого все отступает перед главным — надо защищать страну.

— Жду повестку из военкомата, — сказал Саша, — можно, я оставлю у вас кое-какие вещи, они не займут много места? Один чемодан и связка книг.

— О чем вы спрашиваете?! Ради Бога! Вернетесь, заберете. Только смотрите, возвращайтесь с победой!

— Постараюсь, — улыбнулся Саша.

Через неделю Саша получил предписание явиться в военкомат с паспортом и военным билетом.

Усталый, задерганный лейтенант забрал у Саши паспорт, положил в ящик, перелистал Сашин военный билет, разыскал его учетную карточку.

— Ваша гражданская специальность — шофер?

— Шофер.

— Водительские права есть?

Саша протянул ему права.

Лейтенант взглянул на них, даже в руки не взял, заполнил бланк повестки, вручил Саше:

— Предъявите на работе, получите расчет и все, что положено, а завтра... Завод «Сельмаш» знаете?

— Знаю.

— Туда и явитесь к восьми утра.

На заводе «Сельмаш» формировался автомобильный батальон. Начальник штаба раскрыл Сашины права, уважительно качнул головой:

— Водительский стаж одиннадцать лет. А образование?

В кармане у Саши лежало полученное в Москве свидетельство об окончании института с пометкой: диплом не защитил ввиду ареста. И Саша ответил:

— Незаконченное высшее.

— Где учились?

— В транспортном институте.

— Пройдемте к командиру батальона.

Командир батальона капитан Юлдашев, невысокий худенький татарин, прищурился, разглядывая Сашу.

— Почему институт не закончили?

— По семейным обстоятельствам.

— С какого курса ушли?

— С четвертого.

— Принимаем машины, требуются специалисты, грамотные люди. Поступите временно в распоряжение помощника по технической части, воентехника первого ранга Коробкова.

Саша сходил в баню, пропустил свою одежду через дезкамеру, на вещевом складе получил комбинезон, обмундирование еще не прибыло, выдали талоны на питание здесь же, в заводской столовой. Общежитие — большой пустой цех или склад, уставленный койками с голыми досками без матрасов, подушек, постельного белья.

— Выбирай любую, — сказал дневальный, — кто машину получил, спит в кабине, а тут свободно. Какие вещички есть, сдай в каптерку, целее будут.

Машины принимали во дворе.

Коробков, толстогубый неуклюжий парень в сапогах и комбинезоне, под которым виднелась гимнастерка с медными пуговицами и кубарями в петлицах, узнав, что Саша учился в московском транспортном институте, расплылся в улыбке:

— Слушай, а ведь мы с тобой однокашники!

Не хватало ему здесь однокашника! Впрочем, он чего-то не помнит такого Коробкова. Да и какое это имеет значение. Прошлая жизнь кончилась, началась новая.

— Наш факультет преобразовали в МАДИ — Московский автодорожный институт — и перевели на Ленинградский проспект, — продолжал Коробков. — Верчусь тут один, комбат у нас — бывший кавалерист, так что вся техника, как понимаешь, на мне. Вот только механик один помогает, опытный.

Он окликнул стоящего у машин пожилого человека в потертом пиджаке:

— Василий Акимович!

Тот, вытирая руки обтирочными концами, подошел.

— Познакомьтесь, красноармеец Панкратов, будет машины принимать.

— Принимай!

Василий Акимович скользнул по Саше безразличным взглядом и вернулся к машинам.

— Давай-ка не терять времени. — Минуя очередь ожидающих приемки машин, Коробков подошел к двум блестевшим свежей краской полуторкам. — Вот с этих и начинай...

Возле машин стоял мордастый парень в гимнастерке без петличек, перетянутый командирским ремнем, в щеголеватых хромовых сапогах, в такой форме ходят нынче ответственные работники, однако на боку брезентовая сумка, ремешок от нее перекинут через плечо вроде портупеи. По этой сумке Саша определил: снабженец.

— Ну что, Горторг, — кивнул ему Коробков, — нашел краску?

— Все сделано, как приказано, товарищ воентехник первого ранга, — молодцевато отрапортовал снабженец.

— Я эти машины смотрел позавчера, — пояснил Коробков, — приличные машины, но вид был безобразный, я велел покрасить, отговаривались — краски нет. А вот достали. Достали, Горторг?

— Родина требует, страна должна дать, — ухмыльнулся снабженец.

— Ладно, Панкратов, действуй, — сказал Коробков, — я пошел.

Саша приказал шоферу завести мотор и поднять капот.

— Слушай, начальник, помпотех уже осматривал машины, — начал снабженец, — признал исправными.

— Теперь я посмотрю.

Саша прослушал мотор на разных оборотах, махнул рукой шоферу: глуши!

— Машину принять не могу, мотор стучит, — сказал Саша, опуская капот.

Вторую машину Саша тоже забраковал — большой люфт руля, передок разболтан, надо перетянуть.

— А где новые шкворни достанешь? — возразил шофер.

— Ваша забота.

— Придирки строишь, начальник, — угрюмо произнес снабженец и направился в штаб, видимо, пошел жаловаться Коробкову.

Ни одной машины Саша в этот день не принял: неисправности, лысая резина, не покрашены, слабые аккумуляторы.

Неприятное занятие! Одни сдатчики хамили, другие лебезили, третьи смотрели умоляюще. Этих Саша жалел, знал, нет у них возможностей для ремонта, а за несдачу машин могут пойти под суд, но принимать для фронта негодные машины не имел права.

Коробков был огорошен.

— Ни одной исправной машины? Может быть, ты чересчур требователен? Ведь те машины я сам смотрел.

— Пожалуйста, — сказал Саша, — можем вместе посмотреть.

Но смотреть вместе Коробков не пожелал, озабоченно проговорил:

— Положение серьезное, сроки жесткие. Будем чересчур придирчивы сейчас, придется принимать что попало, лишь бы вовремя выехать. Новых машин нам никто не даст. Считаю так: если машина прошла технический осмотр в автоинспекции и сейчас на ходу, надо принимать.

— Я таких актов подписывать не буду, — ответил Саша.

Коробков нахмурился:

— Ну, что ж, погуляй пока.

«Гулять» не пришлось. Утром побудка, завтрак, потом занятия: строй, устав, винтовка, граната, порядок движения на маршах и в боевых условиях, поведение при бомбежке, при артобстреле, тушение загоревшейся машины, маскировка на местности, подача сигналов, оказание первой помощи, пользование индивидуальным пакетом, правила перевозки снарядов, оружия, горюче-смазочных материалов и личного состава. Занятия вели младшие воентехники Корнюшин и Овсянников, молодые ребята, только что окончившие автоучилище, на днях прибывшие в батальон на должности командиров взводов. В свободное от занятий время Саша толкался в цехе, служившем гаражом. Шоферы матерились — машины негодные, где их понабрали, ремонтировать нечем, ругались с командирами:«Сам на нее садись и поезжай!» К Саше относились хорошо, знали, что он отказался от приемки, одобряли: молодец! И обращались за советом — в автомобиле Саша разбирался.

Были еще политзанятия, проводил их политрук Щербаков, из запаса, местный, рязанский, работник Осовиахима. Читали «Правду», «Красную звезду», Щербаков приказывал красноармейцам своими словами повторить прочитанное. Городские шоферы кое-как пересказывали, но деревенские не могли. Щербаков раздражался, вручал красноармейцу газету: «К завтрашнему дню выучи!»

Саша, естественно, отвечал без запинки. Это настораживало Щербакова: чересчур, видно, грамотный. Подозрительно косился в его сторону.

Дня через два Сашу из казармы вызвали к комбату. В кабинете Юлдашева находились Коробков, механик Василий Акимович, воентехники Корнюшин, Овсянников и вновь прибывший командир первой роты старший лейтенант Березовский, как казалось Саше, кадровый военный, лет, наверно, сорока, с проседью в черных волосах, подтянутый, хмурый и требовательный.

Саша доложился: красноармеец Панкратов по вашему приказанию прибыл.

Юлдашев указал на стул, Саша сел.

Вслед за ним вошел политрук Щербаков, сухо всем кивнул, уселся рядом с Юлдашевым.

— Проведем техническое совещание о ходе приема материальной части. Пожалуйста, товарищ Коробков.

Коробков доложил. По графику намечалось принимать каждый день двадцать машин. Однако имеет место отставание от графика. Будем наверстывать.

— Вопросы? — объявил Юлдашев.

— Разрешите, товарищ капитан? — сказал Щербаков. — У меня вопрос к красноармейцу Панкратову. Красноармеец Панкратов!

Саша вопросительно смотрел на него.

— Красноармеец Панкратов! — повторил Щербаков. — Надо встать, когда к вам обращается старший по званию.

Саша встал.

— Красноармеец Панкратов! Вам было поручено принять машины. Вы их все забраковали. Они были не на ходу?

— Они были на ходу, но...

— Ах, на ходу, — перебил его Щербаков, — почему не приняли!

— Человек с одной ногой, с протезом или на костылях — тоже на ходу. Но в армию его не берут.

Старший лейтенант Березовский усмехнулся, задержал на Саше взгляд.

— Не остроумничайте, пожалуйста! — злобно проговорил Щербаков. — Вы в армии, не забывайте, и эти свои интеллигентские штучки бросьте. Какой пример подаете водителям? Они отказываются от своих машин, требуют новые.

Саша знал, что водители требуют не новые, а исправные машины, но ответил так:

— Я рядовой водитель, и не моя обязанность принимать технику.

— Вам поручили принимать, и вы обязаны принимать.

Саша молчал. Что он мог ответить этому обалдую?

— Садитесь, Панкратов, — сказал Юлдашев. — Можно устранить недостатки в машинах, которые вы не приняли?

— В батальоне нельзя, нечем. Но в Рязани есть автобазы, ремонтные мастерские, автосбыт, все можно достать и сделать.

Юлдашев обратился к механику Василию Акимовичу:

— Ваше мнение, товарищ Синельщиков?

— Захотят хозяйства устранить какие есть недостатки, управятся. Помочь надо, конечно, через тот же горком партии.

Старший лейтенант Березовский сказал:

— Я бегло осмотрел машины моей роты. Машины в плохом состоянии, аккумуляторы слабые, резина лысая.

Коробков запротестовал:

— Надо учитывать обстоятельства, товарищ старший лейтенант. Основная масса машин сдана в армию в июне и в июле. Мы подбираем остатки.

— Обстоятельство есть только одно, — отрезал Березовский, — на фронте нужны исправные машины, там воевать надо.

Вошел начальник штаба, положил перед Юлдашевым бумагу. Тот прочитал, сказал:

— Пришла телеграмма: срочно прибыть в Москву для получения машины технической помощи! Кого пошлем?

— Я могу съездить, — мгновенно отозвался Коробков.

— Батальон без технического руководства оставаться не может. — Взгляд Юлдашева остановился на Овсянникове. — Возьмете водителя, товарищ Овсянников, и поедете. Есть у вас во взводе водители?

— Пока только один, — он показал на Сашу, — красноармеец Панкратов.

— Красноармеец Панкратов с вами и поедет. — Он вернул телеграмму начальнику штаба. — Выдайте им документы.

Саша встал:

— Разрешите доложить, товарищ капитан, я еще обмундирования не получил.

— Распорядитесь выдать, — приказал Юлдашев.

— «Бэу», — не то сказал, не то спросил начштаба.

— Выдайте из энзэ.

Значит, есть новое обмундирование, наверное, немного, потому зажимают.

13

Такая неожиданность, такая удача! Юлдашев, конечно, хотел именно его послать. Хитрый татарин. Умница. И болвану Щербакову врезал.

Саша забрал у Евгения Юрьевича вещи и книги, отложил себе две пары белья, шерстяные носки, свитер, шарф, портянки,

полотенце, бритву, помазок, мыло, зубную щетку, флакончик одеколона, мамину фотографию, двухтомник Чехова и «Войну и мир» тоже отложил — найдет место в машине, таскать не придется. Все остальное сложил в чемодан и вещмешок. Вечером позвонил маме, предупредил о своем приезде в служебную командировку.

Рано утром они с воентехником Овсянниковым уже сидели в поезде. Пассажиров в вагоне было немного, а при подъезде к Москве совсем мало осталось — въезд в Москву только по пропускам или вызовам центральных учреждений.

Овсянников оказался милым парнем, дружелюбным и разговорчивым. К Саше, хоть и подчиненному, обращался на «вы», как к старшему по возрасту, к тому же «интеллигенту». Улыбаясь, говорил:

— Вы когда политруку влепили насчет инвалида на костылях, я со страху чуть под скамейку не залез.

— Чего испугался?

— Политсостав! С ними слово не так, потом не обрадуешься.

Был он из Костромской области, работал в колхозе, потом в МТС на тракторе. Поглядывая в окно, рассказывал:

— В армии меня как тракториста на водительские курсы определили, всю действительную на машине отъездил, ну а потом, поскольку семилетку имею, послали в военно-автомобильное училище, вот я и младший воентехник.

Молодой, розовощекий, своим кубиком в петлице очень гордился, лихо козырял встречным старшим командирам, был доволен, когда рядовые козыряли ему, но, если не козыряли, не останавливал, молодец, не чванливый. Потащил Сашин чемодан: «Вам вещевого мешка хватит!»

Кого-то он напоминал Саше. Саша напрягал память и вспомнил... Молоденького лейтенанта, которого привел Макс на тот последний новогодний вечер. Лейтенантик старательно крутил ручку патефона, стеснялся, молчал, не решался заговорить с Варей. Сашу забавляло его смущение, он пытался втянуть Варю в разговор с лейтенантом, она тогда повернулась к Саше, и он впервые так близко увидел ее малайские глаза и нежное лицо. Потом он танцевал с Варей, держал ее маленькую ладонь в своей руке, она улыбалась, даже не пытаясь скрыть радости от того, что с ним танцует. Сколько ей было тогда? Шестнадцать лет, а ему двадцать два. Теперь ей двадцать четыре, а ему уже тридцать, пошел четвертый десяток, вот как быстро все пронеслось, проскочило, проехало, ушло.

А лейтенанта того звали Серафим, так его звали...

Овсянников не бывал в Москве, и она его ошеломила. Вокзал, площадь, люди, трамваи, машины. Не отходил от Саши, боялся потеряться. Перед комендантским патрулем оробел, волновался, глядя, как проверяют его и Сашины документы.

А Саше сразу бросилось в глаза, что толпа поредела, киосков почти нет. Много женщин в сапогах и гимнастерках, много военных грузовиков с красноармейцами, на земле серебристые аэростаты заграждения, вечером их поднимут в воздух, на площади зенитные орудия.

База, где они должны получить походную мастерскую, недалеко, в районе Красносельской. Доехали на полупустом трамвае, нашли базу в одном из переулков, были здесь, видимо, раньше какие-то склады. Громадный двор с железнодорожными путями, по периметру двора — мастерские, под навесами машины, вход в штаб с улицы. В коридорах много военных, шоферов, воентехников, тоже, наверное, приехали за машинами. В канцелярии девушка-писарь сверила их документы с каким-то списком, вернула Овсянникову.

— Идите к начальнику базы, налево, последняя дверь в конце коридора.

Овсянников пошел к начальнику, Саша присел на свой чемодан, жалел, что не позвонил маме с вокзала, черт его знает, сколько их тут продержат.

Вышел Овсянников:

— Товарищ Панкратов! Идемте со мной. Вас требуют!

Вслед за Овсянниковым Саша вошел в кабинет.

За столом сидел военинженер 3-го ранга. Поднял голову, посмотрел на Сашу... Руночкин!.. Черт возьми, Руночкин, его однокурсник, маленький, чуть косоглазый и кособокий Руночкин!

Руночкин поднялся, не отрываясь, смотрел на Сашу.

— Саша, ты?

— Вроде я...

Руночкин вышел из-за стола, они обнялись, расцеловались.

Овсянников смущенно улыбался, стеснялся своего присутствия, деликатный парень.

Скрывая волнение, Руночкин грубовато произнес:

— Чего стоите, садитесь!

Они сели.

От тех проклятых дней у Саши осталось мало приятных воспоминаний. Но о Руночкине вспоминал с теплотой — верный товарищ, единственный, кто не предал его в институте, выгораживал, защищал. Изменился Руночкин. Из-за военной формы, может быть. Раньше был немного скособоченный, а теперь выправка появилась, невысокий, ладный командир, держится уверенно, даже властно и не косит, смотрит прямо. Одно мучило Сашу — забыл его имя. В институте редко называли друг друга по именам, обычно по фамилиям. Вот и забыл. Как к нему обращаться? По званию? Он-то его по имени называет, а не красноармеец Панкратов.

— Передай своему командованию, товарищ воентехник, — сказал Руночкин, — пусть Господа Бога благодарят, что послали с тобой Панкратова, мы с ним учились в одном институте, в одной группе, понял? Я вам такую технику отгрохаю, какой ни у одного автобата нет. Понял?

— Так точно, понял, товарищ военинженер третьего ранга. Спасибо.

— Ты лишних слов не употребляй... Говори просто: военинженер.

— Слушаюсь, товарищ военинженер.

— Машину получите завтра. Быть здесь в десять ноль-ноль. Товарищ Панкратов остановится у...

— У матери, — подсказал Саша.

— Так, а вам, воентехник, дадим спальное место в общежитии, рядом кино, поблизости Театр транспорта, скучать не придется.

Он нажал на кнопку звонка. Явилась та же девушка-писарь. Руночкин протянул ей документы:

— Отметьте командировочные, примите продаттестаты, красноармейцу Панкратову сухим пайком, так ведь, Саша?

— Конечно.

— А воентехнику, я думаю, лучше к нам в столовую. Как, воентехник? Селедку в общежитии жевать или получить горячее питание?

— Горячее предпочтительнее.

— Воентехника прикрепите в столовую и дайте направление в общежитие, в шестую комнату.

— Дмитрий Платонович, в шестую комнату комендант требует записку лично от вас.

Слава Богу! Димой его зовут, точно, Дима, Димка.

Руночкин написал что-то на бумажке, вручил писарю.

— Воентехник, идите, вам все сделают, а документы Панкратова, Лариса, принеси сюда. Отправляйтесь!

Овсянников поднялся.

— Слушаюсь, товарищ военинженер.

— Одну минуту! — Саша написал на бумажке мамин телефон, передал Овсянникову. — Это телефон моей матери, на всякий случай.

— Вот это хорошо. Я вас в коридоре подожду, товарищ Панкратов.

— Чего его ждать? — спросил Руночкин.

— Я насчет вещей, как бы не унесли...

— Каких вещей?

— У меня с собой чемодан и книги, мое имущество, хочу у матери оставить, — объяснил Саша, — в коридоре они.

Руночкин открыл дверь в коридор, приказал первому попавшемуся красноармейцу внести вещи в кабинет.

— Разрешите идти, товарищ военинженер.

— Идите!

Овсянников бросил ладонь к козырьку фуражки, четко повернулся кругом, вышел.

— Он у тебя не командир, а вроде ординарца, — сказал Руночкин.

— Просто милый парень. Дима, ты мне разрешишь позвонить?

— Ради Бога! — Руночкин подвинул к Саше аппарат.

Саша позвонил маме, сказал, что уже в Москве, скоро освободится и приедет.

— Ей богу, Сашка, до сих пор не могу поверить. Твой воентехник положил передо мной ваши командировочные, вижу — Панкратов А. П., не обратил внимания, тут сотни людей проходят, а потом что-то толкнуло... Панкратов А. Может быть, Александр? Вдруг?! Давай, говорю, сюда своего Панкратова... И вот ты здесь! Я не ожидал такой встречи, честно говорю, думал, сгинул Саша, пропал, как другие пропали. Я ведь заходил к твоей матери, сказала, в Бутырке сидишь, а потом, после института, загнали меня на периферию, потерял я твой след.

— О том, что ты заходил к моей матери, она мне сказала на свидании в тюрьме. Ты был единственный, кто зашел. Спасибо тебе.

Руночкин махнул рукой, отвел глаза.

— Ладно, Саша, чего там... Расскажи о себе.

— О себе? Что сказать? Отбыл три года ссылки в Сибири, на Ангаре. Потом получил минус — не имею права жить в больших городах. Выручила война. Теперь я солдат, такой, как все.

— Но почему рядовой?

— Меня в институте не успели аттестовать, арестовали.

Руночкин покачал головой.

— Что наделали, сволочи! В нашем институте почти половину под метелку.

— Я об этом кое-что знаю...

— Вот Гитлер и очутился в Смоленске, — злобно сказал Руночкин и махнул рукой. — Не будем сейчас об этом говорить! Слава Богу, ты хоть живой остался! Но рядовой?! Вот что, я тебя сюда перетащу.

— Как так?

— Очень просто. Через Главное управление пошлем вызов в батальон: такого-то немедленно командировать в наше распоряжение.

— И что я буду делать?

— Что хочешь — бригадир, начальник цеха, вот ремпоезд будем оборудовать. — Он показал в окно. — Видишь, тут и железнодорожная ветка есть. Присвоим звание, будешь пока в Москве жить, а там как война повернется.

— Спасибо, Дима, но это не для меня. Присвоить звание? Надо заполнить анкету, указать судимость.

— Сашка, о чем ты говоришь? Теперь только дураки пишут правду в анкетах. Кто проверяет? Проверяльщики попрятались по углам.

— И в Москве слишком много знакомых. Не хочу ходить с оглядкой. Четыре года ходил. Надоело! Теперь все! Война, фронт, нет вопросов!

— Начальник-солдафон лучше? Кто у вас комбат?

— Капитан Юлдашев.

— Не слышал такую фамилию. А помпотех?

— Коробков, воентехник первого ранга.

— Коробков? Ванька?

— Имени не знаю.

— Зато я знаю. Воентрус первого ранга. Держится на блате, после института в наркомате бумажки писал, машины в глаза не видел. А сейчас его быстренько переаттестовали, дали звание воентехника.

— В армии такое возможно?

— У нас блат выше Совнаркома. Всюду.

— Теперь понятно, почему он принимал в батальон всякий хлам. А откуда ты его знаешь?

— Борьку Нестерова помнишь?

— Конечно.

— Какую ты на него эпиграмму сочинил? «Свиная котлета и порция риса — лучший памятник на могилу Бориса». Так? Дорого тебе обошлась эта котлетка.

— Дорого, — усмехнулся Саша.

— Борька Нестеров служит в Главном управлении. Он мне про Коробкова и рассказал. Так что в армии неизвестно на кого нарвешься. А тут со мной тебе будет спокойно, в обиду не дам. Подумай. Сам не надумаешь, я за тебя решу: пошлю сегодня рапорт!

— Дима, — серьезно сказал Саша, — я тебя прошу этого не делать. Обещай мне.

— Зря, Саша... Воевать хочешь? Надеешься на фронте восстановить свое доброе имя, искупить вину? Не надейся! Там, — он поднял палец к потолку, — там ничего не изменилось. Наоборот!

— Никакой вины за мной не было и нет, — сказал Саша. — Мне их прощения не надо. И я им не собираюсь прощать. Но я хочу наконец свободы. Там, на фронте, за рулем, я буду знать наконец, во имя чего живу, и если придется погибнуть, то буду знать, за что погибаю. Для меня это вопрос решенный.

— Ладно! Решенный, так решенный. А сейчас пойдем пообедаем, ты ведь с поезда, и выпьем по маленькой.

— Дима, я свою мать не видел много лет.

— Извини, но посидеть мы должны. Давай созвонимся, соберемся, может быть, Борьку Нестерова позовем.

— Скажу тебе честно, Дима. Никого, кроме тебя, я видеть из наших институтских особенно не стремлюсь. Встретил тебя — счастливый для меня день. Как понимаешь, за эти семь лет не так уж много их у меня было.

— Понимаю, Саша, понимаю. — Голос у Руночкина дрогнул.

— Скажи, метро работает нормально?

— Какое метро?! У меня машин полон двор. Домчим с ветерком.

14

Тесный глубокий колодец двора, окруженный восьмиэтажными корпусами. Двор его детства. У подъездов бочки с водой, ящики с песком, а в остальном все по-прежнему. Те же пожарные лестницы вдоль стен, по ним он взбирался на крышу, устанавливая антенну для своего детекторного приемника. Сейчас про эти самодельные приемники никто не знает, а тогда только начала вещать первая советская радиостанция имени Коминтерна.

Рядом с воротами задние двери кинотеатра «Арбатский Арс», откуда выпускали публику после сеанса. Летом они всегда были открыты — в зале душно, над черными рядами зрителей клубился луч киноаппарата, слышались его стрекотание и звуки разбитого рояля... Макс Линдер, Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд, трогательный, незадачливый Чарли Чаплин. Давно это было, а все отчетливо помнится.

Учебники и тетради тогда заворачивали в клеенку, туго затягивали ремнем, желательно длинным, этой связкой можно было драться, как кистенем... Здесь и дрались, во дворе, он казался тогда большим и просторным. Не думал он, что вернется сюда так скоро, через каких-нибудь семь лет. Война позволила. Несколько человек прошли ему навстречу, он вгляделся в их лица, нет, не знакомы.

Саша взбежал на свой этаж, не успел нажать кнопку звонка, дверь распахнулась, мама обняла его, приникла к груди, пыталась выговорить сквозь рыдания, что видела, как он заходит в подъезд.

— Мама, дорогая, успокойся. — Саша целовал ее в голову. — Видишь, все хорошо, все в порядке.

Они прошли в комнату. Мама опустилась на стул, взяла его руки в свои, губы ее мелко подрагивали.

— Мама, отплакались, отгоревались, хватит!

Он вынул из мешка пакет, выложил на стол тушенку, хлеб, конфеты.

— Паек мой, давай корми, я сегодня еще ничего не ел...

— Да, да, сейчас, сейчас, у меня все готово.

— А мне дай полотенце, руки помою.

Он подошел к комоду, в рамке под стеклом стояла его фотография. Что-то он не помнил ее, никогда у него не было таких больших портретов.

— Не узнаешь?..

— Нет.

Мама достала из ящика маленькую карточку — эту Саша помнил. Их фотографировали после футбольного матча, он играл тогда в команде фабрики «Красная роза», лучшей в районе.

Но неужели у него было такое полудетское доверчивое лицо?!

— Мы увеличили ту карточку, — сказала мама. — Я хотела, чтобы у меня был твой большой портрет.

От этого «мы» у Саши екнуло сердце.

— Фотограф сделал две фотографии, вторую Варя взяла себе, повесила на стену, а рядом портрет Сталина, помнишь, Нина была очень правоверная.

— В хорошую компанию я попал, — засмеялся Саша. Но о Варе не расспрашивал, возможно, мама сама что-нибудь еще расскажет.

— Мой руки, — напомнила мама, — а я несу обед.

Все с детства привычное. Так же журчит вода в трубах, та же облупившаяся масляная краска на стенах.

Он вернулся в комнату.

— Хотел у тебя спросить, я проезжал мимо театра Вахтангова. Его бомбили?

— А ты не знал? Погиб актер Куза, помнишь его?

— Конечно. Он вел в нашей школе драмкружок.

— Говорят, он родственник румынского короля.

— Не знаю, может быть. Что же, немцы специально по Арбату метили?

— И Арбат бомбили, и Гоголевский бульвар, и Большой театр.

Она поставила на стол холодный свекольник с нарезанными зелеными огурчиками, блинчики с мясом, кисель — все, что он любил в детстве.

— Ого! Это у вас по карточкам такое выдают?

Мать не ответила, сидела за столом, не отрывала от него глаз.

— Не наглядишься?

Она по-прежнему не отвечала, только смотрела на него. Губы опять дрогнули.

— Сашенька, какие у тебя планы, когда ты уезжаешь?

— Завтра утром.

— Я предупредила Веру и Полину, что ты приедешь, надо с ними повидаться, Сашенька, тетки все-таки, и они так тебя любят.

— Я хотел провести сегодняшний вечер с тобой.

— И я хотела, но они так горевали, что ты их тогда не вызвал в Бутырку на свидание. Я и Нину Иванову предупредила.

— Нину? Она здесь?

— Да, живет на старой квартире. Заходит, спрашивает о тебе. Вчера позвонила, я ей сказала: «Только что с Сашей говорила, завтра он приедет».

— А Макс где?

— Макс на фронте.

— С Ниной просто, она в этом доме, могу забежать к ней на несколько минут. Но тетки — это же на весь вечер.

— Они ненадолго. Ночью появляться на улице нельзя, завтра Вере на службу, а Полине на оборонительные работы, их в шесть утра собирают и машинами везут.

— Ладно, — согласился Саша, — пусть приезжают. А где отец?

Она задумалась, кончиками пальцев нащупывала и прижимала к столу крошки. Сохранилась эта привычка.

— Отец? Отец в Москве. Комнату свою обменял, живет где-то в Замоскворечье, у него жена, дочь, мы с ним развелись официально,

я ему дала письменное согласие, паспорт, он сам все оформил. Адреса его и не знаю, но телефон у меня есть, можешь ему позвонить.

— Я это решу.

Он вышел из-за стола, прошелся по комнате, остановился у книжных полок, с недоумением оглянулся на мать:

— Откуда здесь книги Михаила Юрьевича?! — Провел пальцем по корешкам. — Жирмунский, Томашевский, Тынянов... Литературные и театральные мемуары... Анри-де-Ренье, Жюль Ромен, Пруст, Гофман...

— Все было так странно... Незадолго до смерти Михаил Юрьевич поделил свои книги между Варей и тобой, мол, ему надоело жить в пыли. Мы были растеряны, но он настоял. Варя его спрашивает: «Вы уезжаете из Москвы?» Он отвечает: «В некотором роде да». И Варя, добрая душа, предложила ему помочь сложить чемодан. «Умею, — говорит, — хорошо паковать».

— Я был очень привязан к Михаилу Юрьевичу, — сказал Саша. — Почему он покончил с собой?

— Была Всесоюзная перепись, от них потребовали скрыть, что погибло шесть миллионов человек, он не хотел в этом участвовать. Так он Варе сказал. Боялся, наверное, тюрьмы, боялся, что будут бить, пытать. Так мы думаем.

Она опустила голову, помолчала...

— Скажи мне, Саша, тебя...

Он подошел к ней, обнял.

— Нет, меня не били и не пытали. Это началось позже.

Постучали в дверь, вошла соседка Галя, поцеловала Сашу, прослезилась.

— Ну вот, — сказал Саша, — и эта плачет.

Постарела Галя. Раньше шумная была соседка, бушевала на кухне, но отходчивая, жалостливая, сунула Саше в карман пачку папирос, когда его уводили.

— Изменился ты, — всхлипнула Галя, — а какой фасонистый был, помнишь, как тебя во дворе-то звали?

— Помню, — улыбнулся Саша.

«Сашка-фасон» — такое у него было прозвище.

— Где Петя? — спросил ее Саша о сыне.

— Не знаю, где! Не знаю. И, боюсь, никогда не узнаю. Он еще до войны в армии служил: двадцатого года рождения, в Белоруссии был. Значит, в самое пекло и попал. Ни письма, ни известия никакого.

— Не отчаивайтесь, почтовая связь с теми частями прервана, дойдет письмо.

— Куда дойдет, Сашенька, уже под Москвой окопы роют.

— На западе армии ведут бои, вырываются из окружения. Вот увидите, вернется Петя, я вам это предсказываю.

— Спасибо, Сашенька, на добром слове. Дай тебе Бог живым остаться. — Галя снова поцеловала его. — Помучили тебя и Софью Александровну помучили. А мы только со стороны поглядывали. Теперь вот пришла пора всему народу мучиться.

— Она неплохая женщина, — сказала Софья Александровна, когда Галя ушла. — Бывали у нас с ней некоторые недоразумения, но все, в общем, устроилось. Знаешь, Саша, сейчас, в горе, люди лучше стали, добрее.

Саша вдруг ударил кулаком по столу.

— Сволочи, негодяи! «Ни пяди своей земли не отдадим»... «Только на чужой территории»... «Малой кровью»... А немцы уже в Смоленске.

— Неужели они придут сюда, Саша?

— Не знаю. Может быть, и не придут. Положит наш великий и гениальный еще несколько миллионов таких Петек, Ванек, Гришек, что ему?! Я не мог смотреть ей в глаза. Убит ее Петя или в плену. А плен объявлен изменой.

— Сашенька, будь осторожнее, будь рассудительнее, лучше об этом не говорить... Я рада, что ты простой шофер, ни за кого не несешь ответственности.

В коридоре раздался звонок.

— Тетки пришли, — сказала Софья Александровна.

Это были они. Старшая, Вера, все такая же энергичная, деловая, крепко обняла Сашу, потом отстранила его от себя, разглядывая:

— Смотри, какой солдатик бравый! — Вынула из сумки бутылку водки. — По такому случаю выпить надо обязательно! — И подарок привезла: заграничную безопасную бритву «Жиллетт» и две пачки лезвий к ней. — Знаешь, как лезвия точить?

— Нет.

— Дай стакан, — попросила она Софью Александровну, вынула из пачки лезвие, но не развернула его из бумаги. — Так поймешь. — Прислонила лезвие к внутренней стороне стакана, прижала двумя пальцами, поводила по стеклу. — Вот так води минут пять, переверни и опять води, оно у тебя и заострится. Одним лезвием будешь три месяца бриться, тут их десять штук, на тридцать месяцев хватит.

Полина, младшая из сестер, тихая, улыбчивая, принесла Саше книжку-малютку, величиной с ладонь, стихотворения и поэмы Пушкина.

— Ты ведь любишь Пушкина, а эта книжечка в кармане поместится.

Сели за стол, выпили немного, мама хлопотала, ходила на кухню, возвращалась, тетки рассказывали. У Веры дочь — военврач, в госпитале, сын — в артиллерийском училище, в этом году выпустят и на фронт. У Полины муж — военный корреспондент, сыну только семнадцать исполнилось, но уже поставили на учет в военкомате.

— Только мы, три сестры, остались, — невесело пошутила Вера, — последний резерв главного командования.

Тетки были рады, счастливы за Сашу — вырвался из кровавой мясорубки, правда, попал тут же в другую, не менее кровавую, но в этом смысле судьбы у всех уравнены, говорят, наши

потери исчисляются миллионами, в газетах об этом, конечно, не пишут.

— Слава Богу, — сказала Вера, — хоть тебя довелось увидеть, дождемся ли остальных, кто знает...

— Ничего, мы за этим столом еще встретимся.

Банальные слова, но других он не нашел.

— Одолеем Гитлера, заживем по-другому, — вставила Полина.

Пришла Нина, остановилась на пороге, прослезилась, обняла Сашу, поцеловала.

— Садитесь, Ниночка, — позвала ее Софья Александровна.

Нина посмотрела на теток.

— Я не вовремя?

— Именно, что вовремя, — улыбнулся Саша, — выпьешь с нами.

Нина показала на донышко стопки.

— Вот столько.

Тетки еще немного посидели и заторопились: далеко до дома, завтра рано на работу. Саша проводил их до лестницы, перегнулся через перила, смотрел им вслед, махал рукой, и они оглянулись, тоже ему помахали, вернулся, сел рядом с Ниной.

— А где твой сын?

— У бабушки оставила.

Саша рассказал ей про Лену, про Глеба.

— Вот такая грустная история. Что с Максом, с Варей?

— Максим на Дальнем Востоке, формирует дивизию. Варя служит в военностроительном управлении, проектируют оборонительные сооружения вокруг Москвы, мотается по области, я ее не вижу, иногда перезваниваемся. Я в школе работаю. — Она улыбнулась. — Занимаюсь патриотическим воспитанием...

— В нашей?

— Нет, в другом районе. — Она посмотрела на него. — Выбьют наше поколение, а Саша?

— Кто-нибудь останется, выживет.

— Боюсь, один Шарок останется, — печально проговорила Нина. — Шарок воевать не будет. И Вадим Марасевич не будет. Кстати, я недавно его встретила, состоит при каком-то военном журнале, «Пограничник» кажется, значит, вроде бы в армии, а воевать не надо. И уже капитан. Вот Шарок с Марасевичем и останутся.

— Ничего, мы с тобой тоже поживем.

— Пиши мне Саша, — сказала Нина.

— Обязательно.

Наконец они с матерью остались одни. Мама постелила ему на диване, но они еще долго сидели, разговаривали.

— Я тебя прошу, Сашенька, я знаю, ты не трус, но ты самолюбив и потому бываешь неосторожен. Тебе тридцать лет, но ты, по существу, не жил, а страдал. Надо сохранить себя, после войны все изменится.

— Ты так думаешь?

— Я в этом уверена. — Она оглянулась на дверь, понизила голос. — «За родину», «за Сталина» — это ведь заклинания, ритуал. В прошлую войну тоже так было: «За матушку Россию», «за батюшку-царя». А что с царем сделали? В России после всех войн что-то менялось. После Севастополя — крестьянская реформа, после русско-японской войны — революция 1905 года, после мировой войны — Февральская революция.

— Каких же перемен ты ждешь?

— Не знаю. Знаю одно: хватит мучить народ! Россия должна стать нормальным государством.

— По западному образцу?

— Да, если хочешь.

— Боюсь, твои надежды не сбудутся. В сознании народа глубоко укоренились идеи социальной справедливости, провозглашенные Революцией. Если победим, народ будет искать выход в тех, ленинских временах.

— Сашенька, прости меня, не обижайся, я знаю твое отношение к Ленину, но не надо его идеализировать. Ты тогда был маленький, а я при нем жила, тоже хватало крови, расстрелов, подвалов.

Саша засмеялся.

— Вот уж не думал, что после семи лет разлуки мы с тобой заговорим о политике.

— Нет, Сашенька, для меня это не политика, для меня это твоя судьба. Я молю Бога, чтобы он сохранил тебя. И потому я думаю о том, что будет после войны.

— Ладно, — сказал Саша, — давай сначала прогоним Гитлера, а потом решим, что делать. А сейчас, мамочка, лягу спать, устал как черт.

Он разделся, лег, мать укрыла его простыней и поцеловала уснувшего.

15

Саша и воентехник Овсянников пригнали из Москвы походную мастерскую: крытый автомобиль с прицепным вагончиком, в нем токарный и сверлильный станки, верстак, тиски, инструмент, паяльные лампы, компрессор, электросварочный аппарат. Овсянников всем рассказывал, что такая прекрасная летучка получена благодаря Саше — учился в одном институте с начальником базы. Но времени для восторгов не было. Проходил август, сроки формирования батальона срывались. Вышел указ о дополнительной мобилизации военнообязанных 1890—1904 годов рождения, батальон пополнился шоферами старших возрастов. Механик Василий Акимович Синельщиков тоже оказался мобилизованным, назначили его начальником походной мастерской.

Торопились отправить хотя бы первую роту. Перевели туда Овсянникова командиром взвода, с ним перешел и Саша, помогал принимать машины в паре с шофером Проценко, шустрым пареньком: все мог достать, все добыть, всюду был своим человеком — и на продскладе, и в техничке, и на нефтебазе. Юлдашев даже хотел пустить его по снабженческой части, но командир первой роты Березовский воспротивился: на счету каждый водитель.

Как-то Березовский задержал Сашу. При цехе была каморка, там они и уселись за старым канцелярским столом.

— Я слышал, Панкратов, вы учились в транспортном институте и ушли с четвертого курса. Это так?

— Да, это так.

— Я хочу назначить вас помпотехом роты. Эта должность позволит представить вас к званию воентехника. У вас есть документ об образовании?

Этот человек нравился Саше, вызывал доверие. И все же Саша ответил:

— Документа об образовании у меня нет.

Березовский удивленно поднял брови, такие же черные, как и усы, а волосы на голове были с сильной проседью.

— Можете запросить институт, хотите, мы напишем. А еще лучше — дадим вам командировку в Москву, за сутки обернетесь.

— В Москву я не поеду, запрашивать не буду. Я — водитель, им и останусь.

Некоторое время они смотрели в глаза друг другу. Наконец Березовский сказал:

— Вы будете иметь на руках официальное требование батальона: срочно выдать на руки документы, необходимые для аттестации. Отказать не имеют права — запрос военного ведомства.

Видимо, о чем-то догадывается, тоже, наверное, битый. В его возрасте кадровый военный должен быть по меньшей мере подполковником.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал Саша, — я никогда не служил в армии. Но я не уверен, что рядовому красноармейцу можно присваивать воинское звание против его воли.

— На войне все можно, — жестко проговорил Березовский и сменил тему: — Какую машину вы предпочитаете получить — полуторку, «ЗИС»?

— Полуторку.

— Выберете себе по своему вкусу.

Машину Саша выбрал подходящую, выпуска 1940 года, фактически новая, из какого-то тихого городского учреждения, по сельским дорогам не колотилась. Полный набор инструментов, в запасе кое-какая мелочь, болты, гайки, даже зимний утеплительный капот не пожалели, в заботливых руках, видно, была.

В роте каждый занимался своей машиной, на фронте с плохой машиной пропадешь. Требовали от командиров взводов и то, и другое, натерпелся Овсянников, покладистый, уступчивый, матерые

шоферы на него наседали, умели брать за горло, а он робел — в сыновья им годился.

Саша ему как-то сказал:

— Ты особенно не уступай, на шею сядут.

Но у Овсянникова не хватало характера. Да и что он мог сделать? И подчиненные ему командиры отделений были бессильны. В Сашином отделении командиром был Мешков, опытный шофер, отслуживший действительную, два треугольника в петличках гимнастерки — сержант, солидный хороший дядька, никогда голоса не повышал, любимым словечком было: «Спокойство!» Добродушно советовал шоферам: «Своим умом живите, ребята, вертитесь, вон Проценко все сам себе добывает». Его уважали, называли по имени-отчеству: Юрий Иванович. Даже Чураков, самый скандальный в роте шофер, с ним не задирался.

Был Чураков неуживчив, всем и всеми недоволен, низкорослый, широкий в плечах, смотрел мрачно, недоверчиво, не говорил — рычал: «Я себе на мозоли наступать не позволю». Невзлюбил Митьку Кузина, молодого колхозного водителя, из-за его неопытности, неумелости, а может, тот по простоте что-то не так ему сказал. Чураков называл его «урюк».

— Ты, урюк, с какого года женат?

— Не женатый я еще.

— Не женатый, — деланно удивлялся Чураков, — скажи, пожалуйста! Ну, а с девками спал, конечно?

— Ну что вы, товарищ Чураков, — смущался Кузин.

— А чего такого, дело житейское, ты, урюк, парень видный. Тогда скажи мне: как отличить молодую бабу от старой?

— Ну, как... Погляди ей в лицо, поймешь.

— Нет, урюк! Проверять надо. У молодой груди торчком, положи под них карандаш, на пол свалится. А у старой висят сиськи, не падает карандаш, понял, урюк? Будешь жениться, запасайся карандашом, ничего больше тебе по твоей дурости не потребуется, урюк ты урюк!

— Угомонись, — сказал Юрий Иванович Мешков, — не привязывайся к человеку.

Но Чураков не мог угомониться, на этом и попался. Поскандалил из-за насоса. И, как всегда, начал с мата на весь гараж.

— Ты чего? — спросил его Байков, вальяжный, высокомерный шофер, до войны возил на легковой какого-то областного начальника, упитанный, с брюшком, морда гладкая, барственный, язвительный, нравилось ему, когда Чураков затевал скандал. Он и сам любил подпустить шпильку.

— Чего, чего, — рычал Чураков, — насос подменили, гады! У меня насос новенький был, а этот, — он сунул его под нос Байкову, — этот, видишь, краска облезла, весь в царапинах и не качает ни хрена!

— Ладно, достанем тебе другой насос. — Байков вроде бы успокаивал, а на самом деле подначивал. — Цена ему... Чего расстраиваешься?

— Я знаю, какая сволочь взяла, я ему, стервецу, голову оторву!

С этими словами Чураков направился к машине Митьки Кузина.

— А ну, подними сиденье, урюк!

— Вы что, товарищ Чураков, почему?! — оторопел Митька.

— Подними сиденье! Тебе говорят! — рявкнул Чураков.

Вокруг начали собираться шоферы.

Чураков оттолкнул Митьку, открыл кабину, приподнял сиденье, вытащил насос, поднял над головой:

— Ну что? Видали? Мой насос!

Насос действительно был новый.

— А этот — твой! — Чураков бросил на пол старый насос, толкнул его ногой. — Подними, мерзавец! Я тебя, урюк, отучу воровать!

Саша знал: Чураков получил новый набор инструментов, даже сумка была новая, всем показывал, так что насос ему, действительно, кто-то подменил. Но не Митька. Митькину машину Саша принимал сам. Хорошая машина. Саша даже колебался, какую себе взять, свою или эту. Поэтому запомнил, что при ней тоже был новый насос. И он сказал:

— Товарищ Чураков! Машину Кузина я принимал. При ней был именно этот новый насос.

Вмешался Байков:

— Хоть ты, Панкратов, говорят, и инженер, только не верится, что мог ты запомнить, какой инструмент был на каждой машине. Может, ты и все гаечные ключи узнаешь?

В соседней машине сидел Гурьянов, серьезный мужик, член партии, был завгаром, а мобилизовали в армию простым шофером. Высунувшись из кабины, заметил:

— В таких случаях надо докладывать командиру взвода, а не самовольничать, не лезть в чужую машину.

— А ему так удобнее, — бросил Николай Халшин, вступавший в разговор только тогда, когда надо было постоять за справедливость.

Саше он нравился: совестливый, не трепач, никогда ничего не просил зря у Овсянникова, с машиной не привередничал, единственный из шоферов обращался к Саше на «вы».

— Заткнись ты, рыжий! — рявкнул на Николая Чураков. — И ты! — он повернул голову к Гурьянову. — Привык у себя в гараже всем указывать, приказывать, а я без тебя обойдусь. Свое заберу. Что мое — отдай!

— А вот и взводный, — сказал кто-то.

Подошел Овсянников.

— Что тут такое?

— Что, что, ничто, — огрызнулся Чураков.

Овсянников не успел ничего сказать. Неожиданно, непонятно как, возник командир роты Березовский.

— Красноармеец Чураков, почему в таком тоне разговариваете с командиром взвода?

— Как умею, так и разговариваю, — буркнул Чураков, отворачиваясь.

— Стоять смирно! — приказал Березовский.

Чураков растерянно посмотрел на него, немного будто бы выпрямился.

— Положите насос!

Чураков положил насос рядом с собой.

— Руки по швам!

Чураков вытянул руки по швам.

— Воентехник Овсянников, объясните, что здесь происходит.

— Вижу, скандалят чего-то, подхожу, спрашиваю: в чем, мол, дело? Ну, а что ответил красноармеец Чураков, вы слышали.

— Разрешите доложить, товарищ старший лейтенант, — солидно произнес Байков, — ничего особенного, выясняют водители — кому какой насос принадлежит, обычное шоферское дело.

— С насосом разберитесь, — приказал Березовский Овсянникову, — а красноармейцу Чуракову за грубое поведение три наряда вне очереди. Предупреждаю личный состав: каждый должен уважать в своем товарище бойца Красной Армии. За нарушение дисциплины, неподчинение командиру, грубость буду строго наказывать. Сейчас действуют законы военного времени, не забывайте.

На том конфликт и кончился. Чураков три смены убирал гараж, ходил с метлой, ругал шоферов за то, что бросают на пол обтирочный материал. Никто на него не обращал внимания. Скоро в дорогу, на фронт. Куда — никто не знал. Овсянников по секрету сказал Саше, что их рота направляется в распоряжение вновь формируемой 50-й армии в район Брянска. Там и винтовки выдадут.

Рота готовилась. Днем — занятия, после обеда — у машин, каждый запасался, чем мог. Приезжала два раза кинопередвижка, вешали на стену экран, показывали старые фильмы: «Профессор Мамлок» — антифашистский и «Яков Свердлов», когда Саша его смотрел, думал: повезло Свердлову, что не дожил до тридцать седьмого года, а то бы и его Сталин расстрелял.

Накануне отъезда отменили занятия, заправляли машины, смазывали, завинчивали, докручивали, шоферам выдали шинели, индивидуальные пакеты, сообщили номер полевой почты. Прибыли интенданты из дивизии, куда рота должна доставить груз. Требовательные, из действующей армии ребята.

В семь часов объявили построение, пошли на ужин, и хоть и выпили в этот вечер многие, настроение было грустное, миролюбивое.

Шофер Руслан Стрельцов, красивый русоволосый парень с печальными голубыми глазами играл весь вечер на баяне. В каждой роте был баян, на машине что хочешь увезешь. Хорошо играл... «Спят курганы темные, солнцем опаленные...» Играл песенку Максима: «Где эта улица, где этот дом, где эта девушка, что я влюблен...» И про Железняка: «Лежит под курганом, по-

росшим бурьяном, матрос партизан Железняк...» Грустные все мелодии. Да и сам Стрельцов редко улыбался. Переживал — стремился в авиацию, должны были послать в авиашколу, но не пришли вовремя документы, и вот сунули в автобат. А мог бы летать в небе.

Мешков добродушно сказал:

— Тоску наводишь, Стрельцов, сыграл бы что-нибудь повеселее.

«Когда б имел златые горы и реки, полные вина, все отдал бы за ласки-взоры, и ты владела б мной одна», — заиграл Стрельцов. Вроде и побойчее песня, а все равно звучит грустно. Переборы, что ли, особенные. «Плачет гармонь» — правильно сказано.

На следующий день рано утром машины выехали в город. Загружались продуктами, обмундированием, горючим, смазочными. Десять машин с самыми опытными водителями отправили за боеприпасами. Только к трем часам дня рота собралась в назначенном пункте по дороге из Рязани в город Михайлов у Стенькинского совхоза. Здесь ее дожидались командование батальона, походная мастерская, полевая кухня.

Пообедали. Машины выстроились повзводно на опушке леса. Водители встали возле кабин. Через дорогу — неубранные поля, над ними — вороньи стаи. Нету мужчин в деревне, некому убирать, гибнет урожай.

— Смирно! — скомандовал Березовский и повернулся к Юлдашеву. — Товарищ командир батальона, рота готова к маршу.

— Товарищи красноармейцы, — сказал Юлдашев, — отважно защищайте свою страну. Выполняйте долг перед родиной. Да здравствует наше социалистическое Отечество. Ура!

— Ура! — выкрикнула рота не слишком дружно, не приучились еще.

Березовский подозвал командиров взводов, отдал приказ о порядке движения, скорости, дистанции между машинами и взводами. Первая остановка — Захарово, на выезде из села.

Водители взобрались в кабины, зашумели моторы.

Рота двинулась на юго-запад — к городу Михайлову Рязанской области.

16

Сталин показал стране, как он собирается воевать.

Командующего Западным фронтом Павлова, того самого, которому Сталин за два дня до войны запретил занять полевые укрепления на границе, расстреляли вместе с его штабом. Расстреляли десятки генералов, командиров частей и соединений. Было объявлено, что «впредь за самовольный отход виновные командиры будут караться расстрелом... Сдающихся в плен командиров считать зло-

стными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственных пособий и помощи... Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск... В каждом полку создать команды охотников для взрыва и сжигания населенных пунктов. Выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов представлять к правительственной награде».

Однако, несмотря на устрашающие сталинские приказы, немцы за три недели продвинулись на 500—600 километров, Советский Союз потерял почти один миллион убитыми и ранеными, столько же попало в плен. 16 июля пал Смоленск. Путь на Москву был открыт. Гитлер объявил всему миру, что Красная Армия разгромлена, в ближайшие дни война закончится полной победой германского оружия.

Рано объявил. Красная Армия оказалась не разгромленной, она отстаивала каждую пядь земли. Смоленска германская армия достигла изнуренной. Ударные танковые корпуса пришлось отвести на отдых и заменить их пехотными частями. Впервые за все годы войны немецкие войска перешли к вынужденной обороне.

Германское военное командование рассматривало остановку в Смоленске как временную. Впереди осень, распутица, надо быстрее переходить в наступление и нанести удар по Москве. Это решит исход войны. Однако Гитлеру победы виделись на северо-западе и на юге. Взять Ленинград, соединиться с финнами, взять Киев, ободрить южных союзников: Румынию, Венгрию, Италию, захватить Украину, Донбасс, создать трамплин для прыжка на Кавказ, оставить Советский Союз без хлеба, угля и нефти. В конце июля Гитлер приказал готовить наступление на Киев. Таким образом, он дал русским два месяца для подготовки обороны Москвы.

29 июля Жуков отправился на доклад к Сталину.

Ставка размещалась теперь на улице Кирова, в доме, из которого во время воздушной тревоги можно было быстро перебраться на станцию метро «Кировская», превращенную в бомбоубежище: ее закрыли для пассажиров, отгородили от вагонной колеи и разделили на несколько помещений, одно из них — для товарища Сталина.

Жуков был бы рад воздушной тревоге — в бомбоубежище Сталин бывал сговорчивее. Но в тот час немцы не бомбили Москву, Сталин стоял возле окна в своем кабинете, за столом, как обычно, сидели Молотов, Маленков и Берия, что Жуков отметил с досадой — один на один Сталин тоже становился сговорчивее. Но эта троица всегда торчала в его кабинете.

Жуков доложил обстановку. Наступление немцев на Киев может иметь катастрофические последствия: войска Юго-Западного фронта будут окружены. Сталин медленно прохаживался по кабинету, иногда подходил к столу, разглядывал карту, потом сел перед ней.

— Что вы предлагаете?

— Надо немедленно оставить правый берег Днепра и организовать оборону на левом берегу.

Сталин поднял тяжелый взгляд на Жукова:

— А как же Киев?

— Киев придется оставить.

Сталин встал, резко отодвинул кресло, прошелся по комнате, снова сел, взял в руку карандаш.

— Продолжайте доклад.

Жуков показал на карте точку недалеко от Москвы.

— Ельнинский выступ немцы позднее могут использовать для наступления на Москву. Надо организовать контрудар для ликвидации этого выступа.

Сталин бросил карандаш на стол.

— Какие там еще контрудары, что за чепуха?!

Он помолчал и вдруг неожиданно визгливо закричал:

— Как вы могли додуматься сдать врагу Киев?

— Товарищ Сталин... — Голос Жукова прерывался. — Если вы считаете, что я способен молоть чепуху, тогда мне здесь делать нечего... Тогда, товарищ Сталин... Я прошу освободить меня от должности начальника Генерального штаба и послать на фронт. Там я, видимо, принесу больше пользы...

Сталин отвернулся.

— Вы так ставите вопрос?! Ничего, можем и без вас обойтись. Идите! Я вас вызову, когда надо будет. Забирайте свои бумажки!

И отбросил от себя лежащую на столе карту.

Жуков вышел. Сталин снова начал прохаживаться по кабинету.

Первым нарушил молчание Молотов.

— Никаких вариантов, никаких предложений, сдать Киев, и все!.. Возмутительно!

— Хрущев и Кирпонос подбили, — сказал Берия, — хотят окопаться на левом берегу, так им будет легче.

Сталин нажал кнопку звонка. Вошел дежурный генерал, Сталин продиктовал телеграмму:

— «Киев. Хрущеву. Предупреждаю вас, что, если вы сделаете хоть один шаг в сторону отвода войск на левый берег Днепра, вас всех постигнет жестокая кара, как трусов и изменников».

Сталин подписал телеграмму.

— Сейчас же отправьте.

И снова начал ходить по кабинету. Что говорили между собой Молотов, Маленков и Берия, не слушал. Думал. Оставили Минск, Ригу, Вильнюс, Львов, Кишинев, Смоленск, теперь хотят оставить Киев, завтра предложат отдать Ленинград. Каждый сданный город — это удар в сердце народа, каждое поражение ослабляет его волю к сопротивлению, ослабляет веру в вождя. И в газетах изо дня в день одни и те же сообщения: наши войска оставили город такой-то... Каково это читать советским людям?

Сталин протянул палец к Маленкову.

— Шире пропагандируйте героизм советских людей. Сообщения о героических поступках наших красноармейцев и командиров должны стать главными во всех средствах информации. Советский народ должен знать, что фашистскую сволочь мы громим и разгромим. Это надо внушать народу каждый день, каждый час.

— Слушаюсь, товарищ Сталин, сейчас дам указание, — ответил Маленков и вышел из кабинета.

Дежурный генерал доложил:

— Товарищ Ворошилов из Ленинграда.

Сталин поднял трубку.

— Ну, что у тебя?

Молча слушал, потом сказал:

— Сейчас я продиктую указание, это тебя касается... Пишите, — приказал он дежурному генералу: — «Говорят, что немецкие мерзавцы посылают впереди своих войск стариков, старух, женщин, детей. Говорят, что среди большевиков нашлись люди, которые не считают возможным применить оружие к такого рода делегатам. Если такие люди имеются среди большевиков, то их надо уничтожать в первую очередь, ибо они опаснее немецких фашистов. Мой совет: не сентиментальничать, а бить врага и его пособников, вольных или невольных, по зубам. Бейте вовсю по немцам и по их делегатам, кто бы они ни были, косите врагов, все равно, являются ли они вольными или невольными врагами».

Сталин кончил диктовать.

— Отправьте сейчас же всем командующим фронтами.

Потом сказал в трубку:

— Ты слышал, что я сказал? Все слышал? Ты понял, каких большевиков я имею в виду? Да, да, вот именно! Очень хорошо, что понял.

Он бросил трубку и снова заходил по кабинету. Дурак Клим, отвлек его от главной мысли... Почему надо сдавать Киев? На юго-западе собраны лучшие войска, ведь именно там ОН ожидал главный удар. Ведь ОН запретил отступать! А теперь отступление предлагает начальник Генерального штаба! Позор! ЕМУ не нужен такой начальник Генштаба!

Он снова нажал на звонок, приказал дежурному генералу вызвать Жукова.

Жуков явился.

— Вот что, товарищ Жуков, — сказал Сталин, — мы посоветовались и решили освободить вас от обязанностей начальника Генерального штаба. На это место назначим Шапошникова. А вас используем на практической работе. У вас есть опыт командования войсками в боевой обстановке. В действующей армии вы принесете большую пользу.

— Куда прикажете отправиться?

— Вы докладывали об операции под Ельней. Вот и возьмитесь за это. Конечно, вы останетесь заместителем наркома обороны и членом Ставки.

— Разрешите отбыть?

— Сдайте дела Шапошникову и выезжайте.

После снятия Жукова никто в Генштабе не смел даже заикнуться о сдаче Киева и отводе войск с правого берега Днепра.

Через неделю Сталин объявил себя Верховным Главнокомандующим.

И все же отстраненный от высшего руководства Жуков нашел в себе мужество и 19 августа телеграфировал Сталину из Гжатска:

«Противник все свои ударные подвижные и танковые части бросил на юг. Замысел: ударом с тыла разгромить армии Юго-Западного фронта. Необходимо нанести удар во фланг противника, как только он станет приводить в исполнение свой замысел».

Ответ был таков:

«Продвижение немцев возможно. Для его предупреждения создан Брянский фронт во главе с Еременко. Принимаются и другие меры. Надеемся предупредить продвижение немцев. Сталин. Шапошников».

Эта телеграмма не удовлетворила Жукова, и он позвонил Шапошникову. Тот ему прямо сказал:

— Брянский фронт не сможет пресечь вероятный удар. Но Еременко в разговоре со Сталиным обещал разгромить противника.

Это было правдой. Еременко был у Сталина, держался уверенно, находчиво отвечал на вопросы о причинах наших неудач. По поводу движения Гудериана на Киев сказал:

— Я хочу разбить этого подлеца Гудериана и, безусловно, разобью его в ближайшие дни.

Сталин разговаривал с ним дружелюбно. После его ухода сказал:

— Вот тот человек, который нам нужен в этих сложных условиях.

Поведение Еременко ЕМУ импонировало. Тверд, решителен, по-хохлацки хитроват, но послушен. И Жуков послушен, но отводит глаза, показывает, что послушание его вынужденное. Присутствие Жукова т я г о с т н о: уверен, что как полководец превосходит товарища Сталина, не понимает, что военная стратегия — это прежде всего политика, в которой Жуков ничего не смыслит. Внутреннее сопротивление ОН не потерпел бы ни в ком, а в Жукове терпел — Жуков был единственным человеком, внушавшим ему чувство надежности. И это тоже угнетало — ОН привык надеяться только на себя. Устранив Жукова, снял это душевное неудобство. Жуков нужен, но на расстоянии. У Жукова тяжелая рука, как и ОН, Жуков не щадит людей, не считается с потерями, будет выполнять ЕГО поручения на самых сложных участках. Здесь будет Еременко. Разгромит, как обещал, Гудериана, и тогда можно будет назначить его начальником Генштаба.

Еременко не разбил Гудериана ни в ближайшие дни, ни в последующие. Немцы успешно продвинулись на юг. Еременко был ранен, его привезли в госпиталь, в здание Тимирязевской сель-

скохозяйственной академии. Там его навестил Сталин, показав тем самым, что ОН по-прежнему ценит Еременко: только из-за ранения тот не смог выполнить своего обещания. ОН не ошибается в людях.

11 сентября Сталин приказал Кирпоносу: «Киева не оставлять, мостов не взрывать».

Через неделю, 19 сентября, Киев пал. В плен было взято 665 тысяч советских солдат и офицеров.

Кирпонос и его штаб погибли в бою.

— Смелый был человек, — сказал о Кирпоносе Сталин, — народ будет чтить его память.

А Гитлер, окрыленный победой, отдал приказ о наступлении на Москву. Но в боях за Киев он потерял два месяца, август и сентябрь. Эта потеря оказалась роковой.

17

В день немецкого нападения на Советский Союз по лондонскому радио выступил премьер-министр Англии Уинстон Черчилль:

«За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все это бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями исчезает. Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен. Я вижу их, охраняющих свои дома, где их матери и жены молятся — да, ибо бывают времена, когда молятся все... Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина с ее щеголеватыми, бряцающими шпорами прусскими офицерами, только что усмирившими и связавшими по рукам и ногам десяток стран. Я вижу серую, вымуштрованную, послушную массу свирепой гуннской солдатни, надвигающейся подобно тучам ползущей саранчи. Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители, радующиеся тому, что они нашли, как им кажется, легкую и верную добычу.

За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют, организуют и навлекают на человечество эту лавину бедствий.

Мы должны высказаться сразу же, без единого дня задержки. Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Ничто не может отвратить нас от этого, ничто. Мы никогда не вступим в переговоры с Гитлером или с кем-либо из его шайки. Мы будем сражаться с ним на суше, на море, в воздухе, пока с Божьей помощью не избавим землю от самой тени его и не освободим народы от его ига. Любой человек или государство, которые идут с Гитлером, — наши враги. Любой человек или государство, которые борются против нацизма, получат нашу помощь.

Дело каждого русского — это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара. Удвоим свои усилия и будем бороться сообща, сколько хватит сил и жизни».

Через два дня о поддержке Советского Союза заявил президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт.

Пригодился Литвинов. Правильно ОН сделал, сохранив ему жизнь.

И вот Литвинов сидит перед ним. Поскребышев принес чай, печенье. Принес и небольшой пакет, положил его на стол рядом с подносом.

— Это что?

— Срочно из Ленинграда, от товарища Жданова.

— Что в нем срочного?

— Не знаю. Написано: «Не вскрывать, вручить лично в руки товарищу Сталину».

— Хорошо, посмотрю. Потом.

Сталин прошел в заднюю комнату, принес бутылку коньяка, плеснул немного себе в чай, выжал лимон, взглядом спросил Литвинова, налить ли ему. Литвинов поблагодарил, отказался. Сталин все так же не спеша закрыл бутылку, отнес ее обратно, вернулся, сел за стол, помешал ложечкой в стакане, глотнул, посмотрел на Литвинова. Постарел, поседел, но все такой же грузный, плотный, тот же невозмутимый взгляд за стеклами очков: ни торжества, ни упрека. Из старых товарищей, из друзей молодости, в сущности, он один остался, все уничтожены — и те, кто был рядом с НИМ, и те, кто был рядом с Литвиновым. И сам Литвинов, конечно, каждый день ждал ареста. И не разу не обратился к НЕМУ. Только с женой болтал, с умом болтал, как бы в адрес Молотова, старый конспиратор, опытный.

— Гитлер напал сначала на Францию, это верно, — неожиданно начал Сталин. — Но почему напал? Потому, что подписал с нами договор о ненападении. А не подпиши мы договор, Гитлер напал бы на Советский Союз еще в прошлом году, когда мы были не готовы к войне. Сейчас он вынужден держать в оккупированной Европе десятки дивизий, а тогда напал бы всеми силами. И был бы уже в Москве. И не сидели бы мы с тобой здесь, не попивали бы чаек. Как думаешь, напади Гитлер на нас в прошлом году всеми своими силами да еще под аплодисменты Франции и Англии, пили бы мы с тобой здесь чай?

Он тяжело смотрел на Литвинова. Что ответит? Начнет спорить? Нет, не будет спорить. Дипломат.

— Чай мы здесь, конечно, не пили бы, — ответил Литвинов.

Сталин отвел взгляд, опять помешал ложечкой в стакане, хлебнул, снова заговорил:

— Гитлер дошел до Смоленска и выдохся. Топчется у Ленинграда, Одессы, долго там будет топтаться. Блицкриг провалился, это ясно всему миру. Теперь от Черчилля и Рузвельта нужны не красивые слова, а реальная помощь. Я помню Черчилля: «Удушение большевизма — главное благо для человечества». Его слова?

— Да. Но фашизм для него первостепенный враг. И с Германией он уже воюет. Вопрос о помощи Советскому Союзу, я думаю, для него бесспорен.

— Реальная помощь — второй фронт, — сказал Сталин.

— До вступления в войну Америки Черчилль второй фронт не откроет.

— А не предаст ли нас Черчилль?

— Он, конечно, боится победы Советского Союза, но это в его представлении дело далекое. Сейчас ему нужно поражение Гитлера.

Сталин допил чай, отодвинул стакан.

— А что такое Рузвельт?

— Рузвельт... Религия, мораль, нравственность и тому подобное. Но его отношение к Гитлеру известно. И на него можно рассчитывать. Америка в ближайшее время вступит в войну. Она не допустит господства Гитлера в Европе и Японии в Азии.

— Черчилль, Рузвельт... Кто из них сильнее как личность?

— Рузвельт мягче.

Сталин встал. Литвинов тоже поднялся.

— Ну, что же, товарищ Литвинов, — сказал Сталин, — хватит, наверно, отдыхать, а? Сейчас не время отдыхать, товарищ Литвинов, назначим тебя заместителем Молотова. Если понадобится, поедешь послом в Америку.

Литвинов вышел.

Сталин протянул руку к звонку. Взгляд его упал на пакет от Жданова. Сорвал сургучную печать, вскрыл.

В пакете лежали три немецкие листовки. Сталин взял первую. И сразу бросился в глаза изображенный на фотографии Яков...

Сталин тяжело опустился в кресло. Сбылись его худшие опасения: Яков в плену, его сын в плену. Немцы сообщают об этом всему советскому народу, всей Красной Армии. И сделают с Яковом все, что захотят, заставят подписать все, что пожелают. На фотографии Яков веселый, прогуливается с двумя немцами по лесу, заглядывает одному в лицо, что-то оживленно говорит. И под этим текст:

«Это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й бронетанковой дивизии, который 16 июля сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов... Чтобы запугать вас, комиссары вам лгут, что немцы плохо обращаются с пленными. Собственный сын Сталина своим примером доказал, что это ложь. Он сдался в плен потому, что всякое сопротивление германской армии бесполезно». И на обороте: «Пропуск в плен. Предъявитель сего, не желая бессмысленного кровопролития за интересы жидов и комиссаров, переходит на сторону германских вооруженных сил».

На другой листовке Яков заснят, видимо, в лагере или на сборном пункте, в шинели, окруженный немцами, с любопытством на него глазеющими. На третьей Яков, улыбаясь (улыбается, негодяй!), что-то читает, рядом сидит красивый, ухоженный немецкий офицер.

И текст: «Следуйте примеру сына Сталина! Он сдался в плен. Он жив и чувствует себя прекрасно. Зачем же вы хотите идти на смерть, когда даже сын вашего вождя сдался в плен? Мир измученной родине! Штык в землю!»

На обороте рукой Якова: «Дорогой отец! Я в плену, здоров, скоро буду отправлен в один из офицерских лагерей Германии. Обращение хорошее. Желаю здоровья. Привет всем. Яков».

Сталин собрал листовки, сложил в пакет.

Негодяй! «Обращение хорошее»... Мерзавец! Опозорил отца, армию, нанес удар в спину своей родине. Заставили? Пытали? Возможно. Но почему сдался в плен? Почему не застрелился? При нем было оружие! Струсил! Струсил!

ОН никогда его не любил, даже не видел, пока милый зятек Алеша Сванидзе, подонок, не привез его в Москву. Нарочно привез, чтобы досадить ЕМУ... Молчаливый, чужой, медлительный, никакой гордости, женился, родилась девочка, умерла, развелся, стрелялся, но не попал, даже застрелиться не сумел. Из-за девчонки, негодяй, стрелялся, а теперь, т е п е р ь, когда речь шла о чести, застрелиться не захотел. Потом женился во второй раз, на одесской еврейке, брошенной мужем танцовщице, не нашел скромной русской девушки? Юбка оказалась дороже репутации отца. Негодяй! Его собственный сын сдался в плен. «Обращение хорошее»! Мерзавец! Ну, что ж, тем хуже для него. У властителя не может быть никаких сантиментов по отношению к собственным детям. Иван Грозный и Петр Великий убили своих сыновей, и правильно сделали.

Сталин нажал кнопку звонка, спросил у вошедшего Поскребышева:

— Кто там дожидается?

Поскребышев положил перед ним листок с фамилиями ожидающих приема.

Сталин пометил на списке, кого, в каком порядке впускать к нему, приказал:

— На семь вечера вызвать Берию.

Поскребышев, как никто другой знавший своего шефа, предупреждал каждого входящего в кабинет:

— Хозяин на пределе.

В семь часов явился Берия. Сталин еще разговаривал с Шапошниковым и Василевским, молча протянул Берии пакет с листовками, тот сел, стал читать. Собрав со стола карты, Шапошников и Василевский ушли.

— Что скажешь? — спросил Сталин.

— Фотографии, по-видимому, подлинные. Не похоже, чтобы это был загримированный под Якова актер, — ответил Берия.

— Сам вижу, что это не актер! — взорвался Сталин. — Почему листовки я получил от Жданова? Листовки разбрасывали только под Ленинградом?

— Нет, их разбрасывали повсюду. У нас они есть.

— Почему мне не доложил?

— Я не знал, как вам об этом сказать, товарищ Сталин.

Сталин ударил кулаком по столу.

— Скрывали?

— Мы обдумывали, какие можно принять меры, прежде чем вам доложить.

— И что надумали?

— Надо выяснить, где сейчас Яков. Немцы, безусловно, тщательно его охраняют. При массовом передвижении военнопленных найти его трудно.

— А если через месяц, через два, через год вы его найдете?

— Постараемся организовать побег.

Сталин встал, как обычно, прошелся по кабинету.

Побег... Тысячи наших пленных не могут убежать, а сын Сталина сумел. Кто в это поверит? Народ скажет: Сталин договорился с Гитлером, выручил своего сыночка. Какое после этого может быть доверие у народа к товарищу Сталину?

Он остановился перед Берией.

— Как только узнаете, где Яков, немедленно доложите мне. Надо лишить немцев возможности пользоваться его именем во вред нашей армии, нашей страны.

Берия поднялся.

— Жену — в тюрьму, в одиночку, — добавил Сталин.

— А дочь?

— Отдайте Светлане, она сама решит, возможно, отвезет к старикам.

18

После месяца кровопролитных боев в районе Брянска 50-я армия вышла из окружения на восточный берег Оки в районе Белева, потеряв значительную часть личного состава и техники. «Катюши» дали последний залп по врагу, потом их пришлось уничтожить — кончились снаряды и горючее. В начале ноября под давлением противника армия снова отошла и закрепилась на рубеже Дубна — Плавск. Автороте под командованием старшего лейтенанта Березовского приказали доставить тяжелораненых в тыл, во фронтовой эвакогоспиталь.

В роте осталось сорок две машины, из командного состава кроме Березовского — командир взвода Овсянников. Березовский сказал Саше:

— Придется помогать, Панкратов. Видите, ни старшины, ни политрука, ни взводных. Я назначил своим помощником Овсянникова, он со всем хозяйством не справится. Возьмите на себя техническую часть. Пришлют помпотеха, освобожу.

Березовский совсем исхудал, почернел, был контужен, плохо слышал, переспрашивал, придерживал пальцами вздрагивающее веко.

Работы Саше особенно не прибавилось. Техничка цела, и Василий Акимович цел — знающий механик. И шоферы, хотя опытные, бывалые, и раньше нередко обращались к Саше за советом, ну а теперь уже вроде как к начальнику. Звания у Саши по-прежнему не было, называли его или «инженер», или по фамилии: Панкратов. А Николай Халшин по-прежнему обращался к нему на «вы».

Почистили машины, подмели в кузовах, положили соломы, достали брезента, сколько смогли, приняли раненых, собрались в назначенном пункте, заправились, получили продукты, врач, фельдшер, медсестры сели по кабинам и поехали. В головной машине Березовский, замыкающие — Овсянников, Саша и техничка.

Неожиданно опустился туман, немцы не летали, и на второй день авторота доставила раненых в эвакогоспиталь.

Фронтовые тылы располагались в маленьком городке, сорок две машины от немецкой авиации не спрячешь, тем более фронтовые учреждения имели свои машины. Рота разместилась в трех прилегающих деревнях, в одной старшим — Овсянников, в другой — Саша, в третьей Гурьянов — бывший завгар, член партии.

Березовский остался в городе, дожидался указаний, куда ехать, что возить. При нем шофер Проценко, парень пробивной — надо доставать запчасти, материалы, горючее, смазочные, продукты.

После сентябрьских и октябрьских тяжелых боев, окружения, выхода из окружения, петляния по проселкам, переездам через реки по наспех сооруженным обваливающимся мостам, потери более половины состава роты, после отступления мимо сожженных деревень, через разрушенные города, по дорогам, запруженным беженцами с детьми, колхозными обозами, гуртами скота, ранеными бойцами в окровавленных, почерневших, запыленных бинтах, артиллерией, бензозаправщиками, штабными машинами, под непрерывными бомбежками, когда не всегда и не каждому удавалось выскочить из кабины, рвануть в поле, приникнуть к земле, с перетаскиванием убитых товарищей в свои машины, копанием могил — после всего этого жизнь в тихой деревушке казалась раем.

Проценко доставлял им табак, сухой паек, а картофель, огурцы, капуста у хозяев свои. В ближнем лесу лежали заготовленные с прошлого года дрова, шоферы их развезли по дворам, сложили в поленницы — значит и водка нашлась. И банька есть. Житье — малина. Только недолго продолжалось.

На седьмой день Проценко подвез Березовского к Сашиному дому, а сам поехал по деревне собирать шоферов.

— Я тут у вас с водителями переговорю, — сказал Березовский, — а вы найдите помещение, где бы я мог переночевать.

— Хотите, можете здесь, видите, две кровати.

Березовский снял фуражку, шинель, повесил на крючке у двери, присел на край кровати, закурил.

— Я был у Овсянникова и Гурьянова. У них машины готовы. Как у вас?

— Все на ходу.

Сбивая на крыльце снег с сапог, в дом входили шоферы, докладывали: такой-то явился. Березовский молча поглядывал на них.

Наконец все собрались.

Березовский притушил в блюдце окурок.

— Садитесь, кто на чем стоит. Только не курить, я уже здесь надымил.

Кто присел на корточки у стены, кто остался стоять.

— Завтра в шесть ноль-ноль выезжаем. Станцию погрузки объявлю в дороге. Сюда больше не вернемся. Вопросы?

— Как насчет теплого обмундирования, товарищ старший лейтенант? — спросил Байков. — Зима фактически на дворе.

— Шапки-ушанки, валенки, телогрейки, стеганые брюки, рукавицы получим на станции назначения, там и выдадим. Еще вопросы? — он повернулся к Саше. — Вы что-нибудь хотите добавить?

— Моторы поостыли, — сказал Саша, — к утру надо бы приготовить по ведру горячей воды. И еще: не забыть в избах лопаты, топоры, буксирные тросы.

— Железной лопатой много не очистишь, — засомневался Василий Акимович, — надо деревянные. Дело простое: черенок вдоль пропилить, в распил вставить кусок фанеры, забить гвоздями. Всего делов.

— Всего делов, — передразнил его Чураков, — а фанеру где взять?

— Приходи, дам.

— Много у вас фанеры? — спросил Березовский.

— Пара листов есть, — уклончиво ответил Василий Акимович.

— Поберегите для остальной роты. Вопросов больше нет?.. Значит, повторяю: в шесть ноль-ноль выезжаем. Все свободны. Проценко, занеси сюда мои вещи.

Шоферы ушли.

Проценко вернулся с небольшим чемоданом, вещмешком и пакетом. Пояснил — в пакете селедка.

— Спасибо, иди. Завтра в пять заедешь за мной.

Березовский расстегнул ремень, снял портупею, сунул под подушку пистолет в кобуре, расстегнул ворот рубашки, стянул сапоги, размотал портянки.

— Найдется, где посушить?

— Конечно, давайте.

— Заодно и кипяток закажите, чай попьем.

— Хотите чего-нибудь горячего? Можно яичницу организовать.

— К селедке лучше картошку сварить, если есть.

Саша вышел на кухню, разложил на печке портянки, попросил своих хозяек, двух одиноких старух, поставить чайник, сварить картошку. Те захлопотали. Были благодарны Саше: не только привез им машину дров, но и перепилил с товарищем, наколол, теперь на всю зиму обеспечены топливом, не замерзнут.

Саша вернулся в горницу.

На столе толстая алюминиевая фляга, обшитая сукном, водка, конечно. На расстеленной газете Березовский разделывал крупную, жирную селедку.

— Видали, какая селедка у тыловиков — залом. Пробовали?

— Приходилось.

— У меня руки испачканы, достаньте из моего мешка банку с маслом и хлеб. Заодно его нарежьте.

Лампа, сделанная из сплющенной артиллерийской гильзы, коптила. Саша ножницами подрезал фитиль, огонь стал гореть ровно.

Старушки принесли стаканы, вилки, ложки, тарелки с солеными огурцами, квашеной капустой, лучком, а некоторое время спустя чугунок, покрытый полотенцем, — горячую картошку.

— Ешьте досыти.

Березовский кивнул на флягу:

— Наливайте, Панкратов. А мне бы руки сполоснуть.

Пальцы его дрожали, когда он взял стакан.

— Первую положено за победу.

Выпили.

— Хорошо, — передернул плечами Березовский.

Подцепил вилкой селедку, пожевал, поднял брови.

— Давно такой не ел. Как вам, Панкратов? Вкусная селедка?

— Очень, — похвалил Саша.

Березовский снял полотенце с чугунка, ударил в лицо пахучий картофельный пар. Положил картошки себе, Саше, снова накрыл чугунок полотенцем.

— Чтобы не остыла. Наливайте. Когда нам с вами еще придется выпить, Панкратов? После победы, может быть. Как вы думаете?

— Возможно, раньше.

— Раньше? Вам известны последние события на фронте?

— Немцы опять перешли в наступление.

— Да, перешли. На нашем фронте действует танковая армия Гудериана.

Он придержал пальцами веко, опустив локти на стол, исподлобья взглянул на Сашу.

— Теперь слушайте внимательно, Панкратов. Вы исполняете обязанности помпотеха.

— Какого там помпотеха, — усмехнулся Саша, — так, на подхвате.

— Исполняете, исполняете. И как помпотех должны знать задачу. А задача такая. Роте предписано загрузиться зимним обмундированием, продовольствием и вооружением. Теперь я вам покажу полустанки, где мы должны взять груз.

Березовский вынул из планшета карту, разложил на кровати.

— Видите, город Михайлов.

— Да, бывал там.

— От Михайлова на юг спускается железная дорога, вот этот отрезок: Михайлов на севере, Павелец на юге. Между ними те

самые полустанки, где якобы ждут нас вагоны. Но... — Он медленно, раздельно и значительно произнес: — Город Михайлов занят войсками Гудериана, его подвижная группа в Скопине.

— В Скопине?

— В сводках Информбюро такого сообщения нет, но хозяин квартиры, где я остановился, позвонил в Скопин, а ему телефонистка говорит: «У нас немцы... Пьянствуют... Теплую одежду у жителей отбирают...» А в нашем штабе тыла об этом не знают. Вот вам хваленая войсковая разведка. Какое это имеет значение для нас с вами? А вот какое: Скопина немцы могли достигнуть только через Павелец. Значит, и Павелец занят. Следовательно, весь отрезок железной дороги между Михайловым и Павельцом в руках у немцев. Где нам грузиться?

— Зачем же мы туда идем? — спросил Саша.

— Такой вопрос и я поставил в штабе. Они мне ответили: «Немцев в Скопине нет, обывательские выдумки. В Михайлове появлялись немецкие мотоциклисты, но они отогнаны. Так что поезжайте и грузитесь». Хорошо! Допустим, добрались, погрузились. Куда мы должны следовать дальше? В расположение Двести тридцать девятой стрелковой дивизии в район станции Узловая. Посмотрите, где это. — Он показал на карте. — Видите? На севере! Но если Гудериан прошел на Михайлов, значит, Узловая отрезана. Как мы туда проберемся? По воздуху? В штабе отвечают: «Узловая не отрезана, у нас с ними есть связь. Выполняйте приказ командования». Чем вызван такой приказ? А вот чем...

Он взял папиросу, прикурил от коптилки, продолжил:

— Двести тридцать девятая дивизия передана в Пятидесятую армию. Эту дивизию надо снабдить теплым обмундированием и всем прочим. Как это сделать? А очень просто. Наша авторота прибыла тоже из пятидесятой армии, мы должны туда и вернуться. И возвращайтесь. А по дороге захватите груз для Двести тридцать девятой дивизии. Вот они за нами и спрятались. В случае чего предъявят документы: направлена авторота номер... К эшелону номер... Вагоны — номера... Накладные — номера... Не подкопаешься. Все послали, все отправили... А не дошло, извините, война. Но мы приказ выполнили. Вот так, Панкратов. Единственно, сумел вырвать у этих сволочей продуктов на пять суток, по три заправки бензина на каждую машину, медицинскую сестру еще выделили, я ее у Овсянникова оставил, увидите, ребенок. Дали двадцать винтовок на всю роту. Под Брянском кулаками отбивались, теперь вооружены, у каждого третьего винтовка Мосина образца 1891—1930 годов. Всех победим!

Березовский положил карту в планшет, налил водки, выпил, не дожидаясь Саши.

— Такие дела, Панкратов! Счет-то у нас на миллионы давно идет, в общегосударственном масштабе что там какие-то пятьдесят человек? — Он, прищурившись, посмотрел на Сашу. — Такие люди теперь пошли, Панкратов. Тех людей уже нет. О тех людях стихи остались...

Он придержал веко рукой, глухим голосом прочитал:

Я видел, как в атаках
глотали под конец
бесстрашные вояки
расплавленный свинец.

— Знаете, чьи стихи?

— Уткина. «На смерть Есенина».

— Верно, Уткина... Так вот, Панкратов, с теми бесстрашными я воевал рядом, их уже нет. А когда были т е, то Деникин, Колчак, Юденич, Врангель, чехословаки, немцы на Украине, французы в Одессе, англичане в Архангельске, японцы на Дальнем Востоке не смогли справиться с разутой, раздетой, голодной и безоружной Красной Армией! А сейчас с одной Германией воюем, а немцы уже под Москвой. Вы знаете такого писателя Панаита Истрати?

— Читал «Киру Киралину».

— Хороший писатель, балканский Горький. Так вот, про т е х он сказал: «Золотой фонд русской революции». Где теперь этот золотой фонд? На смену ему пришли э т и. С в е р х у   д о н и з у. Вот и подставили Россию, вот и гонят людей на смерть.

Саша помнил: «золотым фондом русской революции» Панаит Истрати назвал оппозиционеров, которые в двадцатых годах боролись против Сталина и в тридцатые были им уничтожены.

— Вы производите впечатление кадрового военного, товарищ старший лейтенант. Почему у вас такое небольшое звание?

Березовский положил себе еще картошки, смазал маслом.

— Ешьте, пока не остыла. Вы заметили, Панкратов, картофель, сваренный в чугунке в русской печи, имеет совсем другой вкус, чем сваренный в Москве на газовой плите? Ведь вы из Москвы?

Саша засмеялся.

— Я из Москвы, но какая картошка вкуснее, не знаю.

— И давно из Москвы? — неожиданно спросил Березовский.

— Давно, — коротко ответил Саша.

— Я так и думал, — сказал Березовский, — так вот, отвечаю на ваш вопрос. Я воевал на гражданской, член партии с девятнадцатого года. Музейная редкость нынче. Учился, инженер, работал на Горьковском автозаводе. При аттестации как командир роты запаса получил звание старшего лейтенанта, при этом звании и остался. — Он встал. — Давайте спать ложиться, Панкратов, завтра рано выезжать. Поведем людей в последний, решительный... Я уеду раньше, встретимся в деревне Фофаново, у Овсянникова.

19

2 октября на стол Сталину положили приказ Гитлера: «Сегодня наконец создана предпосылка к последнему огромному удару, который еще до наступления зимы должен привести к уничтожению

врага. Вся подготовка, насколько это было в человеческих силах, закончена. Сегодня начинается последнее решающее сражение этого года».

На Москву двинулась половина всей сосредоточенной в России германской армии. Операция шла под кодовым названием «Тайфун». 3 октября пал Орел, 6-го — Брянск, 7-го — Вязьма, где оказались в окружении шестьсот тысяч бойцов и командиров, почти столько же, сколько было взято в плен в сентябре под Киевом.

По приказу Сталина в бой бросались свежесформированные и плохо обученные части. В атаку гнали необстрелянных солдат, еще не успевших толком понять, как держать винтовку в руках.

В те же дни московская кинохроника засняла сюжет: «Цвет интеллигенции и рабочего класса отправляется на фронт». Лица без улыбок, проседь в волосах. Писатели, художники, музыканты, актеры, проходчики метрополитена, записавшиеся добровольцами в дивизии народного ополчения, неумело маршировали, построенные в колонны. Дивизии ополчения были выкошены в течение нескольких суток.

7 октября по вызову Сталина прилетел в Москву Жуков. После успешно проведенной им операции под Ельней он организовал оборону Ленинграда и не пропустил врага в город. Теперь во главе Западного фронта ему предстояло защищать Москву.

Осунувшийся, бледный, с красными от бессонницы глазами, Жуков прямо с аэродрома проехал на квартиру Сталина. Тот был простужен, тоже выглядел плохо, в кабинете сидели Молотов и Берия. Кивком головы Сталин указал Жукову на кресло.

— Сумеют немцы в ближайшее время повторить наступление на Ленинград?

— Думаю, что нет. Они укрепляют передний край обороны. Танковые и моторизованные войска переброшены, видимо, на московское направление.

— Принимайте командование Западным фронтом, разберитесь в обстановке и позвоните мне.

Жуков ушел.

Сталин поднялся с кресла, прошелся по кабинету, остановился перед Молотовым и Берией, поглядел на них в упор.

— Враг на пороге Москвы, и у нас нет достаточно сил ее защитить. Кутузов оставил Москву, но войну выиграл. Гитлер воюет уже четвертый месяц, однако не взял ни Москвы, ни Ленинграда, ни Донбасса. А ведь скоро зима. Русская зима! Как немцы будут воевать в своих шинелишках и пилоточках? Не предпочтет ли Гитлер прекратить войну и получить то, что он уже завоевал? Прибалтику, Белоруссию, часть Украины, в крайнем случае всю Украину. Сепаратный мир? Да, сепаратный мир. Ленин в 1918 году не побоялся заключить с немцами сепаратный мир. Почему должны бояться заключить его мы? Ленин понимал, что Брестский мир — временный мир, и не ошибся: германский империализм был обречен. И мы понимаем, что германский фашизм обречен и мы вернем

себе то, что отдадим сейчас. Найдите возможность по своим каналам немедленно предложить Гитлеру мир.

Это предложение было сделано германскому правительству через болгарского посла Стаменова. Гитлер на него даже не ответил, не сомневался, что возьмет Москву.

В начале войны он отдал приказ: «Город должен быть окружен так, чтобы ни один русский солдат, ни один житель — будь то мужчина, женщина или ребенок — не мог его покинуть. Будут произведены необходимые приготовления к тому, чтобы Москва и ее окрестности с помощью специальных сооружений были затоплены водой. Там, где стоит сегодня Москва, должно возникнуть огромное море, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского народа». Теперь времени для возведений таких сооружений уже не было, и новая директива главного командования гласила: «Фюрер вновь решил, что капитуляция Москвы не должна быть принята. До захвата город следует громить артиллерийским обстрелом и воздушными налетами, а население обращать в бегство. Чем больше населения устремится во внутреннюю Россию, тем сильнее увеличится хаос».

13 октября немцы взяли Калугу, 14-го — Калинин, 18-го — Малоярославец и Можайск. Но уже за два дня до того, как пал Можайск, по Москве поползли слухи о немецких мотоциклистах, которых видели на окраине города — на Волоколамском шоссе. В учреждениях жгли архивы. На вокзалах пересматривали графики движения поездов — началась массовая эвакуация правительственных учреждений. В Куйбышеве приступили к строительству подземного бункера для товарища Сталина. Туда же, в Куйбышев, эвакуировался аппарат НКВД, вывозя с собой важнейших подследственных. Но вагонов не хватило, и в подвалах Лубянки осталось около 300 высших военачальников. Их расстреляли. Позже, 28 октября, расстреляли и вывезенных в Куйбышев генералов — Локтионова, Рычагова, Штерна, Смушкевича, Савченко. На фронте в это время полками командовали лейтенанты.

20 октября в Москве ввели осадное положение. Оборону ее возложили на командующего Западным фронтом Жукова. Советские войска ожесточенно сопротивлялись. Батальон погибал полностью, но ни один солдат своего рубежа не оставлял. Уже в охваченных огнем танках танкисты дрались до последнего снаряда и погибали. Солдаты со связками гранат бросались под немецкие танки и взрывали их.

К концу октября немцы были остановлены. 7 ноября на Красной площади состоялся военный парад, на котором Сталин выступил с речью, обращенной к бойцам, уходящим на фронт. Во время войны это был его единственно смелый поступок — в Москву мог прорваться немецкий самолет.

В середине ноября наступило резкое похолодание, температура упала до семи — десяти градусов мороза. Однако Берлин приказал сделать еще одно усилие, совершить последний бросок, взять Москву, до нее оставалось всего 50—60 километров!

20

В пять утра Березовский уехал с Проценко. Саша завел свою машину, прогрел, попрощался с хозяйками, выехал на улицу. Похолодало, выпавший вчера снег сжался, осел, местами почернел, дорога была хорошая, твердая.

Из дворов выезжали машины, Саша подходил к каждой, узнавал, все ли в порядке. Чураков деревянной лопаты, конечно, не сделал.

— Куда едем? — спросил Байков.

— В деревню Фофаново.

— А дальше?

— Не знаю. Командир роты объявит.

— А то, что немец сюда подходит, знаешь?

— Все тебе командир роты расскажет.

Только у Митьки Кузина машина не завелась, сел аккумулятор.

— Покрути ручкой.

— Так уж кручу, кручу...

— Беги к Василию Акимовичу, возьми «колхозную».

«Колхозной» называлась заводная ручка с длинной рукояткой, ее могут вращать сразу три человека. Николай Халшин, Мешков Юрий Иванович и Митька взялись за рукоятку, Саша сидел за рулем, мотор заурчал, завелся.

— Вот так, — сказал Юрий Иванович, — главное спокойство. Ты, Кузин, не гоняй зря стартер, аккумулятор у тебя слабый, совсем посадишь, пользуйся ручкой.

Сведения Березовского оказались правильными.

Утром 18 ноября танковая армия генерала Гудериана прорвала оборону советских войск южнее Тулы и, обойдя ее, развернула наступление на север, к Москве. Болота, озера, реки замерзли, местность стала проходимой, это облегчало немецким войскам маневрирование.

24 ноября механизированная дивизия Гудериана заняла Михайлов, ее передовые отряды достигли Скопина. На небольшой территории между Михайловом и Скопином рыскали разведчики противника, его охранные и сторожевые группы.

И маленькую железнодорожную станцию, к которой подъехала авторота, немцы бомбили: шпалы вывернуты, рельсы свиты в бесформенные клубки, обугленные и сожженные вагоны валяются на насыпи. Начальник станции сказал, что это порожняк, груза никакого нет и вообще после 24 ноября ни один состав из Михайлова не вышел, так что вряд ли и на других станциях есть груз. И поскольку немцы в Михайлове, то к Узловой теперь никак не добраться.

Березовский думал. Задание невыполнимо. Ехать вперед — значит обречь людей на смерть. Вернуться назад, не выполнив приказа, значило самому попасть под трибунал, но люди останутся живы — они подчинились его распоряжению. Надо возвращаться.

— В окрестных деревнях немцев вроде бы нет, — добавил начальник станции, — но авиация их летает.

И будто в подтверждение его слов в небе появилась «рама», немецкий двухфюзеляжный разведывательный самолет, пролетел совсем низко и скрылся. Летчик, конечно, засек колонну машин на шоссе, сейчас налетят, будут бомбить.

На другой стороне железной дороги в полукилометре виднелся лес. Быстро перебрались через переезд, въехали в просеку, въезд в нее завалили деревьями, машины накрыли ветками. И вовремя сделали. Над станцией появились два немецких самолета, покружились, но, не найдя цели, улетели...

А еще через полчаса донеслись шум машин и треск мотоциклов. Прячась за деревьями, Березовский подошел к дороге. На ней показались три немецких бронетранспортера и пять мотоциклов с колясками, в них сидели автоматчики. Подъехали к железной дороге, поднялись в пристанционную будку и вскоре вышли оттуда с начальником станции, усадили его в коляску, поехали в сторону Павельца.

Значит, немцы оседлали и эту дорогу, на нее не вернешься. Рота двинулась по просеке вперед, объезжая пни и переезжая канавы.

Настроение было подавленное. У всех в памяти окружение, гибель товарищей. Но тогда хоть в куче были, с армией, а теперь одни, пятьдесят человек, на всех двадцать винтовок, наших войск нет, немец наступает со всех сторон, перебьет, передушит, как котят.

Доехали до конца просеки, но на шоссе не выехали. Березовский выслал разведчиков к полустанку железной дороги. Вечером разведчики вернулись: немцев там нет, но и вагонов нет.

Пошел снег, надо выбираться из леса. Ночью рота с затемненными фарами двинулась к деревне Хитрованщина, оттуда есть дорога на Узловую. Расположились опять в лесочке, замаскировались.

На машине Руслана Стрельцова Березовский поехал в деревню, вскоре вернулся, привез два больших бидона с горячими щами.

— Разлейте щи по котелкам, пока горячие, а Руслан потом отвезет бидоны обратно, где брали, — распорядился Березовский, выставил на опушке дозорных, позвал в летучку к Василию Акимовичу Овсянникова, Сашу и Гурьянова. Проценко принес им хлеб, котелки со щами, они похлебали, вернули котелки.

Березовский разложил на верстаке карту, показал:

— Назад хода нет. В Узловой и в Михайлове — немцы. Значит, на север и юг двигаться не можем, о западе и говорить нечего. Что будем делать?

— Остается восток, — сказал Саша.

— Доберемся до железной дороги. А дальше? Видите карту? На восток дорога идет только от Михайлова, а в Михайлове немцы.

— Есть еще дорога, — сказал Саша. — Вот полустанок, а вот деревня Грязное. Перед войной от Пронска сюда прокладывалось

шоссе, прошли грейдером, но не закончили, поэтому она не обозначена на картах.

— По ней ездят?

— Этого я не знаю.

Послышался шум мотора. Овсянников выглянул в дверь.

— Стрельцов в деревню бидоны повез.

— Но если по грейдеру не ездят, значит, он завален снегом, — сказал Березовский. — Как мы его найдем?

— Должны стоять вешки. И в каждой деревне знают про этот грейдер. Потом канавы — между ними можно дорогу найти. Завозили песок, камень, щебенку, кучами лежат на обочинах — тоже примета. Снег? У нас есть лопаты.

Березовский промерил по карте расстояние.

— Километров под семьдесят будет.

— Два часа езды, — сказал Овсянников.

— В этих условиях не два часа, а две ночи, — возразил Березовский.

Вошел Проценко.

— Товарищ старший лейтенант, тут капитан с бойцами.

— Беги! Кто с винтовками, всех сюда!

Возле летучки стояли капитан и четыре красноармейца с автоматами, в шапках-ушанках, полушубках и валенках.

— Попрошу документы, — потребовал Березовский.

Расстегнув полушубок, капитан достал документы, протянул Березовскому, окинул настороженным взглядом окруживших их шоферов.

— Бойцы пусть погреются в кабинах, — предложил Березовский, возвращая документы, — а вы, товарищ капитан, пройдите в вагончик.

Они вернулись в летучку, капитан снял шапку, скинул полушубок. Был он русоволос, голубоглаз, круглое, красное от мороза лицо выражало досаду.

— Авторота следует в распоряжение Двести тридцать девятой дивизии, — сказал Березовский, — а вы куда направляетесь?

— В Двести тридцать девятую дивизию вы не попадете. — Капитан снял валенок с левой ноги, размотал портянку, снял носок, осмотрел ногу, видно, искал потертость. — Двести тридцать девятая дивизия окружена, Пятидесятая армия отрезана. Все, что на севере, отрезано.

— А вы как тут очутились?

— Отбились от своей части. Уходим на юг.

— Почему на юг?

— Я же вам объяснил, — нетерпеливо ответил капитан, — север отрезан, немец наступает в восточном направлении, значит, нам остается идти только на юг.

— А нам что посоветуете?

— Вам? — Капитан пожал плечами. — С машинами вы никуда не проберетесь.

— Бросить машины?

— При выходе из окружения уничтожают и не такую технику.

— Мы намерены пробиваться на восток, к городу Пронску.

Капитан поморщился, снова занялся своей портянкой.

— Движение по дорогам, тем более автоколонной, исключено, вас разбомбят через час. — Он заговорил еще более раздраженно и поучающе: — Из окружения, товарищ старший лейтенант, можно выходить или мощной военной частью, способной принять бой, или маленькими группами, по пять-шесть человек, лесными тропинками. Я, товарищ старший лейтенант, уже не в первый раз выхожу из окружения и знаю: движение в одном направлении с противником — верная гибель.

Капитан поднялся, надел полушубок, шапку, козырнул.

— Будьте здоровы, товарищи, желаю успеха!

Вышел из технички, окликнул своих бойцов. И вдруг прибежал шофер из дозора с криком:

— Товарищ старший лейтенант, там немец Стрельцова бомбит!

Все кинулись к опушке.

По дороге мчалась машина Стрельцова. Над ней совсем низко пролетел «мессершмитт». Стрельцов внезапно остановился, бомба упала и разорвалась перед ним. Стрельцов объехал это место и понесся вперед. Самолет развернулся и полетел ему навстречу, была видна голова летчика в шлеме. Стрельцов на этот раз не остановился, казалось, еще прибавил скорость, бомба упала уже за ним. Пока немец разворачивался для нового захода, Стрельцов съехал в лес недалеко от расположения роты.

— Асс! — воскликнул Овсянников.

Капитан желчно проговорил, обращаясь к Березовскому:

— За одиночной машиной гоняются, а вы хотите колонну провести.

И ушел со своими бойцами.

Явился Стрельцов, доложил: машина в порядке. Березовский выстроил роту, объявил Стрельцову благодарность за мужество и отвагу, приказал готовиться в дорогу, определил порядок движения, дистанцию, сигнализацию, разбил роту на пятерки, назначил старших, сам поедет в голове колонны, Овсянников — в середине, замыкающие — Саша и Василий Акимович на техничке. Медсестра Тоня, единственная из всех по-зимнему экипированная, раздала мазь против обморожения, с детской старательностью объясняла каждому, как ею пользоваться.

Наконец все было готово.

Начинало темнеть, Березовский отдал последние указания Овсянникову и на машине Проценко выехал на дорогу, проехал несколько метров, неожиданно остановился, вышел из кабины.

Овсянников подбежал к нему, обернувшись к водителям, крикнул:

— Колесо спустило...

Саша заглушил мотор — мало ли что, вдруг понадобится помощь?..

Но не успел даже из машины выскочить.

Все произошло мгновенно. Из-за леса на бреющем полете с ревом вылетел «мессершмитт», дал длинную пулеметную очередь.

Березовский и Овсянников упали.

21

Березовский лежал на спине, шинель расстегнута, гимнастерка в крови. Одной рукой закрывал окровавленное лицо, другая, тоже окровавленная, откинута в сторону. Овсянникова усадили на подножку кабины, он привалился к дверце, Тоня бинтовала ему голову, заглядывала в глаза:

— Спокойно, милый, спокойно, я аккуратненько...

Покосилась на Сашу, стоявшего возле Березовского, мотнула головой:

— Все кончено...

Саша и Гурьянов приподняли Березовского, Саша снял с него планшет, ремень с пистолетом, вынул из кармана гимнастерки документы, задержал взгляд на фотографии. Миловидная женщина в сарафане прислонилась плечом к Березовскому, тот обнимал двух девочек в купальничках. Летний день, песчаный пляж.

Перенесли Овсянникова в техничку, Березовского — в лес.

Ломами долбили землю, выгребали лопатами, меняя друг друга, торопились до полной темноты вырыть могилу. Юрий Иванович осветил карманным фонариком яму, махнул рукой — достаточно! В техничке нашлись две доски, обрезали, сколотили, уложили на них командира, осторожно, на веревках, опустили на дно, укрыли тело брезентом, забросали землей, положили на могилу старую зисовскую покрышку, в середину ее воткнули колышек с фанеркой. На ней звезда и надпись: «Старший лейтенант Березовский М. С.»

Василий Акимович и Гурьянов улучили момент, отозвали Сашу в сторону.

— Ты — помпотех, получаешься старшим, объяви последний приказ командира.

Шоферы дали залп из винтовок, постояли молча возле холмика. Ветер хлопал полами шинелей, снег забивался под воротники.

Саша вдруг подумал, что Березовский предчувствовал свою гибель, хотел перед смертью выговориться, потому и был так откровенен вчера.

— Передаю последний приказ командира роты, — сказал Саша, — двигаться на восток, в город Пронск, никуда больше нам не пробиться. Перед войной от Пронска до деревни Грязное прошел грейдер, дорога твердая. По пути есть деревни, будет где обогреться. Распоряжения к маршу командир нам отдал. В головной машине поеду я, поскольку знаю дорогу.

— Капитан на юг пошел, — сказал Байков, — бойцы его говорили.

— Да, на юг, это верно, но они пешие, пошли лесами, а нам нужна дорога, — ответил Саша.

— А над дорогами «мессера» летают, — настаивал Байков, — надо и нам выбираться лесом, в пешем порядке.

— А машины немцам оставить? — возразил Халшин.

— Сжечь их можно — не достанутся, — не уступал Байков. — Выехал Стрельцов — обстреляли, командир роты выехал — убили. А колонной разве проберешься?

— Стрельцов ехал днем, — сказал Саша. — Как погиб командир, вы видели. Несчастный случай. На капитане и его бойцах были ушанки, полушубки и валенки, а у нас — пилотки, шинели и сапоги. Замерзнем. Сегодня тридцатое ноября, мороз — двадцать два градуса, а завтра уже декабрь. Бросать сорок машин, когда есть шанс выбраться, считаю неправильным. И потому еду.

— На погибель нас тянешь, Панкратов, — сказал Чураков.

Но вместе с остальными шоферами пошел к колонне.

В машине Проценко оказался пробитым радиатор. Нового нет, паять некогда. Проценко барахло свое перетащил в Сашину машину, поедет с ним.

Хоть с трудом, но без лопат прошли километров семь, выехали из леса на открытое место. Дорога была обозначена телеграфными столбами, и, несмотря на вьюгу, ехать стало легче. Справа показалась сожженная деревенька, вроде бы безлюдная, а может, прячутся люди в погребах или еще где-то.

Порывшись в своем вещевом мешке, Проценко вытащил шапку-ушанку, надел, пилотку засунул в мешок.

— Откуда? — спросил Саша.

— В городе возле госпиталя купил, у меня еще одна есть, хочешь?

Врет, конечно. Выпросил шапки на вещевом складе.

— Мне не надо, — отказался Саша, — отдай Овсянникову, а в деревню приедем, поговори, может быть, соберут старые шапки.

Заднее стекло кабины занесло снегом, ничего не видно. Саша посадил за руль Проценко, а сам, открыв дверцу кабины, встал на подножку, смотрел назад. Сквозь пелену метели он едва различал огоньки фар, вроде бы пять машин идут, а дальше ничего не разберешь, но останавливаться нельзя, надо прокладывать колею.

— Закрывай дверь, — сказал Проценко, — кабину застудишь.

Это верно. И все равно Саша снова открывал дверь, смотрел. Снег падал все гуще, вьюжило сильнее, но столбы, хоть и с порванными проводами, стояли на своем месте, обозначали дорогу.

В третьем часу ночи подъехали к полустанку. Он был пуст, шлагбаум открыт, будка цела, но тоже пуста. Машины перебрались через переезд. Ни огонька, ни жилья, ни человека. И телеграфных столбов на этой стороне нет.

Куда ехать? Саша знал, что деревня Грязное совсем близко от железной дороги, километрах в двух, не более, и если стоять спиной к переезду, то деревня справа. Но где поворот, где съезд, ночью, да еще в метель, разве найдешь?

— Поищем вокруг, — сказал Саша, — должен же кто-то быть у шлагбаума.

На землянку натолкнулся Халшин, позвал Сашу. Была она занесена снегом, но видны ступеньки вниз, и труба торчит.

Постучали раз-другой. Вышел высокий костлявый мужик в тулупе и валенках, на голове — треух, оказался путевой обходчик. С 24 ноября поездов нет ни с Михайлова, ни с Павельца. Ну, а они с женой уйти не имеют права. Служба.

— Немцы тут были?

— Нет, не были, аэропланы ихние летают, это есть.

Саша переступал с ноги на ногу, замерзли ноги в сапогах, и уши мерзнут, как ни натягивай пилотку.

— Тут до войны дорогу строили, грейдер прошел, знаете?

— Как не знать. На нем и стоите.

Саша огляделся.

— Ни канав, ни материала.

— Канав тут не копали, материал не завозили, а грейдер прошел, это точно.

— А вешки?

— Может, упали, вишь, пурга какая. Блинов Яков Трофимович в Грязном живет, смотритель дорожный, должен за этими вешками глядеть.

— Где поворот на Грязное?

— С километра два проедете, и направо.

— В Пронск по грейдеру ездят?

— Нет, от Грязного своя дорога в Пронск, санная, ляском. Грейдер — место открытое, а ляском поспособнее, тем более привык народ, потому как...

— Ладно, дед, садись в переднюю машину, показывай дорогу.

— Чего ее показывать, два километра проедете, и направо.

— Вот и покажешь, садись, садись!

— Погоди тогда, тулуп-то я на исподнее накинул, сунул босы ноги в валенки, оденусь, бабу предупрежу.

Согнувшись, обходчик нырнул обратно в землянку.

На переезде замелькали огоньки, подошла пятерка Стрельцова. Саша всех отослал с проводником в деревню, велел оставить на повороте одну машину, чтобы показать дорогу следующим пятеркам. Сказал Проценко: будешь за квартирьера, а сам на полуторке Халшина остался дожидаться остальных машин.

— Потерпи, Николай, как первые машины подойдут, отправлю тебя в деревню, на другую пересяду.

Халшин сидел молча. Воротник шинели поднят, обвязан шарфом почти до глаз, и пилотка натянута на лоб, перебирал ногами: мерзли. И у Саши мерзли ноги, руки, продрог хоть и надел под гимнастерку свитер и шею обмотал шарфом.

Наконец подъехал Байков с тремя машинами, его четвертая... Где пятая?

— А черт его знает, — недоумевал Байков. — Последним Журавлев ехал. Отстал, видно, нагонит.

Был Байков в шапке-ушанке, в валенках, наверно, из дому везет, запасливый.

— Ты что же, не видел, сколько машин за тобой? — нахмурился Саша.

— Интересно! Как я мог видеть? Ты с шофером едешь, а я за рулем, на затылке у меня глаз нету. Не потеряется Журавлев, не маленький!

— Подбирать за тобой машины никто не обязан! Ты отвечаешь за свою пятерку. Может быть, Журавлев с дороги сбился! Изволь вернуться и разыскать его.

— Наверно, — усмехнулся Байков, — поеду я в пургу. Нашелся тут начальник — от сохи на время.

— Пожалеешь.

— Не пугай, не пугай, не таких видали!

Саша положил руку на кобуру.

— Поедешь?

Байков посмотрел на кобуру, на Сашу, молча пошел к машине, тронулся, но не развернулся, а поехал вперед. Вот сволочь!

— Зря вы его, гада, не пристрелили, — сказал Халшин.

— А кто его машину потом поведет? — возразил Саша. Но ощутил свое бессилие. Он не командир, подчиняться ему не обязаны. Ладно, лишь бы довести колонну до Пронска.

Уже начинало светать, когда подъехал Чураков со своей пятеркой.

— Журавлев тебе не попадался? — спросил Саша.

— Стоит на дороге, зажигание отказало, бросил его Байков, гнида! Я посмотрел, поковырялся, трамблер надо менять, подойдет техничка, сменит. Журавлев нас и задержал, стали его объезжать, одна машина в кювет съехала, едва вытащили.

— Не в трамблере дело, — сказал Саша. — Не захотел ты выручить Журавлева — он из пятерки Байкова, а с ним вы полаялись. Оба вы засранцы.

— Ты меня не обзывай! — крикнул Чураков, наступая на Сашу.

— Но, но, потише! — Халшин загородил Сашу. — Так тебе врежу, что мослов не соберешь.

— Считай! — истерично выкрикнул Чураков. — Считай машины! Видишь, пять! За них и отвечаю. А чужие не навешивай на меня.

— Уезжайте! — махнул рукой Саша.

Уже совсем рассвело, когда подошли машины Гурьянова и Мешкова Юрия Ивановича, с техничкой и с машиной Журавлева.

— Пока Журавлев нас дожидался, у него радиатор прихватило, пришлось паяльной лампой отогревать, — объяснил Гурьянов, — вот и задержались.

Саша спросил у Тони, как Овсянников.

— Спит, слава Богу, думаю, довезем.

— Приедете в деревню, узнайте, нет ли там больницы.

Саша въехал в деревню Грязное последним. Уже был день, сумрачный, холодный, падал, не переставая, снег. Проценко подсел в кабину, доложил: люди накормлены и отдыхают, деревня большая,

машины разъехались по улицам и проулкам, прижались к домам, к заборам, сверху их сразу не увидишь, к тому же запорошены снегом.

Проценко отвел Сашу на его квартиру. Хорошая, теплая изба, старики хозяева, сноха, внуки. Встретили вежливо, но не сказать, что приветливо. Сашу это удивило — в других деревнях к ним относились сердечнее.

Саша разулся, подержал ноги возле печки, согрелся немного, сменил носки, похлебал горячих хозяйских щей и отправился к смотрителю дороги Блинову. Хотелось спать, падала голова, но пересилил себя.

Блинов оказался угрюмым мужиком, сказал, что стройматериалы завезли только до деревни Дурное, лежат на обочинах, а вешки, может, и попадали, третий день метет. Дорогу можно определить по канавам, до них отсюда километров десять.

— Поедете с нами, покажете канавы, — сказал Саша.

— Зачем это я поеду?!

— Вы же смотритель, дорожный мастер...

— Работал по обслуживанию, это действительно, а сейчас кому нужна моя должность? И ехать никуда не могу — спина не разгибается. Радикулит.

— Поедете, закутаем в тулуп, посадим в кабину, поедете!

Блинов сурово покосился на Сашу.

— Когда выезжать собираетесь?

— К вечеру. Как стемнеет, выедем.

— Чего ждать-то?

— Люди две ночи не спали, на ногах не держатся...

— Дорогу до канав надо днем прочистить, ночью потеряемся в поле. Иди к председателю колхоза, Галине Ильиничне, проси людей с лопатами, прочистят, сколько возможно, я покажу.

22

Председатель колхоза, Галина Ильинична, крупная тетка средних лет, в шерстяной кофте, к которой был прикреплен орден, хмурилась, слушая Сашу.

— Какие у нас жители? Старики, женщины, дети.

— В Москве женщины роют противотанковые траншеи, всем тяжело.

— Знаем, слыхали, читали, — усмехнулась она. — Так ведь в Москве роют траншеи, чтобы враг не прошел, а мы будем дорогу чистить, чтобы наши защитнички подальше от врага убежали? Так ведь?

— Нет, — только и нашелся, что ответить, Саша, ошеломленный этой логикой.

— Вот ты, например, где твои знаки различия? Кубари или шпалы, не знаю, что тебе положено. Заранее снял, к плену готовишься?

— Я не командир. Командир роты убит, взводный тяжело ранен, пришлось мне, рядовому, принять командование. В Пронск идем, к своей дивизии. И не думайте, что нам было легко пробиваться.

— Это дела не меняет, — не уступала она. — Немцы в Михайлове, отсюда рукой подать, не сегодня-завтра здесь будут, а вы уходите, да еще дорогу вам гладенькую приготовь. А почему нас с собой не берете? Что вы нас тут-то оставляете?

— Пожалуйста! Грузитесь немедленно, с лопатами, конечно, поможете дорогу расчищать. Давайте, давайте, собирайтесь!

Она вздохнула:

— Указаний пока таких нет — уходить, скот угонять. Его не бросишь!

— Указаний нет... А мы? Мы простые солдаты. Вот так.

— Может быть, и так... Но обидно. Довоевались. На Рязанщине со времен татар врага не было. А теперь вот непобедимая, несокрушимая... Шли бы не назад, а вперед, мы бы вам дорогу половиками выстлали. — Она помолчала. — Женщины у нас все заняты: на молочной ферме, на птицеферме... Хорошо, подгони к правлению машину, соберем, кого возможно. Блинова прихвати.

— Обязательно. Сердитый он у вас, между прочим.

— А чему веселиться? Оба сына убиты, всего пять месяцев воюем, и нет уже сыновей.

Выехали на двух машинах. В первой за рулем Саша, рядом Блинов, вторую вел Халшин.

— Поедем, Николай, — попросил его Саша, — помоги!

Дорогу начали расчищать сразу за поворотом. Блинов по одному ему известным приметам определял направление. Был он в полушубке и высоких валенках, где намечал лопатой, где ногами протаптывал середину грейдера, от нее девки раскидывали снег, кто направо, кто налево, переходили с места на место, едва поспевали за стариком, быстро шел. Саша и Николай тоже работали, возвращались к машинам, подгоняли их вперед по расчищенной дороге, выходили из кабин, снова брались за лопаты.

Девки держались хмуро, изредка переговаривались между собой, Сашу и Николая обходили взглядом. Только одна баба постарше, перевязанная крест-накрест платком поверх шубы, сказала:

— Ваши шоферы, кобели здоровые, не могут сами дорогу расчистить?

— Они две ночи не спали, и в эту ночь опять выезжаем. Если шофер заснет за рулем, то и себя, и машину угробит.

— С бабой небось всю ночь не спит и ей спать не дает, утром встал как огурчик, а за рулем, вишь, засыпают, нежные!

Николай незлобиво, этак с ленцой ответил:

— Так ведь какая баба... От одной, верно, не оторвешься, а с другой — сразу на бок и дрыхнешь до утра. Особенно если говорлива чересчур.

А Саша ничего не сказал. Чистое поле, снег, пронизывающий ледяной ветер, цепочка склонившихся к лопатам женщин, переходящих с места на место. Что он может им объяснить? Надо, мол, выполнять свой долг? Они и сами это понимают.

И он греб и греб, откидывал снег, надеясь согреться в работе, и все равно мерзли ноги в сапогах, пальцы в шерстяных перчатках, уши под натянутой пилоткой.

Рядом с Сашей работала та самая баба, перетянутая крест-накрест платком, поглядывала, как он натягивает пилотку на уши, как подносит руки ко рту, дует на пальцы. Сказала не то сердито, не то сочувственно:

— Сидели бы в машине, застудитесь в своих сапожках.

Саша улыбнулся ей.

— Дойдем до канав, все вернемся в деревню.

— Принесу я тебе шапку, рукавички, валенки, а то пропадешь, черняненький.

— За это спасибо, — сказал Саша.

Взошла луна, когда Блинов остановился.

— Вот они, кюветы!

Хотя и заваленные снегом, кюветы с обеих сторон дороги были видны — местами больше, местами меньше.

— Где кюветы замело, нащупаете лопатами. Километрах в десяти отселева материал на обочинах большими кучами лежит, а подальше, чуть в сторонке, деревня будет — Дурное.

Расчистили побольше места, машины развернулись, женщины залезли в кузова, Блинов сел к Саше в кабину, по расчищенной дороге вернулись в Грязное. Саша попрощался с Блиновым.

— Спасибо вам за все, Яков Трофимович.

— Ладно, чего там... От Дурного до Пронского шоссе пятнадцать километров, считаем. На развилке отделение МТС, избенки стоят, выселки вроде...

— Я те места знаю...

Дома Саша снял шинель, сапоги, попытался размять ноги, и вдруг качнуло, почувствовал жар, болела и опять падала голова, ломило спину, и, хотя изба хорошо натоплена, бил мелкий озноб. Неужели заболел, простудился, еще чего не хватало! Есть не хотелось, все же он похлебал горячих щей, поел кашу, тоже горячую, привалился на лавке возле печки, забылся, задремал.

За руль Саша посадил Проценко, сам прикорнул в углу кабины, добирал хоть чуточку сна, все спали днем, а он нет. Голова была тяжелая, продолжало знобить, не мог согреться, хотя был в шапке-ушанке, валенках и рукавицах, принесла та баба, не обманула. Он дремал на лавке, не слышал, как приходила. Увидел и шапку, и валенки, и рукавицы только тогда, когда Проценко разбудил его и сообщил, что все готовы, моторы заведены. Валенки оказались велики, болтались, спадали с ног. Хозяйка сказала:

— Ефрема катанки. Ейный Ефрем огромадный был мужик. — Приказала невестке: — Люба, дай-ка ему мужнины, вроде одна у них комплекция.

И на шоферах были шапки, а кое на ком валенки, сжалились сельчане. А может, подумали: чем немцам достанется, лучше своим отдать.

Машина встала.

— Дальше дороги нет, — сказал Проценко.

Саша вышел из кабины. До этого места они и расчистили, здесь и разворачивались.

Полная луна освещала покрытые снегом поля. Сзади виднелись огоньки машин — длинный, уходящий в темноту ряд. Саша послал Проценко по колонне — всем выключить фары, идти сюда с лопатами.

Слесарям, Шемякину и Сидорову, Саша велел идти по обочине, прощупывать лопатами кюветы, а сам пошел по середине дороги, как и Блинов, протаптывая след, а где и обозначая его лопатой, за ним шел Халшин Николай и дальше гуськом вся рота. Саша увязал в снегу, с трудом передвигал ноги, слава Богу, хоть валенки впору, те, Ефремовы, уже потерял бы давно, оглядывался, шоферы двигались по его следу. Наконец люди остановились, начали разгребать снег.

— Как этот участок закончите, — сказал Саша Николаю, — подгоняйте машины и снова идите за мной.

Саша уже не шел, а брел, видел только слесарей на обочине и знал, что должен идти между ними... Потом вдруг все исчезло... Открыл глаза, Шемякин, слесарь, тряс его за плечо.

— Ты что, Панкратов, на месте топчешься. Уснул, что ли?

— Не знаю. — Он попытался улыбнуться, но губы не слушались. — Иди, Шемякин, я вас нагоню.

Подошли машины, потушили фары, опять цепочка людей с лопатами потянулась по Сашиному следу.

И так километр за километром. Саша брел, оглядывался. То никого не было за ним, то приближались машины, останавливались, Саша опять удалялся от них. Он не знал, сколько прошло времени, не хотел снимать рукавицу, чтобы взглянуть на часы, видел только освещенное луной заснеженное поле вокруг, слесарей справа и слева от себя. И вдруг будто мелькнул холмик на обочине.

— Сбрось с него снег, — крикнул Саша слесарю.

Так и есть — большая куча песка, на другой стороне куча щебня.

Теперь есть ориентиры, искать дорогу не надо. Саша и слесари воткнули лопаты в снег, оперлись на них, дожидаясь колонну. Шоферы подогнали машины. Уже показался на краю неба мутный рассвет.

Шоферы вышли из кабин, собрались вокруг Саши.

— Как Овсянников? — спросил он у Василия Акимовича.

— Живой пока. То в сознании, то без. Тоня гангрены боится.

Саша прислонился к радиатору своей машины, она была первой в колонне.

— Давайте решать. Деревня Дурное в стороне, придется еще три километра снег разгребать, потеряем время. Сделаем последний рывок, дотянем до Пронска, до МТС. Вьюжит, значит, немец не летает. Через несколько часов доберемся, отогреемся.

— Измучены люди, и обмороженные есть, ни хрена Тонькина мазь не помогла, в деревню надо ехать, — сказал Байков, не глядя на Сашу.

— В деревне никто обмороженным не поможет, а в Пронске больница, и Овсянникова туда доставим, он совсем плох.

— В Пронск надо идти, — поддержал Сашу Чураков. Пользовался любым случаем, лишь бы сказать что-нибудь наперекор Байкову.

— Решили, — заключил Саша, — заправляйтесь до полного бака, и поехали.

Все пошли за ведрами, Чураков задержался возле Саши. Насмешливо спросил:

— Охота тебе за этого армяшку погибать?

— Какого армяшку? — не понял Саша.

— А того самого. — Чураков поднял глаза кверху.

— Он не армянин, а грузин. И не за него воюем. Отечество защищаем.

— Какой сознательный! Отечество защищаем. На себя посмотри — на костылях не стоишь. Никак не пойму, чего ты на рога пыряешься, рвешься ради чего?

— Чураков, ты из заключения? По-блатному вдруг заговорил!

— Из заключения! Политический со взломом. Знаешь такую статью?

— Ладно, иди заправляйся, а то без горючего останешься.

— Я не останусь. А ты в кабине сиди, пока не врезал кубаря на снегу. Без тебя дорогу найдем.

23

Последний участок дороги оказался очень тяжелым. Особенно в низинах. Разгребали наносы, выталкивали машины, Саша тоже выходил с лопатой — все работают, и обмороженные, и простуженные. У Тони лекарств никаких нет, только йод и бинты — какая на фронте простуда!

Метель крутила, не переставая, ветер гнал поземку, жег лицо.

В полдень подошли к самому трудному месту, Саша знал его — овраг с крутыми спусками, на дне замерзший ручей, мост до войны построить не успели, даже спуски не выровняли.

Расчищали долго. И далеко за подъемом расчистили, чтобы не сгрудились машины на той стороне, чтобы брать подъем с ходу. Но особенно не разгонишься, все в колдобинах. Натужно ревели моторами машины, взбираясь по круче, застревали, приходилось под-

талкивать, на руках выносить, у одного оторвало глушитель, у другого спустил баллон, глохли двигатели, и у Митьки Кузина заглох, он крутил, крутил ручку, потом, обессиленный, приник головой к радиатору, заплакал.

— Дитятко маленькое, — сказал Саша.

Вытолкнули Митькину машину, завели от чужого аккумулятора.

Саша велел передним машинам пробиваться к выселкам, расквартировываться там, а сам оставался в овраге, пока не поднялась техничка — последняя машина. На ней Саша уже затемно въехал в поселок. В техничке метался в бреду Овсянников, укрытый шинелями. Надо везти в Пронск, в госпиталь, если госпиталя нет, в районную больницу.

— Съезди с Тоней, Василий Акимович, — попросил он Синельщикова, — узнайте, как поступить с обмороженными, отвезем их утром.

— Вам самому надо в больницу, — сказала Тоня, — у вас температура, по глазам видно, губы обметало, сипите, хрипите.

— Вот и привези что-нибудь от температуры.

Николай и Проценко повели Сашу в избу, там уже были Чураков и Стрельцов. Всего десять домов в поселке, поместили в каждый по пять человек.

И опять, как только вошел Саша в натопленную избу, снял шинель, скинул валенки, сразу начал бить озноб, зуб на зуб не попадал, ноги не слушались, дышать трудно, ломило голову, плыло все перед глазами. Жарко, душно. В избе люди, девки, шумно, на столе стаканы, тарелки с закуской. Стрельцов перебирает кнопки баяна, что играет, Саша не слышал — мешал звон в ушах. Сидел на скамейке, закрыв глаза. Однако узнал голос Чуракова, будто в самое ухо тот прокричал:

— Сейчас мы его вылечим.

Саша открыл глаза.

Чураков протягивал ему стакан.

— Рвани спиртягу!

— Водой разведи, — сказал Николай.

— Не то действие... Запьет... Давай, Панкратов, сглотни!

Саша опять опустил голову.

— Помогай, ребята! — распорядился Чураков.

Николай приподнял Саше голову, Чураков сунул ему в рот стакан.

— Подожди, я сам...

Дрожащей рукой Саша взял стакан, одним махом выпил. Обожгло горло, обожгло все внутри. Николай уже держал наготове воду.

— Запивайте по-быстрому!

Сразу ушло жжение, полегчало, но голова кружилась, мысли мешались. Что за гулянка? Спирт, закуски...

Николай пододвинул ему нарезанное сало, хлеб, соль, положил на тарелку головку лука. Откуда все, что за деревня? Ах, да, МТС,

выселки... А как Овсянников? Довезли ли до госпиталя живым? А вдруг обратно привезли, что делать?

Через силу Саша пожевал что-то.

— Согрелся? — спросил Чураков.

Саша кивнул головой в ответ.

— Сейчас мы тебя прогреем, как положено. В сортир не хочешь?

Саша отрицательно покачал головой.

— Подумай, ночью не пустим.

Саша снова покачал головой.

— Проценко, где его мешок? Вынимай пару белья, раздевай его, ребята.

— Я сам...

Но Николай и Проценко уже раздевали Сашу.

— Мокрый, как мышь! Девки, полотенца давайте! Обтирай его, ребята, — с пьяным азартом распоряжался Чураков. — Поднимайся, Панкратов, на печку его, ребята!

Печка была раскаленная. Саша дернулся назад.

— Держи его, не пускай! Потерпи, Панкратов, покомандовал, теперь нашу команду слушай!

Саша, вконец обессиленный, повалился на спину, потолок нависал низко, голову не поднять, Саша вытянул ноги, тянулся изо всех сил, тогда как будто становилось легче, не так обжигало тело. На печи сушилось зерно, рожь или пшеница, и оно было горячим, но не так пекло. Николай придерживал Сашу, а Проценко обтирал полотенцем. Саша затих, лежал в забытьи. Николай укрыл его тулупом.

— Дышит? — спросил Чураков снизу.

— Дышит.

— Отойдет, обтирайте его почаще, пусть голым лежит. Девок не подпускать, не до девок ему теперь, так ведь, Панкратов?!

Саша не слышал Чуракова, в ушах звенело, все было в тумане, вытягивал ноги, старался подоткнуть под себя тулуп, чтобы не так обжигало, опять впадал в сон.

Наверно, крепок был Саша, если выдержал ночь на раскаленной печи, да еще после спирта... Проснулся утром, вытер себя полотенцем, чувствовал легкость во всем теле, только вроде бы покалывало в груди и возле лопатки неудобство.

— До ветру во двор не ходите, — предупредил Николай, — в сенях ведро стоит, а умывальник на кухне.

Саша накинул шинель, вышел в сени, умылся, оделся, натянул сапоги.

— Валенки надевайте, — сказал Николай.

— В военкомат поеду, в форме надо быть. Василий Акимович вернулся?

— Вернулся. Овсянникова в больнице оставил. Обмороженных не берут — мест нет. Тоня лекарства привезла.

Саша сел на лавку. Опять закружилась голова, но слабость была приятная.

Встали Проценко с Чураковым, умывались.

— А Стрельцов где? — спросил Саша.
— Известно где, у невесты.
— У него в каждой деревне невеста.
Чураков и Проценко тоже сели за стол.
— Полегчало тебе? — спросил Чураков.
— Вроде да.
— В бане пропарили бы, веником отхлестали, да не топлена у них баня, другим способом тебя прогрели. «Народная медицина» называется. Хавать будешь?
— Поем.
— Значит, здоров. Хрипишь, кашляешь, пройдет, лихорадка на губах — это хорошо, болезнь выходит, прими несколько капель. — Чураков кивнул на бутылку, — совсем оклемаешься.
— Нельзя. В город поеду, в военкомат.
— Куда ты с соплями? Отлежись денек. В город Гурьянова пошли с Синельщиковым — партийные, — проговорил Чураков с насмешливой уважительностью, — отрапортуют, как полагается. А ты выпей лучше.
— Пить не буду и вам не советую.
— Извини, наркомовские сто грамм — законно.
Хозяйка поставила на стол большую сковородку с яичницей, зажаренной на сале.
— Живете, — сказал Саша, — сало, водка... Откуда?
Чураков кивнул на Проценко.
— Так ведь начальник снабжения с нами.
— Не знал я, что он такой богатый.
— Блаженный ты, Панкратов. За это тебя и слушаются. Русский человек почитает блаженных, потому что сам дурак, а блаженные еще дурашливее. Вот Ивану-дурачку и приятно, что есть подурнее его.
— Чем же я такой дурашливый?
— Ты ведь шофер! Ну как на м а ш и н е шофер будет без бутылки водки, без куска сала? А?! Сам подумай...
Возле дома послышался шум мотора, чьи-то громкие голоса...
Николай напялил шапку, накинул шинель, вышел посмотреть, вернулся... Вслед за ним вошли Байков и четверо незнакомых военных в полушубках, двое с пистолетами на поясе — командиры, двое с автоматами на груди — рядовые. Невысокий толстяк в очках сразу расстегнул полушубок — майор, уставился на сидевших за столом шоферов.
Байков показал на Сашу.
— Вот наше командование.
— Вы командир роты? — строго спросил майор.
— Командир роты убит.
— Кто есть из командного состава?
— Здесь никого. Командир взвода, воентехник Овсянников, в Пронске, в больнице, ранен.
Майор сел на скамейку, положил рядом шапку, шире распахнул полушубок.

— Командиры убиты, рядовые — целы.
— Так получилось.
— А вы кто?
— Водитель, красноармеец.
Майор посмотрел на Байкова.
— Кто командовал ротой?
Байков снова показал на Сашу.
— Вот он и командовал.
— Я не командовал, я привел сюда роту, потому что знаю дорогу.
— Помпотех он, — вмешался Николай.
— Кто вас назначил помпотехом?
— Помпотех убит под Брянском. Командир роты поручил мне исполнять его обязанности, пока не пришлют замену.
— Где приказ?
— Устно приказал.
— Интересные вы мне сказки рассказываете!
— У нас, товарищ майор, порядок такой, — своим солидным баском проговорил Байков, — кто палку взял, тот и капрал.
— Заткнись, куркуль говенный! — крикнул Чураков.
Майор ударил кулаком по столу.
— Что за выражения! Чего вмешиваетесь? Кто вас спрашивает?!
— А вы чего на меня кулаки поднимаете? — ощерился Чураков. — Как смеете?
— Я тебе покажу, что я смею, чего не смею! Я...
— Нет! — оборвал его Саша. — Размахивать кулаками не имеете права! И кто вы такой, собственно говоря, откуда?!
— Я — начальник особого отдела армии.
Давно Саша и х не видел, что-то не попадались о н и ему на фронте, ни одного пока еще не встречал! До чего же этот майор похож на того, в Уфе, который арестовал Глеба, все на одно лицо, сволочи!
— Понятно, кто я? А вот что вы за народ, в этом мы разберемся.
— Чего разбираться?! — сказал Николай. — Мы бойцы Красной Армии.
— Бойцы Красной Армии сражаются на фронте, — назидательно произнес майор и быстро спросил у Саши: — Давно вы здесь?
— Прибыли в поселок этой ночью.
— Двое суток глаз не смыкали, — добавил Николай.
— Почему одет не по форме? — накинулся на него майор. — Откуда гражданская шапка? Где взял?
— Люди дали.
— «Люди»! Ко всему еще и мародеры! — Он снова перевел глаза на Сашу. — Значит, прибыли в деревню этой ночью, теперь куда собираетесь?
— В Пронск, в военкомат.

— Вижу, как вы собираетесь в военкомат. Водку хлещете с утра, мародеры и пьяницы! — Кивнул лейтенанту. Тот сел за стол, отодвинул стаканы и тарелки, вынул из полевой сумки бумагу, чернильницу-непроливайку, ручку, приготовился писать.

Знакомые вопросы: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, судимость...

— Нет, — ответил Саша.

— Запишите: «Со слов несудимый», — приказал майор.

Опять рядом с домом послышался и затих шум мотора. Дверь открылась, вошел полковник.

— Товарищ майор! Командующий требует немедленно доставить к нему командира автороты.

— Видите, веду допрос.

— Приказано немедленно доставить! — нетерпеливо повторил полковник. — Не теряйте времени, майор! Где командир автороты?

Майор указал на Сашу.

— Этого рядового они называют командиром.

— Одевайтесь, быстро! — приказал полковник.

Саша надел ремень, на нем висел пистолет Березовского.

— Чье личное оружие? — насторожился майор.

— Командира роты.

— Сдайте!

Саша снял с ремня кобуру с пистолетом, положил на стол.

— Отметьте, — приказал майор лейтенанту, — личное оружие без права ношения.

— Поехали, поехали! — торопил полковник.

Саша надел шинель.

— Что вы его одного, всех берите, — сказал Николай.

— Возьмем, когда надо будет, — ответил майор и вслед за полковником и Сашей вышел из дома.

24

После двухнедельной передышки, в середине ноября, немцы возобновили наступление. И хотя достигли поселка Красная Поляна в двадцати семи километрах от Москвы, Жуков ясно видел, что это наступление обречено: немцы уже не выдерживают ответных атак Красной Армии. Тем более не выдержат общего массированного удара. 29 ноября Жуков позвонил Сталину и попросил дать приказ о контрнаступлении.

Сталин ответил не сразу. Жуков знал эти паузы — сомневается.

— Вы уверены, что у противника нет в запасе крупных группировок?

— Не знаю. Но его клинья становятся опасными, их обязательно надо ликвидировать.

Вечером Ставка дала согласие на контрнаступление. Штаб Западного фронта наметил его на утро 3 декабря. Свою готовность

подтвердили все командующие армиями, кроме командующего Десятой.

Еще в октябре Сталин спросил у Жукова:

— Мы удержим Москву? Говорите честно, как коммунист!

— Безусловно, удержим. Но нужны еще две армии и двести танков.

Танков не дали, а две армии Жуков получил: Первую Ударную и Десятую. Первой Ударной командовал Василий Иванович Кузнецов, опытный генерал. Его армию Жуков поставил на ответственный боевой участок севернее Москвы, в районе Яхромы. А Десятой армией Сталин назначил командовать Голикова.

Перед войной Голиков был начальником Главного разведывательного управления, боевого опыта не имеет, умный и хитрый сталинский угодник. Армия формировалась в Поволжье, и по прибытии Жуков приказал ей дислоцироваться южнее Рязани, будет резерв. Теперь этот резерв предстояло вводить в дело. Танки Гудериана с юга движутся на север, чтобы закончить окружение Москвы. Армия Гудериана растянулась, ее правый фланг не защищен, по нему надо нанести мощный удар. Это и должен сделать Голиков. И вот, пожалуйста... Голиков прислал доклад: сосредоточить армию он может не ранее 5 декабря, доклад послал и Сталину — поступил по своему обыкновению, еще будучи начальником Разведывательного управления, все докладывал лично Сталину, минуя Жукова, которому непосредственно тогда подчинялся. Срывает сроки наступления да еще думает, что и здесь будет на особом положении. Не будет! Здесь не кремлевские кабинеты!

Жуков приказал вызвать Голикова в штаб фронта.

Голиков явился в Перхушково 2 декабря. Вошел — плотный, лысый, моложавый, со своей обычной улыбочкой на круглом лице. Эту улыбку Жуков не переносил еще со времен Генштаба, с ней Голиков обычно являлся от Сталина. На доклад к Сталину Голиков ходил с двумя папками. Если Сталин был мрачен, докладывал утешительную информацию, если благодушен, говорил правду. Однако, если Сталин чему-нибудь не верил, мгновенно с ним соглашался — да, вы правы, товарищ Сталин, это и есть дезинформация...

Все боятся Сталина, и он, Жуков, боится, подчиняется его распоряжениям, часто нелепым и вредным. Но всегда докладывает и свою позицию. И ни разу в угоду Сталину не говорил неправды. Не всем такое сходит с рук. До Голикова расстреляли трех начальников военной разведки — Берзина, Урицкого, Проскурина, — их правдивая информация не устраивала Сталина. Но они умерли честными коммунистами. А Голиков — дезинформатор! Жуков своими глазами видел телеграмму Зорге о том, что Германия во второй половине июня нападет на Советский Союз, с резолюцией Голикова: «В перечень сомнительных и дезинформационных сообщений». Такая информация отбрасывается за три недели до войны! Как посмел Голиков возглавить разведку, ничего в ней не понимая? На

плане «Барбаросса» написал, что это дезинформация, рассчитанная на обман англичан. И все из трусости!

Теперь Сталин дал ему армию. Но и здесь Голиков по-прежнему игнорирует непосредственное начальство, обращается к самому Сталину. А Сталину на него наплевать! Командующие фронтами выпрашивают у Сталина каждый танковый взвод, каждую батарею, каждую эскадрилью — все взял в свои руки, любую мелочь, хочет, чтобы все зависели от него и только от него.

«Если бы дивизии продавались на рынке, я купил бы для вас пять-шесть дивизий, а их, к сожалению, не продают». Такими словами ответил Сталин Тимошенке на его просьбу дать одну дивизию. Тимошенке! А тут какой-то Голиков!

— Я получил ваш доклад, — сухо произнес Жуков. — Почему не можете наступать?

Голиков начал издалека:

— Я выехал из Москвы в район Пензы 26 октября. На формирование мне отвели два-три месяца...

— Три месяца! — усмехнулся Жуков. — К тому времени война может кончиться. Кто установил такие сроки?

— Главное управление по формированию, — уклончиво, не называя имен, ответил Голиков, — но двадцать четвертого ноября я получил приказ товарища Шапошникова начать движение и второго декабря сосредоточиться в районе Рязани.

— Почему не сосредоточились?

— Для переброски армии требуется сто пятьдесят два эшелона. Прибыло только шестьдесят четыре, в пути сорок четыре, еще не грузились тоже сорок четыре.

— Почему не добивались вагонов?

— Мы телеграфировали во все инстанции. Вы знаете обстановку на железнодорожном транспорте.

— Обстановка для всех одинаковая. Однако все резервные армии прибыли в срок, кроме Десятой.

Голиков пожал плечами — на такой довод ему нечего ответить.

— Какова готовность войск? — раздраженно спросил Жуков.

— Шестьдесят пять процентов рядового состава не служили в армии. Обучались с деревянными ружьями, винтовок не было. Из сорока двух командиров полков большинство окончили церковно-приходскую или сельскую школу.

— Я спрашиваю не об образовании командного состава, а о боеспособности дивизий.

— Из одиннадцати дивизий более или менее способны вступить в бой четыре. Остальные недовооружены: недостает винтовок, станковых пулеметов, ППШ, минометов, противотанковых ружей, нет танков, тяжелой артиллерии, авиационного прикрытия, теплое обмундирование дивизии должны получить сегодня на станциях разгрузки — получили ли, не знаю. В кавалерийских дивизиях не хватает даже конской амуниции...

Жуков молча слушал. Так формируются все армии, и все выходят из положения. А этот жалуется. Конской амуниции не мог

достать в Поволжье! Оружия не сумел раздобыть на заводах Горького и Куйбышева, не пошил там обмундирование. Да, страна не подготовлена к войне. Разве сам Голиков в этом не виноват? Он дезинформировал, уверял, что Германия на нас не нападет!

— Какова укомплектованность дивизий личным составом?

— Полная. В каждой дивизии одиннадцать тысяч человек.

— А вот в Пятидесятой армии генерала Болдина в каждой дивизии от шестисот до двух тысяч человек и они уже месяц обороняют Тулу, не сдали и не сдадут ее. Вот как сейчас воюют, товарищ генерал-лейтенант. Воюют теми средствами, которые есть. Если их не хватает, достают сами.

— Десятая армия выполнит поставленную задачу, — насупился Голиков.

— Будем надеяться. Что у вас еще?

— Автотранспорт. Обеспеченность им всего двенадцать процентов. Дивизии разгружаются в Рязани и Ряжске и идут пешком сто — сто пятнадцать километров по проселочным дорогам, занесенным снегом.

— Автотранспорт надо было доставать в Поволжье.

— Там все выгребли. До нас. Осталось старье.

— Надо было восстанавливать старье. Никто ничего нового нам не даст. Надо понимать положение, товарищ генерал-лейтенант... Трудно. Но тем, кто двадцать второго июня встретил на границе *нежданного* врага, тем было во много раз труднее. Как вы думаете, генерал-лейтенант?

Голиков понял намек, но не смутился.

— Безусловно. Но сейчас я отвечаю за Десятую армию и должен быть готов к выполнению задачи.

— Нет, генерал-лейтенант, за *тех*, кто там остался, мы с вами тоже в ответе. Покажите расположение ваших войск.

Голиков вынул из планшета карту, разложил на столе, заметив при этом:

— На управление армии у нас всего две карты.

Вошел начальник штаба Соколовский, обменялся с Голиковым рукопожатием.

— Василий Данилович, — сказал Жуков, — вот генерал-лейтенант жалуется: карт у них нет.

— Карты посланы.

— А по заявке?

— Дали два батальона средних танков, один артиллерийский полк и два минометных батальона РС. Полное довооружение личного состава, рот и батальонов производится на станции выгрузки. Пока больше дать нечего.

— Автотранспорт? — спросил Голиков.

— Автотранспорта нет.

— Нам нужно минимум три-четыре автобатальона. Я писал об этом в Генштаб.

— Попрошу вас, генерал-лейтенант, — сурово проговорил Жуков, — с требованиями и просьбами обращаться в штаб фронта.

Хотите обратиться к наркому обороны, пожалуйста, но опять же через штаб фронта. Таков порядок в армии. Нарушать его не позволено никому.

Жуков наклонился к карте.

— Гудериан в Михайлове, ваш штаб в Шилове. Далеко забрались.

— Переводим штаб в Старожилово, вблизи от Пронска.

— Покажите расположение своих дивизий.

Голиков показал. Армия занимала фронт длиной в 120 километров: от Зарайска и почти до Скопина.

— Сколько вам нужно времени, чтобы добраться до своего штаба?

— До Рязани часа четыре-пять, и оттуда столько же.

— Отправляйтесь. Утром соберите командиров дивизий в какой-нибудь деревне возле Пронска скрытно, а сами, лично в восемь утра встретите в Пронске нашего ответственного представителя.

25

«Ответственным представителем», прибывшим в расположение Десятой армии, был сам Жуков. Выехал ночью в сопровождении полуроты охраны с двумя бронеавтомобилями.

О его поездке никто, кроме начальника штаба Соколовского, не знал. На звонки из Ставки было приказано отвечать: «Находится в войсках». Сталин запрещал командующим без его разрешения выезжать на другие фронты. Передвижение по собственному фронту разрешал, но всегда бывал недоволен, хотел, чтобы командующий не отходил от телефона.

Конечно, можно предоставить Голикова самому себе. Пусть Сталин полюбуется своим ставленником. Но провал Голикова — это провал всего контрнаступления. Гудериан зайдет в тыл Западного фронта, в этот прорыв хлынет немецкая пехота, это означает падение Москвы. А сейчас Гудериан — легкая добыча. Зарвался, растянул свою армию, надо нанести удар под самое основание клина, окружить и разгромить его. Он заставит Десятую армию нанести этот удар. Если понадобится, прикажет сегодня же расстрелять нерадивых командиров, тогда и другие почувствуют свою ответственность. Когда гибнут миллионы, жизнь нескольких человек мало чего стоит. Это философия Сталина, но, может быть, в ней и заключается сталинская сила. Без его железной воли сопротивляться такому врагу было бы невозможно. Много непростительных ошибок совершает Сталин, дорого обходятся они народу. Но другого вождя нет. И надо подчиняться. И заставить подчиняться нижестоящих командиров. Только в этом спасение страны.

Так размышлял Жуков, сидя на заднем сиденье машины. Привычные мысли. Жуков то задремывал, то пробуждался. Много но-

чей провел он на этом сиденье, много чего передумал. Уже не помнит ночи, когда нормально спал, разве что в детстве, когда жил при матери. От ветхости обвалилась крыша в избе, перебрались в сарай, но и там спалось хорошо. А с двенадцати лет привык спать помалу. У хозяина-скорняка работал с шести утра до одиннадцати ночи, спал тут же в мастерской на полу. А вся остальная жизнь — на коне, в машине, в дороге. Удастся где-нибудь прикорнуть на пару часиков — удача! И в Москве, в Генштабе бодрствовали ночами — Сталин уезжал из Кремля под утро, тогда и они разъезжались по домам.

Иногда машины останавливались, дозорные докладывали — путь свободен. Мчались дальше.

Некоторая задержка произошла перед самым Пронском. Было еще темно, но Жуков уже проснулся. Адъютант доложил:

— Тут в поселке обнаружены автомашины, в темноте не разобрали чьи, подумали — немцы, оказались наши, вроде бы авторота.

— Какой дивизии?

— Не знаю, товарищ генерал армии. Разбудили шоферов, путаются, не могут толком сказать, кому подчиняется авторота.

— Остановитесь в поселке.

Начало светать, машины были уже видны, стояли вплотную к домам, к сараям, некоторые во дворах, маскировались вроде.

Поехали дальше. Через минут десять опять остановились. На въезде в Пронск их ожидал Голиков. Увидев Жукова, не удивился, старая штабная лиса, понимал, кто приедет, подошел, отрапортовал: все командиры дивизий собраны в Старожилове, здесь недалеко, чуть восточнее Пронска.

— Что за машины в ближайшем поселке?

— Машины? — удивился Голиков. — Никаких машин здесь быть не должно. Тут еще не дислоцирована ни одна дивизия.

— Там авторота.

Голиков пожал плечами.

— Понятия не имею.

— Какой-нибудь командир дивизии припрятал? Может быть, и в других деревнях прячут. А в отчетах показываете — нет автотранспорта.

— Это не наши машины, возможно, какая-то бродячая авторота.

— Она в расположении вашей армии, и вы обязаны знать. Разберитесь и доложите. Прячут? Скрывают? Кто? По чьему приказу? Дезертиры? Откуда? Кто главарь?

Совещание в Старожилове Жуков начал словами:

— В отчетах показываете отсутствие автотранспорта, а я сейчас своими глазами на подъезде к Пронску видел автороту. Чья она?

Все молчали.

— Выходит, ничья, — нахмурился Жуков. — Разберемся, чьи машины, и тех, кто их скрывает, жестоко накажем. Предупреждаю:

за малейшую ложь в отчетах, за сокрытие вооружения и техники виновных ждет суровое наказание. Для формирования было достаточно времени. Теперь вы на фронте. Здесь нужны боеспособные дивизии.

После такого выступления сообщения командиров звучали совсем не так, как доклад Голикова. Есть недокомплект того-другого, желательно получить до начала военных действий, а если нет, постараемся добыть на поле боя. Но моральный дух бойцов высок, задача командования будет выполнена.

Слушая командиров дивизий, Жуков поглядывал на часы. Половина десятого, пора возвращаться в Перхушково. Но дело с авторотой надо закончить на глазах у всех. Если ее скрывает командир дивизии, он будет разжалован в рядовые, если рота дезертиров, то командир будет расстрелян. Хороший урок для всей Десятой армии.

— Что с авторотой? — спросил он у Голикова.

— Особист разбирается.

— Пошлите машину за командиром автороты, пусть немедленно явится.

Вскоре в комнату вошел толстый майор в очках — особист. За ним ввели красноармейца с измученным лицом, обветренными губами, в шинели, пилотке, сапогах. Жуков озадаченно смотрел на него.

— Я приказал явиться командиру автороты!

Особист козырнул:

— Разрешите доложить, товарищ генерал армии. Командного состава в роте не осталось. Куда делись или куда их подевали, пока не установлено. Водители показали, что ими командовал вот этот красноармеец. Его допрос я и веду. Очень много неясностей, товарищ генерал армии.

Жуков перевел взгляд на Сашу.

— Почему не докладываетесь?

Саша поднял ладонь к пилотке, что-то проговорил. Голос хриплый, простуженный, ни слова не разберешь.

— Что, что?! — раздраженно переспросил Жуков.

— Красноармеец Панкратов *доставлен*, — повторил Саша.

Жуков смотрел на него. Так ему еще никто не смел отвечать.

Саша выдержал его взгляд. Расстреляют? Плевать!

— Вы командовали ротой?

— Я вел роту в Пронск.

— Откуда?

— Из района деревни Хитрованщина, западнее железной дороги Михайлов — Павелец.

— А где командир роты?

— Погиб при авиационном налете.

— Вот-вот, — вмешался особист, — все командиры убиты, все шоферы целы.

— Кто вам поручил вести роту? — сурово спросил Жуков.

Саша затравленно огляделся. Генералы, полковники, сидят тут, смотрят на него. Гладкие, с ромбами, со шпалами... Их бы сейчас туда, в снег, в овраг, машины на плечах вытаскивать... Стратеги... Довели страну... Допустили Гитлера до Москвы... Сказать бы им все, что он о них думает...

— Я спрашиваю, кто вам поручил вести роту?!

И этот! Прославленный полководец — тоже ведет допрос.

— Ну! — повысил голос Жуков.

— Родина поручила, товарищ генерал армии, — прохрипел Саша.

Все молчали. И генералы, и полковники.

Жуков не спускал с Саши пристального взгляда.

— Вы член партии?

— Беспартийный.

— Как оказались в Пронске?

— Рота должна была доставить груз в Узловую, в тылы Двести тридцать девятой дивизии. Встретился капитан с бойцами, сказал, что Двести тридцать девятая дивизия в окружении. Что делать? Немецкие танки движутся на Михайлов и Скопин. Единственная дорога для нас была между Михайловом и Скопином.

— Разве там есть дорога?

— Есть грейдер.

Жуков наклонился к карте.

— Здесь ничего не обозначено.

— Дорога строилась перед войной, не закончена. Успели пройти грейдером. На карте, конечно, нет.

— А вы откуда знали про грейдер?

— Работал на строительстве этой дороги.

— Можете показать?

Саша наклонился к карте. С пилотки упала капля, снег таял в тепле.

— Разрешите снять головной убор, а то карту замочу.

— Снимайте.

Саша сунул пилотку под мышку, снова наклонился к карте.

— Вот по этим населенным пунктам: Дурное, Грязное, Малинки, Хитрованщина.

Жуков подвинул карту начальнику штаба.

— Перенесите на свою карту, произведите рекогонсцировку. — Повернулся к Саше. — В каком состоянии дорога?

— Мы прошли с лопатами. А если со снегоочистителем, то проехать легко.

— Сколько шли?

— Двое суток. Ночами. Днем боялись воздуха.

— Ночи теперь длинные, — задумчиво проговорил Жуков. — Потери?

— Есть раненый, обмороженные. Прошу оказать медицинскую помощь. — Саша оглянулся на особиста. — Хотя гражданин майор назвал нас преступниками, но преступники тоже имеют право на медицинскую помощь.

— Помощь будет оказана, — сказал Жуков, — а вы знаете фамилию командира Двести тридцать девятой дивизии?

— Не знаю.

— Полковник Мартиросьян!

Поднялся командир Двести тридцать девятой дивизии, молодой красивый армянин.

— Полковник Мартиросьян, ваша авторота?

— Разрешите доложить, товарищ генерал армии, в наше распоряжение шла отдельная авторота подвоза. Однако дивизия уже вела бой с окружавшими ее превосходящими силами противника и двадцать седьмого ноября, закопав в лесу тяжелое оружие, прорвала кольцо окружения и пришла сюда, в район «Большое село». Прибыть в окруженную дивизию авторота не могла. Есть основания думать, что это именно та самая авторота.

— Откуда у вас такие основания?

— Так получается по совпадению всех обстоятельств, товарищ генерал армии. И если вы мне позволите сказать...

— Говорите!

— Если вы мне позволите сказать, товарищ генерал армии, — повторил Мартиросьян, — то движение этой роты в Пронск, в коридоре между двумя атакующими танковыми колоннами противника, считаю мужественным выполнением своего воинского долга.

— Вот как, оказывается, — усмехнулся Жуков. — Ладно, садитесь! Красноармеец...

— Панкратов, — подсказал особист.

— Панкратов... В карте разбираетесь. Где учились?

— На автодорожном факультете московского транспортного института.

— Инженер, значит... А почему рядовой?

— Так получилось.

— Есть документ об образовании?.. Покажите!

Саша расстегнул шинель, из кармана гимнастерки вынул сложенное вчетверо свидетельство, положил на стол. Деваться некуда! Черт с ними, пусть знают. Дальше фронта не зашлют.

Жуков прочитал первую страницу, перевернул... Саша не отрывал от него взгляда... Сейчас дойдет до строчки: «Дипломный проект не защитил ввиду его ареста...» Дошел! Поднял глаза на Сашу... Смотрит... Опять читает, опять смотрит...

— В комсомоле были? С какого года?

— С двадцать пятого.

Жуков опустил глаза к свидетельству.

— Тут обозначен зачет по военному делу...

— В институте была высшая вневойсковая подготовка.

Жуков повернулся к Голикову.

— У нас инженеров не хватает, а у вас они тут ходят в простых шоферах.

Голиков мог бы сказать, что об этой автороте он ничего не знает и шофера этого видит впервые. Но он был опытный чиновник и

понимал — в такой ситуации возражать нельзя. Жуков прав: так использовать инженерные кадры — непорядок, за непорядок кому-то надо выговорить, кому именно, не имеет значения.

Жуков взял у Саши красноармейскую книжку, передал начальнику штаба и, смотря в свидетельство, продиктовал:

— Запишите дополнительные данные: окончил автодорожный факультет в 1934 году. Свидетельство номер сто восемьдесят шесть дробь тридцать четыре... Записали? Составьте аттестацию на присвоение звания военного инженера третьего ранга, я ее сейчас утвержу.

Вернул Саше свидетельство.

— Поздравляю с присвоением звания военинженера третьего ранга.

— Спасибо, товарищ генерал Армии.

— Работайте, воюйте, служите Советскому Союзу.

Саша козырнул:

— Есть служить Советскому Союзу!

Утром 6 декабря советские войска перешли в контрнаступление и, несмотря на сильные морозы и глубокий снег, отбросили противника на 150 — 200 километров от Москвы.

26

По радио гремела бравурная музыка, каждые полчаса передавали сообщения о стремительном продвижении немецких войск, о занятых городах, сбитых самолетах, сотнях тысяч пленных: «Советские войска так бегут, что мы едва за ними поспеваем». Эмигрантские газеты ликовали: «Настало наше время». Мережковский и Зинаида Гиппиус благословляли немцев на «крестовый поход».

Германия победит Россию так же молниеносно, как победила другие страны Европы. Что же будет с ним, с Шароком? Успеет ли Берия уничтожить документы своего ведомства? Если не успеет, значит, немцы у себя в тылу, в Париже, обнаружат господина Привалова — советского шпиона. Даже если документы будут уничтожены, захватят сотрудников НКВД, те, спасая свою шкуру, выдадут его. В обоих случаях виселица ему обеспечена.

Что же делать? Пойти и открыться немцам? Зачем он им? Кто он? Брошенный Советами на Западе шпион. Будет оправдываться: «Работал не против Германии, а против белогвардейской эмиграции». Кто его станет слушать?

Уйти к англичанам? С чем? Кого он им даст? Третьякова? Не нужен им ни Третьяков, ни Шарок. Отдадут в СССР незадачливого перебежчика: получайте от верных союзников по антигитлеровской коалиции.

Уходить надо было тогда, в тридцать девятом, не с пустыми руками пришел бы, а с большой добычей: резидент, агенты, явки,

Эйтингон с мексиканской командой. И недалеко пришлось бы идти, на соседней улице их контрразведка.

Немного успокоила Шарока остановка немцев под Москвой — не сумели взять с ходу, значит, НКВД успеет вывезти или уничтожить документы, легенда господина Привалова так быстро не раскроется. Если немцы и победят, то не так скоро, как предсказывали некоторые эмигранты. «Фикция отпора» — утверждал писатель Борис Зайцев. Оказалось, не фикция.

Всю свою жизнь Шарок трепетал перед советской властью, был убежден в ее несокрушимости. И вот со злорадством наблюдал за ее поражением. Но если режим падет, то и ему придется отвечать за его преступления, повязан с ним навсегда. Так что пусть уж лучше продержится, а там будет видно.

А пока надо избрать правильную линию поведения. Молодой русский эмигрант в такое время не может быть изолирован от своих соотечественников. В этом смысле и Шпигельглас, и Эйтингон были предусмотрительны — у него должен быть круг хороших знакомых. И такой круг у него есть, не слишком богатые люди, скорее бедные, но настоящие русские люди, соседи, посетители того же кафе, куда вечерами захаживал Шарок и которое содержал русский хозяин. По воскресеньям Шарок встречался с ними в Храме Покрова Пресвятой Богородицы на rue ee Lourmel, служил там популярный среди верующих отец Димитрий Клепенин, а мать Мария Пиленко открыла при церкви столовую для бедных и безработных...

Были среди эмигрантов противники Гитлера, они молчали, были выжидающие и были ликующие, при каждой победе немцев обнимались и целовались. К ним и примкнул Шарок. Не для объятий и поцелуев, а чтобы обезопасить будущее: если победят немцы, то он еще до победы доказал им свою лояльность, если победят русские, то он, советский разведчик, выполнил свой долг — внедрился во вражеский лагерь.

Немецкие власти ликвидировали все эмигрантские организации и создали одну новую, единую, верную Германии, под названием: «Управление по делам русской эмиграции во Франции», оно помещалось в большом доме на улице Галянер, там регистрировали эмигрантов, выпускали газету «Парижский вестник». Возглавлял управление какой-то Юрий Жеребков, человек с вихляющей походкой, до войны был профессиональным танцором. Шарок бывал на его выступлениях. Расхаживая по эстраде, Жеребков обрушивался на «советских агентов», которые пытаются разжечь в среде эмигрантов ложнопатриотические чувства.

— Берите пример с миллионов русских солдат, которые против своей воли сражаются в рядах Красной Армии! — восклицал Жеребков. — Они не оказывают сопротивления немецкому наступлению и при первой возможности не только переходят к неприятелю, но выражают желание с оружием в руках бороться против советского режима, освободить Родину от сталинского и большевистского ига.

Бывал Шарок и на других собраниях, устраиваемых для эмигрантов, примелькался там, появились знакомые. Он сбрил усы и бороду, чтобы при случайной встрече не узнал его Третьяков, а встречи с Викой не опасался: Вика в Лондоне, с мужем, одним из ближайших сотрудников генерала Де Голля. А вскоре перестал опасаться и Третьякова: немцы его арестовали как советского агента, значит, воспользовались данными французской полиции: та подслушала исповедь Плевицкой. Правильно он поступил, оборвав связь с Третьяковым.

Стройный, голубоглазый, русоволосый, в приличном костюме, сдержанный, аккуратный, Шарок производил хорошее впечатление. Но с выбором не торопился. Силу набирал НТС — Национально-трудовой союз, молодые прибавляли в скобках к этому названию (НП) — новое поколение. Из Югославии перебрались в Германию, активно сотрудничали с немцами: в лагерях для военнопленных вербовали «добровольных помощников» в немецкие вспомогательные, охранные, полицейские части, потом вербовали в армию Власова и в национальные формирования СС. Перед несчастными военнопленными, которых Сталин объявил изменниками, вставала дилемма: неизбежная смерть в лагере или жизнь на службе у немцев, многие выбирали жизнь. Перед Шароком такая дилемма не стояла. Подбирал НТС и людей для работы в Восточном министерстве, но служба на оккупированной территории СССР в районной администрации в глухомани не устраивала Шарока. И он обдумывал, тянул время, не мог решить. Однажды поймал себя на мысли, что отвык сам решать, давно уже за него решали другие. Решили они и на этот раз.

Как-то в феврале сорок второго года поравнялся на улице с Шароком человек. Трость, пальто, шляпа, но по тому, как нарочито замедлил шаг, Шарок почувствовал опасность, отодвинулся, поднял глаза и похолодел — на него смотрел «Алексей», тот самый, что приезжал в Париж для ликвидации сына Троцкого, Льва Седова, бывший боксер, поразивший в свое время Шарока своим блестящим французским языком. Шарок знал, какие специальные поручения выполняет «Алексей». Из группы Якова Серебрянского. Но как он очутился здесь?! Уже давно расстрелян и сам Яков Исакович Серебрянский, и все «Яшины ребята». «Алексей» протянул руку, произнес по-французски:

— Жерар Дюраль, или просто «месье Жерар».

Они зашли в кафе, сели в углу, попросили кофе. Кафе было пусто, хозяин возился за стойкой.

— Почему растерялся, разве никого не ждал? — спросил «Алексей» опять по-французски, и дальше весь разговор они вели на французском.

Ощущение опасности не покидало Шарока. Может выхватить пистолет, застрелить его, потом хозяина и исчезнуть. Пальто и

шляпу не снял — наготове сидит, место выбрал напротив окна и плотно закрытой двери (февраль, как никак), сбоку хорошо виден хозяин — все мгновенно проделает.

Не спуская глаз с рук «Алексея», Шарок ответил:

— Я слышал, будто бы Якова Исаковича и всю его группу посадили.

«Алексей» отпил немного кофе, поставил чашку на стол, посмотрел на дверь, Шарок не спускал с него напряженного взгляда и вдруг увидел, что черты его лица вовсе не стерты: хорошо обозначены твердые скулы, как у многих боксеров, немного приплюснутый нос, взгляд не тусклый, а цепкий, пронзительный. Странно, ничего этого Шарок раньше не замечал.

— Мне тогда сунули десятку, — сказал наконец «Алексей», — остальных расстреляли. С Яковом Исаковичем почему-то тянули, сидел в камере смертников, дожидался, это его и спасло. Началась война, «хозяин» спрашивает «нашего»: «А где Серебрянский?» — «Сидит в тюрьме, дожидается расстрела». Хозяин говорит: «Что за чушь?» Ну, «наши» быстренько в камеру, вытаскивают Якова и отправляют в санаторий, ему ежовские холуи отбили печень и почки.

Он снова отхлебнул кофе, держит чашку в руке, слава Богу!

— Яков Исакович потребовал вернуть группу, а от нее остался я один. Такую команду уничтожили, погубил разведку Ежов, алкоголик, педераст!

Поразил Шарока не сам рассказ, а откровенность «Алексея», свободно говорит о «хозяине» — товарище Сталине, о «наших» — Берии и Судоплатове... С чего бы это? Не усыпляет ли таким образом его бдительность?!

«Алексей» вдруг усмехнулся:

— На мои руки поглядываешь, решил, я по твою душу пришел?

— А меня за что? — деланно рассмеялся Шарок.

— А меня за что? — сощурился «Алексей».

— Ни за что, конечно, — поспешил согласиться Шарок.

— А вот тебя, между прочим, как раз есть за что.

— Алексей, о чем ты говоришь? — Шарок даже привстал.

— Я тебе назвал свое имя — Жерар.

— Прости, Жерар, я не понимаю, о чем ты говоришь.

— Ты ведь заложил меня, не так ли?

— Я? Тебя?

— Да, ты меня. По делу Седова.

Объяснительная записка, написанная им в Москве, мгновенно возникла в памяти Шарока.

— Я написал, как было, только факты, никаких оценок.

— Никаких оценок? «Приезжал, провел акцию, в результате которой обесценил источник исключительно важной информации» — это разве не оценка?!

Черт возьми! Не зря он колебался тогда, писать или не писать эту фразу. Будто предчувствовал.

«Алексей» допил кофе, поставил чашку на стол.

— Не будем вспоминать. Передаю распоряжение центра. Твоя задача войти в доверие к эмигрантам, которые смогут рекомендовать тебя немцам. Все остальное будет сделано. Цель — попасть на службу в качестве переводчика в Центральное управление концлагерей в Ораниенбурге, возле концлагеря Заксенхаузен. — Он усмехнулся. — Там рядом дачный поселок Заксенхаузен, вот так и лагерь назвали. В лагерях сотни тысяч наших военнопленных, мы должны иметь о них информацию. — Он перешел на немецкий. — Как у тебя с языком?

— Вроде бы нормально. А ты, оказывается, и немецкий знаешь?

— Я знаю французский, немецкий, английский, испанский. В свое время к нам брали только владеющих языками.

Подчеркивает, что он из тех, настоящих чекистов, которых Ежов уничтожил, а Шарок из новых. Шарок проглотил пилюлю, не показал даже, что понял намек, с этим человеком ссориться опасно. И, конечно, врет, не информация о «сотнях тысячах военнопленных» ему нужна. Он занимается не сотнями тысяч, а отдельными людьми, его работа — похищение и уничтожение. Кого собираются уничтожить на этот раз в Заксенхаузене, Шарока не касается, ему поручают собирать сведения, он и будет их собирать.

— Пока я здесь, связь со мной, — заключил «Алексей», — представляю в Париже швейцарскую коммерческую фирму. Меня не будет, к тебе придут. Твоей задаче Центр придает первостепенное значение, понимает ее сложность, но возлагает на тебя большие надежды и достойно оценит твою работу.

«Пулей в затылок», — помимо своей воли подумал Шарок.

27

Как-то в марте Сталин спросил Василевского:

— Вы привезли семью из эвакуации?

— Да, товарищ Сталин.

— Где она живет?

— Мне предоставили отличную квартиру на улице Грановского.

Сталин поднял на него глаза:

— На улице Грановского? В Пятом доме Советов?

— Да, товарищ Сталин, так он раньше назывался.

— Я знаю этот дом, — задумчиво проговорил Сталин, — бывал там когда-то. А где ваши родители?

— Мать умерла, а отец живет в Кинешме, у моей старшей сестры. Ее муж и сын на фронте.

— Значит, оставил свой приход?

— Оставил, товарищ Сталин, я и мои братья помогаем ему и сестре.

— Значит, живете на улице Грановского, — так же задумчиво повторил Сталин, — хорошо. А где отдыхаете, когда есть возможность?

— В Генштабе. Рядом с моим кабинетом есть комната, там сплю.

— У вас нет дачи?

— Нет, товарищ Сталин.

Через несколько дней Василевский получил дачу в селе Волынском на берегу реки Сетунь, недалеко от Ближней дачи Сталина, но бывал там редко, а когда ночевал, то вставал на рассвете и уезжал на работу.

Однажды чуть задержался: помогал жене в саду, и когда уже собирался выезжать, раздался звонок Поскребышева:

— Вас ищет товарищ Сталин.

Затем он услышал в трубке голос Сталина:

— Товарищ Василевский, вы не успели обжиться на даче, а уже засиделись там. Боюсь, совсем туда переберетесь. Приезжайте немедленно.

Василевский приехал, когда заседание Ставки уже началось. Рассматривался план военных действий на лето 1942 года.

— Немцы деморализованы поражением под Москвой, — сказал Сталин, — теперь они хотят получить передышку, собраться с силами. Можем ли мы им дать время для передышки? Не можем. Имеем ли мы право дать им собраться с силами? Не имеем права.

Шапошников в осторожных выражениях напомнил, что наши силы измотаны в зимней кампании, для наступления еще не готовы.

— Надо быстрее перемалывать немцев, — недовольно проговорил Сталин, — гнать их без остановки, гнать, гнать и гнать. И обеспечить, таким образом, полный разгром немцев в 1942 году. Кто хочет высказаться?

Все понимали, что говорить о полном разгроме немцев в этом году нелепость. Но высказаться никто не пожелал. Кроме Жукова.

— Без подготовки и без усиления войск техникой и живой силой наступать невозможно, — сказал Жуков.

— Не сидеть же нам в обороне сложа руки и ждать, пока немцы нанесут удар первыми! — с раздражением произнес Сталин. — Надо хотя бы нанести ряд упреждающих ударов и прощупать готовность противника.

Тут же Тимошенко предложил нанести такой удар в направлении Харькова. Его поддержал Ворошилов. Жуков попробовал возразить, но Сталин перебил его:

— Одну минуту, одну минуту... Где мы ждем наступление немцев? — Он обвел всех вопрошающим взглядом. — Где немцы будут наступать этим летом? Ответ один: они, безусловно, будут наступать снова на Москву. Почему? Москва близко. Нами перехвачен приказ фельдмаршала Клюге о наступлении на Москву. Операция носит кодовое название «Кремль». К ней мы должны готовиться. Но исключает ли это нанесение мощных фланговых

ударов, чтобы сковать силы немцев и тем ослабить их атаку на Москву? Нет, не исключает, наоборот, обязывает. Где в первую очередь нанести такой удар? Я думаю, товарищи Тимошенко и Ворошилов правы. Предложение о наступлении на Харьков следует поддержать.

Василевский мог бы сказать, что, по данным разведки, главным направлением немецкого удара будет юг. Но Василевский всегда боялся возражать Сталину, а сейчас, после выволочки за опоздание, все заседание промолчал.

Вместо него ответил Жуков:

— Товарищ Сталин, имеются разведданные о том, что главное наступление немцы развернут на юге. Приказ Клюге можно рассматривать как дезинформацию. Нельзя втягивать войска в операции с сомнительным исходом...

— Сомнительным?! — перебил его Сталин. — Почему сомнительным? Товарищ Тимошенко, вы уверены в успехе операции?

— Безусловно.

— Это ваше личное мнение?

— Нет. Так считает все руководство фронта.

— Видите, как получается, — усмехнулся Сталин, — командование фронта уверено в успехе, а товарищ Жуков сомневается. Я думаю, в данном случае мнение командования фронтом более обоснованно.

Выходя из кабинета, Шапошников сказал Жукову:

— Вы зря спорили. Этот вопрос решен Верховным.

— Тогда зачем спрашивали наше мнение?

— Не знаю, не знаю, голубчик.

Наступление под Харьковом началось 12 мая. Через неделю стала ясна его бесперспективность. Василевский, исполнявший теперь обязанности начальника Генерального штаба, предложил Сталину наступление прекратить. Но Сталин не привык менять свои решения. 29 мая наступление закончилось катастрофой. В окруженных четырех советских армиях было уничтожено и пленено 230 тысяч человек. В бою погибли генералы Костенко, Подлас и Бобкин.

В прошлом году Сталин просчитался, ожидая наступления немцев на юге, в этом году просчитался, ожидая их наступления на Москву. Взяв Крым, Севастополь, отбросив советские войска за Дон, немцы стремительно двинулись на Кавказ и Сталинград.

28 июля Сталин издал приказ номер 227:

«Мы потеряли более 70 миллионов населения... Отступать дальше — значит, погубить себя и вместе с тем нашу родину. Ни шагу назад! Сформировать штрафные батальоны, куда направлять средних и старших командиров. Ставить их на трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед родиной... Сформировать хорошо вооруженные заградительные отряды, поставить их в тылу неустойчивых дивизий и обязать

их в случае паники и беспорядочного отхода частей расстреливать на месте паникеров и трусов».

Этот приказ сковал инициативу командиров, парализовал возможность маневра, увеличил бессмысленные потери. Выполнять его означало обречь армию на поражение. Немцы все равно продвигались вперед, захватили Майкоп, Краснодар, Моздок, вышли на Терек, овладели почти всеми горными перевалами, открывающими путь в Закавказье. Но пленные и трофеи им уже не доставались. Вопреки приказу Сталина советские войска вели маневренную войну, не допускали окружения, умело отводили свои части. Лишь на узком участке фронта войска армии Паулюса сумели 23 августа выйти к западной окраине Сталинграда.

Сталин все отлично понимал: страна разрезается надвое. Гитлер овладевает всем югом, Украиной, Кавказом, Закавказьем. Но главное — Сталинград! Немцы взяли город в клещи, прижав наши войска к Волге. Если Сталинград падет, у немцев в руках окажется главная водная артерия европейской части Союза. От Сталинграда они повернут на север, зайдут в тыл Москве, и тогда основные силы Красной Армии окажутся в мешке.

Под Сталинградом сейчас лучшие полководцы. И все равно там нужен Жуков. Жуков — единственный человек, который по-прежнему внушал ему чувство надежности. Василевский разбирается в деле, но для чрезвычайных ситуаций мягок. В чрезвычайных ситуациях нужен Жуков. Безусловно, самомнения у Жукова прибавилось, оказался прав: Гитлер двинулся не на Москву, как ожидал товарищ Сталин, а на юг, как предсказывал Жуков. Значит, утвердился в мысли, что с т р а т е г — он, Жуков, а не товарищ Сталин. Ошибается товарищ Жуков! Когда речь шла о Харькове, возможно, и не следовало слушать Ворошилова, мудака, который провалил финскую войну. И Тимошенко не следовало слушать. Его карьера на этом и закончится, но и Жукову не следует торжествовать. ОН укажет Жукову его место. Его место в войсках, на фронте, там он может добиваться успеха. Вот пусть и едет в Сталинград. Но надо и обласкать.

26 августа Жуков из штаба Западного фронта был вызван в Москву.

Как обычно, он застал в кабинете Сталина Молотова, Ворошилова и Берию.

Сталин пригласил Жукова к столу. Принесли чай, бутерброды.

— Итак, Гитлер решил исправить свою ошибку, — неожиданно сказал Сталин.

Жуков недоуменно посмотрел на него.

Сталин показал на бутерброды:

— Ешьте, ешьте, проголодались, наверно.

Он встал и, прохаживаясь по комнате, заговорил:

— В чем была основная стратегическая ошибка Гитлера в прошлом году? В том, что главные силы он бросил на Москву, а должен был наступать на юге, получить хлеб, металл, уголь, нефть, привлечь на свою сторону националистов Украины, Кавказа и Закавказья. А уж в этом году двинуться на Москву с запада, севера и юга. Такой стратегии мы и ожидали. Но когда играешь с плохим игроком, никогда не знаешь, с какой карты он пойдет. Мы думали, что, наученный горьким опытом, Гитлер в этом году сделает правильный ход, обрушится на Москву, Москва близко. Нет, он решил наступать на юге. Но то, что было правильно для прошлого года, неправильно для этого года. Он опять обманул нас, как азартный, но плохой игрок. Он добился некоторого успеха и дошел до Сталинграда. Но этот успех — временный, у плохого стратега не может быть конечного успеха. Необходимо лишить Гитлера его временного успеха. Мы должны остановить его под Сталинградом так же, как остановили под Москвой.

Сталин подошел к Жукову и значительно, даже с некоторой торжественностью произнес:

— Товарищ Жуков! Государственный Комитет Обороны назначает вас заместителем Верховного Главнокомандующего.

Жуков встал, вытянулся.

— Благодарю, товарищ Сталин.

— Вам следует немедленно выехать в район Сталинграда. Немцев надо разбить и гнать их так же, как гнали в прошлом году от Москвы.

Сталин протянул ему руку.

— Счастливого пути! Успеха вам, товарищ Жуков!

28

Управление оборонительного строительства, где служила Варя, перевели из Москвы в район Саратова. В случае захвата Сталинграда гитлеровские войска повернут на север, на пути их возможного продвижения воздвигались оборонительные сооружения.

Штаб Управления разместили в селе Байдек, на территории бывшей республики немцев Поволжья. В августе сорок первого года республику ликвидировали, немцев, как возможных пособников Гитлера, выслали в Сибирь и в Казахстан. Но названия деревень и городов остались прежними.

Каменные кирпичные дома с надворными постройками, просторные, удобные, все по-немецки основательно, долговечно. Массивные столы, скамейки и кровати в домах, необычные печи: низкие, большие, квадратные, с конфорками и духовками.

Жили теперь в этих домах эвакуированные украинские колхозники, чувствовали себя неуютно.

— Немец уже в Сталинграде, — говорила Варе ее хозяйка, — сюда придет, шо нам скаже?! Немецким добром завладели, на чу-

жом, скаже, несчастье разжилися, всех нас и перевешает. А чем мы виноваты? Велели скот колхозный угонять, мы погнали, сюда нас и определили, куда теперь деваться, кто нас примет? — Вздыхала горько.

Варя ее успокаивала — сюда Гитлер не дойдет, жалела новых хозяев, но еще больше жалела высланных отсюда немцев. В чем провинились женщины, старики, дети? Затолкали в телячьи вагоны, заперли и выгрузили на голом месте в тайге. Сколько их там погибнет, сколько в дороге погибло?

Давид Абрамович Телянер, Варин начальник, тоже говорил о немцах сочувственно:

— Законопослушные российские подданные, освоили Заволжье. До них в степи только ногайцы и казахи бродили, а немцы выращивали знаменитую волжскую пшеницу, из нее выпекали хлеб для царского стола, разводили табак, ткали сарпинку. И все равно — чужой народ, хотя прожили здесь без малого два века, инородное тело, после войны, если будет возможность, все уедут в Германию.

Он смотрел на Варю умными, живыми карими глазами, с немцев переходил на евреев:

— Евреи тоже пришлые, к тому же во все вмешиваются. Среди них политики, ученые, писатели, философы, художники, кто хотите. Кому это понравится? Вот коренная нация их и выдавливает из себя.

— Но не у нас, — возражала Варя, — у нас есть еврейские театры, газеты. В школе, институте мы никогда не делились на евреев и на неевреев.

Давид Абрамович поднимал палец.

— Это было, Варенька, при других людях, людях идеи. Их уже нет. И времена уже другие. Евреи веками жили в Германии, носили немецкие фамилии, идиш — это фактически немецкий язык. И в результате? Германия их уничтожает. Однако уничтожить народ невозможно. Евреи сохранили себя на протяжении двух тысяч лет, история распорядилась: этому народу жить. Но жить в своей стране. Хватит им заниматься чужими делами.

— Вы имеете в виду Палестину? Евреи туда поедут?

— После того, что произошло, поедут.

— И вы поедете?

— Постараюсь.

— Но ведь ваша жена — русская.

— Зато ее дети — евреи.

— Наполовину.

— Люди иногда скрывают свое еврейство. Мать — русская, сам крещеный, еще что-то... Для меня еврей тот, кого Гитлер отправил бы на смерть как еврея. Моих детей отправил бы. Гитлер уничтожил бы и славян, перебил бы половину населения земного шара. К счастью, он не выиграет войну.

Вы в этом уверены?

Безусловно. Хотя при нашем бардаке победа будет дорого стоить.

Они одинаково мыслили, но разговоров на эти темы не вели. Мудрый человек, он с доброй улыбкой говорил Варе:

— Берегите нервы. Сейчас: все для фронта, все для победы. То зло хуже этого.

Был он невысок, плотен, военная форма сидела на нем неуклюже, лицо в глубоких морщинах, но глаза молодые, живые. «Один из лучших строителей Москвы», — говорил о нем Игорь Владимирович. Возглавлял технический отдел, все сходилось к нему: проекты, планы, разработки, его знания были феноменальны, решения принимал безошибочные. Он выделял Варю, она любила и умела работать, незатейливую полевую фортификацию освоила мгновенно.

В октябре строили главную полосу обороны в 15—20 километрах от Москвы. Сотни тысяч москвичей, в основном женщины, в дождь и холод, под обстрелом вражеской авиации, в своих потертых пальтишках, выношенных курточках, ботиночках, облепленных глиной, рыли окопы, ходы сообщений, долбили твердый грунт, врывали в землю круглые железобетонные колпаки для огневых точек, в своих перчаточках и рукавичках натягивали на колья колючую проволоку, толкали нагруженные землей тачки, устанавливали тяжелые надолбы и сваренные из рельсов противотанковые ежи. Не хватало лопат, ломов, кирок, не подвозили еду, и все равно эти женщины соорудили десятки тысяч метров противотанковых рвов, вынули миллионы кубометров земли.

Варя ходила по трассе. Бетон звучно плюхался из машин на толстые металлические прутья арматуры, женщины скребли лопатами по днищам опорожненных кузовов.

— Отъезжай, следующий, быстро, давай!

Варя проверяла, обмеряла, составляла с прорабами акты, помогала женщинам перетаскивать тяжелые бетонные колпаки. Неужели по Москве будут топать немецкие сапоги?! «Не отдадим Москву!» — первый стандартный лозунг, который стал ей близок. «Не отдадим Москву!» Улицы перекрыли баррикадами, мешками с песком, надолбами, ежами, опутанными колючей проволокой. Немцы бомбили город, воздушные тревоги объявлялись каждую ночь. Над Москвой колыхались лучи прожекторов, трассирующие пули и снаряды распарывали небо, похожие на ночные облака белели в нем аэростаты заграждения.

Игорь Владимирович возглавлял управление, по-прежнему был требователен, аккуратен, пунктуален. Ему нельзя было принести небрежно исполненный чертеж. Телянер, не придававший значения мелочам, говорил Варе:

— Своего супруга вы знаете, сделайте поаккуратней.

В свое время Игорь Владимирович попытался перевести Варю на работу, не связанную с выездом на рубежи. Она сказала ему:

— Игорь, прошу тебя, никогда этого не делай. То, что я твоя жена, не дает мне никакого преимущества.

Больше он в ее дела не вмешивался.

После успешного завершения московской битвы его перевели в Наркомат обороны, в Главное управление инженерных войск, присвоили звание генерал-майора. Варя была довольна — положение жены начальника ее тяготило. Никаких привилегий она не имела. И все же мало кому из женщин-сотрудниц присвоили звание, а ее имя внесли в первый же довольно короткий список — воентехник 1-го ранга. Естественно, дипломированный инженер, давно здесь служит, и все же в отношении сотрудников это присутствовало: жена начальника. Теперь этого не будет.

И когда Игорь Владимирович сказал ей, что управление перебрасывают в Саратов, но она останется в Москве, Варя отказалась.

— Нет, Игорь, я из управления не уйду.

Он был озадачен, ошеломлен.

— Варенька, тут та же работа. Разница только в том, что здесь ты у себя дома, а там придется скитаться по грязным избам.

— Эти неудобства коснутся всех.

Он улыбнулся:

— Не романтизируй, Варя, там не фронт, а фронтовой тыл, далекий от линии огня. И в Управлении почти все женщины работают рядом с мужьями, ты будешь одна, без защиты. И наконец, Варюша, неужели ты хочешь оставить меня одного?

Ей было его жаль, и все же она уедет.

— Я останусь в Москве, потому что мой муж занимает высокий пост? Мне стыдно так поступать, с этими людьми я проработала многие годы. И я не хочу отсиживаться в Москве. Я ведь ношу военную форму.

— Но и на мне военная форма.

— Ты руководитель союзного масштаба, твое место в Москве. А я рядовой инженер, воентехник первого ранга, мое место там, где женщины роют окопы.

Он сел рядом с ней на диван, обнял за плечи, притянул к себе:

— Варя, я боюсь за тебя, скажешь что-нибудь не то, не так, за это уцепятся, там разговор короткий: военный трибунал. Я не могу отпустить тебя.

— Я обещаю тебе ни с кем ни о чем не говорить.

Он опустился на колени, обнял ее ноги, приник к ним головой.

— Варюша, умоляю, я боюсь тебя потерять.

Она была тронута его отчаянием, погладила по голове.

— Ладно, вставай!

Он встал, машинальным движением отряхнул пыль с колен...

Варя закрыла глаза. Боже мой! В такую минуту помнит о брюках.

— Нет, Игорь, кем я буду здесь? Генеральская жена, получающая генеральский паек? Я не могу себе этого позволить. Не вынуждай меня. Клянусь, я буду там осторожной, сдержанной, осмотрительной.

И он примирился. Варя с управлением отправилась в Байдек. Ехали в товарных вагонах, хорошо оборудованных: с нарами, вагоном-кухней и медпунктом.

29

Байдек был далеко от фронта, даже немецкие самолеты не долетали. Варя работала у Телянера, составляла планы оборонительных сооружений, строили их полевые управления, участки и отряды, а ближе к Сталинграду — инженерные войска Сталинградского фронта. На рубежи, как под Москвой, Варя не выезжала.

Тыловое, в сущности, полугражданское учреждение, но снабжение, жилье, обмундирование строго разделены: старший комсостав, средний, младший, вольнонаемные, рядовые. Ведущий инженер, еще не получивший звания, оказывался в худших условиях, чем какой-нибудь бездельник из политотдела.

На этой почве возникали трения, село небольшое, все живут рядом, много женщин, законные жены и незаконные. Жаловаться ходили к полковнику Бредихину, хаму и самодуру, сменившему Игоря Владимировича на посту начальника управления. Разговаривая с подчиненными, Бредихин недовольно выпячивал губу, нетерпеливо постукивал указательным пальцем по столу, мол, короче, короче.

И только с Варей он держался как бы на равных, как со «своей», старался расположить к себе, проявлял заботу и начальнику АХО приказал ее опекать. Его глупые шутки Варя выслушивала с непроницаемым лицом, Бредихин был ей противен, унизительны его внимание, типично «их» партийная доверительность. Он, болван, ничего не замечал.

Как-то прибежал в отдел запыхавшийся вестовой.

— Товарищ воентехник первого ранга, вас полковник к себе требует.

У Бредихина сидели инженеры из полевого управления, усталые, в пропотевших гимнастерках, кирзовых сапогах, Бредихин их слушал, недовольно топыря губу. Кивнул Варе на стул, подождите, мол...

Варя села, недоумевая, почему Бредихин вызвал ее, а не Телянера.

Раздался телефонный звонок, Бредихин снял трубку, бодрым голосом произнес:

— Да... Так точно... Есть...

Протянул трубку Варе.

Оказалось, Игорь из Москвы.

— Варенька, здравствуй, это я, узнаешь?

— Конечно... Что-нибудь случилось?

— Нет, просто захотелось услышать твой голос. Как ты?

— Здорова, работаю, а ты?

— И я здоров, работаю, с к у ч а ю.

— Значит, у нас все в порядке...

— Мой звонок тебя не обрадовал?

— Я тут не одна, Игорь, понимаешь? Лучше пиши.

— Ну хорошо, детка, целую тебя.

— Целую.

Она положила трубку.

— Спасибо, товарищ полковник.

С грубоватой, но ласковой насмешливостью он ответил:

— Рад служить, товарищ воентехник первого ранга.

Ей было стыдно перед усталыми инженерами из полевого управления: с ними Бредихин груб, а с ней ласков. Ей из Москвы звонят по служебному телефону, а они месяцами ждут из дома писем.

Вернувшись в отдел, сказала Телянеру:

— Муж звонил из Москвы. Видите, какие привилегии генеральским женам.

Он все понял, умница...

— Был на проводе, перекинулся несколькими словами с женой, я бы на его месте тоже не упустил бы такого случая.

Игорь... Почему так задело ее это невинное, чисто мужское движение — встал с пола, отряхнул брюки. Неужели выплеснулось давно подавляемое раздражение? Хороший, честный, порядочный, спас ее, часто пишет. А она отвечает нерегулярно, не находит ласковых слов, мучается над каждой фразой. И, думая о Москве, никогда не вспоминает квартиру на улице Горького. Вспоминает Арбат, свой дом, свою комнату, почту на углу Плотникова переулка, откуда отправляла Саше бандероли и посылки, как собирали их с Софьей Александровной, вспоминает «Арбатский подвальчик», где танцевала с Сашей, и их школу в Кривоарбатском переулке. А если думает об Игоре, то почему-то назойливо приходит на память то профсоюзное собрание, на котором Игорь сыпал казенными фразами, и ресторан «Канатик», где он высоким визгливым голосом грозился отправить Клаву в милицию. Господи, ведь это все давно быльем поросло, зачем снова ворошить, зачем нагнетать? Дело в ней, не любит она его и не любила, а когда вышла замуж, обманула себя и его, значит, обманула. Виновата только она. Ведь хорошо жили, не ссорились, а вот не хочет, чтобы Игорь приехал сюда, и сама в Москву ни за что не переведется. Наверное, не вернется к Игорю и после войны... Нельзя жить с нелюбимым, н е ч е с т н о! Игорю еще сорока нет, красивый, знаменитый, устроит свою жизнь. А она? Второй муж, и опять неудача. Наверное, ей вообще не следует выходить замуж.

Она жила в одной комнате с доктором Ириной Федосеевной — военврач, член партии, бесцеремонная, категоричная, но в быту покладистая и, что нравилось Варе, далекая от бабских сплетен и пересудов. И перед начальством не вытягивалась, о больных заботилась одинаково, независимо от должности и звания, но своим персоналом руководила круто, говорила медсестрам:

— Девочки, романы из головы выкиньте! На войне мужья временные. С Варвары Сергеевны берите пример, к ней ни один мужик не подступится.

— У Варвары Сергеевны муж в Москве, — пытались возражать сестры.

— Муж, муж, — сердилась Ирина Федосеевна, — муж объелся груш. Я своего мерзавца прогнала, даже алиментов не потребовала,

сама сына вырастила, уже врач, как и я. Так что на себя надейтесь, а не на мужа.

Варе рассказывала: в тридцать шестом году взяла на воспитание девочку — испанку, Изабеллу, родители ее погибли при бомбардировке Мадрида.

— Хорошая девочка, пятнадцать лет исполнилось, умница, работяга, учителя не нахвалятся. Вот и я выполнила свой долг пролетарской солидарности.

Произнесла это с гордостью, такое святое слово! Ленин, Сталин — при этих именах на лице ее появлялось сурово-благостное выражение. Сомнений у нее не было. Да, много безобразий, непорядка, халатности, даже беззакония, но виноваты чиновники, бюрократы, не доходит до товарища Сталина, а то бы он показал этим негодяям, компрометируют, сволочи, партию и государство.

В победу над Гитлером верила безусловно, порукой тому наш общественный строй — советская власть.

— Кем бы мы были без советской власти? Отец мой — деревенский мужик, мать — неграмотная деревенская баба, а у меня высшее образование. Кто мне его дал? Советская власть. Инженеры, техники в нашем управлении, откуда они? Из народа. Генералы, полководцы — из простых бойцов Красной Армии, все — плоть от плоти народа, никакому Гитлеру нас не одолеть.

Хотелось спросить: где миллионы крестьян, погибших в коллективизацию от голода, где герои гражданской войны, порубленные в тридцать седьмом году, почему немцы в Сталинграде? Но, помня свое обещание Игорю, Варя отмалчивалась, только поражалась тому, сколько намешано в таких людях, как искривлены у них мозги. Приютила сироту, простая добрая русская баба, ан нет, «пролетарская солидарность». И так все здесь.

В сентябре управление передали в ведение вновь созданного Донского фронта и перебросили в Камышин, разместили в деревне по дороге на Сталинград. Всю ночь собирали и упаковывали бумаги, чертежи, папки, утром подали машины, погрузили имущество со столами и стульями и двинулись в путь.

Перевозила их присланная авторота. Варя вглядывалась в лица шоферов, вдруг среди них Саша, знала от Нины, что он военный шофер. Саши не оказалось, да и невероятным было бы такое совпадение.

От их деревни до Сталинграда меньше ста километров, война ощущалась совсем близко. Опять, как и под Москвой, Варя выезжала на рубежи. Иногда часами сидела на обочине у КПП — контрольно-пропускного пункта, дожидаясь попутной машины. По шоссе, проселочным дорогам шли толпы беженцев из разрушенного Сталинграда, раненые, в грязных окровавленных бинтах, кто на костылях, кто опираясь на палку, им навстречу двигались войска, артиллерия, автоколонны, юркие штабные машины обгоняли грузовики, на КПП их останавливали, проверяли. Варя уже привычно вглядывалась в лица шоферов, по-прежнему ее не оставляла нелепая мысль, что увидит за рулем Сашу. На горизонте полыхали

пожары, немецкие самолеты бомбили дорогу, бомбили суда на Волге, их атаковывали наши истребители, воздушные бои можно было наблюдать каждый день, все останавливались, смотрели в небо, и, когда наш самолет сбивал вражеский и тот, дымя, падал на землю, люди кричали: «Ура!», солдаты кидали вверх пилотки, женщины хлопали в ладоши, и Варя хлопала — молодцы наши летчики!

Появлялась наконец машина, идущая в нужном направлении, Варя взбиралась в кузов, было тесновато — и груз, и люди. Однажды ехала в машине, где в кузове лежала бочка с бензином, при толчках она накатывалась на пассажиров, приходилось удерживать ее ногами. Бывали и ночевки на холодном земляном полу, и исчезнувшие продпункты, если везло, получала суп из перловки с куском хлеба.

Ездила с Телянером в Заварыкино, в штаб инженерных войск фронта. Молодые, деловые военные инженеры быстро и смело все решали, приветливые, гостеприимные, подарили Телянеру прозрачный мундштук из плексигласа, Варе — кинжал, рукоятка обмотана красным немецким проводом.

— Красиво, — сказала Варя, — но зачем мне кинжал?

— Это дамский кинжал, видите, маленький, — пояснил инженер, сделавший подарок.

— Для самообороны, — улыбнулся второй.

— В ближнем бою, — подмигнул третий.

Веселые ребята, доброжелательные, простецкие, подтянутые.

— Здесь совсем другой воздух, — сказала Варя Телянеру, — нет нашей затхлости, нет обожравшихся морд, красных от пьянства глаз, как у Бредихина.

— Вы правы.

Как-то согласовывали план тылового рубежа обороны. Начальник фортификационного отдела Свинкин, молодой, очень высокий, на голову выше Телянера, полковник, остался доволен:

— Сейчас утвердим у генерала.

— Но его сначала должно подписать мое начальство, — засомневался Телянер.

— Товарищ майор, — возразил Свинкин, — пока вы повезете его обратно, подпишете, пришлете сюда, я понесу к генералу, и неизвестно, будет ли генерал на месте, пройдет много времени, а времени нет, полосу надо возводить срочно. Вашей подписи для нас достаточно. Ведь вы его согласовали у себя?

— Конечно, обговорили с главным инженером.

— Вот видите, пошли!

Они отправились к начальнику инженерных войск фронта — Алексею Ивановичу Прошлякову, вежливому, сдержанному сорокалетнему генералу. Доложили план, Прошляков слушал внимательно, разглядывал чертежи, не задавал лишних вопросов, написал сверху: «Утверждаю», бросил короткий, как бы мимолетный, взгляд на Варю. Она привыкла к т а к и м взглядам, лицо ее выражало подчеркнутое равнодушие.

Прощаясь, Свинкин сказал:

— Киснете в своем управлении, переходите к нам. Давид Абрамович через год будет полковником, Варвара Сергеевна — майором. Я серьезно говорю.

Вернулись в управление. Телянер отправился с докладом к Бредихину. Возвратился мрачный, злой, бросил чертежи на стол.

— Что случилось? — спросила Варя.

— Наш дуболом недоволен — посмели без него обращаться к самому Прошлякову.

— Но мы не обращались, нас привели к нему.

— Я ему объяснил, но он ничего слушать не желает.

— Идиот! — сказала Варя.

— Он не идиот, он хотел с а м попасть к генералу.

Вскоре прибежал вестовой.

— Товарищ воентехник первого ранга, вас полковник к себе требует!

— Идите, — сказал Телянер, — будет допрашивать как свидетеля.

Варя явилась к Бредихину, тот кивнул на стул.

— Что у вас там произошло, в штабе фронта?

— Ничего. Утвердили план.

— К генералу Прошлякову ходили?

— Да.

— Вас я не виню, Варвара Сергеевна. Но Телянер, как он посмел без согласования с управлением?

— План был оговорен с главным инженером.

— Подписи главного инженера на плане нет. И моей подписи нет. Как он мог действовать через наши головы?

— Майор Телянер не хотел идти к генералу. Но полковник Свинкин потребовал немедленно утвердить план, чтобы завтра же послать его в войска. Он сам понес его к генералу Прошлякову и нас повел с собой.

— Вы... Вы тут ни при чем. Но Телянер... Телянер... Он должен был отказаться идти к генералу. Нет, полез, захотел свою персону показать.

Он покачал головой, злобно усмехнулся:

— Вот нация! Во все дырки суются! Без мыла лезут.

Варя встала.

— Вы сказали: «нация»?! Вы антисемит? Нацист? Фашист? Как вы смели?!

Он тоже поднялся.

— Но, но, не особенно здесь! Думаете, генеральская жена, так вам все можно?!

— Я не желаю с вами разговаривать... Не желаю вас слушать!..

— Будешь слушать! — грубо крикнул Бредихин. — Не позволю склочничать!

— Вот что, полковник, — сказала Варя, — сейчас вы вызовете начальника отдела кадров и оформите мне направление в штаб инженерных войск фронта. Завтра утром предоставите машину для переезда. Если не хотите скандала, на этом расстанемся.

На следующий день Варе вручили бумагу о том, что она направляется в распоряжение штаба инженерных войск фронта, и запечатанный пакет с ее личным делом. На «эмке» полковника она уехала в Заварыкино.

Через неделю в штаб инженерных войск фронта перевелся и Телянер.

30

А в Сталинграде шли тяжелые бои. Немцы сбрасывали на город тысячи фугасных и зажигательных бомб. Дома, как громадные подпиленные деревья, валились набок. Охваченный огнем, окутанный дымом, засыпанный пеплом, город лежал в развалинах, советские солдаты сражались там за каждый камень.

Пламя горящей нефти, вытекавшей из разбитых цистерн, стелилось по Волге. Но разрушенные немецкой авиацией переправы немедленно восстанавливались, по ним подвозили боеприпасы тем, кто дрался в окопах. С восточного берега Волги артиллерия поддерживала своих солдат, заставляя немцев зарываться в землю.

29 августа Жуков прилетел в Камышин, оттуда на машине проехал вперед, затем свернул на запад. Части Сталинградского фронта располагались в коротком (60 километров) междуречье Волги и Дона, против них — немецкие пехотные дивизии, защищающие коммуникации к Сталинграду.

Выжженная августовским солнцем приволжская степь, открытая артиллерийскому огню противника, балки и овраги. Жуков заехал в штабы дислоцированных здесь армий к генералам Малиновскому и Казакову, у обоих мнение одно: атаковать на такой местности невозможно. И Жуков сам видел — отсюда к Сталинграду не пробиться. Поехал дальше на запад, к Клетской и Серафимовичу, здесь войска удерживались на правом берегу Дона, им противостояли не немцы, а румыны.

На хуторе Орловском его встретил командующий Двадцать первой армией генерал Данилов, хороший специалист, думающий, доложил обстановку. Дивизии Двадцать первой армии прочно удерживают правый берег Дона. Румыны пытались атаковать, но действовали вяло и сейчас ведут себя пассивно. Конечно, если немцы добьются успеха в Сталинграде, то предпримут генеральное наступление на север, румынские части будут подкреплены немецкими, хорошо вооруженными и опытными. Оборону надо крепить. Не мешало бы армию пополнить и личным составом, и вооружением. Как и все, Данилов настроен на оборону. И Жуков не возражал. Но думал о другом: именно Двадцать первой армии придется быть одной из главных участниц того плана, что уже созревал в его голове и которым он пока ни с кем не делился.

На следующий день Жуков с Даниловым выехали в войска. Та же открытая местность, перерезанная балками и оврагами, но вы-

соко расположена. Неплохой обзор, обстрел, наблюдение за противником, хорошие условия для маневрирования, кустарник, можно укрыться. Глубина плацдарма у Серафимовича достаточна для сосредоточения нужного количества войск, а в районе Клетской глубокая излучина Дона к югу создает выгодные условия для нанесения удара в тыл румынской армии. Конечно, дороги отвратительные. Но в ноябре подморозит, грунт здесь твердый, техника пройдет.

К вечеру вернулись обратно на хутор. За ужином Данилов докладывал о командирах дивизий, полков, бригад, некоторые фамилии были Жукову знакомы, другие — нет, но оценкам Данилова он верил. Попросил Данилов повысить в звании двух командиров дивизий — полковников Ефимова и Костина.

— Ефимов, — сказал Жуков, — старый служака, пора ему дать генерала. А Костина я еще на Дальнем Востоке приметил, перспективный парень, к тому же Герой Советского Союза. Но ведь молодой, лет тридцать ему, есть и постарше.

— Он этого звания заслуживает, и мне хотелось бы укрепить его положение.

— В этом есть необходимость?

— Сами говорите, молодой!

Жуков знал Максима Костина не только по Дальнему Востоку. Его, Максима, родители были из той же деревни Стрелково Калужской губернии, где родился Жуков. И когда Жуков учился в Москве на скорняка и к нему приезжал из деревни отец, то останавливался у Костиных на Арбате. Костин там работал истопником, жена его, мать Максима, — лифтершей. И Жуков сам мальчиком заходил к ним, а в двадцатых годах пришел уже командиром Красной Армии: с матерью своей повидаться, она опять у Костиных остановилась. На Дальнем Востоке увидел в списке комсостава фамилию лейтенанта Костина Максима Ивановича, подумал, не из той ли семьи, вызвал, поговорил, оказалось, из той. Повспоминали родные места, речку Протву, где купались, и Огублянку, где рыбу ловили. Костин произвел на него хорошее впечатление. И воевал хорошо. И если Данилов считает, что нужно укрепить его положение, следовательно, есть какие-то причины.

— Занимайтесь своим делом, — сказал Жуков, — а Костина вызовите ко мне.

— Пока разыщем, пока приедет, пройдет время.

— Ничего, я еще часа два-три поработаю.

Получив приказ явиться в штаб армии, Максим тут же выехал. Жуков здесь, значит, вызваны и другие командиры дивизий — совещание, инструктаж, накачка. Интересно посмотреть на Жукова, видел его только раз, до войны, на Дальнем Востоке, выяснилось, что земляки. Вряд ли Жуков помнит о нем, а Максим им гордился: первый полководец страны, имя его гремит на весь мир, а ведь из *нашей* деревни, *свой*, *калуцкий*.

В прошлом году в Москве мать рассказала ему о семье Жуковых.

— Отца его, Константина, подкидыша, бабка одинокая взяла из приюта. Как исполнилось восемь лет, отдала в учение к сапожнику в Угодский завод, потом в Москве сапожником работал, а после Москвы в деревню вернулся, овдовел и, когда было ему уже пятьдесят, второй раз женился, и тоже на вдове из соседней деревни Черная грязь. Звали ее Устинья Артемьевна, немолодая — 35 лет. В общем, оба вдовые, оба по второму разу поженились. И родился у них сын Георгий, и еще сын был, умер в малолетстве. Жили бедно, в нашей деревне богатых не было, земли мало, тощая земля, неурожайная, хозяйством кто занимался? Женщины да старики, а мужчины, те на отхожем промысле, в Москве, в Питере. Устинья Артемьевна женщина исключительная, поднимала мешки с зерном, а в каждом пять пудов, не всякий мужик поднимет. Грузы возила из Малоярославца, тоже мужская работа, с характером женщина, Георгий в нее, он и видом в нее.

Так рассказывала ему мать. А в этом году она сообщила, что видела Устинью Артемьевну, Жуков вывез ее перед тем, как немцы взяли деревню.

Все это вспоминал Максим по дороге в штаб армии, но, когда приехал, оказалось, никакого совещания нет, Жуков вызвал его одного.

— Давно я тебя не видел, садись, рассказывай, как дела. Что дома?

— Дома все в порядке. Мать жива, братья в армии, жена преподает в школе, сын растет.

— Сколько сыну?

— Пять лет уже.

— Как зовут?

— Иван.

Жуков с удовольствием смотрел на него: молодой, широкоплечий, лицо открытое, таких командиров солдаты любят, видно, что свой, из крестьян.

— Рассказывай, что у тебя приключилось в дивизии.

— У меня в дивизии? Ничего. Все в порядке.

— Ладно, ладно, правду говори. О чем генералу докладывал?

Максим помолчал, потом сказал:

— Я ему, товарищ генерал армии, ни о чем не докладывал. Возможно, ему жаловались на меня — не сработался с замполитом. По любому поводу конфликт. Последний — из-за одного командира роты, он ударил красноармейца по лицу, и я его отстранил от должности. А замполит: «Почему без моего ведома, комроты — коммунист, политически выдержан, морально устойчив». Ну, и так далее, в таком роде. И, конечно, рапорт в политотдел армии.

— А может, за дело ударил? Может, довели его?

— Разве можно бить бойца Красной Армии? Судить, разжаловать, если виноват. Но бить, оскорблять, унижать человеческое достоинство не имеет права.

— Меня в солдатах, знаешь, как вахмистр нагайкой охаживал, я в кавалерии тогда служил.

— То царская армия, товарищ генерал...

— И когда у скорняка в мальчиках, такие плюхи хозяин отвешивал.

Максим старался говорить возможно мягче:

— Я в своей дивизии рукоприкладства позволить не могу. Это у румын солдат порют, поэтому они так воюют, а мы Красная Армия, и каждый ее боец должен себя уважать, и командир обязан его уважать.

— Какую лекцию мне загнул! — усмехнулся Жуков. — А я ведь в Красной Армии со дня ее создания и в партии с девятнадцатого. А ты с какого года в партии?

— В партии с тридцать четвертого, в комсомоле с двадцать пятого.

С двадцать пятого в комсомоле... Что-то это напомнило Жукову... Да, того шофера в Старожилове...

— Задиристые вы! Попался мне в прошлом году тоже один такой, твоих лет, наверно. Рядовой шофер. Тоже свое гнул. Я его расстрелять собрался, а потом вместо расстрела звание ему присвоил. Инженер к тому же.

Рядовой шофер, инженер, его ровесник...

Максим встал.

— Товарищ генерал армии, разрешите обратиться с вопросом?

— Спрашивай, пожалуйста.

— Вы не помните его фамилию?

— Фамилию... Не помню.

— Панкратов?

— Вот именно, Панкратов... А ты чего взволновался, знал его, что ли?

— Друг детства, в одном доме выросли, на одной парте в школе сидели... Только вот судьба...

Жуков оборвал его:

— Судьба теперь у всех одинаковая, воевать надо. Понятно?

— Понятно, товарищ генерал!

Все ясно: о т а к и х судьбах говорить не хочет.

Жуков уткнулся в карту, не поднимая головы, сказал:

— Твоего замполита заменят. Только поладишь ли ты с новым? Сам смотри.

31

Третьего сентября Жуков получил от Сталина телеграмму с требованием: «Немедленно ударить по противнику, промедление равносильно преступлению». На следующий день Сталин позвонил Маленкову, проверил, как выполняется его распоряжение. Маленков в военном деле ничего не смыслил, был сталинским контролером при Жукове, разволновался, услышав в голосе Сталина гневные ноты.

— Ситуация крайне тяжелая, товарищ Сталин. Немецкие бомбардировщики совершают до двух тысяч самолетовылетов в день. Войска уже несколько раз поднимались в атаку, но результата нет.

Недовольный Сталин вызвал Жукова и Василевского в Москву.

— Почему не наступаете?

— Местность под Сталинградом невыгодна для наступления, — доложил Жуков, — открытая, изрезанная глубокими оврагами, противник в них хорошо укрывается от нашего огня и, наоборот, заняв командные высоты, легко маневрирует своим огнем. Нужно искать другие решения.

— Про местность под Сталинградом я знаю не хуже вас. Какие решения?

Вошел Поскребышев.

— Товарищ Сталин, звонит товарищ Берия, просит вас срочно к телефону.

Сталин поднял трубку, выслушал Берию, лицо его помрачнело.

— Приезжай!

Положил трубку, поднял глаза на Жукова, смотрел злобно.

— Так какие другие решения?

— Мы с товарищем Василевским их обдумываем, нам нужны еще сутки.

— Хорошо, завтра в девять часов вечера снова соберемся здесь.

Берия явился со срочным докладом. Обнаружен Яков. Зимой находился в Берлине, в отеле, в ведении гестапо. В начале сорок второго года переведен в офицерский лагерь «Офлаг XC» в Любеке. Его сосед капитан Рене Блюм, сын бывшего премьера Франции Леона Блюма...

— Блюма? Разве немцы держат евреев в офицерских лагерях?

— Да. Наиболее знаменитых, для торга, для сделки, для дезинформации: говорят, будто мы евреев уничтожаем, а вот вам еврей Блюм, полюбуйтесь!

— Хорошо, продолжай!

— В Любеке офицеры решили выдавать Якову посылки, которые получают через Красный Крест.

— И Яков берет?!

— Посылки из Международного Красного Креста, — повторил Берия.

— Я сам понимаю, что не лично от Гитлера. Но ведь другие наши военнопленные офицеры не получают таких посылок.

— Почти все наши офицеры содержатся в общих лагерях, мало кто в офицерских. Делятся ли с ними посылками, не знаю. Выясню.

Сталин промолчал.

— Среди пленных есть наши люди, — продолжал Берия, — насколько мне известно, готовится побег.

— И куда он побежит? — спросил Сталин.

— План побега разрабатывается, — осторожно ответил Берия.

Нашли Якова. Из берлинского отеля перевели в лагерь для военнопленных, значит, от сотрудничества отказался. И все равно фронты засыпаны немецкими листовками: «Берите пример с сына Сталина!» Пока Яков жив, немцы будут их бросать и бросать. Они их перестанут бросать, когда Якова не будет в живых. Только в этом случае. Но ЕМУ думать об этом некогда. Пусть думает Берия.

Сталин встал.

— Побег из плена — достойный выход для командира Красной Армии.

Посмотрел на Берию своим тяжелым взглядом.

— Конечно, при побеге могут убить. Ну, что ж, такая смерть — тоже достойный выход для командира Красной Армии.

На следующий день в девять вечера Жуков и Василевский разложили перед Сталиным карту. Докладывал Жуков.

— С основными немецкими силами армию Паулюса соединяет узкий коридор. Северную сторону коридора защищают румыны, венгры и итальянцы. Они плохо оснащены и не имеют достаточного боевого опыта. На южных коммуникациях коридор защищает румынская армия того же качества. Наш план. В районе Серафимовича и Клетской создается мощная группа войск, которая наносит стремительный удар в район Калача, где соединяется с группой, наносящей удар из района южнее Сталинграда. Армия Паулюса оказывается окруженной. Одновременно, — Жуков показал на карте, — наносятся удары на западе, чтобы немцы не смогли деблокировать окруженные в Сталинграде войска.

Сталин всматривался в карту.

— Далеко вы замахнулись... Черт-те где, западнее Дона. Надо ближе к Сталинграду, ну хотя бы вдоль восточного берега Дона.

— Это невозможно, — возразил Жуков, — немецкие танки из-под Сталинграда повернут на запад и парируют наши удары.

— А хватит у нас сил для такой большой операции?

— Сейчас нет, — сказал Василевский, — но к ноябрю операцию можно обеспечить достаточными силами и хорошо ее подготовить.

Сталин кинул карандаш на карту.

— А до ноября немцы овладеют Сталинградом и двинутся на Саратов?!

— Войска Паулюса изнурены и не в состоянии овладеть городом, — ответил Жуков. — Конечно, и наши потери огромны, но в ближайшие дни мы бросим в город новые резервы и отстоим Сталинград.

Опять, как и накануне, вошел Поскребышев, доложил, что из Сталинграда звонит Еременко.

Сталин поднял трубку, выслушал, сказал одно слово: «Хорошо», — положил трубку, посмотрел на Жукова, потом на Василевского, затем опять на Жукова.

— Вы говорите: «Противник измотан». А вот Еременко докладывает, что немцы подтягивают к городу танковые части, завтра следует ждать нового удара. Сейчас же вылетайте оба в Сталинград, его надо отстоять во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило.

Василевский свернул карту, нерешительно спросил:

— А как быть с нашим планом?

— Мы еще вернемся к нему, времени хватит, — нетерпеливо ответил Сталин, — отправляйтесь на аэродром. Через час вы должны вылететь.

В развалинах Сталинграда продолжались ожесточенные бои. Но немцы вперед не продвигались. Советские войска продолжали отбиваться с прежним упорством.

Жуков между тем изучал обстановку в районе Серафимовича и Клетской, уточнял с командующими армиями план контрнаступления, тем же занимался Василевский на левом фланге. Сталин иногда вызывал их в Москву, вникал в подробности, начинал осознавать грандиозность замысла, советовался с Шапошниковым, раскладывал на столе карту, сидел над ней, задумавшись. Во время гражданской войны он пробыл в Царицыне не один месяц, руководил обороной, посылал в Москву и Петроград эшелоны с зерном. Вот почему и переименовали Царицын, назвав в ЕГО честь Сталинградом. И Надя была с ним. Но потом в поездки не брал. Простудилась там. Молоденькая была, дурочка, все Некрасова вспоминала: «Выдь на Волгу, чей стон раздается...» Там на Волге, на берегу, и простудилась.

Сейчас ОН не мог узнать в Сталинграде ни одной улицы, снимки ЕМУ показывали, хронику крутили: сплошь развалины, стеклянная крошка, погнутые трамвайные рельсы... То ли в «Правде», то ли в «Красной звезде» прочитал: в центре среди развалин стоит четырехэтажный дом. Единственный уцелел. Трое разведчиков во главе с сержантом отбили его у немцев. Забыл фамилию сержанта. Простая русская фамилия, то ли на «Л», то ли на «П». Спросил у Шапошникова. Тот смешался, тоже забыл. Через час доложил по телефону: фамилия — Павлов. К Павлову пробрались еще двадцать солдат, заняли круговую оборону, минировали подступы, подземными ходами сообщений соединили с огневыми точками и превратили в опорный пункт обороны. Держатся до сих пор.

— Широко оповестите об этом в печати и по радио. Пусть народ знает, как сражаются его сыновья, — приказал Сталин.

Вот так ОН приказал, а то, что солдаты так сражаются в городе С т а л и н а, журналисты сами добавят.

Сталин положил трубку, глаза снова опустились к карте, к красным стрелам, устремленным с севера и юга к Калачу. Он уве-

ровал в успех операции и, по своему обыкновению, начал всех торопить. Создавались новые фронты, формировались новые армии, перебрасывались стрелковые дивизии и танковые бригады, усиливались воздушные армии. Наконец окончательный вариант плана был подписан Жуковым и Василевским, наверху Сталин начертал: «Утверждаю».

— Товарищ Сталин! — обратился к нему тут же Жуков. — Надо немедленно начать отвлекающее наступление возле Москвы, в районе Вязьмы и Ржева, чтобы предотвратить переброску немецких войск в помощь Паулюсу.

— Хорошо, — сказал Сталин, — подумаем... — Он внимательно посмотрел на Жукова. — Подумаем... Это, кажется, правильная мысль... Подумаем... А пока вылетайте обратно, проверьте готовность к наступлению.

16 ноября Жуков сообщил, что все готово, наступление намечено на утро 19 ноября.

Жуков опять прилетел в Москву. Его доклад был уверенный и оптимистичный: армии готовы к наступлению, успех операции не вызывает сомнений.

— Ну, что ж, — сказал Сталин, — хорошо, очень хорошо. Поздравляю. А когда операция закончится успешно, поздравим еще раз.

— Благодарю вас, товарищ Сталин!

Сталин пристально смотрел на него...

— Товарищ Жуков! Прошлый раз вы говорили об отвлекающем ударе в районах Ржева и Вязьмы.

— Да, это необходимо.

Сталин поднялся, принес с соседнего стола карту, положил ее перед Жуковым.

— Вот, генштабисты разработали план, посмотрите.

Сталин медленно прохаживался по комнате, дожидался, пока Жуков проглядит план.

— Идея правильная, — сказал наконец Жуков. — Детали нужно проработать.

— Видите, мы здесь тоже не сидели сложа руки, — усмехнулся Сталин, — а как вы думаете, товарищ Жуков, кому можно поручить эту операцию?

— Трудно назвать имя с ходу. Мы обсудим это с товарищем Василевским.

Сталин снова уселся в кресло, посмотрел на Жукова.

— А что, если вы возьмете эту операцию на себя? Под Сталинградом все подготовлено. Там товарищ Василевский, фронтами командуют опытные люди: Рокоссовский, Еременко, Ватутин. Я думаю, такими силами они справятся. Тем более вы сами доложили: готовность полная, успех обеспечен.

Жуков отвел глаза. В решающую минуту Сталин отстраняет его от руководства операцией, которую он задумал и подготовил, знает всех предстоящих ее участников, изучил местность, знает состояние каждой дивизии, держит в уме возможные тактические маневры. И

вот отстраняют. Не хочет Сталин, чтобы после победы под Москвой он, Жуков, оказался бы победителем и в сталинградском сражении. Обычная сталинская игра...

— Почему такое решение будет правильным? — снова заговорил Сталин. — А вот почему: если мы пошлем на ликвидацию Ржевского выступа второстепенную фигуру, то немцы поймут, что это всего лишь отвлекающий маневр. А если операцию проводит сам Жуков, то они оценят это наступление как серьезное и не только не перебросят свои войска на юг, а, наоборот, еще больше стянут их сюда. И наша задача под Сталинградом облегчается.

Жуков по-прежнему молчал.

Не спуская с него тяжелого взгляда, Сталин продолжал:

— Вам будет доставляться та же информация, которую получаю я. Сможете давать указания, вносить предложения. Вы готовили сталинградское наступление, мы не собираемся вас отстранять от него. Все указания будут даваться за нашими двумя подписями.

Сталин еще раз посмотрел на Жукова и заключил:

— Так и поступим.

— Как прикажете, товарищ Сталин!

Дело не в лаврах. Лавры ЕМУ не нужны. Но победу должен олицетворять один человек. Жуков считается победителем под Москвой. Очень хорошо. Крупный полководец должен выигрывать о т д е л ь н ы е сражения. Но выиграть и второе сражение, поворотное, ключевое... Нет, победа под Сталинградом должна быть связана с именем Сталина.

19 ноября с севера и 20 ноября с юга в наступление двинулись 1 миллион 103 тысячи советских солдат. Им противостояли немецкие, румынские, итальянские и венгерские войска почти той же численности.

23 ноября обе группы советских войск соединились в Калаче и окружили армию Паулюса. Прорываться из окружения Гитлер запретил, обещав Паулюсу деблокировать его войска. Однако все попытки разорвать кольцо окружения успеха не принесли.

Весь декабрь на огромной территории юга России шли кровопролитные бои. Советские войска отбросили немцев за Дон, далеко на запад.

В конце декабря при обсуждении плана окончательной ликвидации армии Паулюса Сталин сказал:

— Руководство разгромом противника надо поручить одному человеку.

Речь шла о двух кандидатурах: командующем Сталинградским фронтом Еременко и командующем Донским фронтом Рокоссовском.

Для Сталина этот вопрос был решен. Он не забыл самоуверенной болтовни Еременко, стоившей советскому народу катастрофы под Киевом. И пусть не надеется победой под Сталинградом реабилитировать себя.

И еще. У НЕГО было особое отношение к Рокоссовскому, чем-то он напоминал ему Тухачевского. Такой же красивый, тоже из поляков, из дворян, наверное. Правда, его отец до революции работал в Великих Луках паровозным машинистом, но тогда среди паровозных машинистов были и обедневшие дворяне. А вот не чужой, как Тухачевский. Перед войной арестовали, потом выпустили. Как-то ОН спросил его об этом. Рокоссовский подтвердил — да, было. ОН тогда укоризненно заметил:

— Нашли время сидеть.

Рокоссовский улыбнулся — молодец, оценил шутку. В войне проявил себя хорошо, в отличие от Тухачевского не зазнается.

— Еременко очень плохо показал себя в роли командующего Брянским фронтом, — сказал Сталин. — Он нескромен и хвастлив. Надо объединить фронты и командующим назначить Рокоссовского.

10 января Рокоссовский предъявил Паулюсу ультиматум о капитуляции. Паулюс его отклонил. Советские войска пошли в наступление и рассекли Шестую германскую армию пополам. 31 января капитулировала южная группа, 2 февраля — северная.

Сталинградская битва длилась двести дней. За это время немцы потеряли четверть своих вооруженных сил в России. Окончательно потускнел ореол непобедимости, который приобрела Германия в начале второй мировой войны и который начал меркнуть зимой сорок первого года под Москвой.

За победу под Сталинградом товарищу Сталину было присвоено высшее воинское звание: Маршал Советского Союза!

К его имени теперь прибавлялся обязательный эпитет: величайший полководец всех времен и народов.

32

После разгрома противника в районе Волги и Дона советские войска отбросили его далеко на запад, освободили Ростов, Новочеркасск, Курск, Харьков.

Однако командующий Воронежским фронтом Голиков переоценил свои наступательные возможности, не оттянул назад вырвавшиеся вперед части — немцы перешли в контрнаступление, отбили назад Харьков и Белгород.

Сталин вызвал в Москву Жукова, задал несколько формальных вопросов о делах на северо-западе, откуда тот прибыл, и приказал вылететь в район Харькова — исправлять положение.

Сталин понимал, что Жуков воспользуется промахами Голикова, потребует его отстранения, отказать будет невозможно, и потому лучше опередить Жукова и сделать это самому.

— Голикова мы переводим на другую работу. Кем предлагаете его заменить?

— Генералом Ватутиным.

— Подходящая кандидатура, — согласился Сталин, — так и сделаем. Вылетайте.

Ватутин возглавил Воронежский фронт, Голикова назначили заместителем наркома обороны по кадрам. Такое повышение не удивило Жукова — Сталин своих любимцев в обиду не дает. Ну, и черт с ним, с Голиковым. Пусть сидит в Москве, перебирает бумаги.

Положение на фронте стабилизировалось, наступило затишье. Глубоко вклинившись на запад, советские войска образовали в районе Курска огромную дугу. Этот выступ можно было использовать для ударов в тыл немецким группировкам. Но и немецкие армии могли нанести с флангов мощные удары под основание выступа, окружить и ликвидировать сосредоточенные там войска, открыть дорогу для нового наступления на Москву. Всем участникам предстоящего сражения было ясно, что оно будет главным в летней кампании сорок третьего года, а возможно, и решающим для исхода войны. Вопрос только в одном: кто нанесет первый удар?

В Генеральном штабе обдумывали наступление, чего, как всегда, желал Сталин. Однако 8 апреля Жуков направил в Ставку доклад, в котором писал:

«Переход наших войск в наступление в ближайшие дни считаю нецелесообразным, лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем его танки, а затем переходом в общее наступление окончательно добьем его основную группировку».

Рокоссовский и Ватутин поддержали Жукова.

Решали нервы: у кого они не выдержат, кто первым бросится в атаку. Не выдержали нервы у Гитлера. В оперативном приказе номер 6 он объявил:

«Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление «Цитадель» — первое наступление в этом году. Этому наступлению придается решающее значение. Победа под Курском должна явиться факелом для всего мира... Надо сосредоточенным ударом, проведенным решительно и быстро силами одной армии из района Белгорода и другой из района Орла, окружить находящиеся в районе Курска войска противника и уничтожить их».

У Жукова нервы оказались крепче. В Ставке его план приняли. Но в угоду Сталину с оговоркой: оборона Курского выступа не вынужденная, а преднамеренная. Если немцы наступать не будут, то будем наступать мы.

В тот день, когда Сталин подписал план обороны Курской дуги, к нему со срочным докладом приехал Берия. По его встревоженному лицу Сталин понял: Яков!

Не садясь, Берия тихо проговорил:

— Товарищ Сталин, мне выпала тяжелая миссия сообщить вам о смерти Якова.

Сталин кивнул на стул.

— Садись, рассказывай.

Берия сел, раскрыл папку.

— Без бумажки не можешь?

— Тут немецкие и английские фамилии...

— Хорошо, рассказывай. Все рассказывай.

— В конце сорок второго года, — начал докладывать Берия, — Якова перевели в лагерь Заксенхаузен, в тридцати километрах от Берлина, и поместили в барак «А» специального отделения, где содержались родственники руководителей вражеских государств. Барак просторный: большая общая комната, столовая, две уборные и две спальни. Одна спальня для четырех англичан. — Берия посмотрел в папку. — Томас Кушинг...

— Мне их фамилии не нужны, — перебил Сталин.

— В другой спальне — Яков и еще один советский военнопленный, Василий Кокорин. Выдает себя за племянника Молотова.

— Разве у Молотова есть племянник?

— Нет.

— Так, продолжай.

— Яков пребывал в состоянии депрессии. Все эти полтора года его непрерывно допрашивали: при взятии в плен, в гестапо, в тюрьмах и лагерях. Надо сказать, что Яков Джугашвили вел себя мужественно, достойно.

— Если хотел вести себя достойно, не попал бы в плен, — заметил Сталин.

— Я докладываю, как он вел себя в плену.

— Я знаю, что он был в плену. Продолжай.

— Бесконечные допросы измотали его. И еще одно обстоятельство. Во всех предыдущих лагерях у Якова были хорошие отношения с другими военнопленными, а в Заксенхаузене с первого дня между ним и англичанами возникла вражда. Почему? Яков по характеру человек спокойный, и англичане как будто народ выдержанный...

— Каждый англичанин по сути своей колонизатор, — нахмурился Сталин. — Для него всякий восточный человек — азиат.

— Вы правы, товарищ Сталин. Англичане кричали, что Яков и Кокорин нечистоплотны, пачкают уборную и тому подобное... Обвиняли Якова в том, что он вел среди них коммунистическую пропаганду. Ссоры были ежедневно, 14 апреля ссора дошла до драки... Яков выбежал из барака, охранник потребовал, чтобы он вернулся, Яков отказался, и тогда охранник убил его выстрелом в голову. Охранника зовут Конрад Харвик. При этом присутствовал начальник караула Карл Юнглинг. После убийства они бросили тело Якова на проволоку, в которой был пропущен ток, имитируя попытку к бегству, хотя это было просто убийство. Немцы убили Якова.

Сталин молча походил по кабинету, потом, обходя Берию взглядом, сказал:

— Будем считать, что смертью Яков Джугашвили искупил свою вину перед родиной. Можете освободить его жену.

33

Затишье на Курской дуге длилось почти сто дней. Готовились обе стороны, силы были примерно равны (по миллиону солдат и офицеров). Южную сторону Курской дуги защищали войска Воронежского фронта, северную — Центрального фронта (бывшего Донского), командовал им по-прежнему Рокоссовский. Там, в фортификационном отделе штаба инженерных войск Тринадцатой армии, и служила теперь Варя. Звание — инженер-капитан, четыре звездочки на погоне с одним просветом.

Курская область была оккупирована немцами дважды, шли здесь ожесточенные бои. Города разрушены, деревни сожжены, там, где были дома, торчат печные трубы. Штаб инженерных войск расположился в маленькой и потому, возможно, сохранившейся деревеньке. Жили тесно, но Варе как единственной женщине подыскали отдельное жилье — старую осевшую избенку с окнами почти что вровень с землей.

— Другого ничего нет, — оправдывался квартирьер, — хозяин и хозяйка спят на печи, вам отдадут горницу.

Варя вошла, посмотрела. Сказала: «Мне нравится».

Хозяину, Афиногену Герасимовичу, оказалось 56 лет, Варя думала — больше: худое лицо в глубоких морщинах, острый взгляд из-под лохматых бровей, жидкая с проседью бородка, корявые натруженные руки. Ходил в потертом пиджаке и латаных штанах, засунутых в старые подшитые валенки. Жаловался:

— На дворе теплынь, а у меня ноги зябнут.

Курил какую-то дрянь, то ли траву, то ли смешанную с травой махорку. Варя стала брать для него положенные ей в пайке папиросы или табак.

— Вы ведь не курили? — удивился начпрод.

— Теперь закурила.

Афиноген Герасимович радовался табаку, аккуратно, чтобы не просыпать крошки, сворачивал цигарку, качал головой:

— Голодному плохо, а без табачку и вовсе смерть. Затянулся дымком, и жизнь вроде полегче. Русскому человеку без табаку никак невозможно.

— И немцы курят, — замечала Варя.

— Курят, действительно, нажрался, надо и табачком усладиться, папиросы ихние хорошо пахнут. Некоторые немцы, конечно, и от нервов курили, заставляли зверями быть — жги, пали, убивай и молодых, и старых, и детишек, и совсем младенцев. Дом твой горит, хочешь потушить — немец тебя тут же и пристрелит: не смей свое добро спасать! Мы в погребах прятались, а он по погребу шарк автоматом или избу запалит, так в погребе и останешься. А что касаемо пленных наших, и не сосчитать, сколько их перемерли с голоду, да и от эпидемиев разных, больных да раненых перестреляли, здоровых с собой угоняли... Гонят голодных, а если ты ему кусок хлеба сунешь, немец и его, и тебя пристрелит. Разве мы этого от них ожидали?

Покосился на Варю, поправился:

— Враги, конешно, но ведь люди, так мы думали-рассуждали. Разве русский солдат младенца убьет? А немец убивал.

Он задумывался, слюнявил палец, бережно тушил цигарку, клал на тарелку, потом докурит...

— Воевал я в первую мировую, гражданское население не трогали, ни-ни, не дозволялось. И немец не трогал. В восемнадцатом году он на Украине был, вот она, рядом. А сейчас какую моду взял! В Германию молодых угонять на работу. По какому такому праву? Ну, а наши тоже не дураки: глядите, чесотка у меня. Смотрит ихний врач, действительно, сыпь по всему телу — и на руках, и на ногах, на груди, на заднице, извините за выражение. А они чесоточных не берут, боятся. Ну и стали люди специально чесоткой заражаться друг от друга, она быстро переходит, ейный, чесоточный, микроб где хочешь живет, и мыла с самого начала войны нет — грязь. И отощал народ, с печи до лавки дойдешь, дыхание запирает, к слабому любая хворь привязывается... У одного в доме завелась, через месяц вся семья чешется, у нас вся деревня чесалась, кроме меня со старухой, потому что одни живем и рукопожатиев этих не позволяли. И чистоту-опрятность стараемся соблюдать.

В избе действительно было чисто. И приятно пахло. Какой-то травой. Хозяйка ее сушила, раскладывала пучками, запах от нее был мягкий, нежный.

— А она лечится, чесотка? — спрашивала Варя.

— Зачем ее лечить, чтобы в Германию угнали? Мазались чем-то, лишь бы зудело поменьше, зуд при ней до самой невозможности, а как немцев прогнали, сама собой и кончилась, время, значит, прошло. Вот до чего доводили гражданское население. А в ту войну ничего такого не случалось. Добрее был народ — и русские, и немцы. После той войны все и началось. Красные — белых, белые — красных. Если ты, к примеру, буржуйского звания, к стенке тебя, пролетарского — обратно к стенке. Вот и ожесточился народ... Ну-ка, мать, — обращался он к жене, — подкинь-ка шишечек в самовар, Варвара Сергеевна нам чай принесла.

Самовар был большой, медный, с выбитыми на нем круглыми фирменными и наградными знаками.

— Сберегли мы этот самовар при всех властях, видишь, сколько ему орденов и медалей присвоено.

Афиноген Герасимович отпивал чай, крякал, продолжал разговор.

— А как гражданская война кончилась, все вроде бы тихо стало. И дело двинулось. Электричество провели, «лампочка Ильича» называлось, в честь товарища Ленина Владимира Ильича, избу-читальню завели, школу открыли, утром — детишки, вечером — старики, «Ликбез» — ликвидация безграмотности обозначает. Жили ничего, ладно жили... Ну, а потом, в тридцатом году, — он посмотрел на Варю, — все на перекосяк пошло, опять ожесточился народ, виноватых, невиноватых, кто, в общем, под руку попадался,

всех подряд ломали. Теперь вот война. Конечно, как сказано, «победа будет за нами», это, фактически, так, но вот как оправимся после победы, вот этого, фактически, предсказать не могу.

— Думаете, не восстановится хозяйство?

— Почему не восстановится? Избы пожгли, долго ли новые поставить? Только кому жить в тех избах? Народу на войне миллионы выбьет. А кто живой останется, вряд ли в деревню вернется. После той войны солдат домой стремился, потому как землю ему пообещали. А сейчас к чему ему ехать, к чему возвращаться? К трудодням энтим, к палочкам в ведомости, палочками сыт не будешь, к колхозному нашему беспаспортному положению? Никуда не беги, не ходи ни вправо, ни влево. Нет, не вернутся в деревню. На заводе машина сломалась, другую поставят, а в деревне мужика кем заменишь? Никем. Так что, фактически, не скоро поднимется село. А без села — это уже не Россия. Да и, думается, нет такого государства-державы, чтобы без сельского хозяйства обходилось. Так что теперича не поймешь, какие будут концы-выходы, никому про это неведомо. Вот так вот, Варвара Сергеевна.

Непонятно было, как и чем они жили. Сажали картошку, капусту, без них не обойтись. «Сыт не будешь и с голоду не помрешь», — усмехалась Евдокия Карповна и вскидывала на мужа выцветшие глаза. Нищета их была привычная, давняя, так испокон веку жил русский мужик. И покорность судьбе тоже была вековая. Стреляют поблизости, Афиноген Герасимович даже головы не поворачивал, на то и война, чтоб стреляли. Самолеты сразу определял — чьи они, спокойно говорил «наш» или «Гитлер летит», а будут ли деревню бомбить, не думал, уж как получится.

Варя часто выезжала в дивизии. Рубеж Тринадцатой армии считался самым уязвимым участком фронта. В первом эшелоне его занимали четыре дивизии, передний край прикрыт минным полем. Как и под Москвой, день и ночь здесь десятки тысяч людей рыли траншеи, хода сообщений, противотанковые рвы, землянки и убежища. «Земля — броня пехотинцев», — говаривал Варин начальник полковник Колесников. Оборудовали огневые позиции для противотанковых ружей, ручных и станковых пулеметов, приспособили для обороны берега рек, откосы оврагов, отремонтировали мосты и дороги.

Лето было дождливое, душное, а в солнечные дни — жаркое. Солдаты на переднем крае работали в сапогах, но обнаженные до пояса; деревенские бабы и девки — в белых платочках, кофточках, длинных юбках, босиком, ноги желто-коричневые от налипшей глины. Поглядывали на небо — не летит ли немец...

Уезжая, Варя брала сухой паек, оставляла его хозяевам: в дивизии накормят. Афиноген Герасимович, разглядывая банку с тушенкой, говорил:

— Консерва, красиво делают американцы. У немцев тоже консерва была, много тут банок пораскидано, не такие приглядные, как эти, а на вкус не знаю, нас не угощали. Только от себя отрываете, Варвара Сергеевна, не годится это, мы просуществуем, а вы молодая, вам есть надо.

Варя возвращалась, паек лежал нетронутым. Садилась с ними за стол, заставляла открывать консервы, разделывать селедку, тогда они ели, похваливали.

— Заботишься ты о нас, Варвара Сергеевна, доброй души человек, — говорил Афиноген Герасимович.

Евдокия Карповна банки потом отмывала, ставила на печку: «В них, как в зеркало, глядеться можно, золотенькие...» Смотрела ласково на Варю.

— И ты у нас золотая, ладная да пригожая, муж-то у тебя тоже военный?

— Военный.

— А детишек нет, заведете, Бог даст. В прошлую войну женщины только сестрами милосердными были, а чтобы в офицерах, вот как ты, в форме, с револьвером, этого нет, не бывало. Мужчин, что ли, сейчас не хватает?

— Так уж повелось с гражданской войны, — объяснил Афиноген Герасимович, — тогда тоже женщины в командирах ходили. Помнишь, у нас тут комиссарша была, в кожанке, с револьвером на ремне, евреечка вроде или армяночка, а боевая, справедливая, всякие безобразия пресекала, не позволяла.

— Ты себя береги, — наставляла Варю Евдокия Карповна, — не лезь, куда не надо, попусту.

— Не полезу, — смеялась Варя.

Как-то утром, уходя в штаб, она оглянулась. На пороге стояла Евдокия Карповна, крестила ее вслед. Так и застыла с поднятой рукой, смутилась, не ожидала, что Варя обернется.

34

Ездила Варя и в поселок Свобода, в штаб Центрального фронта, к Телянеру. Был он уже подполковником, форма сидела на нем все так же неуклюже, раньше, в управлении, между новоиспеченными военнослужащими это было незаметно, а среди щеголеватых штабных офицеров бросалось в глаза: грубые кирзовые сапоги, не сумел достать себе хромовые, китель не по фигуре. Но и здесь Телянер играл большую роль: организовал производство железобетонных деталей для оборонительных сооружений, детали доставлялись на позиции, оставалось их только собрать.

Варя контролировала подвоз деталей в Тринадцатую армию, следила за монтажом. Редкий день обходился без сюрпризов: задерживалась доставка, детали прибывали не комплектно — одна есть, другой нет. Варя звонила во все концы, и прежде всего Телянеру, он помогал выходить из положения.

Рубеж Тринадцатой армии составлял 32 километра, по 8 километров на каждую из четырех дивизий. Во второй полосе еще две дивизии, одной из них командовал Максим. Штаб его располагался в лесочке, возле деревни. Выезжая на передовую, Варя у него останавливалась, отсюда до любой дивизии рукой подать, в машине

ей Максим не отказывал, в конце дня Варя звонила ему, и он присылал за ней свой «виллис». Варин начальник, полковник Колесников, шутливо спрашивал: «У кого служите, у меня или у генерала Костина?»

Он знал, что Варя свояченица Костина, все это знали. И все же Максим, чтобы не было разговоров, не оставлял Варю на ночь в своем блиндаже, ей находили для ночлега свободную землянку, конечно, маленькую, тесную, ходить по ней можно было, только опустив голову, но для ночевки годилось.

Максим весь день был в полках, готовил войска к предстоящим боям, возвращался вечером в дивизию, собирал штабистов, давал задания, выслушивал доклады. Варя бывала на этих совещаниях, Максим говорил всегда по делу, просто, доверительно, не повышая голоса, это подкупало людей.

После совещания все расходились. Оставались начальник штаба, замполит, заместитель по тылу, Варя, иногда еще какой-нибудь представитель, приехавший из армии или фронта, — с начальством Максим тоже умел ладить.

Ужинали. Блиндаж у Максима большой, сухой, удобный. Рядом равномерно и уютно тарахтит движок, его выключат, как только Максим ляжет спать. За ужином опять говорили о делах, Варя старалась не задерживаться, прощалась, уходила в свою землянку и рано утром уезжала на рубеж или возвращалась в штаб армии.

Иногда удавалось им с Максимом поговорить наедине. Добродушно, но твердо и ясно Максим дал ей понять, что разговоры на политические темы здесь неуместны, и Варя их не затевала. Вспоминали Москву, Арбат, дом, Максим рассказывал, о чем пишет Нина, хвалил Ваню: умный мальчик. Как-то, хитровато поглядев на нее, сказал:

— Я тут недавно одного человека видел. Никогда не угадаешь кого.

— Кого же?

— Сашу Панкратова.

— Сашу? — Она перевела дыхание. — Где ты его видел?

— Был у меня. На этой скамейке сидел, на которой ты сидишь.

Варя выжидательно смотрела на него.

— На этой скамейке сидел, — повторил Максим и улыбнулся, — большим начальником стал, рукой не достанешь: в штабе фронта!

— Мне Софья Александровна говорила, его мобилизовали шофером.

— Правильно. Был шофер, отличился в боях под Москвой, ему и присвоили офицерское звание, л и ч н о маршал Жуков присвоил, чувствуешь?

Он по-прежнему гордился Сашей и не скрывал этого.

— Гвардии инженер-майор, служит в автоуправлении нашего фронта. Как я понимаю, где трудно, туда его. Саша — сильный работник, опытный, умеет доводить дело до конца.

— Ты ему сказал, что я здесь?
— Конечно. Всех друзей-знакомых перебрали.

О том, что Варя в той же армии, в штабе инженерных войск, Макс сказал Саше при первом же свидании. Сидел напротив, качал головой: «Вот так встреча! Десять лет не виделись, а!» Был растроган, старая дружба не ржавеет, даже рассказать хотел, как Варя привезла им на Дальний Восток мальчишку, думали, будем воспитывать вашего с ней, Сашка, сына. Но вовремя вспомнил Нинины слова: «Мне кажется, по-настоящему Варя любила только Сашу». Решил — лучше не влезать в такие тонкие материи. Ну, а то, что Варя замужем, упомянул, в гостях у них были перед войной на улице Горького, квартира — шик-блеск, муж — знаменитый архитектор, ныне генерал-майор, живут хорошо. Саша все это воспринял спокойно, ни о чем не переспрашивал, не уточнял, и Макс утвердился в мысли, что Варина влюбленность — дело далекого прошлого, детство все это. Потому так спокойно и буднично рассказал Варе о встрече с Сашей, только лукаво подмигнул, мол, девчонкой влюблена была в Сашку, так ведь?

Но Варину реакцию уловил. «Ты ему сказал, что я здесь?» — вопрос не случайный. Видимо, женщины чувствительны к своим воспоминаниям. Ладно, взрослые люди, разберутся...

Итак, Саша здесь. И знает, где она. Разъезжает по фронту, бывает в их армии, может к ней заехать. Просто повидаться. Ведь так много их связывает. Какое имеет значение, что она замужем, разве нельзя быть друзьями? Она ни на что не претендует, со всем примирилась, только бы увидеть его живым. На фронте каждый стремится повидать земляка, даже незнакомого, москвичи тянутся к москвичам, ленинградцы к ленинградцам, что-то их связывает, возможно, тоска по родным местам. Скажи саперу-вологодцу, что в соседней роте есть тоже вологодский, сразу побежит к нему. А тут они с Сашей... Сегодня живы, завтра их нет, такая страшная война, как же не встретиться, если есть возможность, может быть последняя. Просто сказал бы: «Здравствуй, Варя, узнал, что ты здесь, и заехал». И она ответит ему: «Как хорошо, как прекрасно ты сделал, мне Макс говорил о тебе, я ждала твоего приезда». Посидят, поговорят, он снова уедет, может быть, надолго, может быть, вообще никогда не увидятся — война, и все равно от этого свидания будет облегчение, просветление, так много тяжелого снимется с души.

Но Саша не приезжал. И Варя решила поехать к нему сама. А что такого? Была в штабе фронта и зашла. «Здравствуй, Саша...»

Однако к началу июня основные строительные работы на рубежах закончили, всю документацию оформили и повода ехать в штаб фронта не было. И все же Варя позвонила Телянеру: пусть ее вызовет под каким-нибудь предлогом. Телянера на месте не оказа-

лось, к телефону подошел полковник Свинкин, сказал, что Телянер будет дня через три, спросил, не может ли он чем помочь.

— Нет, спасибо, ничего особенного, — ответила Варя, — я хотела кое-что уточнить с Давидом Абрамовичем. Ладно, позвоню через три дня.

Ни позвонить, ни выехать к Телянеру, а значит, и к Саше, Варе не удалось.

Июнь на фронте был напряженный. Шли сильные воздушные бои, Ставка предупредила о возможности германского наступления 2 июля, войска были приведены в полную боевую готовность, работникам штаба инженерных войск было предписано оставаться на своих местах.

2 июля наступление немцев не состоялось. Все вроде бы подуспокоилось, но выехать к Телянеру Варя не могла уже по другой причине.

15-я дивизия, занимавшая левый фланг Тринадцатой армии, передала отрезок своего участка 132-й дивизии, а та предъявила претензии: некоторые сооружения получены ею в неудовлетворительном состоянии. Такие недоразумения считались на фронте заурядным явлением и разрешались на месте. Однако 132-я дивизия входила в состав другой армии — Семидесятой и располагалась на стыке между армиями — самом уязвимом для обороны месте. Конфликт приобрел межармейский характер.

Вопрос этот возник не сейчас, но пока шли споры и переговоры между дивизиями, потом между армиями, прошел месяц и из штаба фронта пришло распоряжение: «Выяснить, устранить, доложить. Срок исполнения — 5 дней».

Варю вызвал ее начальник полковник Колесников: за работами на рубеже 15-й дивизии наблюдала Варя, у нее хранилась вся документация. Шутник и весельчак Колесников на этот раз не шутил и не веселился. Протянул Варе распоряжение штаба фронта.

— Читайте.

Варя прочитала, пожала плечами:

— У нашей дивизии претензий не было, а у соседей вдруг возникли.

— Коллега Витвинин удружил. Сейчас буду с ним говорить.

Полковник Витвинин был начальником инженерных войск Семидесятой армии.

Раздался телефонный звонок. Колесников взял трубку. На проводе — полковник Витвинин. Разговаривали они, не называя ни номеров дивизий, ни номеров армий, ни места расположения рубежа, но Варя все понимала.

— Наш представитель завтра выезжает, высылайте своего, — заключил Колесников и положил трубку. — Оправдывается, говорит, помимо него пожаловались, знаем мы эти штучки... Так вот, Варвара Сергеевна... Сегодня обе наши машины в разгоне, берите все документы и выезжайте завтра утром в штаб 15-й дивизии, а оттуда отправляйтесь на место вместе с дивизионным

инженером, я его предупрежу. Если есть какие-то недоделки, их надо устранить, такое распоряжение я отдал и дивизионному инженеру.

— Наших недоделок там нет, — возразила Варя.

— Возможно, возможно... Но конфликт надо ликвидировать, вы должны привезти акт за подписью их представителей. Кто доделает: мы, они, совместно — не торгуйтесь, главное, не возвращайтесь без акта. Машину даю вам только до штаба 15-й дивизии, там отпустите ее, дальше поедете на их машине, а когда вернетесь в штаб, позвоните, я за вами машину пришлю. Если найдете попутную, еще лучше.

Рано утром 3 июля Варя выехала в дивизию. Привычная дорога, военные грузовики, штабные легковушки, контрольно-пропускные пункты, наши самолеты в воздухе, немецких почему-то не видно. Опасаясь, что Колесников не пришлет за ней машину на обратный путь, Варя по дороге заехала к Максиму, предупредить, что, возможно, понадобится его помощь.

Максим стоял возле своего блиндажа, рядом его «виллис», уезжает.

Узнав, куда направляется Варя, недовольно проговорил:

— Кроме тебя некого было послать? Мужчин нет среди ваших инженеров?

— Мой участок.

— Не имеет значения. Положение тревожное. Ждали наступления вчера, не было, но может быть в любой момент.

— О чем говорить, Максим, я уже здесь. Только боюсь, начальство не пришлет за мной машину. В случае чего пришлешь за мной, а уж от тебя я доберусь.

— «В случае чего», — проворчал Максим, — пришлю, конечно.

— Скажу: звонит Иванова, ты поймешь, что я в штабе 15-й дивизии, у дивизионного инженера. Ладно?

— Ладно, — сказал Максим, — если меня не будет, позвони начальнику штаба или Велижанову — нашему дивизионному инженеру, я их предупрежу. Сколько ты там пробудешь?

— Не знаю. Если придется что-то доделывать, то дня три— четыре.

— На ночь в полку не оставайся, возвращайся в штаб дивизии.

— Я буду на территории не нашей, а Сто тридцать второй дивизии.

35

Как только Саша услышал, что Варя служит в Тринадцатой армии, он тут же к ней поехал. Он не задумывался над тем, что ей скажет. «Узнал, что ты здесь, и приехал тебя повидать». Все, что было между ними, вернее, то, что могло быть, но не состоялось, все это прошло. Письма, ожидание встречи, ревность, обиды — все исчезло, растворилось во времени, осталось только молодое, свет-

лое, что было десять лет назад, когда он сидел в их комнате и она, школьница, показывала ему, как пишет на коленках шпаргалки. И ее юная категоричность: «Я бы их всех самих исключила, сволочи, только и смотрят, кого бы угробить». И как в ответ на упреки сестры напевала: «Цветок душистых прерий, твой смех нежней свирели». Показывала характер, малявка.

Возможно, скажет только: «За тот телефонный разговор из Калинина — прости, паршиво жизнь складывалась». Однако вряд ли придется оправдываться, и для нее т о время ушло. Но будет, наверное, приятно встретить человека из юности, из прошлого, которое из нынешнего кровавого настоящего видится прекрасным и радостным, несмотря ни на что. «Где бы ни скитался я цветущею весной, шептал мне голос твой, что ты была со мной». Под это танцевали они в «Арбатском подвальчике». И она приглашала его пойти с ней на каток. Не вышло пойти на каток, ничего не сбылось из того, о чем тогда думалось.

Вари на месте не оказалось, в штабе сказали — уехала в войска. А потом недели две у Саши не было ни повода ехать в 13-ю, ни времени. За короткий срок фронту подали около ста тысяч вагонов и платформ с артиллерией, танками, боеприпасами, горючим, продовольствием, обмундированием. Для работников автомобильной службы это означало десятки тысяч ежедневных рейсов под бомбежкой, по разбитым дорогам, в объезд разрушенных мостов, на большие расстояния: глубина фронтовых тылов достигала 350 — 400 километров. Не хватало запасных частей, резины, бензина, и все равно: «Давай, давай!» Никаких объяснений никто слышать не хотел.

Как и другие инженеры управления, Саша принимал новый автотранспорт, формировал батальоны и роты, походные ремонтные базы, выезжал на железную дорогу, скопление машин привлекало вражескую авиацию, каждый шофер поэтому пытался протолкнуться вперед, приходилось наводить порядок. Саша это умел, научился — два года на фронте, подчинялись.

Так и мотался он на своем трофейном «оппеле» — подобрал под Сталинградом, отремонтировал, сохранил всеми правдами и неправдами — то полагалась ему машина по должности, то нет. И шофера Николая Халшина тоже держал при себе — единственный, кто остался у него от автороты после боев и переформирований. Овсянников умер в Пронске, не удалось спасти, Саша очень горевал, такой славный был парень, только начинал жить. Под Юхновом погибли Чураков и Руслан Стрельцов. А Николай уцелел, он у него и шофер, и ординарец, и порученец, верный человек, надежный.

При аттестации пришлось Саше заполнить анкету — никуда не денешься. И в анкете указать судимость, тоже никуда не денешься, но не трогали, не привязывались. Не он один был с судимостью, «органы» вели себя осторожно — люди кругом вооруженные. А может быть, действительно имя Жукова — лично произвел Сашу из рядовых в офицеры.

Попасть в 13-ю армию Саша сумел только в начале июля. Прибывали новые американские машины: «студебеккеры», «шевроле», «доджи», на них пересаживали лучших водителей. В армии всегда не хватало шоферов, и поступило разрешение взять их из штрафных батальонов. Тяжелая процедура, но шоферы нужны, и хоть несколько человек спасешь от смерти.

С двумя лейтенантами Саша выехал в штрафной батальон в расположение 13-й армии. Выстроили первую роту. Саша скомандовал: «Водители автомашин — шаг вперед!» Вся рота сделала шаг вперед и замерла. Саша вглядывался в лица этих обреченных людей, с мольбой и надеждой смотревших на него: попасть на машину — единственная возможность сохранить жизнь. Ни в чем не виноваты, расплачиваются за ошибки и неудачи командования. В «разведке боем» их пускают вперед по открытой местности, противник ведет по ним огонь, всех уничтожает, но наши засекают и подавляют его огневые точки и тогда уже идут в настоящую атаку. Такова безжалостная практика этой войны.

Ни у кого из штрафников не было водительских прав — «потерял», «отобрали при аресте», «работал в колхозе трактористом, приходилось ездить на грузовой». Подогнали две полуторки. Штрафник садился за руль, рядом лейтенант, проверял, как тот водит машину. Из всего батальона отобрали семнадцать человек, хоть с места стронулись, проехали круг.

Часам к трем работу закончили, было это четвертого июля. Саша передал отобранных шоферов представителю автобата и поехал в штаб инженерных войск 13-й армии. Опять капитан Иванова в войсках, где именно, не уточнили: офицер незнакомый, явился по личному делу, зачем ему знать.

— Не везет мне, — улыбнулся Саша, — мы в Москве соседями были. Надеялся, смягчатся штабные. «Войска» — означают дивизии, в армии их шесть, назовут номер, быстрее найдет Варю. Нет, не смягчились. Саша поехал в ближайшую, которой командовал Максим. Возможно, Варя у него, а если нет, прикажет своему инженеру ее разыскать, их встреча отложится еще на несколько часов, неважно, главное — повидать ее!

Дневная жара спала. Вечер был неожиданно тихий, ни самолетов, ни стрельбы, будто и нет войны. Солнце садилось, длинные тени легли на дорогу. Справа лес, слева холмистая равнина, за ней на горизонте небольшие рощицы.

На контрольно-пропускном пункте девушка-регулировщица махнула желтым флажком, остановила машину, потребовала документы.

— Без них нельзя? — шутливо спросил Саша.

— Нельзя, порядочек нужен.

Славная девчушка — в пилотке, гимнастерке, синей юбочке, ладных сапожках.

Поехали дальше. По-прежнему виднелись холмы в долине и рощица. До нее тянется зигзагами по полю громадный противотан-

ковый ров. Вспыхнули в небе осветительные ракеты: две зеленые, оранжевая, белая, снова две зеленые — немецкие ракеты, передовая близко.

Адъютант не пустил Сашу к Максиму.

— У генерала совещание, придется вам подождать.

Часто звонил телефон, адъютант что-то записывал, иногда соединял с Максимом. Из соседнего помещения доносился монотонный голос радиста: «Я Сокол, я Сокол, как слышно? Прием...»

Наконец дверь открылась, от Максима вышли три полковника: начальник штаба, заместитель по тылу, третий, по-видимому, замполит. По их озабоченным лицам Саша понял: что-то случилось.

Появился Максим, сухо кивнул Саше:

— Заходи, майор!

На столе лежала карта. Максим сел, пригласил сесть и Сашу.

— То, что я тебе скажу, не для разглашения. В полосе Пятнадцатой дивизии разведчики под командованием лейтенанта Милешкина захватили в плен немецкого сапера по фамилии Фермелло, немцы разминировали минные поля. Сапер этот показал, что наступление начнется пятого июля в три часа утра, следовательно, сегодня ночью. Я думаю, это серьезно. Так что закругляй здесь свои дела и возвращайся к себе в штаб.

— У меня тут только одно дело: я должен повидать Варю. Мне сказали, что она в дивизии, я подумал, может быть, в твоей?

Максим помедлил с ответом.

— Варя была здесь вчера и уехала в Пятнадцатую дивизию, ту самую, где захвачен немецкий сапер, там какой-то конфликт с соседями. Обещала позвонить, не позвонила, сейчас такое положение, что на связь могут и не пустить, поважнее есть разговоры. Я велел нашему инженеру по своей линии узнать, где Варя. Он доложил: «Убыла в расположение Сто тридцать второй дивизии». А она, как ты знаешь, не наша, она в Семидесятой армии, — он кивнул на телефон. — Час назад я разговаривал с командиром Пятнадцатой дивизии, полковником Джанджгавой и спросил о Варе. Момент, сам понимаешь, не слишком удобный для таких вопросов. Но я спросил. Он ответил то же самое: с дивизионным инженером убыла в соседнюю дивизию.

— Ты не покажешь мне, где она может находиться?

Максим показал на карте.

— Видишь, Красная Заря — Красный Уголок? Тут стык наших армий, тут инженеры и разбираются, здесь, я думаю, немцы и нанесут удар. Видимо, будут двигаться в направлении Ольховатки. Ты что, собираешься туда?

— Конечно. При этих обстоятельствах обязательно.

Максим нахмурился:

— Надо знать, куда ехать. Фронт-то он большой, где будешь ее искать? А если немцы начнут наступление, вовсе потеряешься. На-

до выяснить, где она. Иди к нашему инженеру, он тебе поможет, у него хоть какая-то связь есть.

— Можно мне у вас отметить командировку? — спросил Саша.

— Адъютант все сделает.

Дивизионный инженер Велижанов, высокий красивый майор лет тридцати, встретил Сашу приветливо, в голубых глазах читались дружелюбие и готовность помочь, но, к сожалению, ничего нового сказать не мог, повторил то, что Саша уже знал от Максима.

— Может быть, она вернулась в свой штаб. Позвоним.

Поднял трубку, назвал номер.

— Подождем, сейчас соединят.

Он, улыбаясь, посматривал на Сашу. И Саша не мог решить для себя: этот человек дружелюбен и приветлив по характеру или потому, что Саша явился от командира дивизии. Знает, конечно, что Варя его родственница, и кто Варин муж, тоже знает: имя в инженерных войсках известное. А спросить, какое к ним имеет отношение майор Панкратов, стесняется — есть приказ генерала, надо его выполнять, а не задавать вопросы. И еще Саша удивился тому, какой у Велижанова блиндаж: тесно, сыро, пахнет землей. Обычно инженеры сооружают для себя хорошие блиндажи.

Этими пустячными мыслями Саша подавлял волнение, Варя на передовой. Как она выберется, если немцы начнут наступление? Никому не будет до нее дела. Надо пробиться к Варе во что бы то ни стало.

— Алло, алло... Ага... Вас понял, ясно, спасибо.

Велижанов положил трубку, вздохнул:

— Варвара Сергеевна из командировки еще не вернулась. Я думаю, надо подождать, утром все прояснится.

Саша положил перед ним свою карту.

— Покажите, пожалуйста, дорогу к Красной Заре и Красному Уголку.

— По-разному можно добраться.

Велижанов карандашом нанес несколько маршрутов, обозначил населенные пункты, положил карандаш, серьезно посмотрел на Сашу.

— Я должен вас предупредить, майор, в Красной Заре и в Красном Уголке вы не найдете Варвару Сергеевну. Войска заняли боевые позиции, всех, не имеющих отношения к бою, удалили, куда удалили Варвару Сергеевну, мы не знаем. Искать ее сейчас по фронту равнозначно поискам иголки в стоге сена. И ночью вы никуда не доберетесь, заплутаетесь в дорогах, зажжете фары, немец вас обстреляет, да и никто вас в боевые порядки не пропустит. Надо подождать до утра, выяснится обстановка и будет хотя бы видна дорога.

Саша вышел от Велижанова. Спрятанный в небольшом лесочке штаб затих. Тепло, небо усеяно звездами. Если немцы начнут наступление, то ночь для них подходящая.

— Куда едем? — задал обычный вопрос Николай.

— Вот что, Николай, мне надо в Пятнадцатую дивизию. На переднем крае неспокойно. Поскольку это личное дело, то рисковать тобой не имею права, поеду один.

Николай склонился к сложенным на руле рукам, повернулся к Саше:

— Об этом и разговору быть не может. Куда вы, туда и я.

— Ну, смотри, я тебя предупредил. Теперь вздремнем.

Николай лег на переднем сиденье, Саша — на заднем. Ослабил пояс на две дырки, сдвинул пистолет на живот, повернулся на бок и заснул.

В три часа ночи их разбудил грохот артиллерийских орудий. Пальба была такая, что они с Николаем не слышали друг друга.

Войска Центрального фронта произвели мощную артиллерийскую контрподготовку, задержав наступление немцев на два с половиной часа.

36

Немцы начали наступление в 5 часов 30 минут утра. Мощные танки «тигр», низкие, лобастые, с хищно вытянутыми длинноствольными орудиями, поддерживаемые артиллерией и авиацией, шли, образуя клинья, в которых двигались средние танки и бронетранспортеры, иногда останавливались, пехота спешивалась и бросалась в атаку. Немецкие бомбардировщики налетали группами по 50—100 самолетов. Включив сирены, «юнкерсы» пикировали на позиции 13-й и 70-й армий. Взрывы, рев моторов, свист осколков, разрывы снарядов, мин, бомб заглушали все, люди разговаривали знаками, столбы дыма и огня застилали небо.

В три часа утра, когда началась артиллерийская контрподготовка, майор Велижанов, подбегая с другими офицерами к блиндажу Максима, бросил Саше:

— Сейчас выясним обстановку.

Ждать пришлось долго. Николай дремал, положив руки на руль. Саша ходил взад-вперед, иногда присаживался на сиденье, не закрывая дверцу. Шум битвы был отчетливо слышен, зарево пожарищ закрывало горизонт.

В семь часов из блиндажа вышел Максим, тут же к нему из лесочка подкатил «виллис», Максим уехал. Разъехались почти все офицеры. Появился Велижанов, позвал к себе Сашу, разложил перед ним карту.

— Вот какие дела, майор. На участке нашей армии противник ворвался в расположение Пятнадцатой дивизии, движется в направлении Ольховатки, штаб Пятнадцатой дивизии передислоцирован. На участке Семидесятой армии противник наступает на Красную Зарю — Красный Уголок, штаб Сто тридцать второй дивизии тоже передислоцирован. Где Варвара Сергеевна, не знаем. Если против-

ник дорвется до второй полосы, то наша дивизия сегодня же вступит в бой. Он выразительно посмотрел на Сашу. — Генерал уже выехал на командный пункт.

— Что вы мне посоветуете?

— Если вы сейчас выедете на поиски, то ее не найдете, а связи лишитесь, никто вас ни к телефону, ни к рации не подпустит. Советую вам никуда пока не двигаться, все же отсюда положение виднее и есть кое-какая связь. Увидим, в какую сторону будет меняться обстановка.

Вошел солдат-вестовой.

— Товарищ майор, начальник штаба срочно требует.

— Может быть, что-нибудь узнаю, — сказал Велижанов.

Саша ходил взад-вперед возле машины. Теряет время, теряет часы, но, двигаясь вслепую в суматохе военных действий, не зная, где Варя, он потеряет времени еще больше. Надо ждать, может быть, Велижанов сообщит ему хоть что-нибудь, появится хоть какая-то зацепка. И он нетерпеливо поглядывал на блиндаж начальника штаба, ожидая, когда появится Велижанов.

Захотелось пить, Саша попросил у Николая воды. Николай был запаслив, возил с собой две канистры — с бензином и с водой: «Вдруг радиатор потечет, хоть до места доберемся...» Налил Саше полную кружку.

Велижанов наконец вышел, спустился с Сашей в землянку, опять разложил карту.

Противник продолжает двигаться в направлении Ольховатки. Пятнадцатая дивизия отступила на вторую полосу, Сто тридцать вторая дивизия отходит на рубеж Дегтярный — Рудово. — Он показал на карте. — Инженера Пятнадцатой дивизии Кочина пока нет, но его ждут. Это обнадеживает, возможно, и Варвара Сергеевна с ним.

Названные Велижановым деревни Саша отметил на своей карте, нанес и все сельские полевые и лесные дороги, карта у Велижанова большая.

— Все же собираетесь ехать? — спросил Велижанов.

— Да.

— Передвижение по фронту во время боя...

— Да. — Саша протянул ему руку. — Спасибо за помощь.

— Желаю удачи, и вот что еще, — он показал на карте, — видите этот лесок? Если штаб Пятнадцатой дивизии передислоцирован, то сюда, здесь его запасной командный пункт. И если майор Кочин вернулся, то в этот лесок. Конечно, это условно, и все же какой-то для вас ориентир. Увидите Варвару Сергеевну, передавайте привет, — Велижанов поднял на Сашу свои большие голубые глаза. — Простите, майор, за нескромный вопрос: она ваша родственница?

— Сестра, — ответил Саша.

На полную мощность грохотала артиллерия — и немецкая, и советская, вели огонь «тигры», «юнкерсы» сбрасывали бомбы уже на вторую полосу обороны, вступили в бой советские истребители и

танки. Сашу останавливали у шлагбаумов, проверяли документы, спрашивали, куда едет, подолгу задерживали. Саша предъявлял командировочное предписание с отметкой, что он был в дивизии Максима, называл номера автобатальонов, куда едет, их расположение знал хорошо.

В конце концов Саша добрался до указанного Велижановым леска. Блиндажи и землянки, неразгруженные штабные машины, связисты тянут связь, по лесу снуют солдаты, суета только что прибывшего штаба, который неизвестно, надолго ли здесь устраивается, может быть, уже сегодня придется отходить дальше, даже никто у Саши документов не потребовал. Он спросил майора Кочина, ему показали — тот сидел возле блиндажа, тучный майор средних лет, одна рука на перевязи, другой водил по карте, что-то объяснял рядом стоявшему лейтенанту, как и у майора, у того на погонах скрещенные топорики — инженеры. Саша подошел, представился, спросил, не он ли майор Кочин.

— Да. Кочин.

Он помаргивал веками с волосяными шариками на корнях обожженных ресниц, и брови были сожжены, при малейшем движении Кочин морщился, видно, болели и рука, и лицо.

— Меня к вам послал майор Велижанов, — сказал Саша, — я ищу инженера-капитана Иванову Варвару Сергеевну.

— Варвара Сергеевна ранена, — сказал Кочин, — осколочное ранение в правую часть грудной клетки, по-видимому, задето легкое, потеряла много крови. Я сумел доставить ее в Рудово, в батальонный медпункт, фельдшер считает ее положение тяжелым, однако пообещал, что сегодня ее эвакуируют в полковой медпункт. Может быть, удастся спасти.

Саша стоял не двигаясь. Опоздал он к Варе!

— Надо бы немедленно везти в госпиталь, но на чем? — продолжал Кочин. — Я от Рудова сюда шел пешком.

Он поморгал веками без ресниц, на это тяжело было смотреть.

— Заупрямилась Варвара Сергеевна, законфликтовала с начальством, отказалась ехать в дивизию, заночевала в полку, а ночью все и началось, миной накрыло, хорошо хоть медсестра рядом оказалась, перевязала кое-как.

Саша вынул из планшета карту, проверил у Кочина маршрут на Рудово. Место открытое, но попадаются рощицы, перелески.

В деревню Рудово Саша добрался к вечеру. На одной ее окраине шел бой, горели избы, ухали, разрываясь, снаряды, с пронзительным воем падали бомбы, лопались мины, на другом конце деревни, куда подъехал Саша, два санитара на большом ватном одеяле подносили раненых, другие ковыляли, опираясь на винтовки, пожилой фельдшер и медсестра их наскоро перевязывали, усаживали или укладывали на подводу.

Николай поставил машину под деревом. Саша подошел к фельдшеру, спросил, была ли здесь инженер-капитан Иванова.

— Фамилии не записываем, некогда, — ответил фельдшер, продолжая перевязывать раненого, — а женщина-офицер тут од-

на. — Он кивнул на крайнюю избу. — Вон там лежит, перевязка сделана.

Саша вошел в избу. Варя лежала на полу, на соломе, гимнастерка разорвана, плечо и грудь забинтованы, глаза закрыты. Саша опустился на колени, взял ее руку в свои, рука была холодная... Он вглядывался в ее лицо и сквозь искаженные болью черты, сквозь мертвенную бледность, сквозь прошедшие десять лет видел прежнюю Варю — девочку с пухлыми губами, сдувающую челку со лба... Он стоял на коленях, держал ее руку в своей, смотрел ей в лицо, отчаиваясь от того, что не мог понять, дышит она или не дышит, моля судьбу, чтобы Варя открыла глаза.

И Варя открыла глаза, взгляд был тусклый, смотрела на Сашу, губы ее дрогнули в слабой улыбке:

— Ты пришел, Саша...

И снова закрыла глаза.

37

Бой приближался. Снаряды и мины рвались посередине улицы. Фельдшер кончил перевязки, торопливо усаживал раненых на последнюю телегу, тем, кто мог передвигаться, велел идти, держась за грядку телеги, крикнул возчику: «Двигай!» Складывая в сумку бинты, вату, йод, сказал Саше:

— Я сообщил в полк: есть тяжелораненая, женщина, капитан, присылайте машину, везти ее надо прямо в медсанбат, а то и в госпиталь, она погрузки-перегрузки не выдержит, привезли сюда обескровленную. Не прислали машину. — Он набил свою сумку, с трудом закрыл ее. — Что теперь делать? Может, довезете до медсанбата или до госпиталя?

— Где медсанбат, где госпиталь?

— Кто его знает, где теперь? Отходим, значит, и они отходят. Найдете. В Гремячьем, в Фатеже... Спросите по дороге. В машине уложите ее на спину, под голову что-нибудь, езжайте аккуратно, выбирайте дорогу.

Фельдшер вскинул сумку на плечо и, одной рукой придерживая ее, а другой планшет, побежал вслед за телегой.

На одеяле Саша и Николай донесли Варю до машины, опустили на заднее сиденье, подложили под голову скатанную шинель. Сидя на полу, Саша поддерживал ее ноги. Варя по-прежнему не размыкала глаз, иногда казалось, что у нее вздрагивают веки, по лицу пробегает судорога, но так могло казаться потому, что они ее поднимали, опускали, укладывали, и тогда она будто постанывала, но за грохотом артиллерии, разрывом бомб нельзя было понять, так ли это.

Поехали на Гремячье, если медсанбат оттуда ушел, поедут в Фатеж. На карте километрах в шести от Рудово обозначен лес — хоть какое-то прикрытие, можно будет остановиться, снять спинку переднего сиденья, переложить Варю поудобнее. Фугасные снаряды

вздымали черные столбы пыли, над самой землей с треском и пламенем взрывались осколочные снаряды, дорога была разворочена и разбита. Саша поддерживал Варю, чтобы смягчить удары о выбоины и колдобины, ему казалось, что он держит уже мертвое тело, он вглядывался в ее лицо, прислушивался к ее дыханию. Она была еще жива, но Саша знал, что она умрет.

Вдоль леса дорога была не так разбита, но за их спиной шум боя не утихал, взрывы, выстрелы, пулеметные очереди, рев пикирующих самолетов сливались в один сплошной гул.

— Проедем километров пять, тогда остановимся...

Саша не успел договорить... Совсем рядом раздались хлопок и резкий пронзительный свист, так рвется шрапнель, потом звон разбитого стекла, машина дернулась и остановилась... Николай вышел, осмотрел ее, поднял капот.

— Все покорежено.

Пуля, разбившая переднее и боковое стекла, не задела Николая.

Саша выбрался из машины, оглянулся, небо было озарено заревом пожарищ, слева на горизонте двигались черные приземистые коробки — танки!

— Давай по-быстрому! — сказал Саша.

На одеяле они перенесли Варю в лес, вернулись, забрали шинели, автоматы, вещмешки, канистру с водой. Лопату и топор тоже взяли, знали, что им предстоит.

Пронесли Варю по лесу метров сто. Верхушки деревьев были ободраны снарядами, кругом валялись тряпки, винные бутылки, консервные банки, коробочки из-под сигарет, пожелтевшие обрывки газет, набранных готическим шрифтом, видно, весной были тут немцы.

Понесли Варю дальше, углубились в чащу и остановились возле большого упавшего дерева-выворотня с торчащими корнями. Рядом земля была ровная, зеленая травка, чисто. Опустили Варю, опять подложив ей под голову скатанную шинель. Саша прислушался к ее дыханию, как будто бы дышит, осмотрел бинты, кровь на них все та же, запекшаяся, свежей крови не было. Налив в кружку воды из канистры, Николай приподнял Варе голову, короткая судорога опять вроде бы пробежала по ее лицу. Саша влил ей в рот несколько капель, но глотка не последовало, вода скопилась в уголке рта.

— Может, не надо, — сказал Николай, — захлебнется она водой.

Они прилегли на траву. Солнце уже заходило, земля потемнела, было сухо, как днем, пахло полынью. Николай развел маленький костер, сварил в котле пшенный концентрат. Поели. Запах каши, треск горящих веток напомнили Саше костер, возле которого они сидели в тайге. Нет больше его товарищей по этапу. Карцева они похоронили в Богучанах, уничтожен, конечно, в лагерях непримиримый Володя Квачадзе, погиб в тайге Соловейчик. Все ушли, он один задержался.

— Кто она вам, товарищ майор? — спросил Николай.

Саша помолчал. Велижанову на этот вопрос он ответил: сестра, иначе не мог, тот знал, чья Варя жена.

— Любили мы друг друга, встретились через десять лет. Видишь, как встретились.

В лесу стемнело.

— Поспите, — предложил Николай, — а я посижу.

— Нет, ты поспи, потом сменимся, я тебя разбужу. Бери шинель!

— Вы ее на себя накиньте, ночью холодно будет.

— Ладно, бери, ложись! Не беспокойся, не замерзну, как рассветет, двинемся дальше.

Николай отстегнул хлястик шинели, укрылся, заснул.

Саша опять нагнулся над Варей, дышит, взял руку, долго искал пульс, наконец уловил слабое биение, а может, это бился в пальцах его собственный пульс.

Он сказал Николаю: «Как рассветет, двинемся дальше», — но знал, что никуда они не двинутся — от смерти им не уйти. Эта мысль не страшила его. Жить он больше не хотел — в той жизни не будет Вари. Все его прошлое, страдания, скитания — все ушло, только Варя у него осталась. Саша держал ее руку, смотрел в лицо, тихонько произнес: «Варя». Может быть, услышит? Не услышала. Молчит.

Луны за деревьями не было видно, но свет ее пробивался сквозь листву, мелькал на Варином лице, и тогда казалось, что она шевелит губами, говорит про себя, Саша наклонился к ней: «Варя». Она не ответила.

Почему тогда в Бутырке он не вызвал ее на свидание, не назвал своей невестой? «Как бы я хотела знать, что ты сейчас делаешь...» Почему он не нашел таких слов? Как ужасно говорил из Калинина. «Ты мне больше ничего не хочешь сказать, Саша?» Если бы тогда сказал ей, что любит ее, ждет, может быть, все сложилось бы по-другому и она не умирала бы сейчас. Не сказал.

И все же... Последние в ее жизни слова были обращены к нему. «Ты пришел, Саша...» Ждала его. «Ты пришел, Саша...» Он пришел и теперь уже не уйдет.

Варино лицо вдруг потемнело, облако закрыло луну. Саше показалось, что она мертва, он наклонился к ее груди, сердце вроде бы билось. Опять окликнул ее, опять не ответила.

Саша прошелся, потом привалился к поваленному дереву. Вечернюю свежесть сменила сухая теплынь. Наверное, мама сейчас думает о нем. Жалко маму.

Чье-то прикосновение заставило Сашу очнуться. Перед ним стоял Николай.

— Товарищ, майор... — Николай кивнул на Варю.

Саша подошел к Варе, открыл ей один глаз, другой. Варя была мертва.

— Все, товарищ майор, — сказал Николай.

Саша закрыл Варе глаза, вынул из карманов ее гимнастерки документы — удостоверение, командировочное предписание, ма-

ленький блокнот с карандашиком, опустил все это в карман своей гимнастерки, сложил ее руки на груди, поднялся.

Уже рассвело, загрохотала канонада, загремели пушки, рвались бомбы.

Саша огляделся, поискал место посвободнее, взял лопату, отваливая землю небольшими комками, прочертил прямоугольник могилы, сказал Николаю:

— Бери топор, подрубай корни.

Николай рубил корни, Саша шел за ним с лопатой, копал. Так проработали они час или два, углубились, может быть, сантиметров на 30—40; рыли, стоя в могиле. Николай вдруг выпрямился, прислушался, схватил Сашу за рукав, уволок за поваленное дерево, взял автомат, второй передал Саше — перебегая от дерева к дереву, к ним кто-то приближался.

— Кто идет? — крикнул Саша.

— А вы кто?

— Советские.

Из-за деревьев вышли два солдата с винтовками. Убедившись, что перед ними свои, один солдат обернулся, заложив пальцы в рот, свистнул, подошли еще солдаты, взвод, наверное, с ними мальчишка-лейтенант в выцветшей гимнастерке, по запыленному лицу текли струйки пота. Увидев Сашины погоны, козырнул.

— Откуда-куда? — спросил Саша.

Лейтенант махнул солдатам:

— Идите, догоню.

Тихо позвякивая котелками, взвод прошел и скрылся за деревьями.

Лейтенант посмотрел на лежащую со сложенными на груди руками Варю, на могилу...

— Вышли из окружения, идем в назначенный пункт.

— Из какой части?

— Пятнадцатая стрелковая дивизия. Шестьсот семьдесят шестой полк, командир — полковник Онуприенко.

— Николай, отправляйся с лейтенантом! — приказал Саша.

— Не уйду без вас, товарищ майор! — насупился Николай.

— Выполняй приказ! — Саша повысил голос.

— Товарищ майор! — отчаянно закричал Николай.

— Выполняй приказ! — повторил Саша.

— Вам, товарищ майор, тоже не следует оставаться, — сказал лейтенант, — за нами немцы, будут прочесывать лес.

— Понятно, Николай! Доложишь, что я остался в деревне Рудово.

— Населенным пунктом Рудово противник овладел вчера в девятнадцать ноль-ноль, — сказал лейтенант.

— Значит, в лесу возле Рудова.

Николай умоляюще смотрел на Сашу.

— Собирайся, быстро, не задерживай лейтенанта, — приказал Саша.

Николай взял шинель, автомат, поднял свой вещевой мешок.

— Гранаты оставь.

Николай вынул из мешка три ручные гранаты Ф-1, они называли их «Фенька», положил возле сваленного дерева, перекинул мешок через плечо.

— Как ваша фамилия, лейтенант? — спросил Саша.

— Никишев. — Лейтенант переминался с ноги на ногу, торопился догонять взвод.

— Моя — Панкратов. Прошу письменно подтвердить, что в вашем присутствии я приказал солдату Халшину вернуться в часть.

— Будет исполнено! — Лейтенант козырнул. — Идем, солдат!

— Прощайте, товарищ майор, — сказал Николай, и голос его дрогнул.

— Прощай, спасибо тебе за все. Идите!

Саша копал и копал. Земля была перевита нитями корней, крепкими и жесткими, как проволока, некоторые лопата не брала, приходилось рубить топором. Взмокшая гимнастерка и брюки липли к телу, жаром горели ноги, Саша снял сапоги, поставил возле поваленного дерева, там лежали его автомат, гранаты, пистолет ТТ, стояла канистра с водой.

И опять копал. В небе медленно двигались крупные белые облака, на горизонте пылали пожарища, гремела канонада, то затихая, то возобновляясь с новой силой.

Саша перестал копать, когда могила дошла ему до пояса, вылез, расчистил землю у края, к нему подтащил на одеяле Варю, спрыгнул вниз, приподнял Варю на руках, опустил на дно могилы, было тесно, но он уложил ее хорошо, ровно, прикрыл шинелью, только лицо не закрыл, закроет пилоткой, поцеловал Варю в губы — первый раз в жизни поцеловал. И последний.

Потом выбрался из могилы. И совсем близко услышал выстрелы, топот сапог, немецкую речь, ругань, слова немецкой команды.

Саша залег за поваленным деревом, положил на него автомат, приготовил гранаты, пистолет. В кустах замелькали темно-зеленые мундиры, цепью идут, постреливая на всякий случай. И когда три солдата появились перед Сашей, он дал по ним очередь, немцы упали. Саша метнул в них гранату, пригнул голову, граната взорвалась — теперь уже не поднимутся!

И тут же со всех сторон — спереди, справа, слева — застрочили их автоматы, но солдат не было видно, залегли, пули шлепались о поваленное дерево, ложились за Сашиной спиной.

Саша выжидал — поднимутся, пойдут вперед, куда денутся?! И дождался. Справа шевельнулись кусты, мелькнули за деревьями зеленые мундиры, затаились, опять появились. Саша дал по ним очередь, метнул гранату, повернулся налево, и там мелькнули зеленые мундиры, Саша метнул туда последнюю гранату, схватил опять автомат, но не выстрелил, упал головой на дерево. Его убили автоматной очередью сзади, в спину.

Немцы выскочили, красные, потные, осатанелые, дали еще очередь по мертвому Саше, по открытой могиле, побежали дальше...

Наступление немцев было остановлено 10 июля. За пять дней они сумели продвинуться только на одиннадцать километров. Советские войска перешли в контрнаступление, оно переросло в общее наступление на фронте протяженностью в две тысячи километров.

Старенькая полуторка «ГАЗ-АА» с похоронной командой стояла возле леса на дороге, ведущей в деревню Рудово. Команда уже собралась, сидели в кузове, покуривая, не хватало только двоих.

— Знаю я этих обормотов, — ругался старшина, — нашли флягу, сидят под кусточком, выпивают.

— Какие там фляги?! — возразил старый солдат, дремавший в углу кузова. — Может, набрели на генерала нашего или полковника убитого. А может, решили, кого из рядовых захоронить.

— Хоронить должна дивизионная команда, не мы, — отрезал старшина. — Наше дело документы собрать. Инструкцию вам читали?

— Инструкция есть инструкция, человек есть человек, хоть и покойник.

— Что ты все, старый хрен, рассуждаешь, — обозлился старшина, — наступаем! В наступлении не имеем полного права отставать. Понятно тебе?

— Нагоним.

— Те, из-за кого они препирались, были, как и все в похоронной команде, пожилые люди, нестроевые, шли по лесу, не торопясь, и набрели на открытую могилу. В ней, прикрытая шинелью, лежала женщина-офицер, а неподалеку возле дерева — убитый майор.

— Гляди-ка, с майора уже и сапоги сняли.

— Нет, вон они стоят, сам, видно, снял, значит, сам и могилу копал, вот и лопата тут...

Они перевернули мертвого Сашу на спину, из кармана гимнастерки вынули документы.

— Видишь, и его документы, и ее, значит, он ее и хоронил, да не успел. Давай их закопаем по-людски.

— Задержимся, старшина будет лаяться.

— Хрен с ним!

Они положили Сашу рядом с Варей, закидали могилу землей, воткнули в холмик два колышка, на них повесили их пилотки.

— Сапоги возьмем, хромовые сапоги, чего им пропадать.

— Старшине отдадим, он и заткнется.

— Где шатались? — накинулся на них старшина.

— Майор там убитый, на вот его сапоги. И женщина-капитан, уже в могиле. Мы и решили их землей закидать, поскольку могила уже вырыта и лопата рядом.

— Лезьте в кузов, документы отдайте писарю, — приказал старшина. — Поехали!

Машина тронулась.

Писарь перелистал документы, громко прочитал:

— Панкратов Александр Павлович, 1911 года рождения, Иванова Варвара Сергеевна, 1917 года рождения.

— Сколько это выходит лет? — спросил дремавший в кузове старый солдат.

— Выходит, ему тридцать два, ей двадцать шесть.

— Молодые еще были, — сказал старый солдат.

1991—1994

СОДЕРЖАНИЕ

Анатолий Наумович
РЫБАКОВ

ДЕТИ АРБАТА

Трилогия

КНИГА 3

ПРАХ И ПЕПЕЛ

Редактор
И. Шурыгина
Художественный редактор
И. Марев
Технический редактор
Г. Шитоева
Корректоры
В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель

ЛР № 071673 от 01.06.98 г.
Подписано в печать 01.07.98 г.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 24,96.
Цена трехтомника 72 р.

ТЕРРА—Книжный клуб.
113093, Москва, ул. Щипок, 2, а/я 27.

Оригинал-макет подготовлен ТОО «Макет».
141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, 21.


ISBN 5-300-02035-4
9 785300 020354


АНАТОЛИЙ
РЫБАКОВ
3
ТЕРРА